Юрий Красавин

Великий мост

Юрий Красавин

ВЕЛИКИЙ МОСТ

ПОВЕСТИ

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1990

ББК 84Р7
К78

Рецензент *С. Журавлев*

Красавин Ю. В.

К78 Великий мост: Повести. — М.: Современник, 1990.— 448 с.

ISBN 5-270-00728-2

В новую книгу Юрия Красавина вошли повести «Великий мост», «Они наступают», «Хождение за три поля», «На разных уровнях», которые рассказывают о сегодняшней деревне центральной России. Герои произведений стремятся к человеческому единению, взаимопониманию, возводят «великий мост» дружбы друг к другу.

К $\frac{4702010201 - 122}{М106(03) - 90}$ 85—90 **ББК 84Р7**

ISBN 5-270-00728-2

ОНИ НАСТУПАЮТ

Повесть

1

В сквозных осинниках коровы разгребали багряную листву ногами, чтоб добраться до травки, поникшей и пожухлой; стылой сыростью, а то и морозцем дышал ветер, веявший над унылыми полями; куда ни кинь взгляд — всюду печальный, озяблый вид: поле, озеро, деревня... Такая наступила пора — канун октября; белые мухи вот-вот полетят, а пастух Семен Размахаев все еще выгонял стадо попастись. Он знал, что в Вяхиреве скот вторую неделю стоит по дворам, и в Макеевке тоже, и в Глинниках, и в Лопареве, и в Сенцах; знал и то, что никакой дополнительной платы за продление пастьбы он не получит, но ему было жаль коров, которым предстояла такая долгая зимовка.

Да и себя было жаль: в эту ли пору сидеть дома! На воле так отраден шорох листвы под ногами, сирый и тревожный голос последнего зяблика в безмолвном перелеске, нечаянные находки, вроде крепкого боровичка или холмашка со рдяной брусникой, а впрочем, причина не в этом. Что-то растворено было в эту пору в воздухе, над деревней его, над озером, над окрестными полями и лесами, какая-то властная печаль звала и манила; хотелось ходить неспешно и думать бог знает о чем.

Семен не тяготился, даже если шел затяжной дождь; надвинет низко капюшон тяжелого, набрякшего водой плаща, встанет под елку и стоит неподвижно, будто статуя воина в плащ-палатке над братской могилой в Глинниках. Ровный шорох дождя, звучное щелканье редких капель, проникавших сквозь крону шатровой ели, редкий жалобный писк лесной птахи странно завораживали. Одно только было не в лад: в чистом осеннем воздухе гораздо яснее, чем летом, был слышен неумолчный рокот моторов в той стороне, где строили дорогу на Вяхирево. Там же, возле дороги, в сосновом бору черпали и черпали из карьера песок — Семен различал, как зло рычит экскаватор, то замолкая, то ярясь.

Дорога будет — это хорошо. Но пока что песчаная

да глинистая насыпь безобразила там поле, изуродовала Панютин ручей, ради нее вырубили ровненький ельничек, а он вырос бы в такой дружный лес!.. И те огромные камни возле ручья, каждый в рост человека, уже не стояли кружком-хороводом привычно и знакомо, как раньше, их спихнули с холма в низину, нагромоздили беспорядочной грудой. А камни, между прочим, с какими-то знаками и поставлены были в неведомые стародавние времена не зря. Семен пытался заступиться за них, но кто его слушает!

Он не любил теперь гонять стадо в ту сторону и спешил отдалиться настолько, чтоб не слышать рокота и рева моторов, только тогда душа его обретала желанное состояние. Коровы двигались сонливо, траву щипали нехотя, томительно им было и грустно, а вот домой возвращались охотно. «Подышите свежим воздухом,— говорил им пастух,— настоитесь еще в неволе-то».

Он собирался со дня на день прекратить пастьбу, но все отодвигал этот срок: вот еще денек, вот еще... Наконец вчера заявил дояркам: «Все, нынче последний день». А сегодня утром погода выдалась ведренная, лучезарная, и он решил прогулять скотину еще раз.

Сразу же за деревней стадо вступило в мелколесье; осиннички и березнички с редкими шатровыми елями перемежались полянами — пастбище, привычное стаду. Ночью на землю откуда-то, небось с холодного неба, опустился морозец. На палой листве тут и там сохранилась тонкая изморозь, трава, покрытая ею, была ломка; от солнечных лучей проступали длинные полосы и обширные пятна проталин.

Рокот от строящейся дороги нынче забивали два трактора, поднимавшие зябь по Хлыновскому логу. Вчера они начали работу, а сегодня уж заканчивали. Коровы прошли по краю вспаханного, а Семен остановился здесь в досаде: опять взодрали большой клин луговины — поле год за годом подвигалось к озеру, наступая на береговой луг с редкими деревцами. Пастух посмотрел из-под руки: кто пашет? Наверняка Валера Сторожков. В прошлом году ругал его: «Куда ж ты, собака, залезаешь! Тут же озеро рядом! Как я коров пасти буду?» А нынче он, вишь, назло... И вот ведь что: на этом взодранном лугу все равно ничего не вырастет, а на ж поди, загадили и несколько молодых деревьев задавили, погубили. Отсюда до озера полсотни шагов; дай волю — борозды спустят к воде. Надо было вчера постеречь это место.

Семен в досаде без надобности хлопнул кнутом: коровы и без того шли бодрым шагом, как на прогулке, травы не щипали. Хотелось поскорее отдалиться от этого места, чтоб не слышать тракторов; лучше всего загородиться лесом. Значит, скорей вперед!

Прошли мелколесье, дальше двигались лесной опушкой; на темной тяжелой зелени елей легкие солнечные краски осин и берез были особенно ярки. За полем знакомый перелесок из одних лиственных молодых деревьев и в пасмурный-то день казался освещенным солнцем, а нынче и вовсе...

Только было наполнилась душа Семена хорошим чувством — услышал в отдалении, впереди стук топоров и напряженный визг мотопилы. По мере приближения к тому месту звуки становились все явственнее; послышался треск и шум падающего дерева, глухой удар его о землю, потом второго и третьего...

«Да что это!— возмутился Семен, ускоряя шаги.— Кто безобразничает-то?»

Деревья тут располагались нечасто — это были столетние ели с толстыми сучьями до самой земли. Иногда они объединялись, образуя своими кронами единый шатер, под которым будто выметено — муравейники тут и там, а уж ихние трудолюбивые жители все вокруг подметали-подчищали. Семен проломился сквозь чащу и даже похолодел: не порубщик повалил воровски два-три дерева — на такого управу можно живо найти, но целая бригада мужиков — шестеро!— вела наступление на лес организованным порядком. Семен сразу сообразил: тут государственные люди с государственным заданием, а это значит дело серьезное. Они как раз, уморившись, сели покурить и поглядывали в его сторону. Люди нездешние, Семену незнакомые, им что ни прикажут, они выполнят, лишь бы зарплата шла. Раздолбаи, одним словом. Семен перелез через огромную поверженную ель, постоял, оглядывая ее от комля до макушки. От жалости не совладал с собой, спросил резковато:

— Что творим, умные головы?

Ему не ответили; он повторил вопрос и снял с плеча кнут, словно собираясь хлестнуть.

— Просеку ведем,— объяснили ему умные головы.— Для ЛЭП-200, от атомной станции.

Час от часу не легче. Куда она пойдет, ихняя просека?

— Там же озеро!

— Да хоть бы и море, нам-то что!

— Забирайте сюда, левее, левее!

— Вот когда будешь нашим командиром, а не коровьим, тогда распоряжайся,— сказали ему.— Тогда что ни прикажешь, все исполним, только деньги плати.

Семен мысленно прикинул расстояние до озера, соотнес с направлением просеки и немного утешился: нет, она пройдет мимо и даже не меньше, чем в километре. Если, конечно, не вздумают ее повернуть.

— Хоть бы раз в жизни увидеть, как лесопосадка идет,— бормотал он.— Посмотрел бы, и тогда уж можно умирать.

Коровы в некотором отдалении вышли на просеку и тоже оглядывались в недоумении: место неузнаваемо изменилось.

— Кто из вас вот эту ель повалил?— спросил пастух.

— Я,— гордо сказал самый бойкий с мотопилой.

Это был довольно тщедушный человек, молодой еще, лет тридцати, но этак как бы помятый и оттого казавшийся старше своих лет. Ишь, голову держит немного набок, словно прислушиваясь к чему-то,— не больной ли? Странно было сознавать, что именно он, не шибко-то крепкий, не сильный, повалил такое могучее дерево.

— Если тебе нравится эта елка, давай договариваться,— сказал кривошеий.

— Насчет чего?

— Ставишь поллитру на пенек, и елка твоя.

Он оглянулся на товарищей, те заулыбались ему поощрительно: давай, мол!

— А что! Она того стоит. Посмотри-ка, толщина-то в обхват и древесина по срезу аж розовая, со слезкой. Такую употребить на нижний венец дома — сто лет хоромы простоят! Давай, командир, закупай лесоматериал: ставь на каждый пенек по поллитре, подгоняй трактор и увози. Дом построишь или баню, например, а то и перепродашь кому втридорога — дело прибыльное, точно говорю.

— Поллитру — это пива, что ли? — съязвил Семен, меряя глазами бойкого мужичка: вот собака, продает Размахаеву, можно сказать, его же собственный лес.

— Ты что, командир! Мы, кроме как водку, ничего не пьем — здоровье не позволяет.

— Если о здоровье заботишься — зачем елку повалил? Она как корова, только от коровы молоко, а от дерева то, чем твое здоровье дышит.

Мужик из Семеновых рассуждений ничего не понял, продолжал свое:

— Десять рублей за дерево — разве это цена! Да и не нужны нам рубли, лучше натурой. Давай неси, пока мы добрые.

Кажется, он готов болтать на эту тему долго. Семен подошел к другой ели, постоял, как над покойником, молча, разглядел на ней беличье гнездо, слава богу, нежилое.

— По живому режете, мужики,— сказал, страдая.— Ели эти сто лет росли, а вы за день их свели. Признайтесь, посадил ли кто-нибудь из вас хоть одно дерево за всю свою жизнь, а? Закон есть такой: свалил одно — посади два. А вы сколько посадили?

Мужики переглянулись с усмешками.

— Яблони, семь штук,— отвечал один.— У себя на даче.

Другой:

— А я возле школы, помню, тополя втыкал в землю. Выросли!

— Не расстраивайся,— сказал третий и оглянулся на лес.— На наш век хватит.

— Да ты сам-то посадил ли?— спросили его насмешливо.

Вопрос этот оказался некстати, и мужики заметили, что пастух смутился.

— Вот то-то!— они засмеялись.— Укорять да учить, конечно, легче, это не то что работать.

Они вставали, собираясь продолжить свою работу.

— Ладно, командир, сойдемся на пузыре одеколону,— продолжал приставать кривошеий.— Ставишь на каждый пенек по пузырю, и все это будет твое... Если строиться не желаешь, на дрова пойдут! Ну что, по рукам?

Семен, не слушая его, отошел. Не по себе было и от того, что увидел, и от того, что услышал, а более всего от укора: сам-то посадил ли? А и в самом деле, если разобраться-то, сильно ли он отличается от этих мужиков?

Он завернул стадо и погнал его к деревне. Яркий осенний день потускнел.

«Просеку прорубят... будто дырку в стене!— думал он, сердясь, и кнутом громко хлопал, подгоняя отстающих коров.— Сквозняк устроят... И никак их не остановишь! Нет прав у меня. В доме своем есть, а на озере или вот здесь, в лесу, я уже и не хозяин. Тут каждый делает что хочет».

Неуютно было на душе Семена, будто обидели его кровно и незаслуженно или не оправдалась дорогая надежда.

«Скорей бы зима, что ли...»

Пригнав стадо в деревню, он, не мешкая, заглянул домой, взял заступ и отправился в лес походкой человека, который одержим одним стремлением и ни на что не согласен отвлекаться.

Если бы чуть попозднее кто-то пошел следом, то он мог бы увидеть Семена Размахаева в Хлыновском логу и, пожалуй, удивился бы: по краю недавно вспаханного поля пастух копал ровненькой чередой ямы, потом приносил из лесу молодые елочки и сажал их.

Сначала-то принес березки, но они как-то неубедительно занимали площадь: стволики тонкие, листва облетела. Совсем другое дело елочки — они были гуще, этак потяжелее, присадистее.

Семен выкапывал их вместе с большим пластом дерновины и земли, боясь повредить корешки, потом, пыхтя от усилий, тащил на поле, заботливо опускал в ямку, обминал ногами... Надо было видеть в эту минуту его лицо: на нем отражалось глубокое удовлетворение. Но некому было смотреть: вокруг безлюдье. Сиро кругом в эту пору!

К вечеру, когда елочки выстроились в несколько рядов, отбирая у вспаханного поля потерянную ранее площадь, Семен и вовсе был доволен. Однако же устал, да и сумерки уже наступали. Он возвратился домой походкой хорошо поработавшего человека.

Ночь, однако, спал беспокойно, бередило сознание, что и в следующий день бригада будет прорубать широкую просеку; даже снилось, будто она, та просека, уже уперлась в озеро, и его собственный дом, будто ствол ружья в грудь, и встали по берегам высоковольтные опоры, повисли над водой тяжелые гудящие провода. И еще вспомнилась дорога — она тоже норовила упереться в озеро, чтоб засыпать его песком да глиной, чтоб опрокинуть и Семеново жилье, и самого Семена... Но жило в душе его некое утешающее чувство, и он, проснувшись, сознавал: что-то было хорошее в минувшем дне.

«Ага! Это как я деревья сажал...»

Была еще одна мыслишка: не засадить ли вот так же елочками и прорубленную просеку? Но ее сонный Семен признал глупой, и не без оснований: разве могут маленькие деревья заменить те столетние, шатровые? Да и мон-

тажники придут следом за лесорубами, опоры будут ставить, а у них техника, так что все равно затопчут.

А вот если посадить еще два-три рядка елочек дополнительно к уже высаженным, то можно таким образом отвоевать в пользу приозерного луга, а вернее в пользу берегового леса ту часть поля, которую отхватил Валера Сторожков в прошлом году. Справедливость будет восстановлена, хотя и не полностью, но на уровне прошлого года, а это уже достижение.

Не о стаде думал пастух Семен Размахаев, сажая деревья и страдая душой,— об озере.

2

Озеро было не то чтобы большое, но и не сказать, чтобы маленькое. В тихую погоду его можно переплыть в самом широком месте запросто, только какая в том нужда? Если уж что понадобится в той стороне, то проще берегом пройти. Конечно, ради интереса или удовольствия можно переплыть. Ради интереса-то чего не сделаешь!

А вот хоть и невелико озеро, даже лодок на нем никогда не держали, но поднимется ветер — ого!— волна качает берега.

Так Семен Размахаев говорил: волна, мол, качает берега. Он даже любил повторять это присловье к месту и не к месту, будто оно остроумно бог весть как. И в самом деле, в нем и напевность, и картинность, и еще что-то, какой-то веселый, чудесный смысл. Разве не так?

Иногда это ему действительно казалось, что берега покачиваются. Стоило заплыть на срединный островок, там молодые дубки растут, родничок бьет, дивный камень лежит — как раз в форме кресла, то есть почти круглый, будто ком теста приготовлен для стряпни да и оставлен так, окаменел; в нем этакая выемка — удобно в ней сидеть, глядя на деревню и поля за нею; за полями перелески, они смыкаются и по обеим сторонам деревни подступают к озеру; и так они по всему берегу, будто стада на водопой подходят: впереди овечки-кусты, за ними большие рогатые деревья; а между ними свободные лужайки, пригодные и для косьбы, и для выпаса.

Красивое озеро... Другого такого во всем мире нет. Семен Размахаев по всему миру не езживал, но был убежден сущей очевидностью: нету! Ну разве что, может быть, где-то

еще два-три, за какими-нибудь высокими горами, да ведь и они обтоптаны людьми, обижены и унижены. А это — вот оно, нетронутое, целенькое, чистое, будто незамутненное голубое око Земли, смотрит в небо доверчиво и ясно.

«Газеты читаем, телевизор смотрим, кое-что знаем,— размышлял Размахай.— Что там Арал или Каспий — даже Средиземное море запакостили и загубили. Посмотрите-ка на карту, сколько места занимает то Средиземное — это ж умудриться надо из него помойную-то яму сотворить!.. А вот сотворили. Да что оно, даже Атлантический океан замусорен. Ничему нет спасения...»

Семен читал в газетах и страдал, негодуя и страшась: в Рейн вылили какую-то химию, в Персидском заливе брюхо распороли супертанкеру — нефть выливается, у проклятых капиталистов в Америке небо закоптили до черноты, и в родном отечестве над промышленными городами не лучше — где бы ни происходила беда, она была так близка, будто за тем перелеском.

По телевизору Семен каждый раз с душевной болью видел: Волгу норовят превратить в сточную канаву... в Австралии горят леса, в Испании и Франции тоже; в Сибири валят кедровники, чтоб утопить их в Енисее или Байкале; в Ладогу льют отходы целлюлозного комбината; на Амазонке вырубают великую сельву...

И не видя, и не читая, Семен знал: ракеты всех сортов дырявят атмосферу, самолеты жрут кислород, ядохимикатами поливают и опыляют поля... и трубы стоят, будто деревья в лесу, только, в отличие от деревьев, дымят, дымят, дымят...

Если все это принять во внимание, то получалось, будто гибельный вал накатывался на все человечество в целом и на Семена в его заброшенной богом деревне в отдельности. Именно гибельный вал, огромный, все под собой погребающий. Семен смотрел на свое озеро, со всей неопровержимой очевидностью сознавая: вот последнее, что остается пока нетронутым. Если его погубят — все, ничего не останется на Земле, освященного чистотой и красотой.

Перед тем накатывающимся валом, несущим смерть, лежало, охраняя Семена, это Царь-озеро, царственное не величиной своей, а чистотой и красотой. Слава богу, что пока на него по-серьезному никто не покушался. Хотя, как сказать...

«Ну, это мы еще посмотрим!»— свирепел Семен Размахаев, будучи твердо уверен, что именно здесь лежит ключ

всеобщей жизни, и тот, кто покушался на озеро, неминуемо покушался и на его, Семенову, жизнь.

Летом Размахай любил заплывать на срединный островок. Вот как усядешься там да раздумаешься, глядя на водную гладь, тут и почувствуешь, будто заколыхается она, и от этого колыханья едва-едва, чуть заметно приподнимется берег и домишки на берегу, опустится и снова...

Деревня видна с острова — ничто ее не загораживает; почему-то она всякий раз напоминала Семену старушку в полуотрешенном уже от мирской жизни состоянии: вот-вот помрет, но еще держится. Дома старенькие, сараи с просевшими крышами, раскоряки-ветлы... Имя у деревни — Архиполовка. Назвали так потому будто бы, что в какие-то очень давние времена ловили в окрестных лесах беглого мужика Архипа, по прозвищу Размахай, а он долго скрывался в этих безлюдных тогда краях, добывая пропитание себе тем, что ловил рыбу, собирал мед диких пчел, ставил капканы на кабана, силки на птицу. Потом будто бы девку украл где-то, срубил дом на берегу озера, деляночку леса выжег и распахал, детишек настругал, вырастил, сыновей переженил, дочери женихов себе приманили... Когда настигли его, чтоб обложить налогом, уж целая деревенька стоит, вся сплошь из Размахаевых.

Может, так было, а может, и не так, а по мнению Семена, коренного здешнего жителя, просто жил тут некогда ловкий да мастеровой трудяга-мужик Архип, умел он и землю пахать, и сеть сплести, и избу построить, а уж то, что для жизни своей выбрал он самое красивое на земле место, свидетельствует неоспоримо: мужик был не дурак и себе не враг. Вот и все. И нечего придумывать лишнее.

Ловкий Архип положил начало деревне многолюдной: не всегда-то она была такой, как ныне, знавала и лучшие времена. Перед войной тут был колхоз, и в нем три бригады — это уже не меньше сотни человек работоспособных. И почти половина — Размахаевы. А теперь вот разъехались по белу свету потомки ловкого Архипа, остался здесь один Семен. И дома архиполовские поумирали да поразъехались — много ли осталось-то! А ведь были тут раньше и школа, и изба-читальня, и родильный дом, и даже церковь — она стояла обочь деревни, на Веселой Горке.

Кстати уж о родильном доме: образовался он тогда в пятистеннике крепкого мужика Матвея Тятина, которого раскулачили, а дом отобрали, устроили в нем родильню. И

стоял бы дом для общего блага по сю пору, если б не война: мужики воевать ушли — бабы без них рожать перестали, крепкое строение раскатили по бревнышку для каких-то хозяйственных надобностей. Но вот Семен Размахаев успел-таки родиться именно в нем. Пожалуй, именно на Семке-то и прервалась череда новорожденных, которой, казалось, не будет конца.

Теперь в Архиполовке ничего примечательного нет: колхозная контора сгорела, школу перевезли в Вяхирево, избу-читальню разобрали на дрова, деревянную церковку тоже снесли — все это случилось давно, и остался десяток стареющих и дряхлеющих домов. Прошлым летом был одиннадцатый домишко, да повалился — не рухнул с треском и грохотом, а вот именно повалился, то есть осел бесшумно набок, даже пыльца старческого праха поднялась над ним облачком. Это очень похоже на то, как у грибов,— есть такие, дождевики называются, белые, будто сдобные,— в старости превращаются они в «мышиные бани», пыхают легким дымком... Кстати, верно ли, что мыши в них моются? Или все это выдумки? Но каждая выдумка опирается на правду, как на фундамент. Ведь любят же воробьи в пыли купаться, небось и мышам нужто что-то вроде того. Некоторые баньки из дождевичков совсем маленькие — должно быть, для мышат.

А упалым домом владели, между прочим, исконные его хозяева, только они давно уж в нем не жили, с тех пор как уехали куда-то на Урал, потом — знай наших, деревенских!—перебрались хитрыми путями и в саму столицу: народ толковый. Говорят, искали там покупателя родному гнезду, да не нашли такого. И не потому, что домишко плох, а пугала москвичей дорога в Архиполовку — ни проходу по ней, ни проезду, и даль такая, как в Кащеево царство. Прикинули небось, рассудили: нет, к теплому морю ближе.

«Конечно,— размышлял Семен,— если б какие-нибудь москвичи побывали здесь да увидели собственными глазами наше озеро — тут же нетронутый уголок земли!— сразу же и цену хорошую дали бы за дом, и дороги не пугались, и про теплое море навеки забыли. А так — живут, ни черта не знают. Не знают, а все равно живут...»

Скоро еще одно жилье опустеет: пока живет в нем Валера Сторожок с молодой женой и тещей, да с четырехлетним Володькой. Собираются они переехать в Вяхирево, то есть на центральную усадьбу; деревня та стоит на семи ветрах — построены посреди поля две улицы коттеджей, и

ни реки, ни ручья, ни тем более озера поблизости нет, только лужи. Ну, Валере Сторожкову лишь бы мастерские рядом, лишь бы вонь стояла машинная да гарь бензиновая, потому никакой он не Валера, а проще сказать Холера, так и в паспорте надо записать.

Черт ли принес его в Архиполовку! Да не черт, а Танька Бадеева заманила. После училища бухгалтерского уехала куда-то, вернулась через год с пузом и родила здесь. Ну, виноватый отыскался: в армии отслужил, приехал, женился на ней и Володьку за своего признал. Парнишечка-то растет хороший, и Холера этот — парень деловой, технику любит, но... люди добрые, во что превратился бадеевский дом за три года, пока живет в нем этот раздолбай! Земля вокруг него изгваздана тракторными гусеницами, истилискана полозьями тракторных саней, издавлена тракторными колесами, дерновина изодрана плугами да культиваторами, изъедена пролитой тут и там соляркой, испятнана мазутом; лежат вокруг дома ржавые колеса от неведомо каких машин, стоит дыбом прицепная тележка, заросла крапивой облезлая сеялка. Ветла-страдалица под окном захомутана ободьями, мотками проволоки, висят на ней старые ведра из-под солярки. Вся она, та ветла, встопорщена, взъерошена, кора ободрана, корни из земли торчат: будто пытали ее, беднягу, да и распнули на всеобщее посмешище. Глядеть больно...

— За что ты ее так?— не раз укорял Семен.

А у Валеры зубов два ряда, белые, широкие, как клавиши аккордеона. Молодой еще, чего говорить! Потому и дурак. Умный разве рассуждает так:

— Или у нас мало ветел? Одной больше, одной меньше — какая разница?

Ржет Сторожков, будто лошадь на овес. Веселый человек, его ничем не прошибешь. Правда, на прозвище, данное Семеном, обижается, ярится.

— Я — Сторожок! — говорил он с гордостью.— Я всегда на стреме. Ясно? Меня так еще в детстве окрестили. Вот и ты зови.

Не зря окрестили: ушки у него этакие остренькие, торчат бодро и шевелятся каждый наособицу, каждый сам по себе, как у кошки, когда она сторожит мышей.

— Зачем ты в Архиполовку трактор гоняешь? Оставлял бы за околицей! Неуж лень пешком немного пройти?

На все упреки и увещевания Валера только ухмылялся, обнажая зубы-клавиши. Ясное дело: пришлый, собака, ему

ни деревни, ни озера не жалко. Он сегодняшним днем живет, про завтрашний голова не болит.

Семен обкладывал его матерком, прилагая «холеру» и «собаку».

Тут Сторожок ушки вострил и брови хмурил:

— Чего на людей кидаешься, Размахай? Тебя в клетке держать надо, потому что ты социально опасен.

Грамотный, собака! Огорошит словом — как занозу под ноготь тебе загонит. Грамотный, а без понятия. Почему так?

Вот совсем недавно был у них такой разговор.

— Как посреди отхожего места живешь,— сказал своему врагу Семен.— Ты погляди: птицы над твоим домом не пролетают, всегда делают крюк. Курица погуляет здесь — и подохнет в тот же день. Теленок полежит — чахнуть начнет.

Холере это как об стенку горох: сидел на крыльце и лыбился. Вот так, с улыбкой, он любую пакость сотворит.

— Мальчишку-то своего хоть пожалейте, живет, как на машинном дворе. Он запахи живые не понимает, и ухо у ребенка стало грубое — пеночку от зяблика никак не научу отличать.

Тут сразу Танька из окна высунулась:

— А у тебя и о нем голова болит? Своего нет, так о чужом?

И Валентина, ее мать, Сторожкова теща, из огорода вышла, тоже подключилась:

— Ты за нашего Володьку не страдай, он с малолетства будет к делу привычен. Не то что ты: ни товоха, ни севоха. Небось по-твоему, подрастет наш Володька — в пастухи пойдет? Навроде тебя, да? Не-ет, он с отцом вместе на трактор да на комбайн. Вот так-то. В пастухи — это последнее дело.

— Потерпи,— весело добавил Валера.— Скоро уедем в Вяхирево, а ты останешься.

— Поезжай-поезжай, устраивай и в Вяхиреве отхожее место. После тебя только это и остается.

— Я тебе сейчас холку намну,— пообещал Сторожок и даже вроде бы приподнялся со ступеньки, на которой сидел.

— А я тебе,— тотчас сказал Семен; подраться он вообще-то любил.— Сколько раз говорить: здесь-то не погань — озеро ведь рядом! О-зе-ро!

— А пошел ты,— лихо послал его Сторожок, а бабы кое-что добавили и смеялись обидно.

Победа была явно на их стороне — численное превосходство все-таки!— потому Сторожок опять заулыбался.

— Ну, погоди,— Семена больше всего злила эта ослепительная белозубая улыбка врага.— Я тебе устрою, чтоб волна качала берега. Погоди, погоди, узнаешь меня.

А чем грозил, и сам не знал. Так уж, для умиротворения собственной души.

Они жили на разных концах деревни, и это было, конечно, не случайно: так распорядилась судьба. Она всегда распоряжается не абы как, а со смыслом. Потому совсем неспроста было и то, что иногда из вражеского лагеря прибегал именно к Семену Размахаеву четырехлеток Володька, пахнущий бензином, испачканный мазутом, в обсолидоленных штанишках, с тавотом под ногтями, с машинным маслом в волосах... Мудрено ли: возле дома своего шлепнется ребенок на бегу — попадет или в солидол, или в лужу с радужными разводами; поиграть — лезет под трактор, а сверху на него капает, схватится за ложку поесть — ложку только что отец брал грязными лапами...

— Вот собаки!— бормотал Семен и сразу вел Володьку к озеру.

— Собак разводят, чтоб шкуру с них снимать,— звенел парнишка.— У них шкура теплая, на шапку годится и на рукавицы. Так папа говорил.

— Надо же!— тихонько дивился Семен и на берегу стаскивал с Володьки одежонку.— Ему лишь бы шкуру содрать.

Откуда он родом, Валера Сторожков? Говорят, с какой-то железнодорожной станции. Так что же, на той станции не было леса и речки или хотя бы хорошего пруда с рыбой? Что у него в душе? Почему он совсем без понятия-то?

— От коровы молоко, от курицы яйца, а вот от грачей и воробьев ничего,— рассуждал маленький вражонок.— Зачем же они живут?

Из него следовало воспитать человека с понятием, иначе он много бед натворит.

— Это-то ладно... а пошто ты, парень, опять бензин пил?

— Я не пил! Только попробовал.

— Посмотри, какая вода в нашем озере... А ты — бензин. Я-то тебя умным мужиком считаю, а ты? Сколько раз говорить...

Семен заводил парнишку на мелководье, они оба черпали воду пригоршнями и пили.

— У нас тут не просто какой-то водоем, а царь-озеро. Ты это запомни. Оно нам в наследство оставлено нашими

дедами и прадедами, они его сохранили и сберегли, теперь нам с тобой его хранить и беречь. Соображаешь?

Старший намыливал травяную мочалку и принимался тереть маленького, приговаривая

— Вот так... вот так... Тут вода целебная. Будешь у меня, как ядрышко из ореховой скорлупки. Как грибок, который с хрустом вылез после дождичка.

И вспоминал обидный упрек Таньки: у тебя, мол, своего-то нет.

Почему, в самом деле, не было у Семена Размахаева такого парнишечки? Так опять распорядилась судьба, а она не всегда справедлива. Обостренное отцовское чувство владело им, когда он легонько, бережно тер мочалкой плечики, выгнутую спинку, старательно намыливал круглую русую головенку...

Володька ежился, жмурился, тер глаза.

— Дядь Сема, давай про золотую рыбку,— звенел он,— а то зареву! Мыло щиплется.

Сто раз уже рассказывал Семен Володьке, можно и еще.

— Не реви... Жили-были старик со старухой у самого синего моря... вот как у нашего озера, на берегу... Старик ловил неводом рыбу...

— Я папе сказал, а он говорит: браконьер твой старик.

— Не слушай его, слушай меня... Старик ловил неводом рыбу, а старуха пряла свою пряжу. Вот однажды закинул он невод, пришел невод с одною тиной...

— А потом с золотой рыбкой?

— Погоди, парень, не спеши... Второй раз закинул невод — пришел невод с травою морскою. Он и в третий раз закинул невод...

Однажды (рассказать — никто не поверит!) во время очередного отмывания Володьки от машинного масла приплыла к ним и в самом деле рыбка из озерной глуби сюда, на мелководье. Они оба разом увидели ее в двух шагах от себя среди кусточков осоки и замерли. И она смотрела на них выпуклыми немигающими глазами, то одним, а то повернется и — другим. Рыбка была довольно большая, с ладонь, золотая чешуя ее посвечивала на солнце, играла, переливалась, когда она так божественно шевелила плавниками и хвостом. Семен явственно увидел, как она открыла рот и что-то сказала им, но что именно, не было слышно. И еще: Семену показалось, что рыба улыбается,

ласково и дружелюбно. Выпустила изо рта хрустальный пузырек, повернулась — золотом осиянно осветился бок ее в крупных и мелких чешуйках — и уплыла...

— Видал?— в восторженном онемении спросил Семен Володьку.

— Видал,— шепотом сказал Володька и оглянулся на Семена: как же, мол, все это понимать?

— Не шевелись, она опять приплывет... в чешуе, как жар, горя.

Стояли, замерши, напряженно вглядываясь в воду. Ветер налетел, блики засверкали по всему озеру, и показалось, что тут и там мелькнули сразу несколько играющих рыбок, уже не в золотой, а в серебряной чешуе.

— Их много, таких красивых лягушек?— спросил Володька.

— Ты что, это ж была рыбка!

— Не-ет,— убежденно возразил Володька.— Я своими глазами видел: лягуха... только очень красивая, в чешуе. Сначала-то она была рыбка, а потом превратилась в лягушку.

Тут и Семен засомневался: боковые-то плавнички и впрямь похожи были на лапки, и хвостом она шевелила как-то иначе, не похоже на рыбку, может, это не хвост, а задние лапы, сложенные вместе? У парнишки глаза острее, он не мог ошибиться.

Такое вот происшествие случилось, они его долго потом обсуждали и всегда о нем помнили.

Всякий раз, когда Володька, вымытый и обстиранный Семеном, возвращался домой, там тотчас догадывались, откуда он явился, где был. «Больше не ходи к нему, слышишь?»— наказывали Володьке, но дружеские чувства сильнее родственных, и парнишка прибегал тайком.

— Ты что — предатель?— грозно допрашивал его отец, явно испытывая ревность к Размахаю.

— Не-а,— говорил Володька и опять обещал не бывать на другом конце деревни, однако сдержать обещание был не в силах.

А Семену доставлял неизъяснимое наслаждение тот факт, что во вражеском стане он имеет своего человека. Это в корне подрывало неприятельскую силу, конечный итог противоборства представлялся Размахаю победным.

— У меня своя агентура,— ухмылялся он мстительно.— Быть вашему Володьке пастухом, а не трактористом.

И вздыхал: как жаль, как жаль, что у него, Семена Размахаева, нет своего вот такого парнишечки, своего сына! А если был бы...

3

Размахаевский дом к озеру самый крайний; стоял, правда, немного бочком, а смотрел всеми тремя фасадными окнами на водное зеркало неотрывно, словно завороженный; таков уж облик у дома, таково уж выражение на его лице и во всей фигуре: похоже, что приглядывал за озером этак ревниво и строго, как хороший пастух за стадом.

У палисадника перед домом время от времени вырастали кусты сирени, но как дотянутся они до подоконника, Семен непременно вырубал их — чтоб не закрывали вида. А посидеть, уставясь в задумчивости на озеро, для него первое дело, с тем он и вырос, без этого и жизни своей теперь уж не мыслил. Должно быть, от долгого созерцания небесной синевы, утонувшей в воде, с годами ярче синели и глаза Семена, придавая ему все более и более простодушное, ребяческое выражение.

Неутолимая жажда смотрения и размышления владела Семеном Размахаевым, и он тратил на это немалое время, а вообще-то мужик был неленивый и очень счастливо к ремеслам способный. Понравится какое дело — исполнял так, что любо-дорого смотреть; а не по душе — отвернется и задумается, тогда его не стронешь. Вот, скажем, выучился на механизатора самого широкого профиля — и на тракторе может, и на автомашине, и на комбайне, а проработал только одно лето, после чего плюнул и пошел в пастухи. Не от большого ума — так все решили. Стадо в Архиполовке невеликое, много не заработаешь, а главное, зачем учился? Государство на него средства потратило, председатель Сверкалов на него рассчитывал, а он — коров пасти. Разве это разумно? Однако сколько ни переубеждали — отвратилась душа Семена от техники, и все тут.

К тому же как посмотреть... Конечно, техника ему легко давалась, спору нет, а вот задумчивость губила. Время от времени на него словно остолбенение находило, и тогда все валилось из рук; он думал углубленно и сосредоточенно, уставясь обычно на озеро, и в эту пору ничем заниматься уже не мог. Такому ли человеку за рулем сидеть? Вот и выходит, что судьба распорядилась мудро, лишив колхоз механизатора и превратив Размахая в пастуха.

Скотный двор в Архиполовке давно уже старый — в обед сто лет будет. Пока стоит, а может и упасть, поднявши трухлявый дымок. Коров, которые в личных хозяйствах, на пальцах перечтешь: ну у самого Размахая, конечно, имеется — зовут Светка; у соседки бабы Веры — Малинка; у подруг-доярок Полины да Катерины две холмогорки, сестры; у безногого Осипа Кострикина, дважды ветерана (войны и труда) — комолая красавица Милашка; у Холеры Сторожкова — Сестричка, рыжая, с палевыми боками и в черных чулках.

И вот как станет перебирать Семен коров в своей деревне, до Сестрички дойдет — хмурится, мрачнеет: настроение сразу портилось при воспоминании. Не о корове, конечно, а об ее хозяине. Это ж не человек, а болезненное явление на земле, как болячка или прыщ, он Размахаеву Семену враг номер один, которого непременно следовало если не сокрушить, то хотя бы укоротить — так норовистую кобылку впячивают в оглобли, чтоб не лягалась.

Он чужеземец, но не в том вина Сторожка, а вот что не дорожил ничем здесь и не щадил ничего — тут нет ему прощения.

«Его не вразумишь,— качал головой Семен, размышляя,— у него желудок в голове, и там только пищеварение, никакого ума. Даже Сестричка умнее его».

Итого, всего-навсего, набиралось семь коров. И все. Ну и, конечно, ферма — это, значит, шестьдесят голов. Председатель все собирался ликвиднуть ее, но бог не насовсем еще лишил этого человека разума — одумался Сверкалов: все-таки пастбища вокруг озера, а гонять сюда стадо из Вяхирева — далеко.

Десяток домов — вся и деревня. А сколько рабочих рук? Сосчитать: доярки, Холера-тракторист да он, Семен Размахаев, за старшего куда пошлют — вот и все. Остальные пенсионеры.

Правду сказать, его руки кое-что стоили: мужик работящий (примется за дело — неведомо как унять) — такова, кстати сказать, вся размахаевская порода; плотничать может, столярничать(на огороде в вишеннике теремок для уединения сделал: у людей на такую кабинку посмотришь и плюнешь, а на Семенову залюбуешься: деревянной резьбой украшено, веселой красочкой расписано); и печку складть — лучше его нет мастера; и даже, взявшись однажды, колодец соорудил. Один, без посторонней помощи, зато с использованием им самим придуманных приспособлений.

Долго, правда, он с ним возился, но и выкопал, и сруб сделал, а над срубом опять-таки затейливый теремок поставил и тоже красочкой расписал, не хуже любого настоящего художника. Теперь они стоят, как два братца, теремочки эти — один перед домом, другой на огороде. Похожи, верно, а только по сути-то что же в них похожего?

«Вот и люди так,— философствовал мастер за этой работой.— Один добро творит, будто чистой водой поит; другой хлеб в дерьмо переводит, и больше ничего. А снаружи-то посмотреть — одинаковы!»

С колодцем, правда, неувязочка получилась: чудной какой-то — зимой уходит из него вода. Не иссякает постепенно, а как-то в два-три приема отступит — и нету ее. А ведь не на сухом месте вырыл ее Размахай — берег хоть и высокий тут, но до озера-то рукой подать! Почти весь год черпается нормально, и зимой, и летом, да вдруг однажды отступит глубоко, потом и вовсе ведерко брякает на промерзлое дно: нету воды, то ли ушла вниз, то ли вверх испарилась. Словно заговоренная.

Семен колодец свой рыл как раз в январе — феврале. Он с ломиком и заступом вглубь, и вода вглубь — отступала, отступала, все дальше и дальше. Над ним Сторожок потешался:

— Ты, Семен Степаныч, имей в виду: земля-то имеет форму чемодана, и с той стороны, как раз напротив нашей Архиполовки,— Вашингтон; вылезешь — там тебя изловят, как шпиона, и не оправдаешься!

Остряк... Посмешнее ничего придумать не может. Так, дурь какую-нибудь.

Размахай не слушал никого, копал и копал дальше, свято веруя в успех. Глубина в его колодце стала — эхо отдавалось через трое суток. Старушка Вера Антоновна стала беспокоиться, уговаривать соседа принялась:

— Уймись, Сема! Выкопаешь какую-нибудь беду.

Это она слышала, что нефтяные да газовые фонтаны, бывает, ударят из глубины, если этак-то землю дырявить.

Нефти и газа Размахай не открыл, но добрался до загадок: вдруг пошел грунт песчаный, а песочек попадался слоями, чистый-чистый; на снег его выбросишь — горит ярым желтым цветом, и в нем искры. Вскоре пустота вдруг открылась сбоку, в сторону озера — то ли карман, то ли пещера — и это страшно заинтересовало землекопа, но тут вода прихлынула, стала подниматься и вытеснила его наверх. Она вернулась в марте, под капель, но то была не вер-

ховая талая, а глубинная вода. Если выпить чарочку — зубы ломит от студености, а по жилам холодный огонь — сразу готов к труду и обороне. Откуда же она пришла? Ясно, что из каких-то неведомых глубин. Но какая сила ее толкала?

Было над чем поразмыслить.

— То-то... Глупый вы народ! — заявил строитель воодушевленно.— Вам бы черпать круглый год? Тут вам не водопровод.

Он иногда выражался этак кругловато, по крайней мере ему нравилась ритмически организованная и даже рифмованная речь, потому и не избегал ее. Нет, не избегал. Молвит — словно из книжки присказку вынет — слова ладненькие, кругленькие, будто колесики, и что самое примечательное, в каждом вроде бы два-три «о» лишних. Именно за округлость любил Семен и слово «озеро».

— Потому «озеро», что обзор большой,— голос его обретал поучительный тон.— Оглядывать можно далеко, и зори в нем отстаиваются. О-зе-ро!— произносил торжественно и рукой поводил и взором.— О-зе-ро. Оно и само как око земное.

Так убедительно говорил, что любой слушавший невольно впадал в размышление.

А вот жена Семена в задумчивость не впадала, на нее мужнины рассуждения оказывали совсем иное действие: сердилась. Скажет он что-нибудь этакое — она упрет руки в бока и выразится так:

— Из распашонок вырос, до школьной формы не дорос. Не в своем уме — в ребячьем, так и помрешь младенцем.

Жене своей муж рассказывал сказки про озеро, она дивилась и ругалась, не зная, как к этому относиться. Ну посудите сами: и берега-то качаются, и камень-то на острове — не камень вовсе, а чей-то престол, на котором кто-то ночами посиживает; и родничок-то там сочится не зря. И есть, мол, меж озерами и звездным небесным миром какая-то неведомая связь, и что сам он, Семен Размахаев, отмечен...

В подтверждение последнего засучал рукав рубахи: на левой руке ниже локтевого сгиба семь родимых пятен расположились, точь-в-точь как звездочки Большой Медведицы: четыре родинки — сам ковшичек, и три — его изогнутая рукоятка.

Такое не у каждого есть. Такое хоть кого повергнет в удивление.

— А потому меня отметили,— объяснил Семен,— что я у судьбы в резерве. Я не зря на свете живу и уж недаром, что именно здесь.

— Свихнулся мужик!— говорила жена.— Экое диво – родинки! Да у меня их поболе, на любой вкус.

— Расположение не то,— спокойно возражал Семен.

Она была женщиной практического склада, отвлеченностей не жаловала, а чтила простой жизненный обиход, потому небесный знак на руке мужа не шибко ее озадачивал: работай знай, нечего родинки разглядывать да на озеро пялиться, за это денег не платят.

Именно на этом рубеже супруги и противоборствовали. Пошлет она его за водой, он забредет по колено и стоит, будто пораженный громом. Или нагнется и следит, как перекатываются по дну песчинки, образуя точно такую же рябь, что и на поверхности от легкого-легкого ветерка; и как торопится по этой подводной пустыне рак или жук, как играют у ног мальки...

— Опять остолбенел!— жена в сокрушении сердца хлопала себя по широким бедрам и кричала ему так, что звуки «о» выкатывались у нее из горла, грозно громыхая, как тележные колеса:— Очнись, нетопырь! Что ты остановился-то, остолоп!

Она была ругательница, жена Семена, и шибко его притесняла. Притесняла до тех пор, пока не спуталась с заезжим шофером, присланным с шефами из города на уборку картошки. После увлекательного шефства, которое происходило не совсем тайно — где ж тут утаишь, кругом родные просторы, населенные догадливыми людьми!— укатила она в Соликамск... или в Солигалич?.. Куда-то в ту сторону, хотя муж из дому ее не прогонял да и вообще не попрекал случившимся, а только очень удивился. Она, может, оттого и уехала, что слишком глубоко было мужнино изумление: хоть и ругательница была, но не сказать, чтоб совсем без совести баба.

Случилось это не нынешним, а прошлым летом, Семен уже привык жить бобылем, но с недавних пор к нему стала наведываться из соседней деревни дальняя родственница Маня Осоргина, которая вроде бы приходилась двоюродной сестрой его жене или троюродной племянницей его матери. В общем, как говорится, седьмая вода на киселе, однако же свой человек, и все тут.

Гостья эта тоже поворчать была не прочь, но именно поворчать, да и то по-доброму, а отнюдь не ругаться.

— Господи, для чего мужики живут? — говорила Маня, едва вступив на крыльцо Семенова дома.— Они ж чистого места в доме не оставят! Везде намусорят, натопчут, ни одну вещь к месту не приберут. Сто раз наказывала: сапоги снимай у порога. Было такое или нет? В сенях-то, глядика, грязи наносил, будто там лошади постоем стояли. А в избе-е-е... Нет, я спрашиваю, зачем вообще мужики на свет родятся? Какая от них польза?

Семен отвечал, что, мол, если уж они родятся, то наверняка не зря. В природе ни камень, ни птаха, ни озерная вода — что ни возьми!— не появляются просто так, а все со смыслом. Согласно этому смыслу надо с ними и поступать. И как знать, авось и от него, Семена Размахаева, будет толк, авось и ему найдут полезное применение.

Слушая его, Маня усмехалась и, минуты не медля, засучивала рукава кофты, принималась за дела. Все вещи в Размахаевом жилье приходили в движение: двери хлопали и окна распахивались настежь, так что ветер гулял во всех помещениях вплоть до подклети, стулья и скамьи кочевали с места на место, подушки и одеяла с кровати — на улицу и обратно... при этом радио говорило человеческим голосом, телевизор пел под собственную музыку, самовар шумел, квашонка пыхала ароматом сдобного теста... Но самое удивительное: куры во дворе вдруг принимались дружно нестись, а кошка Барыня приволакивала откуда-то мышь и клала посреди передней, будто отчет за минувший период...

Полы и в жилой избе, и в сенях, и на крыльце Маня в обязательном порядке мыла, натирала дресвой при посредстве веника-голичка — натирала вдохновенно и самозабвенно, то и дело отводя пряди волос от мокрого лба, и любо было при этом смотреть на крепкие ее ноги да лопатки, ходуном ходившие по спине, на... впрочем, Семен старался не смотреть особо-то.

— Давай помогу,— предлагал он.

— А иди к черту!— посылала его гостья.— Твое дело только грязь в избу таскать.

Семен удовлетворенно ухмылялся, но к черту не шел, а слонялся возле дома, заглядывал в окна и двери и делал вид, что занят каким-то делом.

Маня топила печь, варила щей ведерный чугун, пекла ватрухи неимоверной величины и сдобные лепешки в таком количестве, что Семен не съедал потом и за неделю, они черствели и оттого становились еще вкуснее; осенью наквасила капусты, насушила грибов, насолила огурцов — все

впрок, все в запас! Накормив мужика и обстирав его, приведя в образцовый порядок дом и хозяйство, она исчезала. Вопрос, зачем нужны мужики на завершающей стадии ее работы почему-то уже не возникал.

Когда кончалась Манина еда — щи, ватрухи,— Семен некоторое время голодал, искал по углам, не осталось ли чего-нибудь еще, не завалялась ли где лепешка или пирожок с грибами, а потом переходил на свою обычную пищу, каковой являлся овсяный кисель. О, это была еда, любимая им!

Вот смелет он на ручных жерновах лукошко овса, замочит — непременно в холодной колодезной воде!— с вечера на утро или с утра на обед десяток горстей овсяной муки, перед варкой хорошенько разомнет руками это месиво и сцедит молочную жидкость, после чего на огонь ее. Тут уж стой, не отходи.

У овсяного киселя есть одна хлопотная особенность: при варке он капризен, требует к себе полного внимания, словно невеста от жениха. Если уж ты за него взялся, то вари, а ворон не считай, иначе пригорит. Внимания же, известное дело, вечно не хватает человеку размышляющему или мечтательному.

В глубокой задумчивости Семен бывал отнюдь не всегда, и кисель получался чаще всего отменный, но при мечтательном его настроении обязательно, собака, пригорал. Так что не отвлекайся, а стой и помешивай, помешивай...

— Ты это чего варишь, дядя Семен?— спрашивал Володька, вражий сын, но сам отнюдь не враг Размахаю; спрашивал так, когда оказывался в гостях.

— Клейстер,— отвечал Семен.

У него выговаривалось «клистир»

— А мне дашь клистиру?

— Да уж как водится.

Варить долго не надо: через несколько минут после того, как закипит, начнет киселек убираться в середину, этакой вороночкой — ну и готово. Теперь разливай его по тарелкам и ешь в горячем и холодном виде с черным хлебом, щедро посыпая солью — овсяный кисель соль любит!— и, конечно, поливая подсолнечным маслом; можно и с молоком. Еда эта такая, что и жевать не надо, болтанешь языком — всего и делов.

Кисель утром, кисель в обед, кисель вечером... В сенях два мешка овса, с голоду не помрешь.

— Еда богатырей, ешь поскорей,— приговаривал Семен,

угощая своего юного приятеля Володьку.— Они мясо не ели, потому и силу имели.

Сам он не богатырь, но хорошего роста, правда, немного сутуловат, небравый, к тому же изрядно щербат и в верхних зубах, и нижних. Впрочем, щербины видны лишь когда он улыбался, потому Размахай старался зубов попусту не скалить, а быть построже. Может, из-за всего этого он выглядел старше своих сорока с небольшим — лет этак на десять — пятнадцать; однако шапку зимой и кепочку летом носил, фасонисто сдвинув на ухо, отчего вид имел довольно лихой, молодцеватый. Хоть и не богатырь, хоть и то и се, но ничем никогда не болел, во всяком случае в больницу нога его не ступала, вот только остолбеневал время от времени. Ну мало ли у кого что приключается, и всегда ли все ясно, недостаток это или достоинство!

Если говорить всерьез о Семене Размахаеве, то в первую очередь следовало бы сказать о достоянии, которым обладал он один и больше никто в его деревне, да и далеко окрест... Но об этом потом. Тут надо сначала кое-что объяснить; об этом не всякому расскажешь, потому как не каждый может понять. Семен сознавал свое великое богатство, коим владел тайно, а посему поглядывал на людей со снисходительной жалостью и даже свысока — у них этого нет, и они сами в том виноваты. Он жил в своей Архиполовке немного наособицу, неулыбчивый, но не злой, странно временами столбенеющий, но ведь не дурак, и руки умелые; свой человек для всех и в то же время, черт его знает, чудной какой-то.

Свои деревенские знали всю его родову: и отца — Степана Лукича, пришедшего с Великой Отечественной без ноги, однако же собственноручно построившего себе дом, что и доныне стоит; и мать, умершую после того, как заработала себе от поднятия тяжестей две грыжи; и деда Луку Савельича, носившего замечательную рыжую бороду, он, между прочим, знаменит был тем, что лучше всех сеял — горсть у него была самая емкая и рука отмашистая; и прадеда Савелия Кузьмича еще помнили — кузницей владел и за кузнечной своей работой (подковы, ободья для колес, замки, тележные курки) петь любил, с чем и остался в памяти... Ну, а самого-то Семена знали как облупленного, здесь вырос.

Семена любили и в то же время сторонились, словно даже побаивались, как побаиваются чего-то непонятного, необъяснимого. Впрочем, боязнь — наверно, не то слово.

Тут нужно другое, которое обозначало бы настороженность с пренебрежением, шутливость с издевкой — вот такой сплав.

Каждый строил отношения с Размахаем на свой манер, сообразно своему характеру.

Вот соседка Вера Антоновна, хитрая старушонка из бывших сельсоветских работниц, убеждена, что умнее ее в Архиполовке никого нет. Она, мол, все знает, всех насквозь видит, все понимает... а что касается соседа Семена, то он перед нею совсем дурачок. А чего уж, у самой умишко-то куриный — жалость одна. Но незлобива старушка, и то ладно. К тому же чем старее она становится, тем больше заинтересована в его соседской помощи: то ведро в колодце утопит — «Семен Степаныч, достань»· то хлеб кончился — «Сема, ты пойдешь ли в Вяхирево? Прихвати и мне хлебушка из магазина...»; то калитка оторвалась, лист шиферный с крыши снесло, радио «не играет»— Размахай по-соседски сделает, поправит.

А вот Осип Кострикин, хоть и безногий, хоть и больной, никогда ни о чем не попросит. Скорее к нему на поклон пойдешь: у Осипа лошадь есть. Говорит: я ее вместо самоходной инвалидной коляски держу. И верно, куда б ему ни занадобилось — запряжет меринка своего Ковбоя в дрожки ли, в сани ли, смотря по времени года, ременные вожжи тронет — и поехал, покатил!

Осип Кострикин — хозяин. У него телевизор цветной, ковер на стене, хрусталь в буфете и баба толстая, молодая — всего пятидесяти лет.

Ну, доярки Полина с Катериной — эти балаболки. Дома ихние смотрят друг на друга через дорогу, словно переговариваются, как и их хозяйки. Одна замужем побывала, вторая нет, а детей-то ни у той, ни у другой. На Семена они давно поглядывали-поглядывали да и плюнули от досады: никакого проку от мужика, особенно с тех пор, как Маня Осоргина к нему наповадилась.

Вот, собственно, и все население деревни. Остальные — старушки, которые то жили здесь, то к детям уходили. А чаще наоборот, к ним самим кто-то наведывался. Сбродная какая-то стала деревня, наполовину неоседлое население.

Так вот, все эти люди считали свое озеро рядовым и настойчивое желание Размахая дать ему имя Царь-озеро никак не поддерживали. Что ж, то не вина их, а беда: они не знали самого главного...

4

В предзимье, когда стадо уже не выгонялось на волю, Семен Размахаев превратился, как и в прежние годы, из пастуха в скотника. А по совместительству, по мере надобности, был еще и «подменной дояркой», слесарем-наладчиком немудреных механизмов при поении, кормлении и доении коров, иногда и ветеринаром, если настоящий ветеринар не мог добраться до Архиповки, которая у черта на куличках.

Но что бы он ни делал, чем бы ни занимался, душа его была обращена к озеру. А оно в эту пору всегда неспокойно: металось, словно в тоске и му́ке хотело выплеснуться, вырваться со своего ложа; будто оно живое и чьи-то неумолимые когтистые лапы уже схватили его, отчего оно и мечется, стонет. Семен в эти дни был и сам тревожен, неспокоен; бессонница маяла, аппетит пропадал, и все валилось из рук: дома овсяный кисель у него подгорал, на скотном дворе компрессор, чиненый и латаный и слушающийся только Семенова слова, не давал в доильные аппараты необходимой тяги... а тут еще Маня, как на грех, из-за непогоды и бездорожья не приходила.

От скотного ли двора, от своего ли дома Семен то и дело оглядывался на озеро; ветер наваливался откуда-то из-за леса, рвал последнюю листву с побережных кустов и молодых деревьев, пенил воду и гнал волну — волна качала берега!

Но как и в прежние годы, при первых крепких морозах оно затихло и некоторое время, целую ночь, а потом и день лежало неподвижно: то ли умиротворенное, успокоенное, то ли просто покорившееся судьбе. И вот тут поверхность его схватило ледком, прозрачным и тонким, как оконное стекло. Этот миг был неуловим: только что колыхалась или едва заметно вздрагивала водная гладь, можно было даже слышать игольно-тонкое позванивание льдинок, и вдруг уже остеклена, неподвижна.

Еще один день и одна ночь — лед стал с половицу толщиной; от молодости своей он хрупок: чуть топнешь ногой у берега — тотчас бежит трещина из края в край, будто молния по грозовой туче. А уж гулять можно по озеру — ледяной хрящик хоть и не заматерел, не стал еще костяной крепости, но уже достаточно прочен. Неделю продержался мороз — и вот уже хоть за дровами поезжай

на лошадке на тот берег напрямик, будет держать уверенно как бетонный монолит.

Успокоение наступило в природе; Семен же, однако волновался все больше и больше — приближалось то время, которого он ждал с великим нетерпением, с замиранием сердца, как ребенок дня рождения, когда ему сделают желанный подарок: однажды, уже в декабре, из озера начинала уходить вода. Она уходила не вся сразу, а сперва отступила быстро и остановилась, замерла, а первый лед не успел осесть, цеплялся за берега, за острова, за кусты, в общем, держался самостоятельно. Морозный воздух проникал под него, и на некотором расстоянии от первого на озерной поверхности за несколько дней намерзал следующий слой льда, такой же крепкий. По нему тоже простреливали трещины, перехлестывая одна другую, но потом и он затих.

И вот тут наступил долгожданный час, тот самый, о котором столько думалось.

В густом ивняке у берега Семен Размахаев спустился к озеру, пробил во льду широкий лаз, сел на корточки и, как курица, склонив голову набок, заглянул под его верхний слой. Озерная пустота дышала морозом, инеем, льдом. Жутковато немного было, но что-то властно манило и втягивало — Семен, повинуясь этому зову, лег на живот и осторожно вполз в пустое пространство между ледяными настилами.

Нижний слой был зеркально отполирован и очень скользок. Толстые прозрачные сосульки свисали с верхнего слоя и упирались в нижний, поддерживая ледяные своды — так столбы в строениях держат потолки и крыши. Отталкиваясь от них ногами, Семен легко заскользил к середине озера, где был остров, потом опять к берегу уже в другом направлении, и опять к острову.

Непрерывный хрустальный звон сопровождал путешественника. Искрился иней прямо перед глазами — это оседал пар от его дыхания. Тонкие льдинки иногда отламывались от движения ноги его или руки, скользили долго, разбиваясь где-то на бесчисленные осколки, которые в свою очередь удалялись, истончая голоса.

Так путешествовал Семен по озеру вдоль и поперек, дивясь всему, что видел. Переворачиваясь на спину, глядел на размытый лик солнца, на очертания ползущих по небу облаков и радужные разводы вокруг застылых воздушных пузырьков.

Сквозь ясный лед, еще не присыпанный снегом, Семен отчетливо различал вверху летающих птиц: бойких галок, живущих в Архиполовке, заполошных сорок да строгих ворон, обитающих в окрестных лесах,— они, конечно же, разглядывали лежащего подо льдом человека и, надо полагать, живо обсуждали меж собой столь необычное природное явление.

А перевернешься лицом вниз — в воде и вовсе чудеса: там плавали красноперые окуни, жирные язи, стаи серебристой плотвы и вялые, дремлющие щуки... Семен вглядывался в подводный мир: «А куда подевались мои лягушечки? Не видать... Небось зарылись в донную грязь и спят себе... Такие красавицы — и в грязь. Что же, неужели до самой весны? Чем они там дышат?»

Пролом во льду, сделанный им возле ивового куста на берегу, стал дверью в ледяной озерный дом. Через этот ход уже залетали воробьи, чирикали оживленно; тут и там попискивали синицы и снегири; за ними охотилась кошка Барыня. Однажды запрыгнул заяц, спасаясь от кого-то, и забился в обледенелые заросли возле острова; и лиса раза два мелькнула, обшаривая берег в поисках мышей. Даже вороны заглядывали сюда, каркали строго, но не решались пуститься далее. Так что отнюдь не мертво, а обжито и даже весело было здесь.

Семен возвращался домой в приятной усталости, был задумчив, рассеян, душой его владело прекрасное, волшебное чувство.

— Ты где пропадаешь?— спрашивала навестившая его Маня.— Тебя искали.

— Кто?

— А доярки. У них там компрессор барахлит.

— Я ж им наладил утром.

— А он опять...

— Ничего, перебьются.

Маню удивляло, что отвечает он безучастным тоном, как говорящая кукла. Капризный компрессор совершенно не заботил его; Семен сидел, облокотившись на подоконник, и взглядом тянулся туда, откуда пришел.

— У бабы Веры пробки перегорели. Сходи, Сема, вверни новые.

Он молчал. Она нарочно приставала к нему с такими заботами, желая растормошить.

— Ты где находишься сейчас? — спрашивала Маня и

заглядывала ему в глаза.— Улетел за тридевять земель? Когда вернешься?

Ему в общем-то хотелось рассказать ей, где был, что видел, но нельзя, нельзя: не поверит она, и ничего, кроме полного конфуза, не выйдет из его откровенности; надо смириться с тем, что знание его неразделимо; он один во всем белом свете причастен к этой тайне, а остальным она не дастся, нет... Впрочем, если очень хочется, то можно попробовать ввести Маню в этот мир, как в сказку. Взять с нее страшную клятву, чтоб никому и никогда не проболталась, и рассказать все.

— С тобой что-то случилось, Сема?— допытывалась она.

— Тебе только расскажи,— ворчал он, томясь от бремени своей тайны.— Ты всем разболтаешь.

— Я? Да ни в жисть, Сем!

Нельзя было верить этой женщине, а как умолчать? Семен посомневался еще немного и начал будто нехотя, а потом все более и более воодушевляясь.

Маня слушала про ледяные зеркала, про сосульки-столбы, подпирающие прозрачный потолок, про тонкий хрустальный звон, сопровождающий каждое движение путешествующего, и прикрывала улыбку ладонью: он и раньше рассказывал ей всякие небылицы, то про лягушек-свистунов, то про ныряющих ласточек, а теперь вот, вишь, про зайца, который заскочил под лед и забился в оледенелую осоку, где каждый стебелек будто зеленая палочка в сладком леденце; зайца этого, конечно же, можно погладить и потрепать за уши; он, того и гляди, заговорит человеческим голосом; точно так же и лиса, которая разыскивает его, пробираясь по льду, оскальзывается; узнала Маня и про снегирей, скачущих тоже подо льдом, будто раскатываются краснобокие яблоки... Она круглила глаза, надувала щеки и наконец не выдержала, засмеялась, вздрагивая пышными плечами и пышной грудью; грубоватое, некрасивое лицо ее похорошело от этого смеха.

— Но я же сегодня белье полоскала на озере — подо льдом вода! Никуда она не отступила.

Семен не смеялся; он грустно смотрел на хохочущую Маню и объяснял вроде бы виновато:

— Возле нашей деревни заводь, она зимой это самое... обособляется. Озеро само по себе, а заводь сама по себе. Но речь не о том, погоди, не смейся.

Нет, она не могла всему этому верить. Да он и сам не

поверил бы, но ведь... путешествовал же! И это путешествие повергало его в глубокое раздумье.

— Я ведь тебя к чему подвожу-то!.. Ты представь себе, сколько живности всякой в этом мире! И жуки-плаунцы, и рыбы, и лягушки — все вместе! Одних лягушек не счесть, а двух одинаковых не сыскать. И тут же рядом с ними звери, птицы... Вон у меня сверчок Касьяшка под голбцем поет, а в подполе мыши пищат. И так повсюду. Теперь подумай: ведь мы притесняем их безбожно, вторгаемся в их жизнь и вносим великую сумятицу и суматоху, и губим, губим бессчетно. Зачем? Почему? И это у нас-то разум? Это мы-то цари природы?

— А ты не лазь куда тебя не просят,— советовала Маня.— Не пугай этих рыб да и меня тоже. Бог с ними, Сема! И сверчок твой мне надоел. Ты вот что скажи — корова у тебя скоро телиться будет. Устережешь ли?

Он не слушал ее:

— Ты не понимаешь. Я-то не вторгаюсь, не обо мне речь. Я беру в мировом масштабе, ясно тебе?

— Там без нас разберутся, в мировом-то масштабе. А вот со Светкой-то как быть? Отелится ночью, а ты по ночам дрыхнешь. Сказки-то мастер рассказывать, а телёночка застудишь: морозы день ото дня крепчают.

В позапрошлом году Светка отелилась днем. Семена дома не было — явился под вечер, сена бросил, пойло вынес — новорожденного в темноте-то не заметил. И так дня три. И вот, выйдя однажды во двор, услышал молодой телячий мык и глазам своим не поверил: теленок весело скачет по двору. Резвый, собака, и ужасно сообразительный оказался, глаза больно уж умные. Семен любил давать всякой твари человеческие имена и этого назвал Митей. Летом бегал Митя в стаде, а осенью Семен отвел его на колхозный двор и уговорил на племя оставить бычка: насовсем расставаться не хотелось.

А в прошлом году история повторилась, с той только разницей, что родилась телочка. И ее тоже взяли в колхозное стадо: хорошая порода, надо ее умножать — и удойная, и разумная.

Чего баба возникает? Не Семеново это дело — повитухой при Светке быть. Корова сама справится, не глупее его да и самой Мани тоже.

По ночам он, верно, спал хорошо: снились ему плавающие красноперые птицы и летающие рыбы с клювами, кошки с рыбьими глазами... А однажды ночью в животе

у Семена Размахаева вдруг проквакала лягушка. Он проснулся, пошарил рукой по одеялу — как она попала в постель?— и нащупал лежащую рядом Маню.

Лягушка проквакала еще раз, и теперь уже не было сомнений, что это именно в его животе, а не где-то в ином месте. Кажется, она уселась на печенке, перебирая холодными лапками, и опять аккуратненько, вежливо сказала: «Ква-ква».

Семен озадаченно пихнул Маню в бок, а та только сладко вздохнула и не отозвалась.

«Проглотил я, что ли, эту лягуху?»— подумал спросонок Семен, слушая, как щекотно хозяйничает она у него в животе. Стал вспоминать прожитый день — нет, лягушек не глотал, это точно. День был хороший, без особых происшествий, а вот ночь, нате вам, пожалуйста.

— Маня!— позвал Семен с затаенным дыханием и еще раз пихнул ее в бок.

— Му,— невнятно отозвалась та и сладко почмокала губами.

— Ты слышишь?

Она в ответ опять сказала свое «му» или «ну».

— Лягушку, говорю, слышала?

Маня пригребла его властной рукой, ткнулась лицом ему в плечо и продолжала спать. Да может, так-то и лучше: не дай бог проснется, тогда уж до рассвета не уснешь, это точно. Она живо растолкует, что будить женщину среди ночи без серьезной на то причины просто бессовестно.

Что же, собственно, теперь с этой лягушкой делать? В больницу идти? Спросят: на что жалуетесь, больной? Так, мол, и так, лягушка в животе завелась... Умора! Хорошо, если просто посмеются да и отпустят, а то ведь захотят проверить, все ли дома у мужика.

«А если и в самом деле обнаружат лягушку? Просветят рентгеном, а она сидит, животик себе почесывает. Что тогда?»

А тогда, надо полагать, посадят его, Семена Степаныча Размахаева, в музее или в зоопарке и будут показывать добрым людям за деньги.

«Ладно, пусть живет,— решил Семен сквозь полусон.— Всего и делов, что квакает... Не любо — не слушай, а жить не мешай. Закон для всех одинаков: живи и жить давай другим, хоть ты лягушка, хоть человек. Мирное сосуществование!»

От такой утешительной мысли уснул, и снилось ему, что лежит он — берег вместо изголовья, и ни рук, ни ног, только голова да брюхо просторное, величиной с озеро, и живет в нем одна-единственная лягушка, а больше никого. А потому одна, что поел он чего-то или даже выпил и вот отравил свое обширное чрево. Семен ужасно расстроился: как так, было столько живности, куда ж подевалась? Пусть бы плавали рыбы, шелестели осокой стрекозы, водили усами клешнятые раки. Как же он мог, Семен Размахаев, потравить эту всю живность? Уцелела только одна-единственная лягушка... Зато была она красавица, прямо-таки царевна: в чешуе, как у золотой рыбки, с бирюзовыми глазами, веселая, голосистая. Семен ясно видел ее у себя в животе-озере.

— Ква-ква,— напевала царевна-лягушка.— Ква-ква-ква.

То ли в яви напевала она, то ли так ему снилось... Скорее всего — сон. Он тек себе неспешной чередой, как майская ночь в темноте и теплоте...

«На что мне лягушка?..— продолжал думать Семен и во сне.— Была б золотая рыбка! А с лягушки разве спросишь?.. Приплыла бы ко мне рыбка, спросила: чего тебе надобно, сонная тетеря?.. Чего ты, мол, хочешь, Размахаюшко? А я ей в ответ: ничего, мол, не надобно, пусть только останется все, как есть, нетронутым... пусть только все останется... чтоб мирное сосуществование... чтоб все любили друг друга и никто б никому не мешал. Разве это невозможно? Ведь должно же быть хотя бы здесь разумно и справедливо, хотя бы на моем озере».

— Все, что в наших силах, сделаем,— утешал его кто-то лягушачьим голосом.— Но, может быть, ты что-то хочешь и для себя, а?

«Хочу, чтоб был у меня парнишечко свой, сынок... круглоголовенький, с белыми волосиками, чубчиком-скобочкой... с выгнутой спинкой... чтоб свой собственный, своя кровь, моя душа... был бы надежей и опорой, когда вырастет...»

— Не кручинься, будет у тебя сынок... Все в наших силах!

Сон колыхался, как озеро, покачивая его, и из глубин откуда-то выплыли ухмыляющиеся рожи Сверкалова и Холеры Сторожка: «А не будет твой сын пастухом — пойдет в трактористы! Он загонит трактор в озеро, чтоб мыть его, как лошадь, а остатки дизельного топлива сливать в воду...»

«Не-ет!— сердился Размахай.— Не по-вашему будет!»

«Нет, нет, нет»,— уверенно квакала и лягушка в лад ему.

«Не зря сказано: яблочко от яблоньки далеко не падает. Мой сын не пойдет поперек отца, он не предаст ни меня, ни озеро. И Володька не предаст. Мы все будем заодно...»

«Так, так, так»,— утешала лягушка.

Утром проснулся — живот пощупал: нет там никого! Надо же, чего только не приснится человеку во сне.

5

Все, что было до сих пор,— это только начало: как озеро замерзало, как лед нарастал этажами. Главное происходило потом.

Наступил день в середине зимы, а вернее в феврале, когда в Размахаевом колодце ведро брякнулось на твердое дно и возвратилось пустым; Семен догадался, что вода ушла и из озера. Вся.

Этот день сразу стал для него праздником. Ликующий, воодушевленный, отправился он в те кусты ивняка, державшие верхние слои льда наподобие крыши крыльца перед неким жильем, спустился в пролом, съехал по крутому обрыву до самого низа...

Каждый раз в такие минуты у него замирало дыхание и тонкие иголочки страха покалывали сердце — это чувство не оставляло его и потом, рождая тот восторг, от которого навертывались слезы. Счастье Семена в эти минуты было всецелым. Именно так: и страх, и восторг, и счастье — все вместе.

Серые сумерки, подголубленные сверху, окружали его. Где-то хрустально журчал ручеек, да и не один. Длинные сосули свешивались от ледяного потолка, кое-где упираясь в дно, гирлянды поблеклых водорослей обвивали их или просто лежали на дне. Чистейший песок яро желтел, особенно там, где пробивались из земли роднички. На пригорках, где приходилось слегка нагибаться, чтоб не стукнуться головой о ледяной потолок, хрустело под ногами мерзлое водяное былье и пахло почему-то клейкими стрекозиными крылышками. Лед над головой нестерпимо голубел; желтый диск солнца плавился в нем, как комок масла на сковороде.

В бывших заливах и возле острова Семену открыва-

лись пространства с такими высокими сводами, какие он видел разве что на московских вокзалах. Здесь можно было поместить не один дворец...

«Вот откуда все эти придумки насчет подводных теремов и водяных царей!— догадался Семен.— Кто-то задолго до меня уже видел такое же, потом рассказывал, а люди ему не верили, принимали за выдумку. А ведь ничего нельзя выдумать на пустом-то месте, чтоб ни на что непохоже — все было, было!»

— В чешуе, как жар горя,— бормотал он, озираясь,— тридцать три богатыря... Все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор...

Тут и там в донных ямах с водой видимо-невидимо скопилось рыбы. Страстным рыбаком Размахай никогда не был, но тут проснулся в нем ловецкий азарт, который не унять. Он присел на корточки, опустил руки в ледяную воду и гладил лениво шевелящихся щук, заглядывал в тусклые глаза налимов и язей, переваливал с боку на бок горбатых от матерости лещей; целое месиво плотвы овсяными хлопьями шевелилось у него под ладонями...

Рыбы теперь были дружны меж собой, и щука уже не гоняла окуней, и окуни не гоняли уклеек, и жерех не покушался на красноперку — они совместно пережидали выпавшие им на долю невзгоды; потом, едва лишь прихлынет большая вода, вспомнят они старые порядки, когда одни догоняют, а другие спасаются,— а пока мирно плескались в исходящих паром ямах, жадно хватая верховую воду.

Семен ходил от ямы к яме, играл с рыбой, приговаривая: «Ишь ты! Ишь она...» — и не мог устоять перед искушением: выбирал себе сома. Непременно сома и чтоб самого большого. Огромную эту рыбину он перехватил по жабрам поясным ремнем и, перекинув ременную лямку через плечо, выволок на крутой обрыв и через пролом во льду — на берег; она лежала потом у него дома на полу, как бревно, и медленно засыпала.

В Размахаевом доме начался пир на много дней.

Рыбой пахла горячая печь, рыбный дух пропитывал кирпичи ее, толкал заслонку, наполнял все углы, пробивался в сени и на чердак. Изба сытно посапывала, довольная своим хозяином.

А Семен посиживал у окна, посматривал на заснеженное озеро, доставал из чугуна куски пахучей, ароматной сомятины, вкушая, держал почтительно обеими руками.

Жаль, что Маня в эти дни отсутствовала; жаль, что зимой Володька не мог добраться до него по сугробам — Семен сидел в одиночестве, и оттого его счастье не было полным.

А как бы удивился кто-нибудь, застав его за такой-то едой! И позавидовал бы, да и зауважал бы: забогател Семен!

— Разве можно поймать такую рыбину середь зимы?— спросил бы... ну, например, Осип Кострикин.— У тебя и сети нет, Размахай чертов! Как ты ухитрился?

То-то, что ухитрился. То-то, что сумел: голыми руками поймал.

Жаль только: нельзя с Володькой вместе спуститься на озерное дно и погулять там, держа парнишку за махонькую ручонку. А то-то он подивился бы! Но нельзя, нельзя: он расскажет отцу, а тот...

Если узнает Сторожок, въедет под лед на гусеничном тракторе, начерпает рыбы в прицепную тележку или сани, накладет стогом и — прямым ходом в город, на базар, чтоб продать и потом где-то в хитром месте купить магнитофонные ленты с оглушительной, как бомбежка, музыкой. Останутся на озерном дне только следы тракторных гусениц да разводы солярки. Да еще придется при встрече выслушивать бахвальство: «А я достал Рони Эдельмаса, Ферлуччи и рок-группу «Ковантере»... Да ведь ты, Семен Размахаич, в этом деле ни бум-бум, да? Глухо, как в танке, верно?»

У Сторожка свои удовольствия: врубит свой заморский магнитофон — домишко ходит ходуном; у коровы-ведерницы, которой придумали такое хорошее имя — Сестричка, пропадает молоко; Володька таращит глаза и начинает заикаться; галка, глядишь, летит по своим делам — над домом Сторожка ошалело закувыркается, плюхнется на землю, а дальше идет уже пешком и только на большом удалении очухается, взлетит.

Это у Холеры называется музыкой. Слава богу, что живет на противоположном конце деревни, а то Семену был бы выбор: или самому утопиться в озере, или эту аппаратуру украсть и утопить в отхожем месте.

Нечего и думать, чтоб кому-то рассказать, как ловится зимой в озере рыба! И ни-ни! Выловят, выгребут без всякого чуру, все подчистую, даже мелочь — мало того, повыдергают донную травку, запакостят чистый донный песок, затопчут роднички... И все-таки Семен чувствовал себя ви-

новатым: уволок рыбину в свой дом, как собака мозговую кость в конуру, и грызет-наслаждается в одиночестве, ни с кем не делясь. Нехорошо это. Некрасиво. А как быть?

Если, например, Сверкалову Витьке сказать, он что сделает? Небось начальство захочет ублажить, чтоб ему, председателю Сверкалову, потачку давали побольше. Устроит им выезд на природу, то есть сюда, залезут под лед пузатые начальники, разведут костер, поставят водочку на льдиночку... «А мне, Семену Размахаеву, прикажут у пролома стоять на стреме, чтоб их там никто не засвидетельствовал... Не-ет!.. Нет-нет, хрен вам всем! Никому я не скажу, а без меня вы ничего не узнаете... Ха-ха! Нашли дурака!»

Он благодушествовал, он ликовал, держа долю соминой спины в пригоршнях, как долю арбуза, и погружая в нее чуть ли не все лицо... и вареная голова сома поглядывала на него белым глазом, ухмылялась: владей мной, Сема, ешь меня, Размахай, не стесняйся...

Вокруг его избы на рыбный запах собрались все деревенские коты, именно на рыбный запах, а не к кошке Барыне. Но они людям ничего не могли сказать, и потому не знали о его, Семеновом, счастье ни соседка баба Вера, ни безногий Осип с толстухой-женой, ни доярки Полина и Катерина, ни Валера Сторожок с семейством.

Рыбу из донных ям можно мешками таскать, даже возами возить! Богатое ведь озеро, рыбное и никакими рыбхозами не обловленное. Но и в прежнюю зиму, и теперь Семен взял только одного старого сома. Больше ни-ни.

— Что я, спекулянт, что ли!— говорил он сам себе солидно.— Или браконьер какой? Умный человек не может быть жадным, жлобами и скупердяями бывают только дураки. Ну, а я с разумом мужик... у меня все по чести и по совести, как у этих... у них в отряде тридцать три и все богатыри...

Хоть и ростился, хоть и пыжился гордостью, а чего уж там по чести да по совести, когда не сомы его ели, а сам он ел сома — разница! Где ж тут справедливость? Она в братстве и равенстве, она в мирном соседстве, когда никто никого не обижает, никто никому не мешает и уж тем более один другого не ест, обсасывая каждую косточку. А нет справедливости — совесть и честь ни при чем.

Сознание этого смущало Семена, но он отгонял коварную мысль: «Во всех делах соблюдай меру! Это уж совсем быть глупым: посидел у рыбных ям и ушел с пустыми руками. Нет, все в меру: только одного сома. Ну разве что

маленьких окушков для навару. Ну разве что еще щуку для рыбного студня. И больше ничего».

Можно бы, конечно, бабе Вере преподнести соминый бочок — все-таки соседка!— но ведь она хитрая разиня-то: станет подсматривать да и выследит его. Сама в озеро не полезет, а другим разболтает, у нее не улежит! Из хорошего получится плохое, из добра — зло.

— Ладно, я ей летом щуку поймаю, она любит,— утешал себя Семен.— Неизвестно еще, полезна ли старикам жирная рыба...

А что касается Витьки Сверкалова... эх, разошлись дорожки давным-давно. И вот что чудно, если разобраться: они были поначалу, на заре-то жизни, вот в Володькином возрасте и постарше, друзья-приятели, то есть один, как и водится, повелитель, а другой — исполнитель. Чего Семка прикажет, то Витюшка выполнит; что Семка предложит, с тем Витюшка согласится. И никогда наоборот!

В школу ходили в Вяхирево: у Семы в портфеле рядом с учебниками ватруха сдобная, у Витюшки — ломоть черного хлеба посоля. Размахаевы — народ хозяйственный, не то что Сверкаловы, потому у Семки штаны собственные, на него и покупали, а Витюшке достались от старшего брата, уже обсмурыженные со всех сторон. Семка учился легко, весело — грамотей! А Витюшка соображал туго, из класса в класс переходил еле-еле.

Так и казалось: быть Размахаю председателем колхоза, а Витюшке идти в пастухи. А получилось наоборот. Почему? Да вот почему: очень уж читать любил Сема про всяческие путешествия, сказочные происшествия да про то, где какая живность водится и почему. Говорено ему было отцом: гляди, парень, книжки до добра не доведут, потому как жизни в них нет, одно отражение, как в зеркале, а раз так, то чему ж в них можно научиться! Главное-то все-таки жизнь! Но разве сыновья отцов слушают...

Мечтательным рос Размахайчик; в школе, верно, все положенное схватывал с лету — всякую эту алгебру, химию, физику — но как-то быстро забывал или пренебрегал ими, будто нестоящим. А Витька-тихоня усваивал с трудом, но прочно; уж у него из головенки ничего не выветривалось, все шло впрок: семилетку закончил на тройки, десятилетку — на четверки, в институт хоть с третьего захода, но поступил, а теперь вот прочно сидит на председательском стуле, словно врос в него, как турнепсина в грядку.

В то самое время, когда Размахай чем взрослее ста-

новился, тем рассеянней и задумчивей, друг его все увереннее стоял на земле, плечи его наливались силой, взгляд — твердостью, голос — басовитостью... и вот теперь Сверкалов Виктор Петрович распоряжался всем в округе, вершил судьбы людские, в том числе и судьбу бывшего своего друга, а Размахай ничего не решал, жил в избушке на берегу озера, и даже разбитое корыто нашлось бы в хозяйстве у него, если поискать. Именно Сверкалов, распоряжаясь тракторами да бульдозерами, экскаваторами да прочей техникой, приказывал, где что выкопать, выкорчевать или заровнять, какой холм снести или гору насыпать, который лес или болото уничтожить и куда какую проложить дорогу; именно он определял лицо родной стороны, а Размахай не имел никакой власти и не мог противостоять даже раздолбаю Сторожку.

Так кто хозяин жизни? Вопрос это не праздный, он не в самолюбие упирается, а в самое святое — судьбу родины.

«А вправду, кто?» — задумывался Семен, совершенно точно зная, что его друг, теперь уже бывший, этого вопроса себе не задает, ему-то все ясно: он власть — он и наверху.

Но ведь это не совсем так! Семен в утешение себе мог бы сказать, что ему доступно такое, о чем Сверкалов и не ведает. Можно жить с человеком бок о бок много лет и не понимать, чем он дышит; ходить по земле и не чувствовать ее сокровенной сути — таков удел глупых и глухих. Здесь объяснение их злых поступков. Бедный и нищий человек Виктор Петрович, председатель, именно бедный и нищий — какой он хозяин!

Можно было Размахаеву Семену думать так и этак, на то его вольная воля, но, пожалуй, одно преимущество имел Сверкалов, безусловно: когда у председателя передний зуб вывалился — он вставил золотой; а у пастуха порушилось в разное время шесть штук, самых передних — ему и железные вставить недосуг: так и живет со щербатым ртом, в то время как враги его щеголяют или белыми природными, или золотыми.

Каждое лето изо дня в день с апреля по октябрь выгонял он коров навстречу солнцу, и как оно неторопко поспешало по небу, так и пастух Размахаев неспешно двигался со своим стадом вокруг озера. Сам тоже пасся на берегу, редко заходя со стороны поля. Он не был водителем или повелителем стада, а просто находился при нем, как бы в одной компании с коровами, вот и все. Буренки и пестрянки занима-

лись своим жвачным делом, а он своим: плел корзины, выстругивал домишки для птиц, толковал с кем попало, будь то человек, или корова, или просто лягушка, читал книги...

Кстати, о книгах: они у него дома стояли на божнице, занимали посудный шкаф и лежали в сундуке; но было и несколько любимых, которые частенько совершали вместе с ним путешествие вокруг озера. Вид у них уже самый жалкий, поскольку уже мокли на дожде или за пазухой от пота (на обложке «Земли Санникова» ухо мамонта размыло), прожжены были угольками, что выстреливали из костра (такому испытанию подвергся многотерпеливый Робинзон), трепаны и мяты (угол книги Арсеньева «Дерсу Узала» теленок пожевал) — и от всего этого еще более любимы.

Еще одна книга почтительно хранилась дома в потаенном месте за доской припечка, толстая, с рисунками древних городов, странных людей, давно отшумевшей жизни — Семен никому ее не показывал. Впрочем, кое-кто знал о ней, например, Сверкалов. Он однажды приехал в Архиполовку с каким-то кандидатом наук, и оба пришли к Семену посмотреть на его главную книгу. Кандидат многозначительно сказал, что рисунки в ней принадлежат какому-то Гюставу Дорэ, и предложил Семену за нее сотенную, на что Размахай только хмыкнул презрительно. Тогда ему посулили двести, но ответ услышали тот же. Уехали ни с чем.

Чтение книг повергало его всегда в глубокую задумчивость, и то были самые заветные минуты. Он садился под куст, спускал босые ноги к воде и смотрел, смотрел — не на воду, а на все озеро сразу. Прекрасно было лицо его — плохо побритое, сильно загорелое, с хрящеватым носом и резкими надбровными дугами,— а особенно хороши глаза, кроткие, беспокойно-мечтательные, доверчиво-требовательные.

Стадо гуляло само по себе, пастух сидел сам по себе. При такой пастьбе Размахай непременно ближние поля потравит, и за лето раза два Сверкалов его оштрафует. Но на провинившегося это не влияло, ему, конечно, досадно было, он даже выражался в адрес председателя, однако поведения своего не менял. Да и не мог уже, наверно, изменить!

— Ты что пасешь, озеро или коров?— не раз увещевал его председатель, с которым некогда Сема Размахаев сидел на одной парте, и, казалось, не было на свете дружбы крепче, нежели у них.— Ты в состоянии выполнять самую элементарную работу или нет?

Не просто так спрашивал, а этак распекая, значит. И не беспричинно ведь! Вина пастуха была несомненна, от нее не отвертишься. В самом деле, кого он пасет? Не рыбьи ли стада? Не водоплавающую мелкую живность? Не побережных ли птиц?

«А все! И так должен делать каждый человек, кем бы он ни был: председатель или пастух, кандидат наук с сотенными бумажками или парнишка Володька».

— Пашня слишком близко придвинулась к берегу, стадо уже не может пройти свободно,— объяснял Семен.— Зачем ты велишь распахивать берега? Соображай маленько: если озеро лишится леса и кустов, оно обмелеет.

Тут Сверкалов свирепел и выражался, как в прежние времена, когда они вместе ходили в школу, по-свойски:

— Да заткнись ты со своим озером! Надоело слушать дурацкие рассуждения! Твое дело телячье: об.....ся и стой! Ясно? Тебе поручили стадо пасти! Ты слышишь? Стадо! А не пташек да рыбок. Исполняй ту работу, за которую деньги получаешь, а с остальным мы без тебя разберемся. Ты пастух или кто?

На архиполовской ферме коровы самые удойные, в полтора раза больше молока дают, чем на прочих колхозных — а это разве не заслуга Размахаева Семена? И телята архиполовские выгуливаются такие, что хоть на выставку. Председатель об этом знает прекрасно, так что пусть не попрекает куском хлеба.

— Товарищ Сверкалов,— издевался пастух над бывшим другом,— созерцание влечет за собой наблюдение, а оно в свою очередь рождает открытие. Я не просто так хожу возле стада — я думаю! И не ухмыляйся. Может, я открою что-нибудь такое, чтобы всех спасти от неминуемой гибели. Разве ты не видишь, к чему мы идем? Рубим сук, на котором сидим. И топор, между прочим, у тебя в руках, у тебя! Волна качает берега, скоро нас захлестнет.

Председатель, безнадежно махнув рукой — «Завел свою шарманку!» — отступался.

Они не говорили на задушевные темы давно уже, с тех блаженных детских лет, когда размахаевская ватруха с творогом и сверкаловский ломоть черного хлеба с солью разламывались поровну и каждому из закадычных друзей доставалась половина того и другого. А с тех пор... вот разве что время от времени, очень редко случался у них примерно такой разговорчик:

— Видишь ли, работа должна приносить человеку ра-

дость,— ронял Семен как бы между прочим.— Нет радости — значит, что-то не так, какое-то неустройство.

— А долг?— строго спрашивал Сверкалов.

— Что долг?

— Человек всегда обязан помнить о своем долге, Сема: хочется ли, не хочется ли, а исполняй работу. Радостно ли, нет ли, а изволь трудиться, приносить людям пользу. И желательно максимальную.

Такие поучительные рассуждения сердили Семена. В них все балабольство, все слова — шелуха. Что такое «польза»? Какое он, Сверкалов, вкладывает в это слово зерно смысла? Что действительно полезно — как он определяет? Или вот «долг». Опять неведомо что держит в этом словце, как в кожуре. Что такое «трудиться», «работа»? Труд труду рознь: один действительно необходим, а другой бессмыслица, нелепица! А раз нелепица, то при чем тут «исполняй» и «изволь»? Так что же в этом болтании языком? Все ложь, все пустое словоговорение, пустозвонство. Прямо-таки злоба охватывала Семена, когда приходилось ему выслушивать такое.

— Это полова,— хмуро отвечал он председателю.— То, что ты говоришь,— полова.

— Почему?!

— Ты исполнял свой долг, строя в Вяхиреве то силосную башню, то силосную траншею... а теперь вот животноводческий комплекс на полтора миллиона рублей отгрохал. Ну и что получилось? У вас тут ни пастбищ, ни кормов. Я тебе раньше говорил: зачем строишь? для чего городишь? А ты мне: так велят, я исполняю свой долг. А теперь что с твоими башнями, траншеями да комплексом? Молока прибавилось? Мяса стало больше? Ты исполняешь свой долг, а колхоз кругом в долгу... и комплекс в навозе потонул.

— Что ты мне, Сема, его под нос суешь, когда мы с тобой о призвании человека говорим, то есть о высоких материях, не о навозе.

— Да не другое, а все то же.

— Что ты можешь понимать! Не берись судить, Сема, ты тут ни уха, ни рыла...

Не очень связно, однако же напористо философ Размахаев объяснял философу Сверкалову: красота, мол, неотделима от пользы; если красиво — значит, полезно. Если, мол, работа человеку по душе, он ее исполнит красиво, то есть с максимальной пользой. А если он сам себя насилует, чтоб

чужой приказ исполнить,— толку чуть. Ну и так далее.

Сверкалов слушал его нехотя, иронически улыбаясь, то и дело вставляя что-нибудь язвительное.

— У тебя везде подневольный труд,— наседал пастух на председателя.— Ты обыкновенный эксплуататор, потому что заставляешь людей, приневоливаешь исполнять работу против их разума и совести.

— Ну ты и гусь!— отбивался председатель от пастуха.— Ну ты и уникум... Я же тебе ясно говорю: когда не нравится, да не хочу, да не по нутру и прочее, вступает в силу понятие долга. Надо, и все тут! А ты мне детские рассуждения преподносишь. Я тебе про «надо», а ты мне про «хочу». И то хочу, и это хочу. Все бы так рассуждали, как ты, — ничего на земле не стояло бы. Не земля в ее нынешнем виде, а пустыня, дебри лесные и в них обезьяночеловеки — вот что было бы, дай только тебе волю да таким, как ты. Потребители вы, Сема, вот что. Вам бы только взять, да полегче, а кто давать будет?

— Тьфу ты, мать твою! — начинал сердиться Семен.— Куда ж ты залез-то? Как худая корова в потраву. Давай сначала.

— Да некогда мне с тобой судачить!

— Нет, погоди. Значит, так: работа должна быть в радость, радость в свою очередь толкает человека к труду — вот он, золотой круг! Тогда человек почти как господь бог: творит и созидает, делает чудеса, кем бы ни был. Вот к чему надо стремиться.

— А кто мне озимь потравил!— взрывался Сверкалов.— Чье стадо целый гектар озимой ржи истоптало? Чьи это чудеса? Твои или господа бога?

Он вообще частенько нажимал на горло. Это сбивало Семена с толку, он защищался уже растерянно:

— Откуда гектар-то! Ты, наверно, школьной линейкой мерил. Всего только угол.

— Философ... Делай на совесть то, что велят,— вот что должно быть для тебя главным. И так для каждого. Как в армии, понял? Там приказы не обсуждаются и каждый знает свой маневр, потому и порядок.

В общем, каждый оставался при своем мнении. Зря и толковали. Потом-то Размахай находил новые доводы в свою пользу и выстраивал их в целую систему, но поздно.

На взгляд одного — бывший друг-приятель калечит и уродует землю; на взгляд другого — у друга-приятеля явное размягчение мозгов. Один считает: Сема-пастух ищет

причины, чтоб полегче жить. Другой убежден: Витя-председатель — вредный элемент на земле, враг ее.

Эти распри между ними не влияли на репутацию Семена: в Архиполовке своего пастуха чтили, несмотря на его прегрешения перед колхозом, о другом и не мечтали.

6

Снегири, клесты, свиристели, синицы, оказавшись подо льдом, почему-то собирались к одному месту на водопой — там ключик пробивался из-под каменного пласта, и вода в нем густа, как свекольное сусло, а цвет имела лимонно-желтый. Она оказалась ощутимо тепла, будто из полуостывшего чайника.

Когда обнаружил Семен малую лужицу и в ней пузырящийся ключик, черт дернул сунуть туда палец, а потом попробовать на язык. Так рассудил: раз птахи пьют, то и ему не во вред. От водицы той у него как-то странно посвежело во рту. Грешным делом подумал: нет ли в ней спиртовых градусов? Наклонился и — была не была!— осторожно схлебнул раз и два. Жидкость не опьянила, как он ожидал, но холодок пробежал по всем жилам; холодок этот лишил тяжести его тело, прояснил голову, сразу захотелось делать что-то, или куда-то бежать, или просто смеяться. А наутро у Семена сошла кожа на ладонях и ступнях, обнажив молодую, зарозовели и стали блестящими ногти, ало залоснились и припухли губы и полезла дружно и густо рыжая борода.

Воодушевленный такими переменами в себе, он понадеялся, что у него прорежутся и молодые зубы взамен выпавших, но, к сожалению, этого не произошло. Зато он теперь чувствовал необыкновенную силу и неутомимость: переколол гору дров, выдолбил в мерзлой земле погреб, который ему в общем-то не нужен, и готов был все на свете передвинуть с места на место, а Маня Осоргина, пришедшая на денек погостить, заявила, что, пожалуй, останется до четверга.

Немного озадачивало Семена, что одна из ям на дне озерном оказалась безрыбна. Тем не менее вода в ней колыхалась, будто где-то в самой глубине ворочалась особенно большая рыбина. Он решил подстеречь ее, уселся у этой ямы, представляя себе, как вот сейчас выплывет откуда-то снизу из-под широких каменных сводов...

«Приплыла к нему рыбка, спросила... Нет, не золотая

рыбка, а царевна-лягушка... приплыла и говорит: чего тебе надобно? Чего не хватает? Все исполню, только прикажи...»

Едва успел подумать так — вода заколыхалась сильно, отступила глубоко вниз, обнажая широкую каменную горловину — вот-вот выйдет из земной глуби кто-то!— и хлынула вдруг оттуда, бурля и разливаясь во все стороны. Семен вскочил, отбежал, оглядываясь,— вода уже растекалась по дну, соединяя рыбные ямы, затопляя ложбины, крутя в воронках жухлые водоросли и мелкий песок. На том месте, где горловина, бугрился могучий родник. Пришлось поскорее выкарабкиваться на берег — и вовремя: довольно скоро лед, подтопленный снизу водой, уже потемнел. Вот тут радость охватила путешественника: вовремя заметил прилив. А ну как это случилось бы в то время, когда он ползал между слоями льда! И не убежишь и не выломишься. Так и останешься распластанным, как лягушка, а случись к этому мороз — вмерзнешь в лед.

Вот теперь Семен Размахаев имел хоть и неполный, но все-таки ответ на загадку: вода не уходит через дно, как сквозь решето, у нее есть парадный ход... а куда, куда?

— Будем думать,— сказал он сам себе и, будто очнувшись, огляделся: занятый озером, до сих пор не замечал перемен в природе, а теперь вот с радостью отметил, что на полях снег уже талый и солнце светило тепло — это означало, что пришла весна и пора отправляться в колхозное правление, чтоб подрядиться в пастухи.

— Не стыдно?— пробурчал председатель при появлении Семена и услышав о цели его прихода.— Опять в пастухи! В нашей Архиполовке и стадо-то маленькое, с ним старухи управятся.

— Чего воду в ступе толочь! Давай сразу перейдем к делу. Какие старухи в пастухи пойдут?

— Да жалко тебя: квалификацию механизатора имеешь, а работу выбираешь несерьезную.

— А тебе что? Волна качает берега?

— Давай опять на трактор, а? Мы новенький на той неделе получим, так и быть, отдадим тебе.

Вишь, как ласково сказал! Но Семена этим не купишь.

— Твоя техника и так загнала нас всех в угол. Скоро всю живность загубит, в том числе и нас с тобой. Куда ни глянь — там дымят, тут коптят; с той стороны крушат да рушат, с этой давят да глушат. Кругом обложили! На всей

земле только и осталось нетронутого одно наше озеро.

— Оно, Сема, между прочим, как яловая корова: от него никакой пользы, только место занимает.

«Вот собака, а? Что он такое говорит-то?»— мгновенно взъярился Семен.

— Ладно, ладно, не сверли меня глазами-то. Не пугай. Лучше скажи, зачем ты целый угол поля возле озера деревьями засадил? Кто тебя просил об этом? Кто тебе разрешил? Что, не хватает березок по берегам? Все тебе мало? Самовольничаешь!

Ну вот, началось. Доложили, значит, ему.

Тут уместно было бы проявить смирение, но Размахай уже не владел собой:

— По справедливости-то вот что: я должен быть на твоем месте, а ты у меня в пастухах. Я б тебя научил родину любить! Ты бы у меня покрутился! А так что — все наоборот. Это несправедливо, бесхозяйственность это.

— Ты хочешь в председатели?— заинтересовался Сверкалов, коварно улыбаясь.— А ну, расскажи, что бы ты сделал на моем месте. Какая у тебя позитивная программа? Березки сажать на полях? Певчих птичек разводить?

— Отдайте мне озеро под мое полное попечение. И земли вокруг на километр. Вот тогда я и на трактор сяду: и поля буду пахать, и скотину пасти — все разом! Посмотришь — хлеба соберу втрое, молока надою тоже втрое против вашего колхозного. Такие вы хозяева.

— Ха! Дайте ему... Не справишься ведь!

— Я найду помощников.

— А-а, работников, значит. Вся ваша размахаевская порода — кулацкая. Мало вас потрошили: так вы и не перевоспитались.

— Порода хорошая,— глухо сказал Семен,— работать любили, а не на завалинке сидеть. И ты на деда моего, Луку Савельича, не намекай. Его раскулачили незаслуженно, по дурости. У него рука была настоящая крестьянская: широкая да отмашистая — равного ему севца не было во всей нашей округе. Вот какой он был работник. Так что послали его в пески и погубили там совершенно зря — теперь вон об этом во всех газетах пишут. А когда немец на нас попер, то Размахаевы воевали, как работали, не в последних: отец без ноги пришел, зато с четырьмя орденами. Ай да кулацкий сын! У тебя вон ни одного нет. И дом построил, будучи при одной-то ноге! Вот так. Мы, Раз-

махаевы, испокон веку землю благородили и защищали, а не разоряли. Ясно тебе?

— Ладно, Сема, это у нас давний разговор. Обидеть я тебя не хотел. Понятно, что для тебя главное не стадо и не поле, а озеро.

— Да, озеро. Я этого и не скрываю. Его сберечь надо во что бы то ни стало. Как здоровый глаз у кривого.

— Ну, погоди, мы этот водоемчик похерим!— дразнил Сверкалов.— Мы там сапропель черпать будем. Потом заровняем, запашем и посеем клеверок. Ты там будешь коровушек пасти.

— В поджилках тонок заровнять да запахать,— отозвался Размахай, но отражение тревоги на лице своем скрыть не смог.

— Я его уже в план осушения внес, можешь в этом не сомневаться.

— А я тебе говорю: не имеешь такого права!— сразу освирепел Семен.— Оно живое существо, а ты кто такой, чтоб душить его? На это в уголовном кодексе статья есть. Я в Москву жаловаться поеду!

Витька Сверкалов засмеялся, удовлетворенный, и, как уже бывало раньше, обозвал по-обидному: уникум. Ну, у Размахая тоже были кой-какие слова на этот случай, не хуже. Так что общий счет у них можно признать равным.

Однако угроза осушения родного озера эхом продолжала звучать в Семене. Надо было как-то успокоить себя и, может быть, отвратить Сверкалова от злого умысла. Он покосился на председателя. Но тому было уже не до него: как раз говорил по телефону с начальством и лихорадочно листал свои ведомости.

Эх, приплыла бы золотая рыбка, спросила: чего тебе надобно в этом кабинете, Сема? А он бы ей: добавь разуму Витьке Сверкалову. Черт его знает, этого обормота, возьмет да и в самом деле осушит озеро! У него техники хватает, а нет — призовет какой-нибудь мелиоративный отряд, их развелось по нынешним временам много: охотятся за болотами да озерами, будто за редкой дичью. Ни поспать, ни поесть им — дайте только осушить что-нибудь, то есть выпустить воду, будто живой твари брюхо вспороть. А потом отрапортуют наверх: так, мол, и так, осушено столько-то, полагается премия и орден.

Чувствуя, как похолодели ладони, Семен решился: встал, притворил дверь председательского кабинета, чтоб

не слышали из приемной, дождался конца телефонного разговора и приступил:

— Виктор Петрович, тут вот в чем дело...

Чтоб душевней было, по имени-отчеству повеличал. И стал рассказывать про то, как в середине зимы уходит из озера вода, как намерзает поэтажно лед на нем и можно, если захочешь, путешествовать лежа, потом и спуститься на самое дно, а там...

Сверкалов некоторое время был серьезен, вернее, казался серьезным, потом багровел постепенно и, наконец, не дослушав, захохотал. Семен остановился, глядя на радостное лицо друга... бывшего, конечно, друга. Витька Сверкалов смеялся по-ребячьи, совсем несолидно, даже слезки выступили.

Чего они все такие? Хоть бы и Маня тоже...

— Да ты погоди, глупой,— сказал ему Семен.— Выслушай сначала, а потом уж смейся или плачь.

Но Сверкалов от его серьезности залился еще пуще.

— А рыба, Сень?— спрашивал сквозь смех.— Она где?

— Рыба в ямах,— простодушно признался Размахай.— Можно подойти и погладить, поиграть.

— И пожарить? Или она уже жареная? О-ха-ха!

До чего румяная рожа у председателя! Просто даже приятно смотреть. Небось теперь ватрухи ест каждый день, не то что бывалыча.

— На еду я беру самого большого сома... Одного за всю зиму...

— Пуда на два, да?

— Не вешал, но не меньше.

— Помнишь частушку такую: на охоту мы ходили и убили воробья, всю неделю мясо ели и осталось... до хрена.

«Ну что, многого добился?»— спросил Семен у самого себя, спросил с досадой и раскаянием: не надо было откровенничать.

Это от довольства председательской жизнью такой полнокровный смех у Сверкалова: не подленькое «хи-хи» в рукав и не ядовитое «хе-хе», заслоненное ладонью, а открытое, во весь рот — «ха-ха-ха». Большой человек Сверкалов; как-никак дела каждый день вершит важные: может реку запрудить или, наоборот, новое русло ей прокопать; может северных оленей развести вместо коров или посадить пальмы... если, конечно, будет такая команда из райкома партии. Может и озеро осушить, если ему заблагорассудится. За то его и держат. Вместо головы у Витьки — вычислительная

машинка: чик-чик, щелк-щелк. Никаких сомнений, никаких колебаний — не за то деньги платят! Огорчения бывают, но удовольствий все-таки больше. И жена его любит, а э-то такая женщина! Все отдай — и мало.

Нет, никогда он не поверит, что можно путешествовать по озеру между слоями льда или просто по дну, что на дне есть родничок с животворной водой, что в животе у человека может жить лягушка... Зато готов точно подсчитать, сколько соберет колосовых или капусты с той площади, что занимает озеро. Собрать, конечно, не соберет, а вот подсчитать может.

— Ох, прости, Сема,— Сверкалов вытирал выступившие слезы.— Извини... Ты и в школьные-то годы у нас был враль хороший. Бывало, такую картину мне нарисуешь, что у меня уши лопухами. Но я думал, ты теперь порастерял это качество. Оказывается, нет. Спасибо, позабавил... Ну, ты и уникум у нас!

Душевная часть беседы на этом закончилась.

«Уговорами толку не добиться,— сообразил Семен.— Хоть Сторожок, хоть Сверкалов — этот народ уважает только силу. Значит, надо действовать силой».

Председатель уже посерьезнел.

— Так что, как насчет трактора, Сема?— спросил он деловым скучным тоном.— Мы на той неделе получаем новенький. Знаешь, я мог бы за тебя походатайствовать, уговорить ребят, чтоб его тебе уступили. А?

Семен послал председателя «к едреной бабушке» и, когда тот стал «поднимать хвост», выразился и покруче.

7

И в этот раз, как и в прошлые годы, для Семена Размахаева в председательском кабинете все закончилось так, как он хотел. И возвращался он в Архиполовку бодро. Кстати сказать, не всю дорогу пришлось идти пешком: оказывается, совсем недавно стал ходить в Вяхирево рейсовый автобус. На нем-то Семен доехал до развилки, где, смотри-ка, уже поставлен столбик с указателем «Архиполовка — 1 км». Как тут не обрадоваться было: стоит теперь только выйти сюда, на новую дорогу — автобус обязан остановиться, довезет тебя до райцентра, а там поезжай хоть в Москву, хоть куда подальше.

В назначенный срок пестрое стадо в его сопровож-

дении вышло со скотного двора навстречу вставшему солнцу, ловя чуткими ушами дальнее горловое пенье ручья, жадно обшаривая глазами чуть-чуть зазеленевшие луговины и раздувая ноздри; за день оно совершит, словно круг почета, очередной круг жизни по берегу озера...

Пастух от скотного двора завернул в деревню, чтоб прихватить и частных коров, и на противном ему конце был, как и в прежние времена, огорчен: оттого, что снег стаял и вешняя вода сошла, дом Сторожка и окружающий его пустырь были особенно неприглядны: вся бензинно-мазутная пакость теперь обнажилась и прямо-таки оскорбляла глаз.

Потом зарастут крапивой да лопухами все эти ожоги на луговине, а пока...

«Надо измерить шагами расстояние от усадьбы Холеры до озера. Неужели вешние воды скатываются туда? А куда же еще! Тогда надо рыть канаву и сооружать отстойник...»

Пустырь вокруг вражьего дома напоминал площадку для ремонта техники или пустой машинный двор, стойбище железных уродин с наполненными бензином потрохами; они уползли куда-то, и осталась только одна, с огромными грязными колесами, с черными потеками на боках — на ней механизатор Сторожков накануне вечером приехал на ночлег. Сейчас заведет мотор, выпустит облако синего чаду и отправится уродовать землю в другое место.

«Как его, собаку, вразумить?»

— Эй, хозяин! — крикнул Семен, и Сторожок выглянул в окно.— Твою территорию надо обваловать со всех сторон, как Чернобыльскую атомную станцию, чтоб зараженная вода не стекала в озеро. И очистные сооружения построить.

Холера в карман за словом не полез:

— А тебя надо обложить со всех сторон навозом — очень уж ты всякую органику любишь.

«Убедить его можно только кулаком по шее или дрыном вдоль спины»,— подумал Семен.

— В бетонный саркофаг бы тебя, как вредного гада...

Валера ему в ответ матерно.

— Слушай, Валер,— это Размахай сменил гнев на милость,— ну, в самом деле, нельзя же так. Неужели тебе самому не противно? Оглянись-ка вокруг себя.

— Да пошел ты!..— и Сторожок захлопнул окошко.

Тут со двора Сторожковых вышла Сестричка, поглядела на пастуха обиженно, словно она тут в тюрьме сидела и

пастух в том виноват. Прекрасная рыжая шерсть красавицы-коровы испачкана была тут и там чем-то черным.

Ну, как тут вытерпеть! Самое бы лучшее — это вызвать сейчас Сторожка из дому да и отметелить как следует, чтоб век помнил! Семен готов был так и сделать, уже пробормотал себе под нос: «Вот собака! Я тебе сейчас...», но вслед за коровой вышел с хворостинкой Володька, улыбающийся Семену радостно — давно не виделись — и сообщил:

— А мне уже пять лет. Сегодня у меня день рождения.

— Да ну!— У Размахая сразу потеплело в груди.— Это, парень, очень круглый юбилей — орден тебе пора давать.

— Володька, а ну иди домой!— позвал отец, выходя на крыльцо.— С Размахаевым толковать — только мозги засорять. Я тебе карбюратор подарю от космического двигателя, пойдем со мной.

Семен отвернулся и пошел поскорее прочь, чтоб не сорваться в присутствии парнишки. Выйдя за деревню, сел на берегу озера и предался невеселым размышлениям. Мысль «как его, собаку, вразумить?» не уходила. Ясно, что к добру у них дело не пойдет, но какие меры воздействия принимать по отношению к Сторожку, Размахай не знал.

После некоторого раздумья, словно вспомнив что-то, оживился, принес из дому заступ и принялся за работу: для успокоения нервов лучшее лекарство — сажать молодые тополя, березы, липы и дубки, черемухи и рябинки. Молодняку-то много разрослось не у места — скучились на околице, да возле скотного двора, да на месте сгоревшей старой кузницы, да еще на Веселой Горке, где некогда церковь стояла. Семен выкапывал оттуда эту молодежь, растущую в тесноте и взаимной обиде, пересаживал на берег, туда, где он оголился: озеро, как великая драгоценность, должно иметь зеленую оправу. Это была не просто весенняя посадка деревьев, а протест Размахаева Семена против безобразий, чинимых Холерой Сторожком, да и не им одним — мало ли их, холер, на земле!

Сюда к нему прибежал Володька, и они вдвоем — один копал ямы или выкапывал деревца, а другой придерживал переселенцев за их тонкие стволы — очень дружно работали. А если в день рождения человек посадит хоть одно дерево, это очень хороший человек!

— Жили-были пастух Семен и парнишка Володька на берегу синего-синего моря,— приговаривал старший, орудуя заступом.— Пастух пас свое стадо, а Володька играл возле

дома. И задумали они посадить вокруг своего маленького моря большой-большой лес, чтоб жили в нем певчие птицы и добрые звери.

У Володьки сам собой открылся рот, а глаза... глаза становились такими же внимательными и серьезными, какими они бывают у самых умных лягушек.

— Вот в первый раз Семен выгнал свое стадо, и пока коровы щипали травку, стали они с Володькой сажать березки — посадили целую рощу.

— Во второй день дядь Семен выгнал стадо,— подсказывал Володька,— и мы с ним посадили...

— ...перелесочек из лип, дубков и кленов. А в третий раз — целый сосновый бор.

Тут парнишку позвали строгими голосами мать и бабушка, чтоб шел домой, но он хоть и оглянулся, однако не послушался, не побежал к ним.

— Росли-подрастали деревья и однажды зацвели,— продолжал свою сказку Семен и любовно бросал заступом землю на корни тополька, который держал Володька,— зацвели совсем как яблони.

— Тополя не цветут, только липы,— сообщил помощничек.

— И стали на липах и березах вызревать румяные яблочки.

— Разве так бывает?— засомневался Володька.

— Деревья очень любят, когда за ними ухаживают. И если очень захотят отблагодарить нас с тобой, на них обязательно вырастут не только яблочки, но и арбузы.

— Володька!— гаркнул отец-Сторожок.

— Не пойду,— отвечал ему сын.

— Иди,— посоветовал ему Семен.— А то тебе влетит.

Он только головой помотал: нет.

— Почему?

— А они тебя ругать будут.

— Иди сейчас же ко мне, предатель!— закричал рассвирепевший Сторожок.

Нечего делать, пришлось парнишке покориться — Семен лишился помощника. Но ничего, дело все равно спорилось, и в тот день, и на другой тоже.

Войдя во вкус, он за неделю посадил деревьев триста, не меньше,— роща заняла довольно широкую полосу вдоль берега, у самой воды, куда коровам спускаться совсем необязательно. Размахая было не унять, и он продолжал работу с тем же упорством и пылом.

Молоком и медом кто-то брызгал на землю: уже зацветала черемуха и распускались одуванчики. Наступила пора лягушиных свадеб, любимая его пора, и он работал под неумолчное лягушиное ворчание.

Лягушек Семен любил. Случайности в том, что приснилось, будто одна из них поселилась в нем самом, не было — это всего лишь следствие той дружбы, что уже много лет связывала его с лупоглазым племенем.

Он их любил за лапки-ноги, лапки-руки, так похожие на человеческие, за кроткие глаза, безобидный миролюбивый нрав, да и голосок у них добродушный. В сущности, это ведь единственные существа на свете, от которых человеку никакого зла; птицы, бывает, поклюют посевы или, скажем, ягоды в огороде; кабаны потравят поля, лиса заберется в курятник, а волк утащит овцу; мухи и комары обидят кого хочешь; а лягушечки добросердечны и никому не мешают.

Летом, шагая за стадом, Семен частенько подбирал их с травы и клал себе в карман. А то и сами они туда залезали без спроса, пока он сидел на берегу, размышляя.

Жена его, когда жила с ним, за то и невзлюбила мужа, что находила лягушек в самых неподходящих местах: в кармане пиджака, в резиновых сапогах, в кринке с молоком, в ведре с водой — она знала, что это Семеновы причуды, и они вызывали ее отвращение.

Ну, что о ней вспоминать! Уехала — и хорошо.

Итак, Семен подкармливал своих друзей лапчатых крошками от своего завтрака и живностью, вроде комаров и дождевых червей, сажал на плечи вместо погон, учил говорить по-человечески. В общем, нянчился с ними, так что они его тоже любили. Стоило ему подойти к озеру — тотчас из тины, из осоки высовывались забавные мордочки и смотрели на него, жестикулируя лапками, обменивались впечатлениями; но если появлялся рядом с ним кто-то еще, так и попрыгают в воду с берега, с осоки, с листьев калужниц и кувшинок на дно. Видно, он им был свой человек, а в свою очередь тоже считал их за близких своих людей.

Среди них были удивительные племена. Вот, к примеру, одно такое жило в старой, давно вырубленной дубраве. От той дубравы остались лишь пни, каждый в кухонный стол, не меньше, а вокруг молодой дубнячок в рост человека. И вот на темя того или иного пня обычно при мелком теплом дождичке выбирались лягухи большие, величиной в кулак — и сидели целыми семействами, блаженствовали.

У старших имелось по карману в подзобке, из которого, как птенцы из ласточкиного гнезда, выглядывали лягушата и хлипкими лапками тянулись к губастому рту родителя, доставали пойманных им мошек или мелких червей, тем и кормились. А лягушата покрупнее, постарше сидели степенно рядом, и случись дождичек — гимнастику делали: лапку вытянут, уберут, другую вытянут...

Дубравницы умели свистеть, только свист у них получался толстый и короткий, как через патронную гильзу. Они вообще-то некрасивы из-за мешковатости своей да еще из-за странного геометрического рисунка на спинах — черные ломкие линии будто вычерчены с помощью туши и линейки. Рисунок этот никак не радовал, он какой-то неживой, но вот глаза у них хороши: грустные, голубовато-рыжие, под тонкими складочками-бровями.

Совсем иное племя обитало в том месте, где впадал в озеро Панютин ручей. Эти лягушечки махонькие, с ноготок мизинца, паслись на деревьях — там осинник. Они очень ловко прыгали с листа на лист и как бы приклеивались: прыгнут, мгновенно приклеются — и листик тотчас перевернется светлой стороной вверх; прыгнут — и опять перевернутся, спрячутся под зонтиком-листом от солнца. Подойдет Семен к осинке, а на ней сидят-покачиваются семейства «ноготков», маленьких, будто лягушата. Они двух мастей: красные, как божьи коровки,— это, должно быть, барышни, потому как очень ярки, красивы; и зеленые с черными крапинками по хребту — это кавалеры. Впрочем, может, и наоборот, кто ж их различит!

Еще одно необычное поселение заняло Рябухину заводь — эти величиной со спичечный коробок и носили замечательные реснички: на веках и на лапках, там и тут одинаковые. Некоторые с хвостами, но таких мало, остальные без хвостов — должно быть, он у них отваливался, как у ящериц. Эти лягушки имели ужасно хитроватый вид, хотя в общем-то все, как одна, простодушные простачки. Вся ихняя хитрость — больше других любили овсяные хлопья, размоченные в сладкой воде. Опустит Семен ладонь с лакомством к самой осоке — хитрецы и лезли, отпихивая локтями друг дружку. По вечерам они устраивали концерты: высовывались все из воды, одна поет «брр-кок, брр-кок»— другие слушали. Потом она нырьк в воду, и тотчас запевала следующая: «брр-кок, брр-кок». Сконфузится и тоже — нырьк на дно.

Вот теперь как раз эти концерты и начались. Заслу-

шаешься! Семен сажал деревца, слушал лягушек, и лицо у него в эти минуты было глупое — он был счастлив.

Вообще-то пастьба у него в этот год началась хорошо. Если, конечно, не считать распри со Сторожком. Самое главное, что радовало в стаде,— подрос бык Митя. Прошлым летом был он так себе, грустный бычок, а теперь настоящий хозяин, грозный и взыскательный, на все сто процентов. Рога — ухватом на трехведерный чугун, в глазах-яблоках этакая блажь, гневная муть... голос подаст — мороз по коже. На самом-то деле добродушен, как теленок, но об этом известно только пастуху. Все прочие — и доярки, и деревенские старушки — убеждены: зазеваешься — задавит или пырнет рогом в бок.

А Митя — свой в доску, вырос на глазах у Семена, и взаимопонимание у них было налажено еще в прошлом году. Теперь есть с кем потолковать, посоветоваться; и насчет коров, и вообще. Семен Мите уже объяснил подробно, к чему тот призван, в чем его обязанности. Митрий долго думал, но суть разъяснений понял и на второй или на третий день пастьбы успешно сдал экзамены на сообразительность.

— Вера Антоновна,— сказал Семен своей соседке вечером, когда пригнал стадо,— запиши нынешнее число, твоя Малинка обгулялась.

Значит, не следует сомневаться, корова будет не ялова, и даже можно подсчитать, когда теленочек появится.

Старушка пастуху на радостях стопарик, хотя он-то тут при чем! Это все Митя. Впрочем, как сказать... Кто вдохновитель и организатор?

За день стадо обходило озеро кругом, и следом выстраивалась череда березок, лип, рябин, черемух, тополей. Они выпускали нежные, младенческие листочки, а те росли и матерели, трепыхались на ветру, радуя пастуха.

«Да я тут целые леса теперь посажу!..— воодушевленно мечтал Семен.— И ни одна собака не подступится к моему озеру».

Коровы поглядывали с интересом: их верховный правитель таскал комлистые деревца, копал ямы, выкладывал их навозом, сажал, поливал озерной водой... Что с ним?

Отдыхать пастух садился непременно на бережку, размышляя, и ему всякий раз вспоминалось... вернее, грезилось

что-нибудь, как воспоминание или сон, или как только что случившееся происшествие.

У него на глазах озеро затягивало прозрачным ледком, на котором распускались диковинные цветы, папоротники, пальмы... легкая снежная поземка мела — это колючий ветерок чистил лед, будто веником... и отступала вода вниз, в каменную грудь земли, а морозец крепчал, потому невидимо намерзал под верхним слоем нижний слой льда, образуя плоскую полость от берега до берега... Толстые сосули подпирали верхний слой, пар от Семенова дыхания оседал невесомыми кристалликами, они тонко-тонко, по-комариному звенели, когда он полз, влекомый непонятным азартом...

Ха! На него, путешествующего, набрела баба Вера, остановилась, вскрикнула и ударилась бежать, да неладом — шлепнулась, вскочила, опять побежала, голося. Он засмеялся, и от смеха его отламывались и звенели тоненько ледяные ломкие кристаллы.

Под вечер она ему же, соседу, расскажет, как пошла на островок за вереском для бани и увидела подо льдом утопленника, к себе манил.

Смеясь, он перевернулся на спину, и тут набежала на него лиса, остановилась — он явственно видел красные, как цветы с крупными лепестками, лапы ее; патрикеевна покружилась-покружилась над ним, метя рыжим хвостом, да и ткнулась носом к его носу. Семен погрозил ей кулаком, она подпрыгнула, будто мышкуя, и исчезла.

И уж совсем ни к чему случилось: наехала лошадь с дровнями — это Осип Кострикин отправился краем озера за сухостоем; приспичило ему, вишь, не запасся вовремя. Конское подкованное копыто ступило прямо на грудь Семену, и он не на шутку перепугался: а ну как проломится лед под такой-то тяжестью! Ковбой, слышно, коротко заржал, стук подков сдвоился: поскакал, значит, галопом. Интересно, видел Осип что-нибудь или нет? Если нет, то ладно, Ковбой ему не скажет. А если и видел человеческую фигуру подо льдом, то наверняка не поверил собственным глазам...

Семен, сидевший на берегу, следил рассеянным, чуть притуманенным взором, как спустилась с берега корова, потянула ноздрями воздух, как ударила копытом по льду, будто лошадка, и стала пить из образовавшейся полыньи... Семен не удивился этому ничуть, зато корова посмотрела на него удивленно и вернулась к стаду.

Он же оглянулся на деревню и смотрел долго и состра-

дательно: жалел людей — они так заняты каждодневной суетой и не знают, не ведают, что если долго смотреть на озеро, то, если пожелаешь, его даже в самый жаркий день затянет льдом, а вода уйдет, оставив ледяную крышу, и под нею обнажатся подводные холмы, откроются глазам сумеречные пространства, так похожие на залы огромного дворца, где в малых бассейнах плещутся красноперые рыбы... и катаются по яро-песчаным полам красные яблочки-снегири.

Семен пробирался в нише под берегом и увидел вдруг, как сверху, из окошка в земле, спустилось на цепи знакомое ведро, упало на промерзлый грунт, громыхая, подергалось. Он догадался: это Маня пытается зачерпнуть воды, не зная, что колодец-то сухой. Размахай выхватил из ближней ямы здоровенного леща и вворотил его под ведерную дужку. Маня стала поднимать, потом вдруг вскрикнула — и ведро с лещом брякнулось обратно.

Семен долго хохотал, сидя и на дне, и на берегу озера... Не хочет баба рыбы! В кои-то веки поймала леща в колодце ведром, ей бы обрадоваться, а она перепугалась.

Радость его была устойчивой, и, казалось, ничто не может смутить ее.

8

Но вот при ласковой-то погодке наступил субботний день, а с ним пришла нежданная беда: на новенькой асфальтовой дороге — а это можно было видеть издали — вдруг стали появляться и притормаживать то одна легковушечка, то другая; постояв в нерешительности, они осторожно съезжали на проселок, ведущий в сторону Архиповки, и этак совершенно подло, крадучись, подползали к перелеску, высматривали, что, мол, там, впереди. Перелесок скрывал от них озеро, но они, собаки, словно чуяли его по запаху. Вот одна завиляла между деревьями, другая... Семен впервые озадачился, оставив работу по пересадке березок и лип, и стоял, разинув рот.

Когда первые машины высунулись на берег и из них вышли веселые туристы, он почувствовал, как сердце его уронило себя в пустоту, как всегда бывало в отчаянные минуты жизни. Далее Семен Размахаев только растерянно следил, как прибывающие занимали самые выгодные, самые живописные позиции на берегу, и как то тут, то там возни-

кала палатка, а то и две, начинал дымить костер... Семен чувствовал свое полное бессилие, он не мог предотвратить все это, как не мог остановить надвигающуюся тучу. А что ничего хорошего от нашествия ждать не приходится, было для него очевидно. Он вспомнил свое ликование по поводу построенной дороги, по которой можно уехать хоть на край света, и решил так: скорая радость — не от большого ума.

Размахаев Семен Степанович никогда не мог понять, зачем, зачем продают в личное пользование автомашины и еще лодочные моторы. То и другое приносит только вред человеческому обществу и природе: одни пакостят на земле, другие на воде. Вон Сверкалов ездит на легковушке-«каблучке»— это еще туда-сюда, терпеть можно: он председатель колхоза, следовательно, ему необходимо. Да и то: хватило бы ему и велосипеда. А остальным на что? Только для баловства. И это ради баловства понастроили столько автомобильных заводов и наделали столько машин?! И только ради баловства жрут столько бензину, отравляя атмосферу?! Это безрассудно. Это преступление! Если еще придумают персональные самолеты и будут летать на них за грибами и на рыбалку — а ведь к тому идет!— тогда все, гроб, ложись и помирай.

Вечером по берегам озера загорелись костры, какие-то фигуры устроили вокруг них людоедские пляски, слышался стук топоров, песенные вопли на разных языках мира — словно объединенная рать татаро-монголов, печенегов и половцев въяве подступила к его озеру и начала планомерно осаду, предавая окрестности огню и мечу. Слышно было, как с треском повалили дерево; как вколачивают в заливе сваи — сооружают мосточки, чтоб удобней было удить; как поливают свои легковухи озерной водой, и можно легко представить себе, как эта грязная вода стекает обратно в озеро.

Семен сидел на берегу перед своим домом, который тоже пришибленно созерцал нашествие: в окнах Размахаева жилища взблескивали, как слезки, отсветы костров. Всю ночь оба они — дом и его хозяин — прислушивались к воровскому плеску, к приглушенным голосам людей, явно занятых браконьерским промыслом, и зябко поеживались.

Эта ночь была самой худшей в жизни Семена. После нее он пал духом и даже похудел.

На другой день, когда туристская рать откатилась и растаяла, Семен обошел озеро, прикидывая размеры опустоше-

ния: остались кострища, пустые бутылки, полиэтиленовые пакеты, смятые обрывки бумаги... Там вырублен куст, тут выволокли на берег тину и осоку, в одном месте зачем-то вырыли яму, в другом вбили колья, кое-где попросту выдернули с корнями или сломали недавно посаженные деревца.

В том месте, где Векшина протока вытекает из озера, бобры еще в прошлом году подгрызли большую ветлу, она упала с берега в воду; Семен никогда не тревожил место, любимое бобрами, наведывался сюда редко и коров не подпускал тут к водопою. Теперь легко было представить себе, что за люди приезжали, если они здесь с упавшего дерева удили рыбу, тут же причаливала ихняя лодка, осока и тростник были примяты.

Семен перебрался через протоку, прошел чуть дальше, и ухо его уловило вдруг встревоженное, одиночное «кря». Он замер, подошел ближе к воде и не так уж далеко от берега в густой осоке за кустами разглядел острым своим глазом сидящую на гнезде утку.

Надо сказать, что утки и раньше здесь селились, до тех пор, пока два года назад Валера Сторожков не побаловался тут с ружьишком. Да и не один, а вдвоем со своим приятелем, участковым милиционером Сбитневым. Побаловались они в законное время, на законных основаниях, в разрешенный для утиной охоты срок, но тогда же Размахай имел с ними обоими разговор, который едва не закончился драматически, то есть дракой. С тех пор облюбованное утками место пустовало. А теперь вот Семен чуть не прослезился на радостях: вернулись утки на озеро! Однако же — что это?— неподалеку от утиного гнездовья вчера кто-то вырубал ивовое удилище или рогулину для костра.

— Вот собаки!— пробормотал Семен.

Напуганная вчерашними событиями утка была встревожена настолько, что вот даже выдала себя нечаянным «кря», когда пастух шел мимо. Сохранила ли она кладку вчера?

— Не бойсь, не бойсь!— сказал ей Семен вполголоса.— Свои люди.

Она не выдержала и взлетела.

— Ах ты, бедолага!— пожалел Семен и, любопытствуя, издали заглянул в гнездо — насчитал в нем двенадцать крупных зеленоватых яиц и поспешил уйти.

«Колючей проволоки, что ли, достать?— размышлял он.— Так ведь все озеро не опутаешь. Что ж делать-то?..»

Ясно было одно: надо сопротивляться. Нельзя так, чтоб

чужие люди приезжали, пакостили озеро, а его хозяин и хранитель молча и смиренно сносил такое издевательство.

— Своих подлецов хватает,— бормотал он,— а тут еще варяги...

— Будем держать круговую оборону,— сказал Семен кошке Барыне, придя домой.— Придется стоять насмерть, ни шагу назад. И если понадобится, то не пожалеем наших жизней, верно?

Приняв такое решение, он повеселел, и дом тоже повеселел. Вот только Барыня смотрела недоверчиво.

В течение последовавшей затем недели он предпринял некоторые охранительные меры. Прежде всего перекопал глубокими канавами проселок, ведущий к озеру, а у съезда с асфальтовой дороги на грунтовую соорудил шлагбаум из неоструганных жердей. Хотел даже покрасить поперечину черно-белыми полосами, как на железнодорожном переезде, но краски не нашлось.

У этого шлагбаума, кстати сказать, застиг его персональный «каблучок» Витьки Сверкалова. Председатель сразу уразумел, что к чему и кто чему виновник:

— Не поел ли ты чего-нибудь такого, а?— ядовито поинтересовался он.— Не вступили ли тебе в голову продукты полураспада пищевых веществ? Соображаешь хоть, что творишь?

— Я объявляю район озера заповедной зоной,— сказал Семен твердо, почти торжественно.

Сверкалов с минуту, не меньше, изучал его взглядом, потом приступил:

— А кто ты такой? Кто тебя уполномочил? Чьи интересы ты представляешь и чью волю выражаешь? Известно ли тебе, что бывает за своевольство и самоуправство в социалистическом государстве, где нет частной собственности на землю, воду и воздух?

Вопросов у него оказалось много, на все и не ответишь. От этого Семен стал сердиться и в повышенных тонах объяснил Сверкалову, что человечество правильно изобрело паровоз; самолеты тоже, туда-сюда, дело вроде нужное — правда, надо еще присмотреться повнимательнее и разобраться; ну и космические корабли, судить не будем, не нашего ума дело, они, говорят, погоду предсказывают; а вот что легковушки и лодочные моторы есть дурацкие выдумки — это и ежу понятно.

— Ты потому так говоришь, что у тебя ни того, ни другого.

Сверкалов, дразня, показал раздвоенный, как у змеи, язык.

— И не будет!— пылко отвечал Размахаев.— Не потому, что денег нет...

— Именно потому.

— Не из-за денег, а из-за принципа.

— При чем тут принципы, когда ты просто завидуешь! Люди приехали отдыхать. Они, вишь ли, рыбку ловят, купаются, а ты при стаде, как привязанный.

Вот этих дурацких объяснений Размахай не мог выносить спокойно и готов был хоть врукопашную.

— Ладно, ладно, не кипятись,— отступил немного Сверкалов.— Пусть не из-за зависти, но все-таки.

— Виктор Петрович, с ними надо бороться всеми доступными средствами,— убеждал Семен.— Иначе они нас задушат. Нас — это, значит, всех людей, а «они»— это, значит, автомобили и прочие механизмы. И дело не только в том, что у них выхлопные газы, нет! Машины заставляют себе служить, люди рядом с ними перерождаются. Понимаешь?

Председатель взирал на своего бывшего школьного друга весьма озадаченно: откуда такая ненависть, такая страсть! И с аргументами Размахая спорить как?

— Но ты хоть уважай уголовный-то кодекс!

— Я уважаю,— заверял его пастух.— А иначе крестил бы всех этих «жигулят» и «москвичат» оглоблей вдоль и поперек.

— И трактора?

— И тракторы тоже.

— А как землю пахать?

— На лошадках.

Вид у Семена Размахаева был столь решительный, что ясно, как день: колеса повыдергает, фары выбьет, крыши проломит — и не охнет!

— Не-ет,— Сверкалов мотал головой,— я не понимаю: откуда в тебе такая ненависть ко всему передовому и прогрессивному?

— Чего тут не понять! Сам посуди: стадо пройдет — на этом месте потом цветы цветут; а твоя техника след оставит — как по живому телу ржавой щеткой или головешкой горячей.

— Ну, не всегда так, Сема.

— А что твой Сторожок творит у нас в Архиполовке? Вокруг деревни на полях, а? По лугу едет — обяза-

тельно надо дерновину дыбом всколготить. Мимо дерева едет — обязательно надо задеть, если не повалить, то кору содрать. В лес за дровами отправится — десяток молодых елочек да сосен затопчет гусеницами. Это — человек?

— Сторожков — передовой механизатор, не тебе чета. Технику любит, работает от зари до зари, безотказен...

— А ты такой же передовой председатель колхоза, так что вы — два сапога, и оба на одну ногу. Нечего с тобой и толковать.

Далее последовало у них краткое, но напористое объяснение, после чего Сверкалов загородку, которая вроде шлагбаума, повалил и поперечину, поднатужившись, сломал, на что услышал: сколько он, Витька, будет ломать, столько Размахаев Семен Степаныч будет делать заново. Каждому, мол, свое: один создает — другой разрушает, один строит — другой ломает.

Председатель слегка опешил, послал пастуха Размахаева к стаду, а тот в свою очередь послал его, Сверкалова, еще дальше. На том и расстались, враждебно горя глазами.

Председатель, уезжая, пообещал:

— Не-ет, я твое озеро осушу! Вот посмотришь, мелиораторы пророют канаву по руслу Векшиной протоки, утробу ему выпустят... и заровняем, и посеем клеверок, и устроим загон пастбищный для скота. А тебя, голубчика, пересадим на трактор.

Вот собака! Недаром, недаром стал сниться Размахаю один и тот же сон: будто лежит он — в изголовье берег, а озеро ему вместо живота. И вот пересохло оно, средоточие жизненных сил, до того, что брюшина прилипла к позвоночнику — стало сплошное впалое место, и одна-единственная лягушка кричит в нем жалобно, надрывается.

Жуткий сон, вещий сон. Только бы он не сбылся!

В тот же день Семен восстановил загородку, но уже в другом качестве: столбы приволок более толстые, вкопал их в землю глубже, а поперечиной стала служить не жердь, а бревно, которое прибил намертво железными скобами. Такое поди-ка, сломай! Закончив с этим делом, возле перелеска подставил, страховки ради, дорожный указатель «Объезд»— это для тех, что все-таки как-то одолеют заградительное сооружение из бревен: широкая, издалека видная стрела указывала на травянистый проселок, который шел под уклон и в кустах терялся. Таким образом Размахай направил поток легковушек в болото; при этом тешил себя отрадными картинами того, как медленно и неотврати-

мо погружаются в трясину столь совершенные создания науки и техники; даже отчаянные вопли тонущих туристов-кочевников не умилостивили Семена.

— Я объявляю здесь заповедник!— сказал он этим несчастным, и те, оставив в болоте свои машины и закаявшись впредь шастать там, куда их никто не приглашал, удалялись теперь пешим порядком через заросли таволги да багульника к асфальтовой дороге.

— Скажите всем: здесь заповедник и заказник,— напутствовал их Семен.— Запретная зона! Вы слышите?

Чем отличается заповедник от заказника, он не знал, но так полагал, что одно должно дополнять другое, чтобы сделать его запрещающее слово нерушимым.

Следующей субботы, дня им проклятого, он ждал, как начала битвы. Был сосредоточен, серьезен, копил силы. Он знал теперь чувство полководца, готового к набегу с дикого поля: сторóжа выставлена, главные силы во всеоружии бодрствуют, сердце полно веры в победный исход. И главная мысль бодрит: «Наше дело правое... кто с мечом к нам придет...»

Но как раз накануне выходных дней разразился дождь с сильным ветром, грунтовые дороги развезло — нечего и думать, что кто-то доберется до озера! Семен понял, что получил отсрочку, может еще раз продумать систему обороны и укрепить ее.

В середине недели погода немного разведрилась, но к выходным — вот удача!— опять прошел дождь, правда, небольшой.

Собственно, подступов к озеру было два: во-первых, прямая дорога от Вяхирева — но там хилый мосток через Панютин ручей, трактора ходят вброд, а на легковушке не одолеть и в хорошую погоду; во-вторых — от новой асфальтовой напрямик через перелесок. Со всех прочих сторон — и леса, и болота, и холмы да буераки. Край земли, чего говорить!

Значит, если перекрыть надежно перелесок, озеро можно спасти. Вот тут и надо обдумать все возможные варианты обороны.

Лучше всего заминировать. Но не разрешат, да и мин нет.

Хорошо бы наставить «ежей», какими в войну оборонялись от танков. Но нужно рельсовое или швеллерное железо, а его у Семена не было.

Можно вырыть траншеи, насыпать поперечный вал, поставить частокол из бревен, наворотить выкорчеванных

пней — вот это ему по силам, но работы много. На технику надежи нет... в том смысле, что не даст Сверкалов для такой цели.

И тут осенило:

«А-а! Вот что: я засажу этот проселок деревьями! Прямо посреди дороги — тополя, березы, липы. Никто не посмеет выдирать или ломать их — это преступление. А за посадку деревьев наказания не полагается — такой статьи нет в уголовном законе».

Мысль эта показалась Семену спасительной, и он в эту ночь спал счастливо.

Снилось ему, что опять он путешествует по озерному дну и набрел вдруг на какое-то кольцо, вделанное в камень. Долго стоял перед ним Семен в недоумении: не кольцо даже, что-то вроде петли, и обросло ракушками — не разобрать, из чего сделано. Неужели железное? Камень, в который вделана петля-кольцо, похож вроде бы на крышку четырехугольную, как у сундука. А есть ли под крышкой каменный сундук — не разобрать. Что, если ее ломиком поддеть, а? Что там? Тайник или подземный ход? Вдруг откроется что-нибудь этакое... золото в виде кирпичей с печатями, например.

Попробовал приподнять камень, ухватясь за петлю,— нет уж, где там! И не шелохнулся. Трактор нужен или хотя бы лебедка. Без техники не обойтись.

«Задача не в том, как поднять крышку,— сообразил он, проснувшись утром,— а в том, куда потом девать золотые кирпичи. Сразу сдать государству — неинтересно. И понаедут милиционеры с водолазами, вытопчут все, выпотрошат, выгребут. Станет святое место проходным двором».

В общем, получалось некрасиво, если предположить, что там золото. А другого ничего не придумалось. Дурацкий сон!

Но он приснился и в следующую ночь, потому Семен на всякий случай привязал к уродине-петле поплавок на шнуре: чтоб летом можно было отыскать, если подъехать, к примеру, на плотике. А то кто его знает: вдруг вода перестанет уходить из озера! Ведь раньше она не уходила: когда еще в школе учились с Витькой Сверкаловым, ловили рыбу на мормышку во всю зиму, от ледостава до того времени, когда можно покататься на льдинах в весеннее половодье.

Так чтоб не пропадала находка, надо ее обозначить. Теперь-то не потеряется, всегда можно поднять. Например, использовать для этой цели штук пять-шесть автомобиль-

ных камер... привязать их пустыми к кольцу еще зимой, а летом надувать через шланг... всплывет сундучок, как миленький!

«В общем, можно считать, что это у меня в кармане,— проснувшись, решил Семен.— Не тушуйся, товарищ Сверкалов, сиди и не возникай. Жди, когда позовут. Понял? Ты себе персональную пенсию заслужишь, а я уж как-нибудь...»

В следующую ночь он опять шастал по озерному дну и увидел ту самую лису, что столкнулась с ним носом к носу через лед. Он узнал ее, да и она его узнала! Лисица у него на виду очень ловко выудила рыбину из ямы и уволокла, оглядываясь на подходившего Семена: словно рыжий огонь, легко скользя, прополз по обрыву и исчез в голубом льду.

Пошел Семен дальше и — возмутился, разозлился: показалось, что какая-то широкозадая баба в шубе то ли полощет белье, то ли черпает рыбу из ямы. Баба обернулась на его шаги, рявкнула и побежала в сторону на четырех... Медведь!

То-то встречались иногда на дне обгрызенные рыбьи головы! То-то боялись забираться сюда деревенские псы: чуяли грозные следы.

«Ишь, не хочет мишка спать в берлоге, наладился кормиться рыбкой среди зимы...— соображала сонная голова Размахая.— Известное дело: спишь — не живешь».

И приснилось дальше — медведь тот... нет, большая медведица!.. выломилась из озерного льда и взошла по ночному небосклону, раздвигая звезды лапами, и улеглась там, под Полярной звездой, будто в берлоге.

9

Две недели прошло — немного успокоился Семен.

Да и озеро поуспокоилось. Затоптанная береговая трава поднялась, кувшинки разостлали по воде широкие листья, и бутоны их готовились распуститься — самые таинственные, самые красивые цветы на свете! Лягушки посвистывали и напевали по ночам; серая утка мирно насиживала яйца — вот-вот у нее должны были появиться утята; сверчок Касьян давно уже перекочевал из подпечка на волю. Барыня привела откуда-то шестерых котят, уже зрячих — где она успела их вырастить?! Кошачье семейство гуляло целыми днями, а вечерами располагалось на диване смотреть телевизор.

В общем, жизнь шла своим чередом. Семен не заметил, как накатилась очередная суббота.

Он, вернувшись домой с работы, смолол лукошко овса на ручных жерновах, замочил на завтра десять горстей, а из замоченного вчера принялся варить свой любимый кисель. У Семена было тревожное настроение; прогноз погоды на выходные дни был неопределенный: местами, мол, осадки. А будет дождь над Архиполовкой и озером или нет — как понять?

Руки работу выполняли привычно, то есть ложкой в киселе болтали, а вот голова была столь занята размышлениями, что это не замедлило сказаться: в избе запахло вдруг очень знакомо. Семен, матюгавшийся очень редко, тут просто не смог удержаться, потому как был голоден, вследствие чего выразился чересчур увесисто — кошка Барыня оглянулась на него с изумлением и лапой прикрыла уши котят. Вылив кисель в миску, Семен поскреб немного ложкой и страдающе заглянул в кастрюлю — на дне обнажилась угольная чернота.

«Ничего,— решил он хмуро,— годится... Не такой едали!»

Барыня посмотрела на него презрительно — совсем, между прочим, перестала уважать хозяина: рыбой сыта, паскуда (загоняет плотву под берег и очень ловко таскает когтистой лапой), и привычно уставилась в телевизор; котята спали, уткнувшись носами ей в живот.

Что бы ни происходило в телевизоре, все Барыне интересно, а более всего прочего кошку привлекали игровые виды спорта — футбол, хоккей, теннис,— тогда она вся напрягалась, как перед прыжком, глаза становились большими, кончик хвоста не знал покоя, а когти в лапах не убирались вовсе: того и гляди, сцапает с экрана футбольный мяч, игрока или даже судью.

Сегодня Барыня настроена была мирно: в телевизоре драматически повествовали о ракетах среднего радиуса действия, о военно-промышленном комплексе зарубежных стран, о космическом вооружении — вести были плохие, но это мало тревожило кошку, она сидела в уверенности: разберутся, мол, как-нибудь; наши не дадут себя съесть. А вообще-то, до чего бестолковы люди! Она и о хозяине своем по той же причине была невысокого мнения, как сам он догадывался; во всяком случае, частенько ловил на себе ее ухмылку и презрительный взгляд.

За окном разгулялся ветер, в избе же было уютней

обычного, только свет иногда мигал, и это тревожило: должно быть, где-то столб вот-вот повалится — небось тот, что за скотным двором, он уже похилился от старости, или другой, у Панютина ручья, там подмыло, упадет — сидеть без электричества сутки-двое, а то и трое.

Семен посолил щедро щепотью — овсяной кисель соль любит!— налил поверху лужицу подсолнечного масла, прижимая отверстие бутылки большим пальцем, и сел перед телевизором с миской киселя и горбухой черного хлеба, намереваясь коротать вечер в приятном одиночестве.

И вот тут постучали в окно:

— Эй, хозяин! Пусти переночевать.

Семен слегка опешил: за стеклом маячила незнакомая голова в кепочке с длинным-предлинным козырьком — такие кепочки носят только иностранцы.

Кого это черти принесли? Неужели туристы? В такую то пору! И где же они, собаки, пробрались? Ведь полоса обороны непреодолима для ихнего транспорта. Или они самым верным способом — пехом?

На крыльце по-хозяйски затопотали — так нахально, незваными могут впереться в дом только туристы, и никакие не иностранцы. В избу вошли двое, остановились у двери — молодой рослый мужчина лет не более тридцати и хрупкая, болезненного вида женщина в неопределенном возрасте, можно и двадцать дать, можно и в два раза больше. Довольно странная пара, вот что сразу подумалось Семену: он-то высокий, статный, с решительным волевым подбородком и твердыми, красивыми губами, со взглядом смелым и даже нахальным, а она худенькая, невидненькая... кисти рук выглядывают из рукавов плаща — тонкие, слабые, как лягушиные лапки... длинные пальцы словно с перепонками. Она стояла не рядом со спутником своим, а чуть позади, как бы за его плечом, молчаливо, будто тень. Однако именно на нее уставилась Барыня, и шерсть на кошкином загривке поднялась дыбом, а зрачки расширились и стали прямо-таки во все глаза.

— Здравствуй, хозяин!— сказал турист так весело, словно их здесь ждали-ждали, аж ногами семенили.— Сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам.

— Не балагурь, Рома,— тихо сказала ему спутница.

Вот чем решительно не понравилась хозяину гостья: плащ у нее был какой-то... какого-то линялого, неприятного цвета, а уж как скроено... наверно, что-то сверхмодное: эта-

кими складками свободными и непонятно где сшито. То ли из-за этого плаща, то ли еще из-за чего — все в ней казалось совсем-совсем чужим, даже ветерок веял от нее холодный. Топорщиться, как Барыня, Семен не стал, а просто оглядел гостью без церемоний.

«Страшнее атомной войны,— определил он и пожалел не ее, а бравого туриста:— Эх ты, недопека! Не мог уж получше-то подыскать. Или у вас там в городе и эта за хорошую сходит?»

— Не исключено, что нас сейчас вытолкают в шею,— опять тихо сказала эта особа и отступила за спину спутника, исчезла.

Барыня между тем проворно перетаскала свой выводок под диван.

— Огонек твоего дома, хозяин, служил нам путеводной звездой,— продолжал гость.— Если б не он — пропасть бы нам в нощи, окаянным.

Уж больно весело он это говорил, и спутница, по-видимому, опять урезонила его. Что именно она еще сказала, Семен не разобрал, долетела только часть фразы:

— ...не вписываешься в эмоциональный фон... Мы явились не вовремя.

— Позволь в этом усомниться, умница моя. Законы гостеприимства одинаковы для всех, и для ласковых, и для сердитых, и они, между прочим, обязывают... Разве не должны мы этим воспользоваться?

Где-то вроде бы видел его Семен, этого деятеля по имени Рома. Голос знаком, да и личность... особенно когда снял кепочку. Волосы у него зачесаны обыкновенно, прямо назад, смешной вихорек топорщился надо лбом с правой стороны — Рома пригладил его знакомым жестом. Погоди-ка, кто же это? Или просто на кого-то похож?

— А что ж в гостиницу-то?— Семен с сожалением отодвинул миску: ну не дают человеку поесть! целый день на ногах, а пришел домой — и тут покою нет.— Налево за углом в вишеннике — люкс для интуристов, а если пару остановок проехать на метро, а потом на трамвае — будет высотная, для особо важных персон.

Гость улыбнулся, а за его спиной раздался вроде бы смех. Нет, не смех, а какие-то странные звуки, похожие на те, что бывают, когда стекло керосиновой лампы протираешь сухой газетой. А что, собственно, смешного в его словах, если не знать, что за кабинетик налево за углом и почему он непохож на гостиничный номер люкс?

Не дождавшись хозяйского приглашения, гости сели на лавку. Тут как раз свет мигнул и погас. Зажглись из-под дивана два зеленых кошкиных глаза — они почему-то были прямо-таки яростными.

— Ну вот,— сказал Семен удовлетворенно.— Теперь сидеть при лучине до понедельника.

Он не спеша встал, уверенно прошел по темной избе, чиркнул спичку и зажег не лучину, а керосиновую лампу. Стекло потер сухой газеткой — ну да, звук похож на странный смех этой особы. Сверчок Касьян вдруг запел в кухонном чулане — чего это он прихромал с улицы сюда? А-а, от дождя спасается! Или на гостей решил полюбопытствовать? А чего он распелся-то?

— Хорошо, да?— сказал гость своей спутнице.

— Ради этого я сюда и ехала,— тихонько отозвалась она.

Все-таки до чего знакомый у него голос! А вот заколодило — никак не вспомнишь, кто это, где видел. Семен установил стекло в лампе, покрутил фитилек, прибавляя свету, и осведомился:

— И куда же, извините за выражение, путь держите?

Ему хотелось так ядовито выразиться, чтоб им стало тошно и они поняли бы, отчего в старину говорили: незваный гость хуже татарина.

— Озеро ищем,— объяснил турист.— Тут где-то замечательное озеро есть.

Лицо его при скудном свете керосиновой лампы выглядело особенно мужественным: резче обозначились прямые линии бровей, губ.

Вишь чего им занадобилось! А нужны ли вы озеру, подумали?

— Что ж, погода подходящая,— сказал Семен, ожесточаясь.— В эту пору хороший хозяин собаку со двора не прогонит, а вы, значит, порыбачить или позагорать?

— Просто полюбоваться, чистым воздухом подышать.

— М-да... Под дождичком да ночью, оно, конечно, отчего не полюбоваться. А дорога досюда одно удовольствие... Вы пешим порядком?

— Нет, на автомобиле.

«Ха! В болоте утопили... А мужик то ли из военных, то ли из спортсменов».

— И где ж он, ваш автомобиль?

— Да тут... у крыльца.

Что-то не слышно было, как они подъехали. Однако гости не выказывали тревоги, значит не завязли. Почему?

Хозяин чуть увял: пробрались. Как им удалось? Неясно. Теперь они как охотники перед медвежьей берлогой: не уйдут, пока не затравят. Из дома выгнать можно, а из озера как?

Кошка Барыня, спрятавшись за диван, все никак не могла успокоиться: сидела в позе тигра, готового броситься на жертву, хвост ее напряженно барабанил по полу. Семен наклонился и погладил кошку, успокаивая.

А гостья внимательно, будто изучая, оглядывала внутреннее убранство и устройство Размахаева жилища, переводя взгляд с одного на другое; больше всего ей понравилась, видимо, печная занавеска, сделанная, кстати сказать, из Маниной юбки. На юбке был карман, так он и на занавеске остался. С нее эта женщина перевела взгляд на голбец, заваленный всяческой одеждой и подушками; потом на западню в подпол, в которую вкручен был бурав с кольцом; с западни на вешалку, где висел мокрый брезентовый плащ хозяина; потом повернулась к божнице с книгами. Даже щели в полу и потолке ее, по-видимому, интересовали.

Она сидела почти невидимой, только лицо бледно проступало в темноте, а вот глаза — глаза были видны Семену отчетливо, они немного светились, как у кошки. Кстати, на Барыню она не обращала никакого внимания, а когда наконец посмотрела, та дернулась, как от удара электрическим током.

— По-моему, пахнет овсяным киселем,— заметил тихонько турист,— причем подгорелым. А по-твоему как, умница моя?

— Ты ошибаешься,— ответила ему умница так же тихо.— В этом доме пахнет рыбой, причем очень большой рыбой. Тут некогда варили сома, да и не один раз.

Услышав про сома, Семен немного смутился.

Они же продолжали разговаривать меж собой вполголоса:

— Неужели в здешнем озере водится большая рыба?

— Не сомневайтесь, Роман Иваныч, оно не простое, а Царь-озеро! Средоточие жизни и самое уязвимое ее место, как Ахиллесова пята.

— Так-так... а сом — это вот такой с усами, да? Похож на кита, верно?

— На рояль... Среди них попадаются великаны — на каждом можно построить деревню, распахать поле, вырас-

тить лес... Но в здешнем Царь-озере живут только маленькие сомы — так себе, пуда на два, на три, не больше.

— Ого! Я не против выловить и совсем маленького, килов на десять.

Семен не выдержал и, чтоб повернуть беседу в иное русло, сообщил гостям, что, во-первых, колхоз у них недаром называется «Партизанский край»: здесь некогда шли упорные бои — и местность до сих пор не разминирована; саперы недавно наведались, заявили, что мины проржавели, снять их уже нет возможности, так что ходить по берегам озера запрещено. Кстати, на прошлой неделе корова наступила на противотанковую — рога до сих пор висят на елке, любопытные могут посмотреть. А во-вторых, по распоряжению Сверкалова, председателя местного колхоза, в озеро сбрасывают ядохимикаты, чтоб не травить ими поля; в отчетности по внесению химии полный порядок, а вся рыба передохла, даже лягушки не живут; зато расплодились желтые змеи без глаз, они выползают по ночам и жалят до смертельного исхода; на прошлой неделе укусили заезжего уполномоченного сквозь резиновый сапог — теперь лежит в реанимации, никак не могут выходить.

Гости слушали со вниманием, во всяком случае, не перебивали его, и это подогревало Семена. Он хотел уже рассказать про озерные испарения, которые столь вредны, что у женщин, приезжающих сюда, выпадают волосы, а у мужиков зубы. Но его опередил голосок со странненьким смехом:

— А по ночам над озером поднимается туман, от которого люди лысеют и у них выпадают зубы.

— Ну да,— отозвался Семен озадаченно и замолчал. Как она могла знать то, что известно было одному лишь Размахаеву Семену?

Тут как раз порывом ветра где-то, небось у Панютина ручья, качнуло столб в нужную сторону, разрыв в электросети замкнулся, в доме вспыхнул свет. Телевизор мягко загудел и, секунду спустя, экран трепетно полыхнул синей зарницей: появилась дикторша, она извещала интересующихся о событиях в мире. Где-то горели леса, стадо китов выбросилось на берег, поселок горняков провалился в шахтные выработки, два пассажирских поезда столкнулись лоб в лоб в туннеле под горным хребтом...

Барыня не обращала никакого внимания на любимый ящик, она не сводила глаз с незнакомых ей людей, а вернее, с женщины в плаще; куда она заховала своих котят, неведомо — они не показывались. А уж Касьяшка распел-

ся — не унять. Чему-то он ужасно радовался, раз так напевал.

Вот теперь можно было хорошо разглядеть обоих гостей, но Семен невольно, как и Барыня, смотрел только на женщину. Что-то настораживало в ней и в то же время властно притягивало. При явных недостатках эта особа странным образом была ужасно интересна и даже привлекательна: лицо узкое, умное, уши прозрачные (или так кажется?), волосы... рыжие, или, вернее, оранжевые, а впрочем, при различном освещении они разные, давеча при керосиновой-то лампе показались черными. А что до всего прочего, то и не разглядишь ничего.

Надо же, бывают такие бабы, а? И на что только польстился этот хахаль! Вон Маня Осоргина — что рука, что нога, что все прочее — все основательное, надежное, есть на что глаз положить. А тут какая отрада?.. Но все ничто по сравнению с глазами гостьи! О каких недостатках можно толковать, когда такие, прямо-таки неземные глаза!

Гости негромко переговаривались, и хозяин уловил отрывок их разговора.

— Нет-нет,— тихонько убеждала своего спутника женщина,— здесь самое заветное место. На всей земле другого такого не сыскать!

— Но ты слышала, что он утверждает?

— У него есть основания так говорить, Рома.

— Вот видишь!

— Ты не понял меня. Тут чистейшее озеро, незамутненное, как око земное. Вода исключительно чиста, животворна, волшебна. Леса по берегам не знают больших бед, разве что маленькие обиды, но они не в счет.

— Но ты здесь не была раньше, потому и заблуждаешься...

— Того я и сама не знаю, Рома, была ли, не была ли.

— ...а наш хозяин — человек здешний, абориген, можно сказать. Так что он владеет полной информацией. Помоему, он механизатор.

— Нет, у него иное призвание. А пока он пастух.

— Что, судьба к нему несправедлива?

— Я у судьбы в резерве, — сказал Семен пересохшим голосом, однако довольно дерзко, и повторил: — Она держит меня про запас... для особо важного дела.

С минуту, не меньше длилось молчание. Или так показалось?

— Переночуем здесь, — решил Роман. — Мне лично нравится и дом, и его хозяин.

Она ему прошелестела:

— Зато мы с тобой не понравились хозяину!

— Вот как... Жаль. Но уже поздно нам искать что-нибудь другое!

— Который час? — спросила женщина в телевизор, спросила твердо и властно.

Дикторша озадаченно ответила ей:

— Половина двенадцатого.

Ответила!.. Семен обомлел. Под сердцем у него испуганно ворохнулось.

— Вы обещали на завтра в Москве дождь, а откуда ж он возьмется, если тучи иссякают, не доходя при северно-западном ветре до Волоколамска и Талдома?

— Я не виновата, — пролепетала дикторша. — Сводку не мы составляем...

— Ну, так сообщите им! Кто там у вас сочиняет сводки погоды? Зачем же вводить людей в заблуждение!

О, каким тоном она может разговаривать, эта слабенькая, хилая женщина!

Растерянную дикторшу в телевизоре сменил какой-то испуганный тип, наверно, кто-то из осветителей или операторов; у них там начался явный переполох — телевизор мягко щелкнул и выключился сам собой.

— А все-таки пахнет овсяным киселем, — сказал Роман, вставая. — Меня таким угощали в Полесье; правда, не подгорелым.

Женщина опустила в карман плаща тонкую руку, вынула какой-то прутик, разломила его несколько раз и бросила на пол — слышно было, как просеялся по половицам этот мусор — тотчас ветерком опахнуло Семена, и в избе густо запахло рыбным ароматом — да, вареной сомятиной, не иначе; будто на шесток вытащили ведерный чугун, откинули прикрывавшую его сверху сковородку, и пар от разваренной рыбы ударил в потолок, растекаясь по избе. Барыня порскнула из-за дивана в подпечек.

Семен ничего не ответил на «до свидания» своих гостей, сидел, как онемелый. А они вышли с самыми невозмутимыми лицами.

10

Утром проснулся, как и полагается пастуху, на рассвете. О вчерашних своих гостях вспомнил, как о странном сне.

Именно как о сне, и ни секунды не сомневался, что они ему пригрезились: задремал возле телевизора, вот и... Надо же, какая чепуха: даже будто бы дикторша разговаривала напрямую с гостьей — это анекдот для психически ненормальных, а не для Размахаева Семена Степаныча. Ну, и насчет того, что догадались про сома, быть не могло. Да и разве можно было добраться вчера до Архиповки на машине! Тут нужно тягач запрягать.

Но, выйдя на крыльцо, он онемел: рядом с его палисадником на луговине стояла маленькая легковушечка, ужасно похожая на божью коровку не только окраской своей, но и телосложением; под низкими бортами колес не было видно, того и гляди, высунутся оттуда черные лапки. Рядом растопырилась оранжевая палатка, высокая, со слюдяным окошком и с крылечком, как у настоящего домика, все честь честью. Ни звука не слышалось оттуда, и мокрая трава на луговине была нетронута, будто и машина, и палатка спустились с неба.

Семен стоял, как перед наваждением. Разглядывал и не верил своим глазам: на полотняных стенах домика-палатки нарисованы какие-то знаки, а на двери — огромный, с локоть, усатый рак. Ну да, обыкновенный рак — такие водятся и в озере, особенно много их возле Векшиной протоки и в ней самой.

«Цыганский балаган», — с опаской выразился Семен и обошел поселение стороной. Остановился посреди улицы, хотел, по обыкновению, хлопнуть кнутом, но, оглянувшись, ужасно расстроился: нарисованный рак почему-то переполз с двери на крышу палатки, а усы выставил антеннами вверх.

«Издеваются... фокусы устраивают. Ничего, меня за рубль двадцать не купишь... Нашли кого удивить! Да я и не такое видывал!»

Еще раз оглянувшись на палатку, осторожно постучал в соседское окно:

— Баб Вера! Выгоняй Малинку.

Вера Антоновна открыла калитку, уперла руки в боки, глядя на машину с палаткой, сказала:

— Ишь ты! Нашли место. Скоро нам на загорбок сядут.

А утро начиналось ясное, тихое; на небе ни облачка, словно и не было низких туч вчера вечером, словно и не дул резкий холодный ветер. Озеро лежало незамутненным зеркалом, теплынь была разлита в воздухе от земли до неба.

Все это никак не порадовало Семена Размахаева, а совсем даже напротив: омрачило. Пока собирал деревенских коров да пока сгонял колхозных со скотного двора — оглядывался на озеро: того и гляди, выскочат на берегу палатки, как грибы после дождя. Как та, что у его собственного палисадника.

Солнце двинулось в обход озера издавна заведенным порядком, тут бы и Семену со стадом следовать за ним, но он остановил свое воинство неподалеку от Хлыновского лога: отсюда и деревня видна, и шоссе; остановил и увидел то, что можно было ожидать: на берегу за кустами стояла молчаливая палатка самого обычного вида, а рядом еще одна и виднелся зад обыкновенной легковушки со столичным номерным знаком.

Пробрались-таки... По-видимому, еще вчера. Вот прохиндейская порода!

Семен огорчился, но не очень; может быть, потому, что палатки эти были молчаливы, никакого нарушения общего порядка с их стороны не наблюдалось. Гораздо более занимало теперь другое: он оглядывался в сторону деревни и видел, что возле его дома на зелени палисадника будто дразнился оранжевый лоскут, и рядом с ним будто красное солнышко вставало.

«Так что же, — снова и снова размышлял пастух,— все вчерашнее было на самом деле? Как с телевизором... и как про сома угадала... Чепуха какая, а!»

Он был просто сам не свой: расщепилось все пополам, и где жизненное, а где придуманное, теперь уж не разобрать.

Он впервые столкнулся с этой неправдоподобицей как с несомненной очевидностью. Хотя, если разобраться...

И тут воодушевление постепенно овладевало пастухом.

«Жалко, не пустил я их переночевать... — посожалел Размахай запоздало. — Интересно же, о чем бы они говорили... Чего я так вчера перепугался-то!»

Тут он отвлекся маленько от этих размышлений: сразу четыре автомашины остановились у съезда с новой дороги у его шлагбаума. Постояли и, воровато вильнув, объехали это препятствие, поползли к лесу. Одна, слава богу, ухнула в ров, выкопанный Размахаем; другая проехала по ней, как по мосточку, но попала в другой ров; а третья проехала по ним обеим и возле указателя «Объезд» свернула в болото, откуда уже не вернулась; зато следующая оказалась хитрей всех — она не

обратила внимания на указатель, а проехала прямо через перелесок, ловко виляя между недавно посаженными березками. Семен плюнул с досады.

Немного погодя он увидел, как у шлагбаума две «Волги» повернули было в обратный путь, но, подумав, стали съезжать с асфальтового полотна и покатили вдруг безо всякой дороги, по лугу.

Легковушки выползали на берег, глядели стеклянными глазами на побережную Архиполовку и занимали, занимали самые выгодные позиции. Запестрели шатры... послышался чей-то задавленный хрип — нет, не преступление там совершилось, это такая песня: очень пьяного мужика тащат за руки, за ноги в вытрезвитель, а он орет благим матом — у Холеры Сторожка подобной музыки много.

Семен с выражением полного бессилия на лице глядел на все это и слушал.

Вон уже плавают резиновые лодки, две из них навесили по мотору и устроили гонки вокруг срединного острова... Этого пастух не вынес, посгрудил свое стадо и двинул его по берегу, как это было им задумано еще вчера. «Вперед!.. Наше дело правое».

Первое попавшееся на пути формирование чужеземной рати, прибывшее, должно быть, ночью, еще дрыхло. Две машины, три палатки... Слышался победный храп, означавший полное удовлетворение физиологических потребностей. Лениво дымил костер, валялись чьи-то обглоданные кости, в железных кожухах дремали табуны лошадиных сил, полотна шатров слегка огрузли от утренней сырости.

Два-три хлопка кнутом — деловито шагающее стадо, сопящее, жующее, навалилось на этот первый стан: загремел котелок, зазвенели кружки, зашуршал коровий бок по одежке автомобиля; рогатая морда заглянула в зеркальце заднего обзора и облизала его; костер был растоптан в считанные секунды.

У входа в шатер-палатку самая старательная корова наложила хорошую лепеху, раздался испуганный женский вскрик. Из этого полотняного жилья выскочил встрепанный бородатый детина, закричал:

Ты! Мужик! Ослеп, что ли?

Семен широко размахнулся, оглушительно хлопнул кнутом, отчего задние коровы стали напирать на передних — и все вместе они повалили напролом. Детина озадаченно отступил.

Стадо прошло, оставив площадку, облюбованную гостями, растерзанной.

— Вот так, Митрий, — сказал Размахай быку. — А то: чти, говорит, уголовный кодекс. Я чту!

Митя на ходу согласно покивал тяжелой головой, а сказать ничего не сказал: умный, собака, до невозможности!

Стадо подступило к следующему становищу: здесь стояла машина «скорой помощи» и вокруг нее три развеселых шалаша, а трава вокруг была так выбита, словно топталось тут вчера весь вечер стадо голов на полсотни. Так притомились топтуны, что и закуски за собой не убрали.

— Здесь постоим, — сказал Семен Мите и помахал рукой передним коровам, останавливая свое рогатое воинство, а потом и забежал вперед, закручивая его в карусель. Коровы быстро разобрались в остатках вчерашнего пиршества, причем ели все подряд: хлеб с колбасой, свежие огурчики и сыр с плесенью, зеленый горошек из банок стеклянных и шпроты из банок жестяных; жевали селедку, поплевывая костями, сноровисто вытряхивали из красивой сумки сушки и баранки; а Митя задумчиво сжевал батон белого, понюхал початую бутылку, но пить не стал. Малинка съела плитку шоколада вместе с фольгой, Милашка разобралась с грецкими орехами — давила их копытом и очень ловко выбирала съедобное своим толстым языком.

Покончив с деликатесами, коровы принялись выщипывать примятую травку, в особенности из-под шалашиков. Опять послышалось женское «Ой!». Не очень картинно, на карачках задом наперед вылез человек в спортивных штанах с белыми лампасами, с брюшком.

— Эй, товарищ! — окликнул он Семена, хоть и хмурясь, но жестикулируя вежливо.

Наверняка с высшим образованием мужик.

Пастух подвинул на него коров, и он отступил к воде, а отступая, споткнулся. Ему на помощь вылез сосед — этот сразу заорал:

— Куда ты, морда, лезешь!

При этом поддел корову ногой. Кнут полоснул с ним рядышком, впритирку, так что этот воитель даже подпрыгнул.

— Только тронь у меня еще раз животину! — пригрозил Семен.— Я тебя исполосую.

Воитель остановился, разинув рот, слова застряли в горле.

— Она ж кровью доить будет! — поднажал на голос Семен. — Ты ей под вымя, собака!

Оба, и вежливый, и невежливый, стали оправдываться, что-де они ничего такого, а пастух посгрудил коров, приговаривая:

— Ишь, сколько вас понаехало! Стадо пасти негде.

Вылезла женщина — вот ей бы быть мужиком! Она подняла откуда-то взявшийся кол, огрела одну корову, другую, а Семену навстречу выразилась так круто, что наступила его очередь озадачиться: ай да «скорая помощь»! Она и на Митю тоже подняла кол, а тот не сразу сообразил, что это действие угрожает его безопасности, и смело шагнул ей навстречу. Женщина взвизгнула и задом упятилась в шалаш.

— Молодец, Митя! — похвалил его Семен. — Слабый пол уважает силу.

Отсюда рогатое воинство удалилось с большим почетом, с полной победой.

Так и двигались, разоряя одно становище за другим.

Но вот встретили такое, на котором оказались люди с иной планеты — с Марса или как там еще. Машина у них, правда, черная, а вот палатка и резиновая лодка — красные-красные. Митя, как увидел эту красоту, налился яростью и освирепел. Не очень, а больше для виду, однако грозное мычание вырвалось у него.

Марсиане были одеты в резиновые костюмы со стеклянными масками — Митя не обращал на них внимания, поскольку ихний цвет его не раздражал. Один из этих людей как раз выбирался из воды, держа в руках диковинное ружье со стрелой, другой стоял по колено в воде и объяснялся с первым знаками.

Рядом с костром на травке лежал соменок килограмма на четыре с гаком, возле жаберной крышки у него зияла глубокая рана. Семен нахмурился и двинул Митю на неприятеля. Митя грозно заревел, пуская слюни, угнул голову к лодке, которую не успели еще спустить на воду, и поддел ее рогом, она тотчас мягко опала, как опадает на землю парашют. Это сразу удовлетворило и утихомирило Митрия, зато марсиане заревели примерно так же, как он секунды две-три назад. Один из них прицелился из ружья в Митю, но Семен резко, оглушительно хлопнул — этот выстрел раздался как раз рядом с ружьем.

Парни не испугались, они посбрасывали с себя резину, вылезли, как стрекозы из старых шкур, и оказались двумя рослыми парнями вполне земной внешности. На виду у всего стада, как-то очень проворно, сноровисто надавали они оплеух Семену с двух сторон, засветили фонарь под левым глазом и сшибли с ног. Но самое горестное — лишили его еще одного переднего зуба. Ну, Семен вскочил и тоже им кое-где засветил, они могли быть им довольны, но силы все-таки оказались явно неравны: их было двое, к тому же они очень упористо действовали и ногами — того и гляди, пяткой выбьют ребро. Пришлось отступить: как говорится, лучше быть пять минут трусом, чем всю жизнь мертвецом. Семен сказал им, однако, что это ничего, сейчас он вернется с брательниками и можно будет поговорить еще. Никаких брательников у Размахая никогда не бывало, но не все же об этом знают!

— Вы только не уезжайте, собаки! — говорил своим врагам Семен, умываясь озерной водой. — Сейчас мы вам поднакидаем, погодите маленько. Вы меня запомните, да и не одного меня.

При этом он поглядывал на Митю нелицеприятно: мог бы поддержать своего человека! Но бык вел себя прискорбно: моя-де хата с краю, мы-де так не договаривались, чтоб драться с туристами, и это-де не мои проблемы. А мое, мол, дело не оставлять без внимания Малинку, Сестричку, Белянку, Красотку, Милашку. Отвернулся, морда, и пошел вслед за ними. Вот и понадейся на такого.

— Ладно-ладно, — обещающе сказал пастух этим самбистам-каратистам, покидая место сражения. — Еще не вечер.

Какое там вечер, когда и до полудня было далеко!

Отойдя же от них на некоторое расстояние, Семен вырвал выбитый зуб, болтавшийся на кожице, сплюнул кровь и забился в чащу леса, чтоб не видела ни одна живая душа, сел прямо на землю, на мох, и заплакал. От обиды, только что ему нанесенной, от чувства одиночества, охватившего его в эти минуты с особенной властью, а главное от бессилия, что не может предотвратить нашествие, а следовательно — он в этом был убежден! — и погубления озера. Он плакал, как это бывало с ним только в детстве, и от соленых слез нестерпимо щипало ссадину под глазом; вытирал лицо рукавом разорванной рубахи,

и в этом была тоже мера обиды и унижения... Как хорошо, что никто не видел его в эту минуту! Никто никогда не узнает о его минутной слабости, и это немного утешало.

Когда он, таясь за кустами, вернулся на берег, то увидел, что угроза его возымела действие: эти двое, что обошлись с ним столь немилосердно, спешно подбирали с луговины раскиданные вещи и таскали к машине. Они явно собирались уносить ноги: люди благоразумные, заопасались, значит: а ну как этот мужик братeльников приведет! Вот и «скорая помощь», прощально огласив озеро своей сиреной, удалилась в сторону асфальтовой дороги. За ней увязалась голубая «Волга», и еще одна... Надо думать, они сюда больше не приедут. Возможно, и кое-кому посоветуют не ездить, а то, мол, там пастух гоняет коровью рать по берегу, разоряя туристические становища, вольготной жизни нет.

«Наш скорбный труд не пропадет, — приободрился Размахай, трогая разбитое подглазье. — Чем это он меня саданул, каратист этот? Не может быть, чтоб голым кулаком! Что-то в руку взял, собака... Ну ничего, зато они седлают коней, укладывают шатры в кибитки и откочевывают отсюда».

11

— Не пропадет наш скорбный труд и дум высокое стремленье! — сказал Семен уже вслух и расправил ноющие плечи.

Конечно, когда драться человек непривычен, такая встряска совсем ни к чему, но как быть иначе! Иначе никак не получалось.

Он собрал разбредшихся коров и погнал их дальше, на разгром и разгон следующих вражеских становищ. И вот тут случилось то, чего он меньше всего ожидал: коровы остановились, со всех сторон тесня... уже знакомую ему «божью коровку» и оранжевую палатку-шатер с загадочными письменами и нарисованным раком, который сидел опять на двери, но уже вниз головой, будто собирался переползти на траву. Это был именно нарисованный рак, а не какой-нибудь другой — тут не могло быть сомнений — но почему он ползал-то? И как перебрались сюда ночные гости, если посолонь он шел со стадом и миновать его они не могли, а если против солнца по

берегу озера — там Векшина протока и клюквенное болотце. И на тракторе не проедешь. Однако же они вот здесь и даже этак обжились.

Губа у них не дура: тут самое живописное место на всем озере, потому его и выбрали эти двое — залив с кувшинками, ивы свесили ветки до самой воды, крутой травянистый скат берега...

Женщина, одетая в кофточку-распахаечку и что-то вроде штаников, и то, и другое ярко-алое, стояла у палатки и живо говорила столпившимся вокруг нее коровам неведомо что. Они ее слушали, как слушают школьники наставления учительницы. Пастух успел отметить, что на этот раз голос ее звучит иначе, нежели вчера вечером, — не шелестит, будто сухая бумага по стеклу, а вполне мелодичен и ласков.

Вдруг из-за кустов горой выдвинулся Митя, алый цвет мгновенно взъярил его, и он, коротко мыкнув, пошел на женщину, пригибая голову самым угрожающим образом, — а рога у Мити острые, как веретена или ухват с заточенными концами.

— Митрий! — Семен рванулся вперед наперерез, а туристка эта легкомысленно шагнула навстречу быку.

— Гляди, рогом пырнет! — закричал пастух, сознавая, что не успеет, и как бы в самом деле... не взбрело бы что-нибудь в шальную бычью башку! — За дерево, за дерево встань!

Женщина его не послушалась, легким жестом вскинула руку навстречу Мите, ладонью вперед, и бык тотчас замер, будто наткнувшись на невидимую стену. Более того, она подошла к Мите, погладила буйный чубчик меж рогов, — какая у нее тонкая, какая слабая рука! — и бык покорно рухнул на согнутые передние ноги, будто поклонился.

И Семен остановился, тяжело дыша, переводил взгляд с женщины на своего приятеля Митю и обратно. Только теперь заметил он Романа — тот сидел на бережку и сохранял полное спокойствие.

Словно ничего особенного она и не совершила, женщина так же спокойно и молча подошла к Семену, приложила зеленый листочек к разбитому подглазью.

— Вэ виктис, — непонятно сказала она и, сострадая, вздохнула. — Подержите так, скоро заживет.

Семен строптиво мотнул головой — пройдет, мол! —

прохладный листочек отвалился, но заплывший глаз уже смотрел бодрее.

— Зачем, зачем вы все такие? — продолжала она. — Это же очень больно, и тебе, и им. Как же так можно!

— Ты о чем, умница? — спросил ее Роман. — Если не ошибаюсь, «вэ виктис» в переводе с латыни означает «горе побежденным». Кто победит его, если судьба к нему благосклонна?

Он был в рубашке с закатанными рукавами, мокрые волосы прилипли ко лбу, а вихорек все равно топорщился, и это было очень смешно.

— Представь себе, у них там только что была драка. Я не успела вмешаться. Семена Степановича били кулаками, ногами... А он был ничуть не лучше: тоже бил.

Роман вскочил как-то по-особенному пружинисто:

— Дрался? С кем? Из-за чего? Где?

— Но самое удивительное, — продолжала его подруга, — что делал он это очень сноровисто, будто привычную работу выполнял... Люди, где ваш разум?!

Роман не обратил внимания на ее горестный возглас. Он весь был мобилизован, будто сидел в окопе, а теперь прозвучала команда: к бою! Сейчас выпрыгнет на бруствер и побежит с винтовкой наперевес, с азартным, злым взглядом, весь собранный, сжатый, как пружина на взводе. Размахай готов был поклясться, что видел его где-то.

— Ты победил, Семен Степаныч, или потерпел поражение?

Ишь, откуда-то узнали имя-отчество... Это чрезвычайно польстило Размахаю, и он рассказал историю о самбистах-каратистах, которых только что отлупил за браконьерство и которые совершенно случайно умудрились заехать ему, Семену Размахаеву, в глаз. Рассказал небрежно, как о деле пустяковом и привычном.

— Я перед тобой преклоняюсь, Семен Степаныч, — сказал Роман на это и даже сделал полупоклон. — Рукопашная схватка — высшее испытание человеческой доблести.

Но женщина печально покачала головой.

— Дикари, — проговорила она. — Это же глупо, и стыдно, и недостойно. Мало того, что вы бьете друг друга, так еще и возводите это в степень, как героический подвиг. Очень стыдно.

Семен и сам чувствовал теперь, что получилось не луч-

шим образом, но признать это вот так сразу ему не хотелось.

— Здесь заповедник и заказник, — объяснил он. — А туристы безобразничают. Если дать им волю — испакостят все озеро: выловят рыбу сетями, вырубят кусты и деревья по берегам. А много ли ему и надо-то, озеру! Посмотрите, оно ж невелико. Никому его не жалко: жгут костры, на воду бензиновые моторы спускают, моют свои машины, пугают всю живность... Тут бобры живут — вон их дом возле Векшиной протоки. А чуть дальше утка яйца высиживает...

— У нее уже утята, — тихонько сказала женщина. — Одиннадцать штук. Одного, к сожалению, вчера поутру утащила щука.

Размахай замолчал, будто запнувшись: откуда у нее такие сведения? Тем более что приехала-то не ранее, как вчера вечером.

— Нет-нет, — поспешила женщина рассеять его недоумение, — я не видела... просто знаю, что утята появились позавчера.

Семен кивнул и, ничего не поняв, как бы отодвинул сообщение об утятах, чтоб потом его взвесить в размышлении, а пока продолжал:

— А что творится в мире? Волна качает берега!.. На Онежском озере — вы читали? — два корыта столкнулись, одно с нефтью: берег на два десятка километров запакостили, я вчера по телевизору смотрел, как лопатами собирают эту нефть... Ладогу целлюлозный комбинат задушил — уж и пить из нее нельзя!.. Финский залив — вот собаки! — дамбой перегородили — он уже загнивать начал. И некому такое безобразие остановить... На Рыбинском водохранилище — читали? — древесина лежит на дне, заилилось все, рыбий мор идет... И вот какое озеро ни возьми — у нас ли в стране, за границей ли — все кричит и стонет!

Семена слушали так, будто раньше ничего подобного не знали, и это подогревало его. С приложением любимой присказки «волна качает берега!» и любимого ругательства «собаки!» он рассказал, что вчера вычитал в газете: озеро возле Одессы отравили, называется Ялпуг; тысячи судаков валяются там на берегах. Судаки, а не какие-то окунишки! А раков погибших сто тыщ насчитали. Камыш на Ялпуге пожелтел, птицы снялись и улетели — а куда им деться? По мнению Семена, един-

ственное спасение птицам — это лететь сюда, на Царь-озеро... если, конечно, не займут его туристы.

— Я так думаю: пока мое озеро в целости — на что-то можно надеяться, а не уберегу — хана, конец всему.

Это прозвучало впервые: мое озеро. Турист Роман и его подруга переглянулись, что-то сказали друг другу глазами. Вид у них был виноватый, словно они сознавали свой грех, но не спешили оправдаться.

— Поэтому я объявил запретную зону, — твердо заключил Семен, — заказник и заповедник.

— Но вы мальчика обидели, Семен Степаныч, — тихо возразила женщина. — А чем он провинился?

— Какого мальчика?

— Который спал в палатке, когда случилось нашествие коровьего стада. Ему три годика. Представьте, он еще ни разу в жизни не видел леса, вот этого разнотравья — разве что на картинках. Озеро — только по телевизору! Птиц, стрекоз, муравьев — то же самое. И вот вчера привезли его сюда, а тут все настоящее: шмели гудят, птички поют, листва шелестит...

— Еще бы! — пробормотал Семен.

— Он вечером засыпал и радовался, что слышит, как рядом с палаткой плещется рыбка и как коростель скрипит. Для него все это такое чудо! А утром проснулся — рогатые чудовища около палатки, мычание, крики, хлопанье кнутом...

— Я не знал, что там мальчик, — покаянно сказал Семен, вспомнив Володьку. — А все равно, как было быть? Ждать, когда они натешутся, наиздеваются?

— Но принимаясь делать что-то, разве можно не взвешивать последствий? Особенно, если это какие-то силовые поступки.

Семен оглянулся в ту сторону, где разорял туристские становища.

— Как его зовут?

— Ванечка.

— Душегуб теперь вырастет из этого младенца, — со вздохом сказал Роман. — Хулиган и бандит, осквернитель природы. А уж сколько он погубит фауны и флоры!

— Хоть ты и шутишь, Рома, но, увы, недалек от истины. Что мы посеяли в душе этого маленького человека сегодня?

— Мальчика жалко, — пробормотал Семен и развел руками: а что, мол, было делать!

— Не слушай ее, Семен Степаныч, — дружески утешил Роман. — Хирургическая операция болезненна, но от иных болезней только она и спасает. У тебя с озером как раз тот случай. Гони всех в шею, и дело с концом! Это самый простой и самый эффективный способ, лучшего нет. По-моему, так надо смело и отважно ввязываться в драку, а потом уж смотреть, что из этого получится. Это только на первый взгляд кажется абсурдным, а по существу — самый краткий путь к победе. А если нюни разводить — толку не будет, поверь. Тогда Ванечка, уж точно, никогда не узнает, что такое Царь-озеро.

— Почему, делая добро, вы сеете тотчас и зло? — страдающе возражала женщина. — Как это у вас получается? Самое дурное — когда устанавливают законы, запреты без истинного знания. Должно быть наоборот: сначала знание, потом закон. И нельзя применять грубую силу! Это... это недостойно. Заповедник и заказник должен быть здесь, — она положила свою невесомую руку на грудь Семену, как раз напротив сердца, и сердце тотчас сделало сбой, того и гляди, остановится. — И не только у вас, Семен Степаныч, а у каждого из людей.

— Ведьмочка, не мучай человека раскаянием, — опять вступился Роман. — Это совсем ни к чему: если обратить его в твою веру, он не сможет жить — его распнут, как Христа. За смирение. Ты пойми, мы живем по другим законам. У нас другое измерение, свои представления о добре и зле. А ты в наш монастырь со своим уставом...

Ладонь женщины опахнула лицо Семена и чуть тронула рану под глазом — боль совсем исчезла, как будто ее и не было.

— Так нельзя, — повторила она тихо.

— И можно, и нужно! — убежденно возразил Роман. — Я не знаю, прав ты или не прав, Семен Степаныч, со своим запретом на озеро, но мне нравится, что ты сражался сразу с двоими. Пошли с ними поговорим еще раз, по-мужски, двое на двое. Вот они, вот мы, между нами нейтралка. Вперед, Семен! Наше дело правое, победа будет за нами.

И тут Размахая осенило: он узнал его! Как это вчера не смог?.. Это лицо столько вечеров маячило на экране телевизора и столько же звучал этот голос. Уверенный прищур глаз, прямой взгляд... но нет шрама через верхнюю губу и щеку! Шрама нет — вот что сбило вчера с толку.

Этот человек снялся в главной роли многосерийного фильма о бывшем солдате-разведчике по имени Иван, который по прошествии многих лет, будучи старым уже, никак не мог забыть войну, был болен ею. Раз в четыре-пять лет с этим контуженым что-то происходило: в назначенный им самим срок инвалид превращался в солдата. В полночь выходил он из дому, шел скрытно, отсиживался в укромных местах; варил в солдатском котелке кашу, зорко следя, чтоб дым костра не выдал его; считал автомобили на дорогах и трактора в полях; закапывал бумажный сверток под железнодорожное полотно и жадно смотрел, как невредимыми проходят поезда... кидался ничком в траву, в грязь, если показывался высоко вверху самолет... Время от времени короткими пробежками, залегая и вновь поднимаясь, с деревянной палкой наперевес, «брал» очередную высотку, а взяв, долго просиживал в безмолвии и плакал... Ему слышались родные голоса, виделись знакомые лица, чудилось и то, и это.

Усталый, измученный, он продолжал путь далее. Иногда стучался в окно знакомого ему дома, хозяйка которого ахала в изумлении, узнав его; Иван тайно жил у нее день или два и так же тайно покидал гостеприимный кров; снова шел, таясь от людей, переплывая реки с риском для жизни, переползая поля, проходил неслышно и невидимо через малые селения и большие города.

Непостижимым образом этот бывший фронтовик-разведчик пересекал государственную границу и шел уже по польской земле; пожилая полячка обнимала его, появившегося перед нею неведомо как и откуда. Он выслушивал ее исповедь о житье-бытье и отправлялся дальше: пробирался по тоннелям метро, по фермам железнодорожного моста... спрыгивал на крышу идущего на полной скорости поезда, вскакивал в мчащийся грузовик...

В очередной раз перехитрив бдительных пограничников, оказывался уже в нашей зоне Германии. Немецкая семья — две седые женщины, старик и мальчик — при свечах угощали Ивана непременно скудными кушаньями военной поры, а иного он ничего не ел. Этот чудак не знал ни польского, ни немецкого языков, но умудрялся поговорить душевно со всеми.

Наконец, в Берлине его, пляшущего на улице, ликующего, «брали в плен». Следовало выяснение личности, его узнавали знакомые и журналисты, он публично давал обещание, что никогда больше не будет нарушать

границ, после чего присмиревшего, печального солдата при орденах и медалях с почетом отправляли домой...

Именно такого, калеченного и страдающего, любил его Семен Размахаев, тем более что в этих странствиях у Ивана было множество приключений смешных и трогательных, героических и страшных; впрочем, любил он его и молодого, в начале великих испытаний, вот такого красивого, каким ныне — просто невероятно! никто не поверит! — увидел на берегу своего озера.

— Уймись, Рома, — тихо урезонила его спутница. — Тебе только бы сражаться! Ваши враги уже уехали.

— Прекрасно! — актер так же легко отказался от намерения подраться, как легко и принял это решение. — Ты победил их один, Семен Степаныч. А жаль, я б тоже повоевал с этими каратистами.

— Как вы любите воевать! — страдала женщина, и глаза ее были такими печальными, что Семен огорчился. — Зачем вам это?

— Воинская доблесть, умница моя, — высшее проявление человеческого духа. Отважные воины — элитарная часть человечества. Подвиг в бою всегда был предметом преклонения и восхищения. И ты не права, утверждая, что война — это болезнь. Войны бывают и священными. Они есть необходимый путь, который надо пройти, чтоб достигнуть нравственного совершенства да и новой ступени цивилизации тоже. Разве у вас не так?

— Нет, нет, нет, — качала головой женщина, глядя на него, как на неразумное дитя.

— А у нас это ясно каждому. Вот в Архиполовке наверняка пели во дни былые такую частушку... Запевай, товарищ Сема, и не бойся критики: все хорошие на фронте, а в тылу — рахитики. Слышишь суть? Хорошие те, что на фронте, в бою, они защищают родину. Таков глас народа. Человек должен пройти закалку в огне и воде, равно как и все человечество в целом.

— Ты совсем не похож на своего Ивана, — решительно сказала женщина. — Он — не воин, а хлебопашец по сути своей. Воинский подвиг был для него вынужденной необходимостью, которая его тяжко угнетала. А ты болтун, как все твои друзья-актеры.

— Ну вот, ты уже сердишься, умница моя. Значит, чувствуешь, что не права.

— Тут надо подумать, — сказал сам себе Семен, и на него оглянулись. — Надо подумать.

Удивительным было в эту минуту лицо Размахая! Он, по обыкновению своему, остолбенел, то есть охвачен был весь размышлением. Вот так да: весь был охвачен и весь направлен, нацелен на работу мысли. Жаль, Роман не оценил, очень уж расположен был к веселости.

— Он мой поклонник, а не твой, — тихо сказал актер подруге, — следовательно, я прав, а не ты.

— Я тебе его не уступлю,— так же тихо, однако же слышно для Семена отвечала она, искоса и этак сострадательно наблюдая за ним. — И не корысти ради, а во имя торжества истины.

Взгляд ее, ласковый и спокойный, заставил Семена оглянуться, он почему-то смутился совсем по-детски.

— А ну пошли отсюда! — закричал он вдруг на коров, стоявших вокруг них кольцом. — Ишь, вылупились! Интересно им... А ты чего встал? — это коленопреклоненному Мите. — Очень тебя просили!

Стыдно признаться, а как утаить: вдруг испытал приступ ревности к Мите, который так рыцарски рухнул перед женщиной на колени.

12

Теперь стадо паслось в сторонке, и когда одна из коров вознамерилась было нарушить мирный быт обитателей оранжевой палатки и направилась к ним, Семен примерно наказал ее, после чего Митины подруги вели себя благонравно.

Сам же пастух держался в почтительном отдалении от гостей и выискивал в уме своем предлог еще раз подойти, поговорить.

«Она считает, что главная беда от нашего невежества, — размышлял Размахай.— А что? Это верно: невежества в нас очень много. Нужно, мол, убеждение и только оно... А Иван за то, чтоб убеждать самым коротким и сильным способом. Вроде оба заодно, однако какое между ними несогласие! А я как? Не знаю...»

Он ощущал необыкновенный подъем сил и готов был услужить своим новым знакомым во всем, прикажи они только. Однако боясь показаться назойливым, удалился ровно настолько, чтоб не мешать им, а в то же время не мог отойти далеко — взгляд его будто магнитом тянуло к этим людям. Пастух следил боковым зрением, как расхаживает по берегу залива с кувшинками актер — все

ему нравилось в этом человеке! — как он мягко, упруго ступает, какие у него крупные красивые руки, а уж голос — тот, Иванов, голос!

Вот — по звуку можно определить — взялся чистить песком сковородку...

«Да я б ему почистил! — вскинулся Семен, — мне ж это в удовольствие».

Вот закинул поплавочную удочку...

«Господи! — взмолился Размахай.— Пошли ему рыбу... Пусть соменок польстится на его червяка... у нас же тут и голавлей пропасть. Что ж вы, собаки, не клюете!»

И бог послал «солдату» двух окунишек и подлещика — все в младенческом возрасте. Этот улов вызвал столько радости у него, что Семен чуть не прослезился: надо же, вот человек — как ребенок! — радуется такому пустяку.

«Ивану понравится здесь, — вздыхал он, не замечая, что называет актера именем солдата. — А вот я расскажу ему про наши места! Ого! Тут же партизанский край... И он еще не знает, что такое наше озеро, а это же, это же... Ну ничего, узнает. Пусть всегда приезжает сюда... Тут не какое-нибудь море, где жара, многолюдье... А у него ж бессонница от контузии, ему покой нужен, чистый воздух, хорошее питание...»

Жажда добрых дел томила Семена, и он собрался-таки с духом и явился предложить свои услуги:

— Давайте какую-нибудь посудину, я вам молока принесу, свежего, парного.

— Ведьмочка! — крикнул актер. — Ты хочешь парного молока?

Та не отозвалась. Может, обиделась, что так ее назвал?

«А-а, наверно, они поругались!» — догадался Семен.

— Она не понимает, о чем мы ее спрашиваем, — объяснил ему Роман. — То есть что такое молоко парное, не знает. Представь себе, она насчет этого совсем без понятия.

— Как это?

Пастух озадачился: эта горожанка никогда не пробовала теплого, только что от коровы молока? Он даже испугался этой мысли: неужели такое бывает? Неужели до такой степени человек может быть беден и несчастен?

Актер этак затруднялся объяснить, не сразу подыскивал слова:

— Видишь ли... боюсь, ты не поймешь... в общем,

всякая наша пища ей или незнакома, или непривычна.

Семен сказанное будто на язык пробовал, стараясь угадать по вкусу смысл каждого слова. Хотелось определить, как степень солености, меру шутки.

— Где же она живет? В какой местности? Или она иностранка?

— Как тебе сказать... живет-то она рядом с нами, но...—Актер опять замялся, Семен взглядом подталкивал его: ну же! говори!

— Есть такое понятие: искажение пространства. Мы с тобой находимся в мире, где есть длина, ширина, высота — все эти понятия линейные, прямые. Они характеризуют наш мир. А если представить себе, что они искривлены, то в пространстве рядом с нами образуются... большие объемы, в которые мы не можем попасть и откуда нам ничего: ни звука, ни пылинки. Так вот, она и ее сограждане живут там. Они рядом, но по ту сторону, за плоскостью. Рядом, но не с нами и не по-нашему.

«Чего он мне мозги пудрит! — подумал Размахай, крайне озадаченный этим «искажением пространства». — Да еще на полном серьезе. Или думает, он умный, а я дурак?»

А на сердце даже похолодело от присутствия желанной тайны. Сердцем он чувствовал, что тут дело особое, нельзя вот так сразу, с кондачка, отвергать, да и лицо актера было настолько серьезным... что не поверить просто грех.

— И там их много?

— Целый народ, большой заселенный мир, с городами, дорогами, полями.

Ничего себе! Как же они там помещаются, если даже и поля, и города? Что-то тут не так...

— А реки-озера у них есть?

— Да, и их очень берегут.

— Значит, умный народ... Почему же, к примеру, их не слышно? Ни голосов, ни звуков всяких.

— Но иногда ведь бывает, вроде бы как и чудится! Может, это как раз они?

— Почему мы их не видим?

— Ну вот, ты не понимаешь... Впрочем, я сам только делаю вид, что понимаю... не видим, и все тут! Они рядом, но бесконечно далеко от нас, потому что разделяющие нас плоскости непреодолимы.

— Но раз она здесь, значит...

— Да, иногда залетают. В том-то и загадка! Она говорит, что выпала к нам случайно, как из самолета. Случилась нелепая катастрофа, вот и оказалась здесь. Она ничего не рассказывает о том мире, откуда появилась, только улыбается, если спросишь: все равно, мол, не поймете. Тут какая-то тайна... и не одна. Постигнуть их нам просто не дано.

Помолчали, и то была для Размахая минута напряженного раздумья.

— Как ее зовут? — спросил он.

— Там обходятся без имен, они им не нужны. Я ж говорю: у них все иначе.

— Но ведь когда обращаешься к кому-нибудь, вот хоть бы я к тебе, надо назвать. Как же они?

— Там не говорят — там читают мысли. И когда так, то имена не нужны.

— А нам-то неудобно без имени, верно?

Актер пожал плечами: я-то, мол, с тобой согласен, но что делать!

— Ведьма она, так и надо ее называть. Видал, какие фокусы выкидывает! Быка твоего поставила на колени. Цирк, верно? Погоди, еще увидишь. Она вообще-то старается этим особенно не злоупотреблять, а то мы с тобой и вовсе остолбенеем, верно? Ум за разум зайдет.

— А как ты с нею познакомился, Иван?

Семен опять не заметил, что назвал актера именем солдата.

— Если это можно назвать знакомством! Ехал по плохо освещенной улице... и сбил ее... правым бампером.

— Ох ты...

— Не заметил! Вдруг сильный удар и — смотрю, женщину отбросило от моей машины на обочину, на газон.

— В ней и так-то чуть душа держится!

— Не скажи. Если б вместо нее был ты, мы с тобой сейчас не разговаривали бы: лежал бы ты под холмиком, и травка зеленела бы, а я в местах не столь отдаленных вкалывал.

— А машина была вот эта?

— Нет. Эта ее, а у меня своя.

После каждого ответа актера наступала пауза — пастух размышлял.

— В больницу сразу повез или «скорую» вызвал?

— Вызвал бы, да запретила. Так что я привез ее к

себе домой, выхаживал... служу вот теперь у нее на посылках.

— Как золотая рыбка, — пробормотал Семен. — Все мы у кого-то служим. Я вот у озера.

— А что ты все расспрашиваешь? Понравилась, что ли? Брось, не бери в голову: пустое это! Ты ей не поддавайся, слышь. Мало ли что будет внушать! Она не женщина, так, видимость одна. Да и чего хорошего! Похожа на лягушку, верно!

Семен не ответил, он смотрел на шатер и глазам своим не верил: нарисованный рак пошевелил усами и стал передвигать ближние к нему письмена. То были головастенькие запятые парочками — хвосты у каждой к голове подружки, и еще одна с хвостом длинным, изогнутым по-лебединому; были скобочки, соединенные штрихом или двумя, и стрелка с поперечиной, и просто буквы-знаки нерусские. Нарисованный рак отпихнул от себя кружок с точкой посредине, будто мячик, пригреб скобочку, похожую на молодой месяц, поймал неуклюжей клешней, поднес к усатому страшному рту и схрумкал этот месяц, будто половинку баранки-сушки, даже сухой звук послышался. На этот звук актер обернулся, поймал недоумевающий и озадаченный взгляд пастуха и усмехнулся.

— Вот такая чертовщина каждый день, — шепнул Роман. — Я уж привык и ничему не удивляюсь.

А из-за кустов вышла та, о которой они только что говорили, и была задумчива, даже огорчена. Семен подумал, что это она недовольна им, хозяином Царь-озера; как-никак устроил тут шум, даже скандал, драку... нехорошо, некрасиво.

— Вот, — сказала она, держа что-то на ладони, — даже камни умирают. Знали бы вы, каким он был двадцать лет назад! Сокровище. А теперь мертвец, труп.

Она бросила камень в траву; Семен подобрал: да обыкновенный булыжничек величиной с два спичечных коробка. Таких много.

— Но этот был с огнем! — сказала женщина. — В нем солнце опускалось в пурпурные облака, и бирюзовое море было, и черный утес, и даже белые чайки на фоне этого утеса. В нем хранились удивительные краски, понимаете? А теперь ничего нет. Умерло.

— Все умирает, — философски заметил Роман.

— Да, но смерть хороша в свой срок, тогда все естест-

венно, безобидно. В противном случае — трагедия. Этот должен был жить.

— И в чем причина трагедии? — улыбнулся актер. — Корова наступила на него копытом или капнула птичка?

— На землю постоянно оседает космическая пыль, она вступает в общий хоровод. Вам только кажется, что земная твердь неподвижна, нет, это почти бурлящий котел. Тут у каждой пылинки свой интерес, свой закон, каждая вступает в свое братство и ведет свою борьбу. Камни растут, притягивая космическую пыль, а этот притягивал не все подряд, а избирательно — такая в нем была основа. Он так и рос бы благородным, но некоторое время назад атмосфера стала меняться — там свои превращения — появилось слишком много омертвляющих включений. Благородные частицы из космоса, пробиваясь сквозь вашу загрязненную атмосферу, умирали, не долетев до поверхности. Каждая пылинка становилась мертвой, перед тем как воссоединиться с камнем. В итоге в нем произошло необратимое — он тоже умер. Вот так. Я понятно объяснила?

— Более или менее, — кивнул актер.

Сказанное о камнях кануло Семену в душу, будто заветное признание, и он готов был остолбенеть, как давеча, но жажда услышать от этой необыкновенной женщины что-то еще — удержала его. Ему уже бесконечно нравились и руки ее, так похожие на славные лягушиные лапки... и весь ее светлый, неземной лик, на котором пугающе сияли страшные, прекрасные глаза. И разве не хороши ее прозрачные раковинки ушей, что прячутся в пепельных волосах? А какой у нее голос — он не из горла, он из груди, от сути ее существа, потому так задушевен.

— Я принесу вам молока, — поспешно сказал он. — Давайте какую-нибудь посудину.

Актер подал ему котелок, хоть и закоптелый снаружи, но чистый внутри.

Семен обомлел: это был «тот» котелок, мятый, простреленный, клепаный, побывавший во всех военных передрягах и сам ставший героем, наравне с Иваном... Словно током пронзило восхищенного телезрителя Размахая. Понес его в обеих руках, словно посудина эта была уже полной.

Пока шел к стаду, актер и его подруга смотрели ему вслед.

— Ты что-то там изменнически внушал ему обо мне,—

тихо сказала она и благодушно усмехнулась. — Ай-я-яй, нехорошо. Запрещенный прием.

— Я предупредил его, как мужчина мужчину, чтоб он не очень-то доверялся тебе, чтоб он учитывал власть твоего лицемерия. Я сказал, что ты и не женщина вовсе, что ты только тень, иллюзия, а вернее, непонятно что и не из-за чего ему хлопотать, пусть не беспокоится. Мы люди земные, устроены сама знаешь как.

— Знаю. Но мне ли состязаться с тобой в лицемерии! Ведь это твоя профессия — ты актер, а не я.

— Верно. Только у тебя другие, более сильные средства — ты ведьма, колдунья, искусительница судеб.

— Семен Степанович нравится мне. Я испытываю уважение к этому человеку.

— Но позволь спросить, чем он так тебя привлек?

— Чем? Не знаю... Впрочем, попробую сформулировать, — она задумалась на мгновение. — Он книжный человек, понимаешь? А это уже прекрасно само по себе. Он книжный человек с самым крестьянским обликом. Как этот камень: в нем угадывается внутренний свет и волшебные краски... Да-да, не улыбайся так коварно. В нем благородство и фантазия, детская наивность и способность к душевной боли там, где другие равнодушны. Он мне интересен, и я беру его под свою владетельную руку. И ты мне помешать не можешь.

— Я покоряюсь, твое царское величество.

Роман картинно встал на одно колено и поцеловал подол алой-алой кофточки-распахаечки.

«Книжный человек» между тем позвал корову — «Светка! Светка!» — не потому, что эта была своя собственная, он мог бы и чужую подоить — эко дело! — а потому, что у нее все-таки самое вкусное молоко — это всем известно. Светка пришла к нему, он погладил ее по спине, присел сбоку на корточки, зажал котелок в коленях.

Митя посматривал вопросительно и остался в недоумении: таким взволнованным и воодушевленным бык своего пастуха не видывал.

— Тебе не понять, — говорил ему Семен, и белые струи молока из-под его рук устремлялись одна за другой в котелок. — Во-первых, ты телевизор не смотришь, а я четырнадцать вечеров подряд смотрел, как Иван воевал, как страдал в плену и в госпиталях... как, вернувшись домой, искал свою дочку... и как жену нашел, а она, собака,

уже с другим... и как он раз в пять лет бросает все и идет по дорогам, что прошел за войну...

Митя слушал внимательно, примеряя на свой ум, как домовитый мужик примеряет мудреную вещь или рассуждение к своему хозяйству.

— А подруга у него! Ну, я думаю, ты кое-что уразумел, раз на колени перед ней рухнул.

— Му, — кратко сказал Митя, будто вздохнул.

— Во какая баба! Что только не вытворяет! Не знаю, чему верить, чему нет. Я глазам своим не верю! У меня ум за разум... Ведь она читает меня, будто книжку, что ни подумаю — уж знает, мне даже страшно.

Митя отвернулся и стал щипать траву: подумаешь, мол, диво!

А звенящий отзвук котелка под ловкими руками Семена сменился ритмическим бархатным шорохом — это пена пышно поднималась над парным молоком.

— Что тебе объяснять! — сказал пастух. — Все равно не поймешь. До тебя, Митрий, не докричишься, ты в другом измерении. Ты передо мной — совсем как я перед нею.

Пошел назад, опять неся перед собой котелок бережно, как хрустальный кубок. И оттого, что боялся расплескать, и оттого, что котелок был «тот».

Актер встретил его взглядом испытующим, словно спросить хотел: а ты, мужик, ради кого из нас стараешься? Он принял котелок и передал женщине. Она примерялась так и этак, вернула:

— Я не умею. Давай сначала ты, Рома.

Актер взялся за котелок сноровисто, привычно, сдул немного пену, стал пить — его подруга следила за ним с улыбкой. Потом она приняла котелок — удивительным было в эту минуту выражение ее мраморного лица! Будто она молилась.

Так хорошо было Семену в эту минуту, что он отошел в сторонку, совершенно растроганный. Они же пили по очереди, смеялись и опять пили. Котелок опустел.

— Еще? — спросил Семен с готовностью.

— Это опосля, — ответил важно актер голосом Ивана.

«Будто из телевизора!» — радостно всколыхнулся пастух.

Вот скажи ему сейчас «солдат»: прыгай, мол, Семен, в озеро... Да что там в озеро! Хоть в колодец... даже когда тот совсем без воды. Прыгнул бы!

— Я все спросить хочу, — он нерешительно потоптался, испытующе посматривая на «Ивана».

— Ну! — подбодрил тот.

— Вот скажи: когда ты в плен попал... тебя допрашивали, измывались, истязали, ты в беспамятстве слышал голос дочки своей двухлетней... Как же это могло быть? Ведь она родилась без тебя! Ты ушел на фронт, когда жена твоя была только беременна. Так?

— Верно.

Актер оглянулся на свою «царевну-лягушку», приглашал и ее улыбнуться. Та смотрела серьезно.

— И вот она же встала перед тобой, словно наяву. И ты сразу догадался, что это твоя дочка... А самое главное: когда домой с войны вернулся — узнал ее, ту, что являлась к тебе, избитому, в бреду. Это же прям чудо какое-то! И ты ее в самом деле узнал?

Вид пастуха был простодушен донельзя. Просто сказать, до глупости.

— Семен Степаныч, — сказал актер этак осторожно, — у меня нет дочки.

— А как же... Ведь ее показывали в кино, я видел.

Актер оглянулся на свою спутницу, словно спрашивая: кто, мол, кому мозги пудрит? Та серьезно и внимательно смотрела на Семена. А тому было не до того, чтоб кого-то разыгрывать, он жаждал ответа.

— Я ведь просто играл, — напомнил актер. — Другого человека, в иных обстоятельствах. Когда шла война, меня и на свете-то не было!

— Да я понимаю! — с жаром сказал Семен. — И все-таки удивительно-то как: никогда не видел, а узнал. Значит, сердце подсказало. Так?

Актер кивнул, тоже немного недоумевая.

— И еще я хочу спросить, — продолжал Семен. — Как же ты все-таки через границу-то, а? Уж в мирное время, можно сказать, в наши дни. Ведь там вспаханная полоса, приборы ночного видения, пограничники с собаками, вышки и на них часовые... И ты все-таки перешел незамеченным. Как это тебе удалось? Расскажи.

Актер опять некоторое время смотрел на него, соображая: как, мол, это понимать — всерьез спрашивает пастух или разыгрывает его.

— Семен Степаныч, я же... границу переходил не взаправду.

— Да это я понимаю! — радостно вскинулся Разма-

хай. — А все-таки... не шуточное дело. Ты ведь полз тогда, а двое наших пограничников прошли совсем рядом — они ж на тебя чуть не наступили оба! Лопухи...

Он засмеялся совсем по-детски и тотчас, вспомнив о недостающих зубах, пресек смех.

— Конечно, — сказал, нахмурясь, — им с тобой не тягаться, ты ж все-таки фронтовик... И вот как это тебе удалось, а? Ох, ловкий ты мужик!

— Я границы, Семен Степаныч, пересек на поезде или на самолете, — объяснил Роман, как бы возвращая пастуха на исходные позиции; он не хотел попасться на розыгрыше.

— Не надо, — тихонько сказала ему подруга и тронула за локоть. — Не разочаровывай его. Семен Степаныч не любит раздвоения образа, не разделяет вымысла и жизненной правды. Я думаю, это прекрасно.

Опять она смотрела на Размахая очень ласково и улыбалась. Как славно, как чарующе умела она улыбаться! То улыбка не от желания понравиться кому-то, а лишь спутница мыслей, будто царевна-лягушка удивлялась тому, что говорила. И при всем при этом так нравилась Семену, хоть, может быть, и не стремилась к тому. Ведь всего только улыбка — много ли!

13

Пастух был полон радостью от этой встречи — просто невтерпеж. Восторг владел душой Семена Размахаева!

В этом воодушевленном состоянии он обходил свое стадо, уже не интересуясь, приезжают ли на озеро туристы и как они себя при этом ведут. Он разговаривал с Митей, потому что молчать в таком состоянии было просто непосильно, и все оглядывался в сторону оранжевой палатки с нарисованным на ней и все же ползающим раком: не позовут ли, не нужна ли его помощь.

«Эх, надоем я им, — страдал пастух. — Люди отдохнуть приехали, а я к ним привязываюсь. Нехорошо...»

— На домишке ихнем, думаешь, что нарисовано? — спрашивал он флегматичного Митю.— Не просто так, не от глупости, а со смыслом: это обозначения планет и созвездий. Например, кружок и у него крестик внизу — это Венера, пастушеская звезда. Моя, значит. Ее можно ви-

деть при заходе солнца или при восходе. А вот кружок с рожками обозначает созвездие Быка... Да-да, Митрий, это твое созвездие на небе. Я тебе и его покажу, если хочешь... Сейчас-то не видно, а вот ночью.

Разговаривая этак с Митей, он все время думал не о знаках на палатке и не о созвездиях на небе, нет. А вот как там Роман, ловится ли у него что-нибудь на удочку? И, самое главное, чем занята эта женщина?.. Неодолимое желание быть с нею рядом боролось в нем со смущением: не помешать бы!

Выйдя к озеру в некотором отдалении от палатки, Семен вдруг увидел ее: «царевна-лягушка» сидела в одиночестве на берегу и тихо, неудержимо смеялась. Семен замер и уже хотел было отступить назад, но она оглянулась и заговорила с ним так, словно они только что беседовали, и она продолжала прерванный разговор:

— Представь себе: стайка плотвы подошла к щуке с хвоста и очень отважно теребит: то ли принимает хвост за водоросли, то ли нарочно дразнит.

— Где это?

— Там, — она показала рукой, детски улыбаясь. — В той осоке под ивой. А щука никак не поймет... Очень смешно.

Она опять засмеялась, и Семен тоже. Он почувствовал необыкновенное облегчение и... смело сел рядом.

Совершенно собой не владея, весь во власти неземного чувства, Семен пустился рассказывать про свое озеро, подчиняясь неудержимой потребности; он спешил поделиться самым дорогим. Начал с того, как из его колодца уходит посреди зимы вода... как намерзает поэтажно лед... как остаются на дне рыбные ямы, исходящие паром... и о соме...

Женщина внимала Семену, и в глазах у нее было столько неподдельного интереса, восторга, лукавства, удивления, смеха!.. Никогда еще за всю сорокалетнюю жизнь не было у него такой слушательницы, такой собеседницы!

— Что это! — вдруг воскликнула она, остановив его поднятую в жесте руку.

Повернула ее так, чтоб видеть россыпь из семи родинок ниже локтя.

— Что это значит? — спросила она и, кажется, побледнела. — Ведь это же Большая Медведица!

Да нет, не могла она побледнеть, а просто как бы встревожилась.

Семен сказал после паузы:

— Ну не сам же я этот знак поставил! Наверно, кому-то нужно было.

— У меня тот же самый знак...

Она подняла крылышко-рукав — у нее на плече семь родинок тоже образовали ковшик, только он был не так глубок как на звездной карте или на руке Размахая; водицы таким ковшиком много не начерпаешь — он мельче, и ручка словно сломана — крайняя родинка ушла вниз.

— Непохоже, — усомнился Семен. — Совсем другое.

— Это созвездие Большой Медведицы, каким оно будет видеться с Земли через тысячи лет.

То была минута прекрасного единения между ними.

— Мы брат и сестра, — сказала она. — Ты мой брат.

А Семен ничего не мог сказать. В эту минуту в нем произошло великое озарение: если раньше душа его просто замерла, как замирает природа перед наступлением дня; если потом он уже сознавал, что начинается волшебный рассвет, но не мог понять, зачем это, к чему это, то теперь вот происшедшее в нем самом можно было уподобить восходу солнца. Все в Семене Размахаеве осветилось новым светом, границы души его раздвинулись, вмещая в себя весь мир, запели птицы...

Солнце взошло! Боже мой, как это хорошо...

Солнце взошло! Как счастливо жить на свете...

Солнце взошло!

Или это можно было сравнить с наступлением весны: теплынь вокруг объяла все, хлынули вешние воды, жаворонки запели, распустились цветы и камни...

Да ни с чем не надо сравнивать, это прекрасно настолько, что ни с чем не сравнимо.

Это была просто любовь.

— Квод эрат дэмонстрандум, — невнятно сказала она.

— Что? — не понял Семен.

— Прости меня, я нечаянно... Приплыло откуда-то выражение. Оно означает: что и требовалось доказать. Мы брат и сестра, квод эрат дэмонстрандум.

— А-а, — он повторил неудобные эти слова, как ребенок, который учится говорить.

И тут тяжелая ладонь опустилась на плечо Размахая:

— А ну, мужик, — сказал суровый голос Романа. — Давай отойдем.

— Чего это? — не понял тот.

— Давай отойдем, говорю! Потолковать надо.

Роман был прямо-таки неузнаваем.

Лицо любимой женщины показалось Семену встревоженным.

— Пойдем-пойдем... Не бойся, живой останешься, за остальное не ручаюсь.

Пастух разом понял все: актер приревновал его. Ха! Его, Семена, приревновали! К этой удивительной, к этой непостижимой женщине. И кто! Красавец, в которого влюбились небось тысячи баб и девок по всей стране.

— Что ж, это можно, — Семен, вставая, почувствовал в себе молодую силу.

— Мы на пару минут, — заверил свою подругу актер: по-видимому, она хотела остановить их.

Отошли за ветлу.

— Ты как-то странно себя ведешь, мужик, — напористо сказал актер, играя желваками на скулах.

Сейчас он совсем не походил на того Ивана, который был прежде всего воином, как бы ни складывались обстоятельства. Сейчас он походил... на Митю, ревниво оберегающего Милашку: тот же тяжелый взгляд, та же готовая сокрушить глыба мускулов. Иван не стал бы так... тот как-то иначе поступил бы, если б рядом с его любимой появился кто-то, с кем ей было бы интереснее, чем с ним.

— То есть? — голос у Семена стал жестким.

— Ты что, не понял? Это моя женщина. Моя, понимаешь?

— Ну, такое не нам с тобой решать, — Размахай молодецки пошевелил плечами. — Пусть она сама...

— Я никому не уступлю и готов за нее умереть. Ты понял?

Умереть! Ничего себе... Значит, уж в крайней степени человек, долго терпел. А Семену-то казалось, что он просто удит рыбу.

— У тебя есть ружье? — спросил Роман и, кажется, скрипнул зубами.

— Нету.

— Найди. Есть же у кого-нибудь в деревне двухстволка! Попроси, тебе дадут на время.

— Зачем?

— А чтоб все было по-честному. Не на кулаках же нам: я сильнее тебя. А вот с ружьями в тот лесок, ты с одного края, я с другого — и кто кого положит, понял? Или ты меня, или я тебя. Пусть судьба рассудит, кому женщина будет принадлежать.

— Она не может никому принадлежать, — тотчас отверг Размахай. — Она сама по себе.

— Но при ком-то должна же быть!

— Вот пусть и решает.

— Позволь-позволь! Ну и порядки! — возмутился Роман. — У вас в деревне, я гляжу, многоженство: своя баба есть, так ему мало, еще и на чужую глаз кладет. Насчет особой судьбы намекает, красивые речи говорит, и все затем, чтоб впечатленьице произвести. Ну, ты и гусь!

«Да он совсем дурак! Как же так можно!»

Семен закипел, и будь сейчас два ружья, ни минуты не промедлил бы, пошел бы с этим вахлаком в лесок, и там уж кто кого, как судьба рассудит.

— Будет вам, — сказала та, из-за которой они спорили, подходя к ним. — Как дети: нашли чем развлекаться! И очень, между прочим, глупо развлекаетесь!

— Ну вот, ведьмочка, — сказал актер огорченно, — ты помешала нам. У нас получалось славное драматическое действо. Что бы тебе постоять в сторонке! Не утерпела, видите ли. Как же так можно? Ты все испортила...

— Посмотрите, какой я камень нашла.

Она протягивала им камешек величиной с яйцо, но не круглый, угловатый; он был удивителен — с искрами, и эти искры создавали внутри какое-то текучее, неверное изображение. Вроде бы чье-то лицо появлялось и пропадало, как в телевизоре.

— А утром попался голубой топазик и рядом с ним цвели опять-таки те безымянные травки. Почему — вот странности! — рядом с камнем вырастает свой цветок? Что, разве у вас тут камни дружат с цветами? Это закономерность или случайность?

Но Роман был полон только что происходившим. Он так разгорячился, будто при настоящей драке. Что касается Размахая, то он и вовсе... Они не ответили ей.

— Семен Степаныч, между прочим, мог бы прекрасно сыграть в кино, — сказал актер. — У меня, знаешь, ведь-

мочка, просто-таки озноб по коже, когда он... Прямо-таки бешеный темперамент! У него явное драматическое дарование, уверяю тебя.

Семен, медленно остывая, отступил; признаться, он был разочарован неожиданной развязкой. И даже более того: почувствовал себя одураченным. Теперь главное: как бы удалиться незаметно и немного отдышаться, собраться с мыслями.

— Послушай, Роман Иваныч, а если б и в самом деле вы из-за меня или из-за какой-нибудь женщины... то разрешили бы спор именно таким образом? На кулаках?

— Да, моя умница! Только так. Это по-мужски. Победа должна достигаться самым простым путем. По-твоему, неразумно?

— И вы, Семен Степаныч, так считаете?

Размахай смутился и не ответил.

На полдни стадо он поставил возле деревни и отправился домой поесть овсяного киселька, хотя бы и подгорелого, вчерашнего. У него только запах будет чуть-чуть с дымком, с горечью, а на вкус-то так же хорош.

«Как меня разыграли! — качал головой Семен, шагая к дому. — Я-то, дурак, всерьез».

Вообще-то было немного обидно, но как было не простить актеру его шутку!

«Такая уж у него профессия, — оправдывал Романа пастух. — Он без этого не может... Ну и не велик я барин! Шутки надо понимать».

Таким образом, он понял шутку-розыгрыш, а поняв, простил. После чего и вовсе забыл, будто и не было.

Дома у него хозяйничала Маня: она распахнула окна и двери, мыла и чистила, одновременно с этим топила печь, что-то у нее там варилось.

Первой мыслью Семена было: не отнести ли новым знакомым чугунок со щами? Чего они там с голоду маются! Сидят небось на чаю с бутербродами. А тут целая мостолыга вворочена в чугун! Глянешь — урчать хочется. И неплохо бы отнести им и чугунок с тушеной картошкой — картошка опять же с мясом, дух такой, что хоть танцуй от радости!

«Ну да! Больно нужны им щи да картошка, — одернул себя Семен. — Сиди уж, деревня! Да они небось такого с собой привезли, чего ты и не едал! Обрадуешь

их щами с картошкой! Небось в ресторанах сиживали не раз, жареных медуз ели в горчичном соусе».

Этак ядовито о себе самом подумал и даже головой покрутил: хех, чучело ты гороховое! Но подумав так, тотчас же себя и оправдал: в Москве свои деликатесы, а в Архиповке свои. И если разобраться, здешние ничуть не хуже столичных.

«А вечером наверняка будут пироги... и что-нибудь еще...»

Тут Семена осенила идея, от которой он и есть не мог, а отдав Мане необходимые распоряжения, заспешил назад, к оранжевой палатке.

— Тут, это самое, вот какое дело: хочу пригласить вас в гости, — сказал он с отвагой в голосе. — Нынче вечером приходите, а? Не ради чего-либо, а просто посидим, поговорим. У меня овсяные блины будут — вы таких никогда не едали. Ради интересу, а? Вам таких ни в одном ресторане не подадут.

Сказал и со страхом смотрел на них: вдруг откажутся? Что им его угощение! Что им его беседа! Возомнил о себе.

«Вон Касьяшка знает свой шесток, и ты знай», — это запаниковавший Семен себя успел упрекнуть. А актер переглянулся со своей подругой и отозвался простецки:

— Семен Степаныч, в гости на блины — это не бревна грузить, мы согласны. Верно, ведьмочка?

Та молчала. Кстати сказать, она была уже в новом наряде: в голубом платье с белыми звездами, длинном, до пят — сидела в соломенном креслице полулежа; может, и не соломенное то креслице, но похоже. Актер возился с рыболовной снастью.

— Придете? — с замиранием сердца спросил у нее Семен.

— Конечно, — ответила она и улыбнулась, поняв его страх.

— Вот это самое... спасибо. У меня там нынче хозяйка, она уже готовится. Я сказал, что будут гости...

— Непоследовательно и как-то даже непринципиально ведешь себя, Семен Степаныч, — добродушно укорил Роман, откусывая конец лески. — Вместо того чтоб вытеснить с берега, как вчера из своего дома, ты за нами ухаживаешь, молоком поишь и вот даже в гости зовешь. Как это понимать? Не от слабости ли характера, а?

— Вы меня за вчерашнее простите, — жарко повинился Размахай. — Не разобравшись, что за люди, я вот так вот... У меня к вам претензий нет: вы и ходите-то, травку не приминая, уважительно. Если б все были, как вы, разве я возражал бы! Да ради бога, живите тут хоть круглый год, дышите воздухом, рыбку удочками таскайте — на всех хватит! Но люди всякие попадаются, многие обижают озеро... я и о вас плохо подумал. Дурак, чего говорить!

— Не, мы хорошие! — бодро подхватил Роман. — Лучше-то нас и нет никого на свете.

Подруга только головой покачала на его самохвальство. Он даже не обратил на это внимания.

— Но вы тоже меня поймите, — продолжал Семен. — Озеро — оно как яблоня при дороге. Никто ему не добавит ничего, но всякий норовит себе урвать. Все обижают, и свои, и чужие. Признаться, я никому не был рад. А что делать, чтоб сберечь? Ну, вот вы посоветуйте, как нам местным быть. Жалобы, что ли, в Москву писать? Не поможет. Сейчас, оглянитесь вокруг, вся земля стонет. Во всех газетах в колокола бьют: там кедрачи сводят, там реку отравили, там в озеро нефть спустили. Рыба мрет, зверье мрет, птицы мрут — даже мелкой живности спасенья нету: жукам, паукам и прочим. Надо же как-то защищаться! Я маленький человек, но что же мне, терпеть? Ведь этак-то мне самому на горло наступают! Я так думаю: каждый должен в это великое дело свою кроху вложить, иначе пропадем! Но знать бы только, что делать, как поступать.

— Семен Степаныч, испокон веку свою родную землю обороняли, не щадя сил, — заявил актер торжественно. — Я целиком и полностью одобряю твои любые действия по охране озера, вплоть до рукопашной.

Неплохо сказал, но то не нравилось Семену, что он все время этак шутя говорил, не всерьез. Все у него — игра: рыбу ли ловил, молоко ли пил, беседовал ли.

А женщина больше отмалчивалась.

— А по-вашему как? — спросил Размахай у нее напрямик.

И уж так было отрадно ему видеть ее: сквозь платье ножки худенькие проступают, головка на тонкой шее, рука поднялась и опустилась на подлокотник невесомо — все было любо Размахаеву Семену! Смущали и повергали в остолбенение только глаза ее — они излучали си-

лу и твердость, в них виден был крепкий характер и ум, способный царствовать и повелевать.

— Не знаю,— произнесла царевна-лягушка.— Я не привыкла к такому и просто не в состоянии все осмыслить.— Не нахожу этому разумного объяснения.

— У вас там все иначе? — спросил Семен осторожно.

— Да.

— Но у вас есть что беречь?

— Есть. Мы только тем и живы, что у нас есть что беречь. Поэтому я и удивляюсь, глядя на вас, на все это устройство вашей жизни. Нелепостей много...

— В чем же наша вина или беда?

— Думаю, вот в чем... в силу каких-то причин, боюсь, что они глубоки, вы не чувствуете друг друга. Вот хоть бы вы, Семен Степаныч, и Роман. Но я имею в виду не вас двоих, а всех здесь живущих. У вас отсутствуют душевные связи, нет средств к взаимному пониманию, между вами пропасть или стена. Не чувствуете, не понимаете, превратно истолковываете, и в вас слишком сильны злые инстинкты, вы отчуждены друг от друга. Я не знаю, как вам быть... Я затрудняюсь сказать.

Она порывисто встала, явно волнуясь, прошлась по траве — актер обеспокоенно следил за ней. Эта вспышка ее волнения явно насторожила его.

— В одном только уверена,— сказала она, как заклинание, с непонятной страстью,— надо изо всех сил трудиться и очень любить друг друга, тогда наступит желанный мир, то есть мир, в котором все будет жить полнокровно: и человек в труде, и природа в своем творчестве.

Размахай выслушал эту речь и сказал горестно:

— Любить... Вы поговорите хотя бы с Валерой Сторожковым, он кромсает поля, дороги, опушки; он всегда готов повалить дерево, разорить гнездо или родник, убить зверя, птицу, и его ничем не проймешь. Вы не видели, что остается на этих берегах после туристов — хочется дрын в руки взять и лупить крест-накрест и правых и виноватых. Какие слова нужны, чтоб их пронять? Нету у меня таких слов. Вы не знаете, что в голове у Сверкалова — он в любой день может подогнать технику, прорыть канаву и выпустить воду из озера — это называется мелиорацией.

— Увы, таких людей много у вас,— согласилась она.— И что самое плохое — именно они наступают, у них в

руках инициатива, именно они забирают власть. Если такая тенденция сохранится, цивилизация обречена на самоуничтожение.

— Ну, этого мы не допустим! — бодро заявил Роман и закинул крючок с наживкой в озеро с таким видом, словно он этим самым что-то решал.— Как хотите, а я оптимист. Не сокрушай сердца, умница моя. И ты, Семен Степаныч, не кручинься. Утро вечера мудренее! Мы победим!..

— Если овсяных блинов поедим,— буркнул Размахай.

— О! — воскликнул актер, обрадовавшись, что с серьезного разговора вроде бы как свернули к шутке.— Я всегда говорил, что все сельские пастухи — поэты. Сознайся, Семен, ведь ты пишешь стихи.

— Я? Нет.

— По-моему, иначе быть не может. Он что-то скрывает, верно, ведьмочка?

Та опять села в свое креслице и со всепонимающей своей улыбкой оглянулась на пастуха.

— Я не пишу,— растерянно признался он.— Они сами сочиняются. Приплывают откуда-то, а потом я их забываю.

— Ах, вот в чем дело! «Не пишу» в смысле «не записываю», а сочинять — он тут ни при чем, они сами собой... Прочитай что-нибудь, Семен Степаныч, а?

— А чего не прочитать! Можно,— согласился тот и усмехнулся.— Вот, пожалуйста... Звезды меркнут и гаснут. В огне облака. Белый пар по лугам расстилается. По зеркальной воде, по кудрям лозняка От зари алый свет разливается...

— Э-э, нет,— запротестовал актер.— Это мы знаем. Давай свое, свое.

Но Семен вместе с чтением стихов уже слегка затуманился ликом, что ясно указывало на то, что он сейчас впадет в свойственное ему остолбенение.

— Люблю дорожкою лесною, Не зная сам куда брести; Двойной глубокой колеею Идешь — и нет конца пути... Кругом пестреет лес зеленый; Уже румянит осень клены, А ельник зелен и тенист; Осинник желтый бьет тревогу; Осыпался с березы лист И, как ковер, устлал дорогу...

— Не трогай его,— остановила женщина актера.— Пусть он читает. Он это очень славно...

— Я хочу услышать его собственные стихи,— упрямился актер.— Я уверен, что они не хуже.

— Не перебивай его...

— А если хотите моих,— сказал Семен просто,— то вот как раз к нашему разговору... Пропадает чистая вода. Все грязней, все задымленней воздух... Может, повернуть еще не поздно? Мы идем куда-то не туда. Погибают птицы и цветы, Рыбы мрут, редеет мир растений — Растворились их следы и тени Среди нашей подлой суеты...

Он замолчал.

— Все? — спросил Роман.— Или забыл?

— Больше нету. Может, завтра сочинятся другие, а эти уплывут, забуду их.

— Так записывай! Зачем же человечество придумало письменность!

— Да ну... Зачем?

— А затем, что вот я, к примеру, не умею сочинять стихов, но я тоже хочу говорить стихами, и кричать и плакать стихами... Они мне нужны.

Размахай усмехнулся, покачал головой и рукой махнул:

— Да ну!.. Полова.

Актер не понял, и Семен пояснил:

— Молотьба соломы... Пустое дело!

— Погоди. Ты не прав.

— Зачем другие, когда имеются эти?.. Есть в осени первоначальной Короткая, но дивная пора — Весь день стоит как бы хрустальный, И лучезарны вечера...

14

На закате солнца, собравшись гнать стадо в деревню, он напомнил своим новым друзьям о том, что приглашает их в гости, что уже пора, мол. И опять они обещали: придем, придем. Но обещали как-то легкомысленно, с улыбками, так что у него сомнение закралось: может, шутят так, лишь бы отвязаться от него?

Придя домой, Маню он совсем затуркал: и одета не в то, и причесана не так, да и поумерила бы свой громкий голос — гости, мол, придут непростые, сама, мол, удивится, когда увидит. Маня же его суету и беспокойство воспринимала с улыбкой, тем более что овсяные блины удались у нее на славу; чего-чего, а похвалы за блины хозяйке обеспечены, чего ж волноваться!

Не раз и не два выходил Семен в наступающих сумерках из дому, в отсвете вечерней зари видел на противоположном берегу оранжевую палатку и неторопливо двигающиеся возле нее фигурки: не забыли ли они, что их ждут в гости? Щемяще-ласковая музыка плыла оттуда по воде — под нее хотелось грустить и плакать... думалось светло, любовно; и конечно, о тех, кого он ждал.

Что их сдружило, этих двух людей: солдата Ивана и... какую-то странную неземную женщину?

«Да что ты все время путаешь! — сердился на самого себя Семен.— Ведь он же не Иван, он только изображал его в кино. На самом-то деле это ж разные люди. Поставить рядом — ничего похожего. Даже разговориться меж собой не смогли бы: Иван-то молчун, а этот... очень развитый мужик. Небось все страны объехал... Так-то оно так, но... солдат больше повидал, напереживался, настрадался. Как же он мог с этой женщиной сойтись?.. Ну, опять я путаю».

Семен уже видел, будто идут неподалеку два человека — Иван в мешковатом, истрепанном обмундировании и Роман в одежде, так ладно, так хорошо подогнанной к его фигуре. У одного лицо кирпичного цвета, изуродовано шрамом, у другого оно молодое, благородное. Пожалуй, внешность у актера более соответствовала представлению о человеке храбром и боевом, чем у солдата, прошедшего всю войну и заслужившего столько орденов.

Они шли рядом и молчали. Им не о чем было говорить! Солдат оглядывался на актера отчужденно, даже с некоторым пренебрежением, а актер смотрел на солдата с любопытством, и только. Душевной связи не было между ними. Да, это так, но почему?

«А потому, что права ведьмочка-царевна: непохожи».

Но и сама она с актером — такие разные! Что же их сдружило?

«А то, что мужик он что надо: красивый, статный... Да ведь детей все равно заводить не станут: у них другие отношения. Она совсем не годится для обыкновенного бабьего дела — рожать детей... Наверно, они там разводятся в пробирке. Значит, он у нее просто на посылках, вот и все».

Семен стоял на берегу, а за спиной у него осторожно профырчал «каблучок», хлопнула дверца, и, минуту спустя, вместо желанных гостей подошел гость нежданный — Витька Сверкалов.

— Здорово, Семен Степаныч! Все любуешься на озеро?

— Ну!

Неприветливый тон Размахая не смутил председателя. Он грузно опустился на траву, свесил ноги по обрыву, признался:

— Устал, будто весь день за стадом бегал... Посидеть некогда. А что, смотри-ка, в самом деле тут красиво... Озеро-то как зеркало! Все в нем отражается, весь звездный мир и закат.

На закате еще сияла немигающим оком пастушеская звезда. И она же, вернее ее отражение, чуть вздрагивала в воде у берега.

— Вот именно — зеркало,— согласился Семен.— Что, небось стыдно в него заглядывать?

— Почему это?

— Да ведь ты грозишься его осушить.

— В будущей пятилетке,— то ли всерьез, то ли в шутку сказал Сверкалов.

И Размахай, что называется, завелся с пол-оборота:

— Да как же ты, гад, можешь так плановать?! Это ж не просто озеро, а совесть наша. Пока оно есть, до тех пор и совесть у нас, у тебя прежде всего. А погубишь — что в тебе останется человеческого?..

— Сема, только твоей философии мне и не хватало! Будь ты нормальным человеком, не теряй под ногами реальной почвы и рассуждай, как настоящий хозяин.

— Это ты про что?

— Сема, в твоем Царь-озере сапропеля на дне — слой в три-четыре метра. Представь себе, сколько это ценных удобрений в переводе на тонны. А теперь пересчитай на зерно, к примеру, на овес... или на молоко. Пересчитаешь — получается ровно столько молока, сколько воды в Царь-озере. Молочные реки и кисельные берега! Уразумел? Столько можно взять из него, а оно просто так лежит, можно сказать, валяется. Бесхозяйственность это, и больше ничего.

Вот тут весь Сверкалов: он произведет очень правильный расчет, выстроит мудрый план — а планы у него всегда наполеонские! — и приступит к делу; загубит и озеро, и поля, не получит никакой прибавки к урожаю, а скорее напротив, при этом будет рассуждать очень солидно насчет гражданского долга, всеобщей пользы, мирового прогресса...

И вот что примечательного: по всей земле живут такие Сверкаловы — в общем-то умные и вполне добропорядочные люди, с женами и детьми, отнюдь не злодеи, друзья и таких любят, соседи даже и уважают. Это они отгородили залив у Каспийского моря и погубили, а теперь отгораживают залив у Балтийского и тоже погубят; это они понастроили плотин на Волге, целлюлозных комбинатов на Байкале, атомных электростанций в самых населенных районах страны; это они построили Байкало-Амурскую магистраль, которая никому не нужна оказалась...

— И чего я с тобой валандаюсь,— в раздумье сказал Сверкалов.— Мне б плюнуть да отвернуться, но я, добрый человек, езжу вот, убеждаю, уговариваю. Что я ни скажу — ты все вопреки. Что я ни сделаю — тебе все не так. А я ведь не столько о себе пекусь, сколько о тебе. Ведь мы с тобой друзья, а? Или ты меня за друга уже не считаешь?

Откуда берутся Сверкаловы? Кто их родит? Какая земля их вскармливает? Уничтожить одного — глядь, родилось еще десять. Значит, они не причина, они сама болезнь. А надо уничтожать причины, тогда не будет болезни. Так откуда же они берутся-то?

А вот откуда: не уроды это, а калеки. Родились-то нормальными, но потом их покалечили... может, подобно тому, как сам Семен сегодня обидел Ванечку. И вырастет из парнишки осквернитель природы, еще один Сверкалов.

«На мне вина,— покаянно думал Семен.— Я положил начало».

— Знаешь, когда наша дружба трещину дала, Виктор Петрович? Ты, может, удивишься, если я скажу.

— Ну-ка, удиви.

— Однажды, в шестом классе, что ли, мы с тобой взяли по дрыну и пошли вокруг озера. Как увидим в заводи лягушку — тресь! Хлесь! Она вверх брюхом, а нам, дуракам, любо. Помнишь?

— Ну, предположим. Хотя что-то не припоминаю.

— А меня до сих пор совесть мучит. Как это мы, а? Два таких лба — ходили и лупили лягушек. За что? Почему? Из какого расчета? И яростнее всего тех, что по две, сцепившись, сидели. У них любовь, самое счастье, а у нас соревнование, мать твою так, кто больше перебьет... У-у, собаки!

— Ну, Сем, мало ли что было! Нашел, что вспом-

нить! Пацанами были, что с нас, дураков, спрашивать!

— Счет, между прочим, шел на сотни. Только подумай! На сотни... Волна качала берега.

Семен впервые сообразил, что в число этих сотен могла попасть та, что подплыла, когда он мыл Володьку... такая золотая, что принял ее за рыбку из сказки. Размахая не смутила временна́я разница — могла, могла она жить тогда, в детстве Семена, та лягушечка, так умно, внимательно посмотревшая на него уже взрослого, по-отцовски мечтающего о сыне.

— Ты тогда отличился, Витюша: вдвое против моего набил. И в другие дни я видел мертвых лягушек — это ты уж без меня ходил и лупил. Удовольствие получал!

— Ну и что? — Сверкалов покосился насмешливо.— Их меньше стало теперь?

— Не меньше, а...

— А если б я был, к примеру, аистом или цаплей и питался ими? Тоже зло, жестокость, верно? Но так уж устроена жизнь! Значит, и птиц надо клясть? А они, между прочим, жить хотят, как и мы с тобой. Такой уж круговорот в природе — кто кого.

— Да не в этом дело! Зачем мы зло в себе холили, лелеяли? Зачем? Мало семечко, а из него, случается, такая стоеросина вырастает! Но кто виноват? — вот в чем вопрос. С кого спрашивать за это? Ведь должен быть спрос, и должен быть ответ.

Сверкалов не понял, что там Размахай бормочет, отмахнулся:

— Плюнуть и забыть. Не стоит разговору.

— А я до сих пор помню. Надо же — за что мы их так? На мне вина есть, я ее признаю. А на тебе, вишь ты, нет ее, раз не признаешь. Так? Не в этом ли корень зла, а?

— Сем, не толки воду в ступе, не городи языком огород — пустое дело! Или, как ты выражаешься, полова! Я к тебе, кстати сказать, с делом пришел... Вот, думаю, коров архиполовских надо на зиму переселить в Вяхирево. Двор тут старенький, значит, назад они уж не вернутся. Переедут и доярки... Кто останется? Безногий Осип Кострикин, да ты, да ветхая старушка Вера Антоновна. Что вы тут делать будете, а?

— Опять надумал неперспективные деревни сселять в Вяхирево? Так время вроде не то.

— Да живите на здоровье тут, мне-то что! О тебе вот забочусь: к какому делу тебя прислонить.

— Была бы шея, а хомут найдется.

— Например?

— Буду ходить на работу к вам в Вяхирево. Авось без работы не останусь. На пилораму, например, пойду.

— Каждый день пять километров туда, пять обратно?

— А почему бы и нет? Я ходить привычный.

— Не лучше ли поближе перебраться, а? С жильем что-нибудь придумаем. Я с Маней Осоргиной говорил, она готова тебя в квартиранты взять...

Сверкалов засмеялся, собака.

— Я от озера никуда,— сказал Семен твердо,— до самой своей смерти. И даже когда помру — буду приходить вон на этот островок — там камень есть, ты знаешь, как раз сидеть удобно — сяду стеречь.

— Ну, увидишь, что кто-то рыбу глушит или отработанное масло в воду слил. Что ты сделаешь с того-то света?

— Да уж я придумаю чего! Каждому гаду, который тут напакостит, устрою так, чтоб жизни был не рад.

Сверкалов опять полнокровно засмеялся. Хотя что же тут смешного? Ему же совершенно серьезно сказано.

— Ладно, так и запишем,— кивнул Сверкалов благодушно.

— Но вообще у меня к тебе, Виктор Петрович, тоже есть разговор.

— Какой?

— А такой, как у тебя с Курицыным Федором из Лопарева в прошлом году был, с глинниковскими нынешней весной.

— А-а... Хочешь попытать счастья в частном предпринимательстве! Это, Сема, большой разговор. Я к нему не готов. У Федора хорошо получается, а в Глинниках не очень: двое бычков пало.

— Ну, мне ни лопаревские, ни глинниковские не указ. Если я за откорм бычков возьмусь — никому со мной не тягаться.

— Не готов я к этому разговору, Сема.

— Так давай готовиться.

— Давай.

Ну, слава богу, хоть тут на дыбы не встал председатель.

— Только... сомневаюсь я в тебе,— добавил вдруг Сверкалов.

— Чего это?

— Несерьезный ты человек. Как тебе доверять?

Размахай нахмурился:

— А как доверял до сих пор?

— Скрепя сердце.

Ну не собака ли, а? Ну не собака ли этот Сверкалов!

Видно было, что Семен хотел что-то сказать, но сдержался.

Во все время разговора он ревниво ждал, что вот-вот покажутся его гости, а тут Сверкалов, придется их знакомить да и Витьку заодно приглашать к себе... разговор выйдет не тот. Хотя неплохо бы и похвастать: вот, мол, Размахай и такой, и сякой, а какие гости почтили его!

Кто не мечтает видеть у себя дома Ивана? Да если б он пришел к Сверкалову, председатель на другой же день раззвонил бы по всему району, кто у него был! Но ведь Иван... то есть Роман, конечно... придет не к кому-нибудь, а к нему, Размахаеву Семену, архиполовскому пастуху, которому, видите ли, не доверяет председатель разваленного колхоза.

Сверкалов встал, отряхнул брюки, сказал на прощанье:

— Что ж, вообще-то тебя понять можно... отчасти. Хорошо тут! Так ты говоришь, эта лужа и есть совесть наша? Нет, несерьезный ты человек, Семен. Занятный, но несерьезный. Сколько ты хотел бы взять бычков на откорм? Сотню? Как я тебе их доверю?.. Ну, ладно, время покажет.

И уже садясь в машину, сказал:

— А у тебя тут, гляди-ка, уточки есть. Слышишь, покрякивают?..

15

Забота снедала Семена; кажется, гости из-за озера не собирались к нему. Их палаточка по-прежнему светилась оранжевым огоньком — чем это они там освещаются? — и тени неторопливо двигались возле нее. Он побывал дома — как там у Мани? — и опять вышел на крыльцо: ласковая музыка плыла и плыла над водой с той стороны озера. Да еще кукушечка там куковала, на ночь глядя.

Вдруг машина, похожая на божью коровку, совсем не-

подалеку выбралась из воды на берег, отряхнулась, прибавила ходу и — замерла у Размахаева крыльца. Открыв ее дверцы с двух сторон, будто крылышки, вышли Роман и его подруга.

Семен сбежал по ступенькам им навстречу, от радости и говорить не мог. Даже удивиться не успел: как это они приплыли?

— Блины небось остыли? — осведомился актер.

— А их можно и холодными,— утешил его Семен.— Может, даже и вкуснее.

— Ну, веди. А то я страсть как проголодался, браток.

Это он сказал голосом солдата Ивана.

Гости в дом вошли вежливо, с хозяйкой поздоровались церемонно, уважительно. Семен засуетился их усаживать, а Маня стояла посреди избы, будто громом пораженная явлением таких гостей. На женщину она почти не обратила внимания, увидев воочию телевизионного героя Ивана — будто он вышагнул сюда из телевизора, живой, красивый, с тем самым, уже знакомым голосом. Семен в суете своей незаметно пихнул Маню в кухню и украдкой показал кулак: не из ревности, разумеется, просто чтоб в себя скорей пришла и не забывала своих главных обязанностей.

Телевизор был включен, и дикторша под взглядом гостьи вдруг понесла такую околесицу! Будто от Африки откололся кусок величиной со Швейцарию и его прибило к Антарктиде; будто над Бразилией и Венесуэлой в озонном слое атмосферы образовалась дыра — и солнечной радиацией выжгло восемнадцать городов и бесчисленное количество мелких населенных пунктов; будто пассажирский авиалайнер накололся брюхом на Эйфелеву башню, как жук на булавку, и никак его парижане оттуда не снимут; будто американский авианосец в тропическом тумане налетел на остров Калимантан и развалил его надвое...

— Пересядь,— попросил актер свою подругу.— Не смущай ее, а то она такого наговорит!

И та села к телевизору спиной, после чего международные события обрели нормальный ход.

Кошка Барыня, царапая наличник, заглянула с улицы в избу, фыркнула и исчезла.

Маня принесла большую стопку овсяных блинов. Они возвышались горой, а поскольку каждый был не толще бумажного листа, то, значит, напечено их было сотни полторы, не меньше. Принесла и масленку, каковой служила

обыкновенная чайная чашка, только без ручки, она некогда откололась.

Актер потянул носом:

— Боже мой! Откуда? Это ж льняное масло! Если б я не был представителем моей славной профессии, я б никогда не узнал этого запаха: мое поколение выросло без льняного масла, не знает, что это такое. Но меня... меня угощали... в той сцене в госпитале. Я потребовал именно ломоть черного ржаного хлеба с льняным маслом и посоля, как было в сценарии.

Маня польщенно рдела:

— Ешьте, ешьте.

Она вынула из кармана передника свежее гусиное перышко, макнула им в фарфоровую посудину, помазала верхний блин:

— Не стесняйтесь, угощайтесь.

Актер поднял масленку к свету, любуясь янтарной лужицей в ней.

— Откуда, Маня? У вас есть подпольная маслобойня?

Та с самым серьезным видом сказала, что ее племянница замужем за военным, а он зенитной установкой командует, ему в качестве топлива для ракеты дают льняное масло — вот маленько отлили...

— Ну, это деликатес! — воскликнул актер.— Только вот ракета теперь не долетит до цели метра три.

— Ее вообще не станут запускать,— заметила тихо его подруга.

— Дай-то бог!.. Мы вообще-то мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Благодаря этому мир и благоденствие царят у нас в отечестве. Именно благодаря этому. Разве не так?

Что-то рассердило его подругу.

— Вы безграмотные люди прежде всего,— заявила она.— Вы настолько неразвиты, что у вас процветают недоверие, непонимание, подозрительность, злоба... Вы бьете один другого по лицу кулаками и считаете это подвигом, геройством! Так что до мира и благоденствия вам пока далеко.

— Ведьмочка, царевна-лягушка, умница моя, это у нас естественный уровень агрессивности, совершенно необходимый для выживания,— я объяснял тебе, но ты никак не можешь примириться. Старый наш спор, давай его прекратим.

— Отчего же,— насторожился Семен, жаждавший более всего задушевного разговора.— Это как раз самое интересное.

— Нет-нет, я не настолько невоспитан, чтоб спорить в гостях. И овсяные блины располагают к мирной беседе.

Ласковый взгляд Мани был ему наградой; она вообще глаз не сводила с него: еще бы, такая знаменитость! «Ведьмочка», должно быть, спохватилась, почувствовала себя виноватой.

Актер поддернул рукава пиджака, оторвал от блина кусочек, будто лепесток, предложил своей ведьмочке, а остальное засунул себе в рот и тотчас удивленно поднял брови:

— О-о!

Он плотоядно смерил взглядом блинную стопку.

— Не переигрывай,— улыбнулась ему подруга.— Чувство меры — это единственное свидетельство таланта.

Вот, пожалуй, только теперь Маня обратила свое внимание на гостью и, видимо, ее озадачил наряд, в котором та была одета. Семен тоже присмотрелся пристальнее: то ли свитер, то ли кофта, то ли платье такое — вольными складками на плечах, на груди, и рукава свободны. Сам покрой одежды — это еще ничего, а вот что за материя, не поймешь: похоже и на вязаное, и в то же время совсем на вязаное не похоже... А цвет этакий сумеречный, неяркий, незаметный.

Актер между тем помазал следующий блин гусиным перышком, свернул трубкой, поднес ко рту, откусил — все это сделал так красиво, так невыразимо хорошо, что хозяева опять обратили взгляды на него: любо-дорого было смотреть.

— А что же вы? — спросила Маня, не зная, как по имени гостью, которую то ли муж, то ли друг называет и так, и этак.

Та тоже стала маслить блин, но как-то неуверенно, неловко.

— Вот ты говоришь: я не прав, то и се,— обратился актер к своей подруге,— а глянь, как восхищенно смотрит на меня наш хозяин. Думаешь, потому, что я такой красивый, бравый да сильный? Ничего подобного. Это потому, что на мне ореол — чей? Воина, солдата, бойца. Так, Семен Степаныч?

Семен посмотрел на гостью, поймал ее ободряющий взгляд, посерьезнел и произнес целую речь.

Прежде всего он сказал, что, безусловно, уважает Ива-

на. Да-да, именно Ивана. Но если б тот был просто лихой вояка, который здорово врукопашную дерется, стреляет метко, в огонь и воду храбро идет, ну что же, тут он, Семен Размахаев, удивился бы, а потом очень скоро забыл. Мало ли таких лихих героев прошло по экранам да по страницам книг! А так вот не забывается. Вон Маня знает, сколько об Иване говорено у них было. Так почему же не забывается-то? А потому что он не просто солдат, тот Иван, его страдание возвысило.

— Страдание, понимаете? — спрашивал Семен с особенным выражением на лице: будто и сам в эту минуту страдал.

И вот тут, по Семенову размышлению и рассуждению, корень всего: сразу то, за что солдат муку принимал,— родной дом, родная земля, родные люди — все это вместе поднялось на такую нравственную высоту, что сделалось свято. Выше этого уж и нет ничего. А вместе с этим страдание выделило и самого Ивана среди прочих и подняло его.

— Если б Христос не мучился на кресте,— высказал Семен вычитанную где-то мысль и ставшую уже его собственной мыслью,— то никто и не поверил бы ему, не пошел бы за ним, исповедуя его учение. И вот уж две тыщи лет люди молятся ему... Я думаю, Христу здорово повезло. Да, была великая мука, но ведь какой случай выпал! На виду у всех людей и не за мелочь какую-то — за великое дело! Ему, конечно, повезло...

И далее высказал то, что было им давно уже думано-передумано:

— Мне иногда кажется, что ради своей победы надо... просто даже необходимо и смерть принять. Только бы случай хороший выпал. Если очень хочешь победить и если победа того стоит... Понимаете?

Актер даже блин в рассеянности отложил.

— Видимо, тебя, Семен Степаныч, так надо понимать,— уточнил он,— вот ты пасешь свое озеро, бережешь его, защищаешь — это ведь сто́ящее дело! — и значит, тебе надо погибнуть за него? Так?

На это Размахай ответил, не раздумывая:

— Так.

Актер переглянулся с подругой и высказал осторожно:

— По-моему, это... как-то прямолинейно, что ли. Даже глупо, а?

— Не просто умереть, и все. А чтоб видно было! —

поправился Семен. И повторил: — Чтоб всем было видно. Тогда дойдет до людей, за что умер, и вздрогнут, и поймут... А если поймут — это спасет и людей, и озеро.

— Вы ешьте, ешьте,— угощала Маня и приговаривала на два голоса: гостям — громко и ласково, а хозяину — потише и с упреком.— А ты не болтай, что в голову ни взбредет... Я-то от него всякого наслушалась, а вам-то в диковинку. Однажды он мне про сома... как выловил на дне озера. Я-то, дура, уши развесила.

Семен ее живо урезонил.

— Помолчи,— сказал он сурово.— Может, у меня единственный случай в жизни, когда за столом такие люди, что можно поговорить от души и они поймут.

И Маня замолчала. Сверчок Касьяшка рассвиристелся! Откуда пронюхал, что гости в доме? Днем на улице был, а теперь опять в подпечке. Казалось, гостья, слушая хозяина, в то же время прислушивалась и к тому, что Касьяшка напевал.

А разговор за столом шел серьезный. Семен бесстрашно размышлял вслух: почему, мол, Иван тоскует о войне? Почему не может ее забыть и мечется, чего-то ищет? Места себе не находит, и тянет его в прошлое, будто там не война, не смертоубийство всякое, а первая любовь или что-то очень и очень дорогое — почему так? А потому, по мнению Семена, что разминулся он со смертью своей. С той самой смертью, которая... вот как электрический ток по проводам бежит, бежит, и никто его не видит, никакой пользы от него не будет, если не окажется на конце электрической лампочки. И тут, как взрыв,— свет! Вот такой смерти, чтоб осветила жизнь, не выпало Ивану.

— Тут великая несообразица жизни: все зависит от везения. Кому-то повезет со смертью, а кому-то и нет. Очень редко выпадает удача,— так заключил Семен.

— Признаться, мне это не приходило в голову,— актер уже не улыбался, был серьезен.— Да и Пал Санычу, нашему режиссеру, тоже... Такая трактовочка Ивана неожиданна.

— Каждое дело своим концом славно,— уже не очень связно говорил Семен то ли себе, то ли сидящим за столом.— Нет хорошего завершения — все пропало. Будь копна без вершины — сгниет сено.

— Хм... Вот увижу его, скажу: живет наш зритель в русской глубинке, на берегу Царь-озера, и он вот так рассудил...

— Вы ешьте, ешьте,— тихонько потчевала Маня, оглядываясь на Семена настороженно: чего он еще выкинет.

— Почему ты молчишь? — спросил Роман у своей подруги.

Та удивилась:

— Разве я молчу? Ах, да...

— Ты слышишь, какие идеи развивает Семен Степаныч?

— Слышу,— отозвалась она.

— По-моему, мы должны повлиять на него. Этак он черт-те до чего додумается!

— Я радуюсь, что мы пришли сюда в гости,— кратко сказала ведьмочка-царевна и больше ничего не добавила.

— Итак, ты готов на подвиг,— подытожил Роман, опять обращаясь к собеседнику, уже глубоко погруженному в раздумье.— И даже считаешь необходимым именно такой подвиг.

— Но если другого средства нет! — вскинулся Семен.— Если все прочие уже испробованы и — без всякой пользы.

— Значит, ты ждешь случая. Я правильно понял?

— Я, что ж, готов...— пробормотал Размахай.— Если б только повезло: не просто так, а вот как эта лампочка... чтоб осветить мозги.

— Господи, что он говорит-то! — ужаснулась Маня.— О смерти!

Актер покачал головой, не находя слов.

— А иначе зачем вся моя жизнь? — спросил его Семен.— Иначе какой в ней смысл? Только так: жил-был, хлеб жевал... ну разве что родил еще одного хлебоеда и помер. Так? Маловато.

— Ну, роди шестерых,— посоветовала Маня, усмехнувшись; она легко переходила из одного состояния в другое.

Семен пожал плечами.

— Я у судьбы в резерве,— напомнил он.— Повезет — пойду.

— Ну, извини, Семен Степаныч,— актер задвигался на стуле, словно стряхивая с себя наваждение,— я не думал, что ты такой серьезный мужик. Извини.

— Ну кто же затевает такие разговоры за едой! — возмутилась стряпуха.— Сем, поимей ты совесть. Разве за этим в гости людей приглашают? Зря, что ли, я старалась?

И с нею согласились все: нет, в гости ходят не за тем. Просто безобразие — вести за столом такой разговор. Поэтому, минуту спустя, Роман уже похваливал кулинарные способности хозяйки, только иногда этак пытливо взглядывал на хозяина.

Его подруга вдруг тронула Маню за локоть:

— У вас будет ребенок. Вы знаете, да?

Семен замер с блином в руке. Маня застыла с испуганным лицом: что она говорит? как это понимать?

— Да, да, мальчик,— сказала гостья.— Ему уже восемь недель. Родится в начале января.

Маня, стоявшая у стола, села на лавку и бессильно положила руки на колени — так была ошеломлена.

— Она не хочет ребенка? — тихонько и очень заботливо спросила женщина у Семена.

— Да вы что! — смутился тот, едва владея собой от душевного смятения.— Она рада я не знаю как... Только еще не верится ей.

— Неужели? — спросила Маня у гостьи.— Вы точно знаете? Не ошибаетесь?

— О, да! Тут я не ошибусь.

— Но... откуда вы решили?

— У вас хрусталик глаза с таким ободочком...

Она помахала своей тонкой рукой с тонкими, будто просвечивающими пальцами, но это ничего не прояснило насчет хрусталика.

— Я вас поздравляю,— сказал актер хозяину.— И вас тоже,— спохватившись, поклонился Мане.

А та заплакала и засмеялась одновременно.

— Ребеночка так хочется мне! — выговорила она, хлюпая носом и вытирая его передником.— Не баловства ради... с Семен Степанычем...

— Ну, ладно, ладно,— панически сказал Семен.

Маня ушла на кухню, выглянула оттуда:

— Неужели мальчик?

— Да,— кивнула гостья.— Глазки голубые, волосики русые.

— Ну, уж это-то откуда известно? — даже слегка возмутился Семен.

Мол, угадать насчет беременности — еще туда-сюда, а вот глазки, волосики...

— Как это откуда! — тоже слегка возмутилась знающая все наперед лягушка-царевна.— Разве не о таком вы речь вели?

— Когда?

— Ну, мысленно, конечно. Помните, мыли травной мочалкой мальчика Володьку и рассказывали ему про золотую рыбку, чтоб он не плакал... и при этом в мыслях-то: ах, если бы у меня был такой сынок! Чтоб непременно русоволосый, голубоглазенький, с выгнутой спинкой.

У Семена дух занялся! Он в растерянности даже сбился на свойский тон:

— Слушай, так это была ты?!

— Я.

Семен поглядел на Маню, та ничего не понимала; посмотрел на актера, тот мирно уплетал овсяные блины. Только осведомился:

— Ого! Вы уже на «ты»... Ничего себе! Где бы достать пару пистолетов?..

На него не обратили внимания.

— А... зачем ты приплывала?

— Низачем. Просто так. Смотрю: мужчина моет травной мочалкой мальчика... очень интересно!

Она отвечала, и вид у нее был без всякого лукавства! Словно он ее спрашивал о будничном, она буднично и отвечала.

«Да чепуха все это! Не могла она...»

Взгляд Семена упирался в привычные предметы — вот телевизор, вот плащ на вешалке, вот щелястые половицы пола — а что же происходит? За его столом сидит женщина, которая...

— А о чем мы еще говорили с Володькой? Ну?

— Когда я отплыла, вы заспорили. Ты, Семен Степаныч, говорил, что видел рыбу, а мальчик ясно видел лягушку. И ты не знал, во что верить.

Голова кругом. Того и гляди, свихнешься...

Маня опять вышла из кухни, всплеснула руками и опять то ли засмеялась, то ли заплакала:

— Ой, а мне все не верится.

И Семен от полноты прихлынувшего чувства смахнул слезу: ведь и надежду потерял давно, что будет у него... сын. Неужели будет?

— Вот так, Иван,— сказал он.— Если бы знать... в сельском магазине изъяли, понимаешь, из торговли... так я б в город не поленился съездить ради такого случая. Случай, может, один на всю жизнь, грех не отметить.

Актер толкнул его под столом коленкой, показал гла-

зами: на поясе под пиджаком висела алюминиевая фляжка. Он зашептал хозяину на ухо, но довольно громко:

— Там у меня еще фронтовой запас, но она озорует! — он кивнул на улыбающуюся подругу.— Я несколько раз пытался налить — оказывается всякий раз или чай, или кофе. Но нам же с тобой не это надо?

Семен кашлянул в кулак.

— Да уж... что верно, то верно.

— Ведьмочка! — проникновенно обратился актер к своей подруге.— У нас мужское братство, и ты должна это понять. Не гляди на нас как сержант милиции на мазуриков, а гляди как мать на любимых детей своих.

Он отстегнул фляжку, стал наливать в услужливо подставленные Семеном стаканы: жидкость ничем не напоминала желаемую — это было молоко, причем топленое и с пенкой.

— Ну, ведьмочка,— обиженно сказал актер.— Мы так не договаривались. У нас праздник...

— Ладно,— смилостивилась она.— Сейчас принесу. Вышла из избы и тотчас вернулась с пузатой бутылкой в виде цапли с поднятым вверх клювом.

— Это иллюзия или всамделе? — осведомился актер.

— Я вас так уважаю,— сказала она и ему, и Семену,— что обмануть ваши ожидания не смогу.

Сияющая Маня села к столу.

— Ей теперь нельзя,— заботливо сказал Семен, кивнув на нее.

— Можно, можно,— разрешила гостья.

— Значит, все-таки иллюзия? — огорчился актер.

— Для тебя — нет. А для нее — да.

Но наливала всем из одной бутылки. Жидкость была густа, как свекольное сусло, а цвет имела лимонно-желтый. Во рту от нее сразу посвежело, и тело обрело невесомость.

— На свете все иллюзия,— изрек Семен, опять приступая к задушевному разговору.

16

Наутро солнце взошло как обычно, на привычном для себя месте. Но Семену казалось, что солнечный свет излучает не оно, а та оранжевая палатка, что на противоположном берегу.

Томимый разнообразными чувствами, выгнал он свое стадо и двинулся берегом не спеша, чтоб не оказаться возле волшебной палатки слишком рано, чтоб не обеспокоить ее жителей лишний раз.

Митя в это утро, едва продравши глаза, отличил в стаде одну из коров и теперь преследовал хоть не слишком грубо, однако очень настойчиво, не отставая ни на шаг. Можно было с уверенностью предполагать, что к вечеру он ее уговорит, уломает, но хлопот ему предстояло немало: корова — а это была комолая красавица Милашка Осипа Кострикина — пока не проявляла к Мите должной благосклонности. Это Митю не обескураживало; несмотря на молодость, бык обнаруживал в любовных делах завидную настойчивость и совершенно необходимое нахальство. Но он теперь начисто отключился от посторонних интересов, уж с ним не поговоришь по душам, а поговорить пастуху хотелось.

Солнце поднималось все выше и выше, стадо подвигалось все ближе и ближе...

Сердце замирало! Нет, не новой встречи со знаменитым актером ждал Семен и не с героем-солдатом хотелось ему потолковать. Он был, конечно, не против, но гораздо желанней другое: не терпелось поскорее увидеть эту странную, полусказочную, непостижимую женщину. Даже не ради разговора, когда можно узнать черт-те что, о каком-нибудь волшебстве или чуде, сколько затем, чтоб ловить ее завораживающую улыбку, слышать ее очаровывающий голос.

Вчера вечером все дело испортила Маня: она никак не могла очухаться после благоприятной вести, то смеялась невпопад, то сбивала разговор дурацкими суждениями. Семен так досадовал на нее! Разумеется, он тоже радовался предсказанию, но не настолько же, чтоб совсем забыть себя. Да и чего раньше времени ликовать — праздник должен быть в свой черед, а пока сохраняй достоинство.

Роман подбил Маню петь песни, а ей только предложи — она готова всегда! А тут вдруг просит не кто-нибудь, а знаменитый киноактер — Маня была просто сама не своя, даже похорошела. Они в два голоса очень здорово пели «Липу вековую» и «Степь да степь кругом»; пели задушевно, до слез на глазах... но не песни нужны были в этот вечер Семену Размахаеву! Впрочем, ему было хорошо. Чего там — очень даже хорошо.

Гости не засиделись долго; он вышел их провожать, желая видеть, как поплывет «божья коровка» по озеру. Но она, вместо того чтоб поплыть, просто нырнула в воду и скрылась; фары ее вспыхнули уже в озерной глубине, высвечивая знакомые Семену очертания подводных холмов, и очень скоро как ни в чем не бывало вынырнули на том берегу, осветили палатку и погасли. Палатка же продолжала светиться сама собой, и огромная тень рака легла на звездное небо.

Она была светоносна и сегодня, при солнце, как и полагается быть жилищу волшебницы, богини. Семен уже ничему не удивлялся, просто чувствовал, что все так и должно быть, поскольку такова воля женщины, его любимой, знающей все и умеющей все.

Чуть не до полден маялся он, не видя ее. Так хотелось опять быть с нею рядом, разговаривать, видеть бледное личико, обрамленное пепельными волосами, и обмирать от каждого ее взгляда. Хотелось, но... опять боялся быть назойливым. Это уж совсем обесстыдеть, считал Размахай,— лезть к ним по поводу и без повода. Уж и так-то: люди приехали отдохнуть, поразвлечься, а он им покою не дает. Мало разве, что они поговорили с ним вчера, как с человеком, даже в гостях побывали.

Вот так и страдал он в разлуке.

Желая найти себе занятие, наведался к дороге, что идет от нового шоссе к Архиполовке. Тут обнаружил, что ямы и рвы, им выкопанные на проселке, засыпаны гравием и песком, а камни-валуны и коряги, им навороченные на проезжую часть, уже раскатаны по обочине; что же касается дорожных зеленых насаждений, то они были выдраны с корнем, и весь проселок аккуратно выровнен и прикатан.

Семен долго смотрел на эту культурную работу и пришел к выводу: и непогоду не остановишь, и против техники не попрешь. То, что он воздвигал с таким старанием, то, на что потратил столько труда, было уничтожено одним махом. Значит, если еще две недели копать и громоздить — приедет бульдозер и заровняет за одну ездку. Техники очень много, и она всесильна — это справедливо и для промышленно развитого города, и для глухой Архиполовки с ее окрестностями.

Печальным возвратился Семен к стаду от этого проселка. И поделиться этой новой печалью было не с кем. Не с Митей же!

Вроде бы мелькнула в отдалении знакомая легкая фигурка? Нет, показалось. Вроде бы голос ее долетел? Нет, почудилось...

Полдня — это уже вечность!

Наконец стадо приблизилось настолько, что пастух мог рассмотреть на полотняной стене домика-палатки шевелящего усами рака. А «божья коровка» рядом сияла вся, будто только что ее покрыли лаком. Иван... вернее, тот, кто был Иваном в фильме, неподалеку, насвистывая, что-то мастерил, легонько стукая деревяшкой по деревяшке. Он очень дружески махнул пастуху рукой: мол, все в порядке, привет!

А где же...

Семен тоскующим взглядом рыскал туда и сюда — нет ее. Может, в палатке? Может, заболела? Слабенькая ведь. А вечером сырость над озером, долго ли простыть!

Увидев ее, он даже вздрогнул: она сидела опять в укромном месте на бережку, спустив ноги вниз, держала на коленях большой альбом и что-то писала.

Семену опять показалось, что она смеется, глядя на озеро, и он, радостный, подошел к ней.

Царевна-волшебница не писала, а рисовала. На небольшом, в общем-то, листе бумаги удивительным образом поместилось огромное пространство. Семен увидел и озеро, и отражающиеся в нем берега, облака, и остров посредине с рощицей молодых березок и осинок, и свою деревню на том берегу...

Деревню-то он не сразу узнал: на окраине Архиполовки, на холме, который почему-то звали Веселой Горкой, была изображена... церковка. Она тоже ясно отражалась в озере — деревянная, маленькая, судя по всему, недавно построенная, очень веселая, радостная на вид: все в ней ро́стилось, стремилось вверх — деревянные луковки-купола, узкие, стрельчатые окна, острая колоколенка. Да, говорили, что некогда церковь была. Он, Семен Размахаев, не застал ее, поскольку родился лет на десять или даже пятнадцать позднее ее безвременной кончины; а скончалась-то она в двадцать каком-то году после того, как попа Василия Сверкалова (нет, это не отец Витьки, а дед) увезли куда-то за грехи. Вскоре строение приказали разобрать, вроде как на дрова, но никто не хотел топить печи этими дровами, и однажды ночью, как рассказывают ныне старушки, бревна сами собой загоре-

лись. Теперь вот на Веселой Горке только густая поросль черемухи да сирени — непролазная чаща.

Значит, вот она какой была, Архиполовская церковь, построенная некогда в честь Рождества Богородицы. Если б достояла доныне — веселый этот росточек, стремящийся к небу, очень бодрил бы деревню с озером и добавлял всей местности что-то такое, что совершенно необходимо, без чего некая несообразная пустота зияла. Если б она стояла, церковь, тогда плоскость озера с его низкими берегами обрела бы высоту и нерасторжимое единство со звездным миром. Семен вздохнул от сожаления, что нет уже церквушки. Царевна-художница оглянулась, кивнула ему приветливо, но будто ветерком опахнуло Семена: столь прекрасная вчера, сегодня была она этак будничной на вид, и взгляд ее глаз не был таким животворящим, как накануне.

— Сядьте, Семен Степаныч, вон туда,— повелела она, кивком головы указав на береговой камень-валун.— Я напишу ваш портрет.

Ха, портрет! У него и фотографии-то не было своей, а тут тебя нарисуют... Это было бы здорово!

Он послушно сел, пригладил волосы, подвигал плечами, чтоб побравей выглядеть; а она уже рисовала его, приговаривая:

— Смотрите на озеро, а не на меня.

Но он смотрел на нее. То, что сегодня на ней было надето,— и непарадно, и ненарядно: какой-то костюмчик из мягкой, мятой ткани. Ноги босы, и пальцы на ногах поразительно длинны, с узкими-узкими ногтями; голубые жилки кое-где просвечивали сквозь мраморную кожу и на лодыжках, и на руках, обнаженных до локтей.

Поймав его мысль, она улыбнулась и одернула рукава, а ноги спрятала в траву. Семен в смущении отвел глаза. Не было у него в душе прежнего восторга — только щемящая жалость.

— Так, так,— ободряюще кивнула она.— Именно так.

Он не понял, к чему это относится. Не понял и почему она, рисуя, то и дело смотрит на озеро.

Сидеть ему пришлось недолго, вскоре она уже сказала:

— Ну вот, кажется, готово.

На листе бумаги был изображен довольно диковатого, своевольного вида мужик с нечесаной гривой соломенных волос, рыжебородый, в домотканой рубахе; одна

рука, грубая, корявая, положена ладонью на грудь, будто он клятву произносил или молился. Ничуть тот мужик не был похож на Семена Размахаева... а впрочем, нет, похож: у него такой же хрящеватый размахаевский нос, и тот же костистый склад лица, и по-детски синие глаза. Вот только две борозды-морщины резко легли по сторонам рта — таких у Семена не было...

«А-а, это она меня в старости изобразила!» — догадался он.

Царевна-художница покачала головой: нет, нет.

Глаза нарисованного мужика смотрели требовательно и смело: чего, мол, надо? Совершенно живые глаза; взгляд их был ощутим настолько, что Семен чувствовал его, даже отвернувшись. То был явно очень бедный мужик, но дерзкий, сильный, привычный ходить на медведя с рогатиной, подковать лошадь, вытащить застрявший воз. Конечно, он работяга и хозяин — видно по руке, положенной на грудь.

— Это не я,— сказал Семен.

Она опять улыбнулась:

— Ничего, я потом уточню. Думаю, это кто-то из вашего рода.

— Дед?

— Не-ет. Даже не прадед, много дальше.

Подумала и добавила:

— Может, это Архип, по имени которого вы назвали свою деревню. Я пока не знаю.

Так ли, нет ли, но Семену было ясно, что этот мужик, судя по его смелым и неуклончивым глазам, никому не дозволил бы бесчинствовать на озере. Это хозяин был! Хоть и в бедности, но хозяин.

— А вот что бородатый и с такими руками... выдумали? Неужели вот как на портрете...

— Так отразилось в озере,— объяснила она буднично.— У меня отсутствует воображение, я ничего не выдумываю.

— И церковь? — спросил Семен после паузы.— Тоже оттуда, из озера?

— Да. Там все, что было, и то, что есть. И мы с тобой. Материя хранит в себе отпечаток образа — это память. Она и в озере, и в воздухе...

Семен удовлетворенно кивнул:

— Как на фотопластинке.

И, по своему обыкновению, впал в задумчивость. Ему послышался колокольный звон, плывущий над Царь-

озером, и почудился большой костер в ночи, когда языки пламени рвутся вверх подобно росткам молодой осоки, подобно колоколенке церкви.

Актер подошел, оживленный, азартный, о чем-то заговорил, но Семен его хоть и слышал, но не взял в понятие.

— Семен Степаныч! — окликнул Роман.— Что закручинился? Здоров ли?

Тот в ответ ни гугу. И напрасно: Роман рассказывал, как поставил удочку с живцом, и на его глазах подплыл бобер и живца откусил. Происшествие такое отнюдь не огорчило рыболова, а напротив, привело в восхищенное удивление.

Но Размахаю было не до этой пустяковины.

— Это что же,— сказал он,— придет время, и озеро пропадет, как наша церковка. И все, что в этой воде подобно изображению на фотопленке, погаснет? Пропадет, и ничего не останется?

Ведьмочка-художница, наверняка знавшая что-то, молчала, и это встревожило Семена.

Актер взял в руки альбом, разглядывал, как видно, церквушку, приговаривал:

— Хороша... Ах, как хороша!

— И что же останется? — вопрошал Размахай.— Чертополох? Или пустыня сюда придет?

Никто ему не отвечал.

— Семен Степаныч, молочка бы парного, а? — вздохнул мечтательно Роман и положил руку ему на плечо.— Я и котелок вымыл. Вон он под кустиком.

Пастух рассеянно взял вчерашний котелок и отправился к стаду.

— Что, его дела плохи? — спросил актер у женщины, провожая его глазами.

— Боюсь, что да,— тихо отвечала ему подруга.— Я не могу предсказать всего до мелочей, но в главном, боюсь, что да, плохи.

— Зачем же они погубят его?

— Ты про озеро?

— Разумеется.

— Странно, что этот вопрос ты адресуешь мне,— женщина вдруг заволновалась, тонкие руки ее стали беспокойны.— Я возвращаю тебе его, ты и ответь. Дело не только в этом озере — таких тысячи. Во имя чего вы их губите? Чем вы будете дышать? Чем вы будете живы?

— Значит, Царь-озеро обречено,— вздохнул актер после продолжительного молчания.— Ай-я-яй. Что же тогда ожидает нашего пастыря?

Он оглянулся на стадо, где Семен уже присел на корточки возле Светки, зажав котелок в коленях.

— Посмотри, пророчица моя, как он доит! Это ж высший класс: попасть струями молока в котелок. Я думаю, он мог бы и в бутылку точно так же надоить!

Женщина тоже посмотрела в сторону стада, и слабая улыбка появилась на ее лице. Актер спросил:

— Он утверждает, что у судьбы в резерве... От него что-то зависит?

— Как от каждого из нас... А за него я боюсь.

Тень прошла по ее лицу, некое содрогание, как от боли, пробежало по худенькому телу.

— Не надо,— он заботливо, этак осторожно обнял ее за плечи.— Мы пройдем каждый свой путь. Не надо нас жалеть. Может быть, кому-то из нас повезет, и ему выпадет тот подвиг... как целебное средство от массового помутнения разума.

— Не тебе, не тебе...

— Как знать! — отозвался он обидчиво.

— Прости меня... Что-то сегодня смутно у меня на душе, никак не найду успокоения. Даже вот рисовать принялась, да все равно не помогает.

— Тогда уедем? Я знаю одно местечко на Нерли Волжской.

— Что ж, можно и уехать... А предок его хорош, верно? Сколько жизненной силы, сколько отваги! И воин, и хлебопашец... Вроде твоего Ивана. Хорошие тут жили люди, Рома, хорошие. И еще живут, верно?

— Мельчаем, мельчаем, умница моя. Верно наш пастырь говорит: исчезает чистая вода, все грязнее воздух... Я недавно где-то вычитал: даже миражи и призраки бывают лишь в чистой атмосфере! Ведьмы и русалки перевелись, ты — последний экземпляр, как знамение грядущей катастрофы.

— Ты поплатишься за дерзость,— пригрозила она шутливо.

— Пища наша все более и более отравляется химией — и молоко, и зерно. Мы умираем при жизни, как тот камень, что ты показывала вчера.

— Но ведь ты вроде бы оптимист? — напомнила она.

— Мне хочется быть оптимистом, а получается из меня только жалкий бодрячок,— признался он.

Семен уже возвращался назад. Котелок он держал не столь бережно, как вчера, молоко раза два выплеснулось через край.

Опять эти двое пили, передавая котелок друг другу, а пастух стоял рядом, из деликатности стараясь не смотреть, как они пьют, и однако же, покоряясь властной силе их притяжения.

Тень страдания мелькнула вдруг на лице женщины, она оглянулась на озеро. Будто больно ей вдруг стало.

— Вы что? — встревожился Семен.

— Ничего, так... Голавлю подвернулась крупная сорожка... И проглотить не может, и не отпускает. Мучается сорожка. Вот проклятая боль! Вдруг наплывет, наплывет на меня чье-то страдание и начинает терзать — невыносимо!

— Отвернись, отвернись! — поспешно сказал ей Семен и глянул на актера: прикажи, мол, ты ей.

Тот тоже, видно было, жалел.

— Солнышко мое, пей молочко. Оно исцеляет.

— Что же, разве у вас не так? Рыбы не едят рыб? — спросил у нее Семен.

Она покачала головой: нет.

— Но как же! — удивился он, словно возмутился: — Как же тогда...

— У нас нет рыб. И нет птиц. И нет зверей. Они только в преданьях старины глубокой.

— Ничего нет? — испугался пастух.— Вот беда так беда...

Лицо его приняло такое выражение, словно он узнал, что они там неизлечимо больны, обречены на смерть, и он не может ничем им помочь, как и не может скрыть своей жалости к ней и страха за нее.

— У нас другое,— сказала она, будто желая ободрить,— и это другое, достояние наше, не менее ценно, поверьте.— Она не удержалась от упрека: — Однако же, в отличие от вас, мы умеем его беречь, мы умеем быть разумными!

Семен понимающе кивнул, хотя ничего не понял.

— Она хочет вернуться туда? — спросил он потихоньку у актера, пока она пила молоко.

— Конечно,— кивнул тот.

— Там лучше, чем у нас? — спросил пастух у нее, когда она передавала котелок актеру.

— Там моя родина,— отозвалась она тихо, и вдруг — как это прекрасно! — слезы навернулись у нее на глазах.

— Да, да,— и обрадовался этим слезам, и немного растерялся Размахай.— Извините. Но все-таки как же... если все не так.

— Разве словами объяснишь! Это надо видеть. Да и не имею я права объяснять,— и пошутила со слабой улыбкой: — Не уполномочена.

— Я говорил тебе,— напомнил актер.— Нам этого не понять. А поймем — мозги сразу набекрень.

Он словно раз и навсегда отказался что-то понимать и, допив молоко, ушел, насвистывая. Вот легкий человек! Счастливый человек. Семен же размышлял, усиленно двигая кожей на лбу, потом спросил:

— Ты собираешься вернуться?

— Не знаю... Если удастся!

Он попросил решительно и твердо:

— Возьми меня с собой. Когда надумаешь возвращаться, скажи мне, я пойду с тобой. Что тебе пользы от Ромы! Он отличный мужик, но что от него? Я пойду.

— А озеро? — улыбнулась она.— Останется без присмотра?

— Я посмотрю, как у вас там все налажено-устроено, и вернусь.

Женщина печально покачала головой.

— Что? Нельзя?

Она молчала.

— Но должен же кто-то нам помочь! — возмутился Размахай, возвышая голос.— Неужели вы не видите, что сами мы уже не в состоянии справиться? Ну, помогите нам! Вы можете научить, как спасти все это. Ведь надо же непременно спасать, иначе мы пропадем.

Она смотрела на него внимательно и, как ему показалось, отчужденно.

— Посмотри,— убеждал Размахай с еще большим пылом и жаром,— кругом дымят заводы и города, жрут кислород самолеты и ракеты, всякая химия течет в реки и озера...

По словам Размахая выходило, что вот за этим перелеском почти погубленный Байкал: в нем уже мрут тюлени и рыба-омуль, потому что уже не выносят загрязнения, и пить байкальскую воду скоро будет нельзя. А за Хлыновским логом — Аральское море: на карте географической оно есть, а на деле нет, превратилось в соленую

лужу, и оттого великие беды не только Средней Азии, но и всем, где бы они ни жили. А Векшина протока не куда-нибудь — в речку течет, а та речка впадает в Волгу...

— Что с Волгой, знаешь? — спрашивал он.— Эти деятели превратили ее в сточную канаву... или скоро превратят. Волна качает берега! Совсем хана... Возьми меня с собой. Я способный, на лету схватываю. Может, уразумею суть вашего жизнеустройства и вернусь сюда.

Она продолжала молчать. Ясно было, что не хотела брать его с собой. И это ее-то он полюбил!

— Ну, так я не хочу больше с вами знаться! — уже закричал Размахай.— Что вы за люди? Почему вы глухие?

На крик его вышел из-за кустов встревоженный актер, обменялся с подругой взглядами. Семен услышал, как он спросил негромко:

— Что просит этот ребенок?

И она что-то быстро ответила ему; вид у нее был виноватый.

— А-а! — сказал актер.— Земля наша велика и обильна, но порядку в ней нет. Придите править и владеть нами. Так? Это уже было.

— Почему до вас не докричаться, хотя вы рядом? — продолжал наседать Размахай, обращаясь уже к ним обоим.— Чем вы лучше Сверкалова и Сторожка?

— Семен Степаныч, мы справимся сами,— бодро сказал актер.— Должны справиться, и это нам по силам, уверяю тебя.

Но Размахай не слушал его. Что может сказать этот бодрячок, постоянно играющий чужие роли, перед всемогущим и всеудушающим злом? Оно пресечет жизнь всех: и людей, и зверей, и рыб, и птиц, и букашек — неужели это неясно? Семен не мог слушать ничьих бодрых заверений — достаточно он их наслушался по телевизору и начитался в газетах! — потому отвернулся весьма нелюбезно и ушел к стаду.

17

Митя по-прежнему был занят ухаживанием, не отставал от своей избранницы ни на шаг и все норовил обнять ее. Несколько коров, не обращая никакого внимания на Митины шашни с Милашкой, отправились на

поле, но то оказалось совершенно пустое поле, без лакомой озими — на нем недавно посадили картошку, а она едва-едва начала всходить. Семен даже не пошел заворачивать оттуда коров, и они сами вскоре вернулись.

В расстроенных чувствах пригнал стадо к деревне, поставил здесь на полдни и отправился домой берегом озера. Настроение было — хуже некуда. Напротив дома Сторожковых увидел Володьку: парнишка купался на мелководье в заливе, куда кто-то сбросил шины тракторных колес и разрезанную пополам бочку из-под солярки.

Ясно, что пятилетнему парнишке не притаранить такие огромные шины, тем более две эти полубочки. Он увлеченно бултыхался среди них... и радужные разводы бензиновых пятен расходились по глади озера, застревая в осоке, в ветвях плакучих ив, спущенных до воды.

— Вылезай! — приказал Семен.

Но юный друг-приятель проявил строптивость и только весело посмотрел на него:

— Не-а.

У приплеска валялась промасленная ветошь. Семен подобрал ее и зашагал к дому Сторожка. Перед фасадом черная, покоробленная лагунка выбрасывала вверх багровое пламя и копоть хлопьями. Тут же рядом стоял трактор «Беларусь» с невыключенным мотором, вооруженный экскаваторным ножом ковшом и бульдозерным ножом, готовый к любой работе — он весь подрагивал в злобном нетерпении. Сам хозяин сидел у окошка, пил молоко из кринки и любовался на копоть, а та пробивалась сквозь крону ветлы, оседая на ней, отчего и ветки дерева, и листья на них становились угольно-черными. И потому скалил зубы Сторожок, что знал: картина эта терзает сердце приближающегося Размахая.

Как было вынести такое издевательство? Семен стал собирать все горюче-смазочное и бросать к стене сторожковского дома. Холера открыл окно пошире, спросил вполне благодушно:

— И какое ты хочешь вознаграждение за свой труд? Аккордно или тарифно?

Семен, бормоча себе под нос «волна качает берега» в самом ругательном тоне, бросал пропитанные автолом картонки, замасленные жестянки, пробензиненную ветошь, разбухшие от мазута доски, изгвазданные солидолом фанерки как раз под окно с физиономией Валеры.

— На многое не рассчитывай,— измывался Сторожок, и

острые ушки его пламенели от удовольствия.— Поскольку никто тебя не просил, на то твоя вольная воля. А вот прокатиться не хочешь?

Размахай подцепил палкой чадящее ведро и бросил на собранную кучу — пламя пыхнуло особенно багровое, и дым повалил с особенно черной бахромой.

Распахивая крутой грудью двери, хозяин выскочил из дома. Куда девалась улыбка и мирный тон в голосе! Налетел на горящую груду, стал было расшвыривать ногами, обжегся, подхватил вилы — вилами, потом с матюгами — на Семена...

Славная была у них рукопашная! Сломали ветлу, оторвали экскаваторный ковш и колесо у трактора, в щепы разнесли прицепную тележку, ни к чему не прицепленную, только дом устоял. Правда, сильно подзакоптел с фасада. Мать и жена Валеры из предосторожности вынесли вон ковры, хрусталь и радиоаппаратуру, которую Сторожок столь уважает.

— Век научно-технической революции! — орал Сторожок.— Ты можешь это понять! Жрать хочешь, телевизор смотреть, на автобусах ездить, и чтоб работать полегче, и бензином бы не воняло?

— Тебя вместе с трактором! — тоже орал Семен.— Спихнуть в болото! В отхожее место!

— Цветочки у него, вишь, помяли! Водичку, понимаешь, замутили! Птичек распугали!

— Ни одна животина не гадит у себя в доме! А ты что творишь? У тебя желудок в голове, а не мозги!

— Да я тебя в гробу и белых тапочках!..

— Собака!..

В общем, крику было много, и послушать их собрались не только люди, но и коровы, кошки и, наверное, даже сверчки — все население Архиполовки. Семен считал, что победа осталась за ним; удалился с поля битвы, чувствуя, что на душе полегчало. Вот только сильно саднило теперь уже не под левым глазом, как вчера, а под правым: кажется, Сторожок «достал» его — это жаль. И даже то, что сам он разбил губу Холере, не утешало.

А все-таки прав красавец-киноактер, носящий образ солдата Ивана: надо выбирать к победе самый простой путь. Небось теперь Сторожок призадумается, прежде чем сотворить какую-нибудь пакость!

Легкий, как после хорошей разминки, погнал пастух

свое стадо с полден опять берегом. Немного смущало его сознание, что нет, не похвалит его за очередной подвиг царевна-художница, но что же делать!

«Нельзя было иначе! — заранее оправдывался Семен.— Пусть она сама потолкует со Сторожком. Вот я сейчас пойду и скажу ей...»

Он хотел предложить ей поговорить с Валерой, но... увидел издали, что оранжевая палаточка опала разом на землю, словно из нее выпустили воздух. Машина же, так похожая на божью коровку, стояла, раскрылившись, будто наседочка, и актер со своей спутницей совали под крылья ее свои вещи, как цыплят.

Сердце Семена опять уронило себя в пустоту, и он заспешил к ним.

— Да, уезжаем,— сказала женщина, прочитав немой вопрос в его глазах.

Она захлопнула одно крылышко... другое... Подошла к нему, соболезнующе заглянула в глаза, приложила листочек под правый глаз Семену и, вздохнув, ничего не сказала. Боль под глазом тотчас унялась, но пастуху было не до того, чтоб замечать такие мелочи.

— Это вы из-за меня, что ли? — поспешил он объясниться.— Из-за давешнего, что я накричал-то на вас, да? Но ведь я же...

— Нет-нет,— сказала женщина ласково,— вы, Семен Степаныч, не кричали, а очень горячо и справедливо высказали свой упрек. Очень справедливо, понимаете? Не кладите на себя вины,— и она, как в прошлый раз, когда хотела придать особый вес словам своим о заповеднике в душе, накоротко приложила невесомую свою руку ему на грудь. Нет, мол, они на него, Семена Размахаева, отнюдь не сердятся, просто им уже пора.

— Но вы приедете еще?!

Это было как крик.

Гости переглянулись как-то странно, и он понял: не приедут. Отчаяние овладело Семеном.

— Что же, мы больше и не увидимся?

Голос Размахая совсем упал.

— Семен Степаныч, не страдай,— сказал актер, обнимая его за плечи.— Что значит: приедете или не приедете? Что значит: увидимся или не увидимся? Разберись сначала в этом вопросе. Ты ведь видел меня раньше? Ну?

— Видел,— кивнул Семен.

— И я тебя тоже, поверь мне. Я знал, что ты где-

то рядом, сочувствуешь мне, так что мы с тобой были знакомы задолго до нашего приезда сюда. А раз встречи были в прошлом, почему же им не быть в будущем? А теперь другое... Жили-были старик со старухой у самого синего моря, старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу... Слышишь? Хоть и сказано «жили-были», но мы их знаем, мы с ними вместе и сегодня, а ведь они выдуманы! Их нет, но мы с ними не расстаемся! Разве я не прав?

Семен посмотрел на актера, потом на женщину, та покивала: так, так.

— И с третьей стороны: совсем не важно, когда жил человек — сто лет назад или тысячу — если мы о нем помним, хоть не по имени, но по сказанному слову, по свершенному делу — разве он не продолжает жить? Значит, нас много, и мы все вместе со всеми нашими мыслями, деяниями, мечтами... Мы всегда можем встретиться!

Он порылся в машине и скрылся за кустами.

— Но ведь... его все-таки нет,— трудно размышлял Семен.— Его нет, того человека, который жил тысячу лет назад.

В ответ женщина сказала, что это иллюзия, что в итоге все живут вместе — и те, что из прошлого, и те, что из будущего. Все живут в одно время, и оно неподвижно, у него ни начала, ни конца. Время имеет те же измерения, что и пространство. Так или примерно так она сказала. Ход ее рассуждений отстранялся, отдалялся от размышляющего Семена, он едва-едва поспевал за ним.

— Не-ет,— сказал Семен, поймав ускользающую мысль,— тут что-то не так.

Он согласен: ну, например, Пушкин, или царь Петр, или купец Афанасий Никитин живут. И многие еще из тех, что жили когда-то — их знают ныне, потому они и живут. Но ведь никого нет из тех, кто будет, кто придет сюда, на нашу землю, потом, после нас, то есть из будущей жизни.

— А я? — тихо спросила женщина.

Он замер и молча смотрел на нее.

— Меня еще нет,— сказала она.— Меня еще нет с вами... и вообще на свете...

Она будет потом. Она придет и увидит на небе ковш Большой Медведицы таким, как он запечатлен родинками у нее на плече.

— Мы брат и сестра,— напомнила она,— мы брат и сестра, несмотря на то, что между нами тысячи лет.

Ну вот, совсем задурила ему голову: он совершенно не знал теперь, как все это понимать; и чему, собственно, можно верить, а что положить в сердце, как сказку.

— Может быть, ты все-таки возьмешь меня с собой? — опять попросил он.— Не сейчас, а вот когда надумаешь возвратиться туда.

— Я не знаю, как у меня сложится,— сказала она и далее уже особенным тоном, как клятву: — Но одно могу пообещать твердо: я сделаю для тебя все, что в моих силах.

Семен кивнул: это, мол, наш главный уговор. Заметано, мол!

— А пока что... Вы могли бы приезжать с Романом сюда. Все-таки тут такие места! Царь-озеро... Вы теперь знаете, что лучшего места нет на земле.

— Знаем. Приедем...

Это она просто так пообещала. Он ясно видел, что она хотела не то чтобы утешить его, а как-то смягчить минуты прощания.

— Нет-нет! — сказала она, поймав его мысль.— Я обязательно сюда вернусь!.. Только, может быть, в другом облике. Вдруг ты не узнаешь меня! Мне очень хочется посмотреть, как ты будешь мыть своего сына травной мочалкой в озерной заводи.

Она засмеялась и продолжала, оглядываясь на него, хлопотать вокруг машины: бросила щепотку чего-то в остывший костер — трава тотчас посдвинулась над кострищем, скрывая обожженное место; захлопнула багажник, и Семен увидел на нем усатого рака величиной с локоть — это был тот самый, с палатки. Да что он, переполз, что ли?! Пастух подошел и украдкой потрогал его — да, рисунок. Что за чертовщина!

Из-за кустов вдруг появился... Иван. Усталый, в пропыленном и рваном обмундировании, со шрамом на щеке и брови. Подошел, прислонил винтовку к «божьей коровке» — приклад ее был прострелен, и Семен знал, при каких обстоятельствах это произошло.

— Ну, прощай, браток,— сказал Иван так знакомо и руку протянул Семену.— Может, еще свидимся...

У Семена екнуло сердце. Он пожал протянутую руку — то была не холеная рука актера, а именно солдата Ива-

на — грубая, с обкуренным большим и указательным пальцами, с мозолями настолько явственными, не ладонь это, а грубое корневище дерева; и чуб поседелый из-за пилотки. Пахло от Ивана дымом, потом, пороховой гарью... словно он только что вышел из боя, что продолжается в ближних лесах.

— Ты все воюешь? — спросил потрясенный Семен, веря и не веря собственным глазам.

— А как же иначе, браток?

— Война вроде бы кончилась...

— Но ведь они наступают!

— Да, верно, наступают.

— Кто это «они»? — спросила женщина, появляясь рядом.

— Те, кто против нас, барышня. А мы за правое дело.

— Но кто определяет правоту? Тут важно не ошибиться.

— Не финти, барышня, не финти. Мы знаем их в лицо, гадов: у меня свой враг, у Семена Степаныча свой, но суть одна — мы за правое дело.

— Значит, другого пути у вас нет? Только через насилие, через войну?

— Посторонись-ка, барышня... Куда идет ваша таратайка? Не прихватите ли меня вон до того леса, там наша позиция.

— Прихвачу,— сказала ведьмочка-царевна, опечалившись.

— Я солдат, и моя война продолжается. Пока гадов не одолею, пахать и сеять некогда. Да и вы, барышня, оглянитесь вокруг: война продолжается! Вот так-то, умница моя. Ну что, едем?

— Законом жизни должна быть любовь — всеобщим законом! — тихо сказала «барышня».— Сутью человеческой деятельности должна быть красота. Целью творческих поисков — истина.

— Тебе хорошо говорить,— сказал солдат, пристраивая винтовку внутри маленькой машины — никак не умещалась.— Ты, должно быть, нездешняя. Вишь, чистенькая какая, и свет неземной в очах. А нам иначе нельзя: ведь они прут на нас, гады! И мы исполним свой долг, потому что мы солдаты.

Он подошел к Семену, подал руку:

— Ну, еще раз... прощай, браток. Что-то понравился

ты мне. Я б тебя в разведку взял. Ладно, может, еще выпадет. Мы еще повоюем, верно?

Семен проглотил комок, застрявший в горле, и подтвердил:

— Повоюем... только чтоб за правое дело.

— А иначе жить не стоит! — сказал Иван, отходя.

И он, и женщина уселись в «божью коровку» с двух сторон, машина сама собой закрыла два последних крылышка и стала гладкая, будто цельная, этак обтекаемая. Кстати, были у нее колеса? Семен никогда не видел их. Рак бесцеремонно раздвинул черные круглые пятна на «спине» машины, устраиваясь поудобнее, и «божья коровка» шустро двинулась вперед, приминая высокую траву, которая, однако, тотчас выпрямилась. Семен увидел, что женщина, наклоняясь, заглядывает в окошко, чтоб увидеть его...

— Мы брат и сестра! — крикнула она.— Помни об этом!

Когда они исчезли за кустами, он рванулся следом, чтоб предупредить: там же болото! Но тотчас остановился: они, конечно, знают... и им ничто не помеха.

18

На другой день, рано поутру, приехал на мотоцикле с коляской участковый милиционер Юра, опросил свидетелей, исписал пачку бумаги и увез поджигателя и хулигана Размахаева Семена. Кстати сказать, Юра чем-то ужасно похож на Сторожка, хотя, если разобраться, что же похожего: Холера белобрыс, а Юра черняв; у Холеры глаза — как у кошки Барыни, когда она охотится на воробья, а у этого с хитрецой и ужасно умные, потому что в красивых очках. А похожи тем, что они со Сторожком приятели, и оба горячо любят саксофониста Рони Эдельмаса, певичку Трури Ферлуччи и рок-группу «Ковантере», которой руководит трясучий Хепхоук.

Дорогой между арестованными и милиционером состоялась увлекательная беседа.

— Ты, Семен Размахаич, вот что имей в виду: люди вроде тебя — вымирающее племя. Как грибной слой — прошли, и нету. Время ваше вышло, понимаете? Вы обречены, исчерпали свой лимит.

Юра очень ловко управлял мотоциклом, Семен в коляске сидел барином.

— Вот в давние-предавние времена были неандертальцы, питекантропы, кроманьонцы и прочие. Забыл уж, в

какой они последовательности жили. Они свой срок отбарабанили — и нету их. Согласно эволюционной теории Дарвина, теперь пробил час и для тебя, Семен Степаныч, и для тебе подобных. Не обижайся, я это по-хорошему и совсем не желая оскорбить. Предостеречь хочу: если не переменишься, если не переродишься в нового человека, тебя сомнут, стопчут — и правильно сделают. Если б я был такой, и меня очень просто смяли бы.

Арестованный оглядывался на милиционера поощрительно:

— Давай-давай дальше, я слушаю.

— Сейчас растолкую, век меня будешь благодарить. Ты сколько классов кончил?

— В девятом бросил.

— А я десять. Ну, неважно. Образование нам обоим позволяет: до десяти считать умеем, кое-что в состоянии понять, верно?

Семен пожал плечами: попробую, мол.

— Суть в том, слушай меня внимательно, что сейчас наступило другое время: техническая революция, информационный бум, в космос прорвались... промышленная технология идет и в деревню. Жизнь очень убыстрилась. Посмотри вокруг: машины мчатся, самолеты летят, бульдозеры гребут, экскаваторы роют — все ревет, рокочет, рычит. В этих условиях надо что? Надо быть очень расторопным. Деловым, хватким, сильным. Надо приноравливаться к жизни, а не стопорить ее: тех, кто стопорит, ждет жалкая участь. Мы сейчас на вираже, понимаешь? И на большой скорости. Кто не с нами — вылетает на обочину с риском для жизни. Он отстает и остается позади. А дальше скорость еще более возрастет. Наступило время людей, для которых машина, прибор, агрегат, аппарат — друзья и товарищи. А ты или люди вроде тебя что? Вы отстаете, никак не приноровитесь, потому и хнычете. У вас то грусть об утраченном, то печаль об ушедшем, то воспоминания о прошлом, то жалость к пташкам-букашкам... чепуха это все, Размахай Семеныч! Ты пойми: это сущая чепуха.

Сбитнев так убежденно говорил... просто руками разведешь, да и только.

— Пташек жалко, — сказал Семен где-то слышанную фразу.

— Да бог с ними! Мы их потом в пробирке выведем миллион с десятком. Вот все эти твои чувства —

грусть да печаль, жалость да сострадание — тоже отмирающее, остаточное, как аппендицит. Оно от пещерной жизни унаследовалось нами. От такого багажа надо отрешаться самым безжалостным образом!

— А как же... Ты вот музыку слушаешь для чего? Чтоб пробудить в себе это самое — хорошее чувство, то есть радость, печаль, грусть.

Это так Семен пытался защищаться. Но где там! Разве этим ребяткам что докажешь!

— Нет-нет! — решительно отверг Юра. — Музыка нужна мне вместо электрошока: чтоб толкала к действию! Она меня по нервам — бац! — ходи давай! не спи на ходу, шевелись! Понял? По утрам будит: вставай, делай зарядку! Мотоцикл заводи!

Семен глядел на Юру и удивлялся: ну, парни, откуда вы беретесь? Похожи друг на дружку, как головастики. Сторожок ладно, он пришлый, нездешний, а Юра-то здесь вырос. С его отцом Семен вместе парнями гуляли, вся родова Юры составлена из тех же веществ, что и Размахаевы: воду пили из одного водоносного пласта, молоко из одинаковой травы, почти что с одного луга, картошка с одной земли... Почему же люди такие разные получились? Кто их такими делает?

Юра привез его сначала в Вяхирево, зашли в правление, он стал звонить куда-то, а арестованного вызвал к себе председатель.

— Ну что, — сказал Сверкалов устало. — Я ж тебе говорил: чти уголовный кодекс.

Размахай ответом его не удостоил.

— Значит, так: я тебя сам судить буду. И сам определю меру наказания, ее потом в суде оформят честь по чести. Если ты уже осознал свою вину, сейчас приглашу Сторожкова Валерия и нашего милицейского, уладим полюбовно. Ты Валеркиной теще и жене принесешь свои извинения, а самому Сторожку поставишь бутылку, а лучше две. И на этом покончим. Но ты пообещаешь никогда — ты слышишь? — никогда не совершать своих дурацких дел. Если же на мировую не пойдешь, посажу на три года.

— Чего так много? — недоверчиво спросил Семен.

— Оснований достаточно: не только частному строению, но и колхозной технике большой ущерб причинил.

— Если на всю катушку — год принудработ, не больше, — хладнокровно ответил подсудимый.

— Вот кладу руку на телефон, если будешь топорщиться, позвоню, куда следует, чтоб меньше трех лет не давали.

— Год принудиловки, и сюда же пришлют отбывать наказание. А я вам всем обещаю: любому, хоть бы и тебе, холку намну, если будете пакостить на озере. Жизни своей не пожалею, а каждому гаду устрою, чтоб волна качала берега.

Сверкалов задумчиво смотрел на него. Не со зла смотрел, а просто размышлял — это немного умерило боевой пыл Размахая.

— Эх, Витюша, — сказал Семен почти задушевно, — я вот сейчас ехал в милицейской коляске мимо нашего леса. Помнишь, как мы ходили в Березовский Ямок за рыжиками? Сколько их там было! Косой коси... Такой лесочек был славненький, приветливый, ласковый, будто дом родной: елочки вроде новогодних, кусты, березки...

— Помню,— кивнул Сверкалов.— Нынче на одних тех рыжиках наш колхоз обогатиться мог бы... Собрать, посолить и — в московский ресторан. На вырученные деньги строили б...

— Так какого ж ты... велел его раскорчевать! Думал хоть, что творишь? Соображал?

— Думал, Сема, думал. Расчистили — поле стало просторное, технике вольготнее.

— А кто для кого на свете живет: техника для нас или мы для техники? Ведь сколько лет пашете, столько лет вымочка на этом месте, и больше ничего. Значит, все только для того, чтоб трактору пахалось, а на остальное наплевать?

— Если вымочка — осушить надо.

— Опять канаву рыть? Ты уже сколько их накопал! Вон Рожновское болото погубил и три озерка. Много ты на том болоте урожая взял? Заросло кустарником. А было-то — помнишь? — цапли там ходили, по весне лебеди садились, журавли... Уток было столько, что поднимутся — неба не видать! А в озерках — раков тьма-тьмущая. Забредешь, бывало, — они за ноги голые так и хватают, так и хватают...

— Да-а... Как не помнить! Нынче б тех раков ловить да в корзинах с мокрой травой — в Москву. По полтиннику парочка. Очередь встала бы — на три квартала! Обогатились бы мы.

— Так зачем же ты осушал?

— У нас, Сема, план не по ракам или рыжикам, а по зерновым, по мясу, молоку...

— Неужели нельзя сделать так, чтоб никого не обижать: ни озера, ни леса, ни самих себя? Зачем нам этот план, когда разум дан?

— Ты безнадежный идеалист, Размахай Семеныч. Мечты твои называются знаешь как? Утопия. А у нас, я ж тебе объясняю, плановое хозяйство. План — закон нашей жизни.

— Кто их составляет? Кому мы это дело доверили? С кого спрашивать? Сторожок кивает на тебя, ты — на него, и виноватых нет...

Э-э, что со Сверкаловым толковать!

— Хреновый тот план, — решительно буркнул Размахай. — А составители еще хреновей.

— Составь ты лучше. Вот пригласят тебя в столицу, посадят в министерское кресло, и валяй.

— Ты вспомни, Витя, какая красивая земля была в пору нашего детства! Там перелесок — тут ручей, там луг — тут рощица... а тропинки! Вот пойдешь, бывало... эх, да что говорить!

— Теперь еще красивей у нас, Сема, — стоял на своем Сверкалов. — Тут опоры электролинии, там антенны телевизионные... шоссе асфальтовое проложили, жилье строим из кирпича.

— Перелески ты выкорчевал, зверей и птиц потравил, вместо ручья сделал канаву... Посмотрел бы, как через твою канаву наши коровы перебираются... Скалолазы! Какое может быть молоко после такого лазания!..

— Всего не предусмотришь.

— А зачем ты, собака, велел карьер в сосновом бору вызыбать? Такой был бор — красавец! Небольшой, светлый, чистый... Помнишь, нас, первоклассников, учительница Арина Сергеевна водила туда гулять? Я до сих пор помню... Какие там боровички родились! А белок сколько было, а... Так нет, дай все порушу. Как у тебя только рука поднялась на эту красоту и как только язык повернулся отдать такое распоряжение?

— А где же песок брать на дорогу, Сема?

— Не знаю! Где угодно! — чуть не заплакал от досады Размахай. — Зачем ты, делая одно добро, творишь в то же время два зла, и зло у тебя перекрывает?

Почему так, товарищ Сверкалов? Почему ты изуродовал нашу землю, нашу с тобой родину?

Юра зашел на этот крик, и был он готов выполнить любое указание Сверкалова, не от избытка исполнительности, просто они заодно, единомышленники и соратники, одного поля ягоды.

— Вези его отсюда, — махнул рукой председатель. — Пусть там с ним разбираются. Мне он надоел.

Семен выходил из его кабинета, а Сверкалов ему в спину:

— Надо, Сема, идти по жизни не задом наперед. Понял? Вперед гляди, Размахай Семеныч! А не назад.

Семен ему от двери:

— Если мы оглядываться не будем, то такого наворочаем! Нас наши внуки проклянут!

— Ты сначала детей заведи, а потом о внуках толкуй.

Это он уколоть хотел. Ну, не прежние времена: теперь-то Семен ответил весело:

— Не беспокойся, заведу. И будь уверен, он вашей породе спуску не даст...

Речь свою он продолжил и в коляске мотоцикла, обращаясь уже к Юре о сыне, который подрастая, будет подпирать пошатнувшееся дело. Только бы он поскорее родился и поскорее вырастал!

19

Пятнадцать суток прожил Размахай в районном центре — так долго не жил он в городе, никогда на такой большой срок не отлучался из своей Архиповловки. Если, конечно, не считать службы в армии — но это когда было-то! Двадцать лет назад.

Вышло так, что в первый день двор милиции покрывали асфальтом — Семена послали помогать. Он разбрасывал черную горячую кашу асфальта, разравнивал, отступал от грохочущего, фыркающего катка. И асфальт, и каток исходили синим чадом, у Семена мутилось в голове, но, не своя воля, отстоял эту вахту с честью. На другой день асфальтировали ту улицу, где милиция и так называемый Дом правосудия; Семен уже сам ездил на асфальтовом катке, поскольку тот ему покорялся с боль-

шей охотой, нежели прочим. Тут, слава богу, асфальт кончился — фонды исчерпались; а у начальника милиции персональная «Волга» вышла из строя, стала кашлять и чихать — Семен вызвался ее вылечить и сделал это в два счета: все-таки машина — не корова, машина попроще.

Начальник милицейский так расстрогался, что чуть было не отпустил архиполовского «преступничка» домой, но вовремя спохватился, поскольку выяснилось, что Размахай и по части столярного ремесла ловок, поручил отремонтировать мебель в красном уголке милиции. Семен работу выполнил настолько хорошо и быстро, что слава о нем дошла до народного суда, — оттуда явился какой-то заседатель и лично, очень почтительно проводил дарового столяра в Дом правосудия, где Семен несколько дней подгонял незатворяющиеся и нерастворяющиеся створки в окнах.

Это было то жаркое лето, когда в газетах, и по радио, и по телевидению одно за другим следовали сообщения такого характера: на Рижском взморье в районе Юрмалы купаться нельзя из-за загрязнения моря... и в Азовском море в пределах Донецкой области купаться запрещено — слишком велик сброс промышленных стоков... и море Черное закрыто для купания от Поти до Батуми — загрязнено... в Волгу славный город Торжок сбросил какую-то дрянь — купаться, как объявили, нельзя до самой Дубны... и в Москву-реку по сточной трубе некое предприятие спустило некую химию — кое-кого из купальщиков положили в больницу с ожогами, а рыба передохла и всплыла кверху брюхом, у нее больниц нету...

Лишенный полной свободы, но не лишенный газет, Семен Размахаев читал об этом, как о наступлении интервентов на родную землю, как сводки с фронтов, — с болью и гневом. Чувство собственного бессилия переходило в глубокую тоску. Раз за разом стал сниться Семену один и тот же сон: будто медленно и неотвратимо накатывается на него рокочущий, дышащий синим чадом из выхлопной трубы и откуда-то еще асфальтовый каток, и некуда от него деться, некуда скрыться, нет спасения. Он все ближе, ближе, тот каток, и чем короче становилось расстояние до загнанного куда-то и припертого к стене Семена, тем больше становились размеры катка. Сначала-то он был обыкновенным, с трактор, потом с комбайн, потом с жилой дом в три-четыре этажа, а когда уже накатывался на Семена, когда вот-вот захрустят под

катком Размахаевы кости, тут он и вовсе вырастал до неба.

Размахай кричал от этого сна и просыпался.

— Ты чего, дурдом? — ворчали на него сокамерники.

— Да так, приснилось, — виновато отвечал Размахай, тяжело дыша, будто после долгого бега.

Не сразу после мучений от бессонницы засыпал, и асфальтовый каток являлся ему вновь. Опять он катил, урча, подминал траву и деревья, птичьи гнезда и лягушек, душил всякую живность сизым плотным дымом, глушил птичье пенье и стрекоз, кузнечиков нахрапистым, натужным рыком и вырастал до размеров пятиэтажного дома. Чугунная, отшлифованная в работе поверхность катка маслянисто отсвечивала на солнце, еще секунда, еще мгновение — скрыться некуда — и вдавит Семена без всякой жалости в землю.

— А-а! — кричал Размахай во сне. — А-а!

Опять его будили собратья по камере и обещали всяческие страсти, если не кончит орать во сне. А со сном разве совладаешь? Не своя воля.

Его и побили бы, наверно, но на третью или четвертую ночь пришла к нему на помощь царевна-волшебница: она появилась перед растущим до ужасающих размеров катком, вскинула свою тонкую руку ему навстречу, ладошкой вперед, и он тотчас остановился, будто наткнувшись на препятствие, как тогда на берегу озера бык Митя, и более того, опал разом, будто резиновая лодка, которую бык пырнул рогом.

Укротив каток, она села на нары к Семену, попросила:

— Расскажи про озеро.

И слушала, поощряя его улыбкой и взглядом, от которых он замирал всем своим существом. Иногда она перебивала его рассказ, спрашивая, к примеру, не видел ли он когда-нибудь «ледяные часы»: лошадиное копыто, отпечатавшееся на льду, и в нем две соломинки-стелочки, которые двигал солнечный ветер. Семену никогда часы эти не попадались на глаза, но тут словно осенило: видел! Точно, видел. И не раз: даже вспомнилось, как удивился тогда оттого, что время их совпадало с истинным.

Семен рассказывал и про медведицу — как она ловила рыбу на дне озера, а потом выломилась изо льда и влезла по звездному небосклону, где и улеглась в небесной своей берлоге.

Женщина смеялась, и душа Размахая внимала этому смеху, как музыкальным всплескам.

Вспомнил он и про каменную плиту на дне, на самом глубоком месте, похожую на крышку сундука.

— Это не сундук, — сказала она.

— А что же?

Она улыбнулась и на вопрос отвечала уклончиво:

— На том камне рельефные изображения... какого-нибудь зодиакального знака.

— Ты не знаешь, какого именно? — удивился он.

— Они меняются... в зависимости от того, в каком созвездии находится наше солнце, проходя по большому кругу небесной сферы. Сейчас — в созвездии Рака. Через две недели — в созвездии Льва, потом в созвездии Девы.

Семен оглянулся и увидел на стене камеры нарисованного рака; он шевелил усами и почему-то мигал черным круглым глазом: наверно, подтверждал сказанное ею. Ну, бог с ним...

— А зимой? В феврале, например?

— Февраль дружен с созвездием Рыбы.

— Золотой?

— Да.

Конечно, не зря актер звал ее ведьмой: она умела так глубоко, до самого сердца, заглянуть в человека; отсюда было и Семеново убеждение, что ей ведомо абсолютно все на свете.

— А те знаки на камнях, что возле Панютина ручья, они тоже?..

— Они в согласии с теми, что на дне озера и что у тебя на руке, — понизив голос, сказала она и приложила палец к губам, оглядываясь на спящих сокамерников Размахая — это чтоб он больше не расспрашивал о знаках: тут тайна.

И Семен покорился, только вздохнул:

— Интересно, что было раньше на нашем озере, тысячу лет, к примеру, назад. Или две тысячи.

Сказавши так, посмотрел на нее: неужели и это знает? Но, может быть, тут тоже тайна?

— Прежде всего, что тысячу, что две — одинаково! — отвечала она.

— Одинаково! — изумился Семен. — Целая тысяча лет прошла, и тут ничего не изменилось?

— Ну, вместо одного леса вырос другой, вместо од-

ного кабаньего стада паслось другое, вместо одних синиц да дроздов гнездились уже другие птицы — это ведь не в счет, не так ли?

— Не в счет, — согласился Семен.

— Пробилось несколько новых родничков, а несколько прежних иссякло. Камень упал с неба и долго валялся, пока его кузнец Нестор не подобрал, впрочем, это случилось гораздо позднее, когда здесь уже была деревня.

— А что, наша Архиполовка стоит так давно?

— Нет, люди здесь не жили, потому что большие и малые реки вдали, а значит, и большие дороги тоже, тут как тупичок. И очень буреломные леса вокруг — медвежье царство: то тут медвежий рев, то там, в любую пору дня и ночи. В первый раз появились люди, насколько я знаю... дружина воинов черниговских, они ночевали на берегу.

— Там, где Архиполовка?

— Нет, возле ручья, который ты называешь протокой. С ними был князь Андрей, больной: загноилась на бедре рана.

— От сабли? От пики?

— Нет, от вепря. На охоте упал князь с коня, а стадо вепрей шло напролом... матерый секач задел его, распахнул бедро. Оно зажило, но в пути рана открылась.

— Он потом выздоровел?

— Да. Кстати, здесь, на берегу озера, он потерял серебряное стремя — выпало из переметной сумы. Оно и сейчас лежит, затянутое илом, в ручье. Ты можешь найти, я покажу место.

— Надо же: явились к нам на Царь-озеро, а тут еще ни души, дикое место... Им понравилось оно?

— Князь не спал всю ночь. Начало лета, очень тепло было, комарно. Рыба играла в озере, и он удивлялся, как она тяжко бултыхает. Крупная рыба... Он был очень печален, тот князь... в разлуке... И еще оттого, что считали его не князем, а просто хорошим воином. Затерялось родство, и он никому не мог доказать, что в его жилах течет благородная кровь. Из-за этого и погиб потом.

— В битве?

— Князя убил свой человек, которого подкупили...

Они погоревали о неведомом черниговском князе Андрее.

— А если заглянуть еще раньше? — спросил Семен. — Далеко-далеко. Что тогда было?

— Это уже более туманно... Кристаллические породы залегают здесь на глубине около двух километров и перекрыты отложениями того периода в жизни земли, который называют каменноугольным — это примерно триста миллионов лет назад. Над ними отложения юрского периода и мелового... Это понятно? Я ведь стараюсь выражаться вашими терминами.

— Слышал по телевизору про юрский и меловой... но не очень хорошо себе представляю. А откуда ты все знаешь?

Она пожала плечами:

— Для меня это как знание языков: могу разговаривать на любом, но тотчас забываю. Сейчас не знаю ни одного, кроме русского. А встречу... англичанина, к примеру, или немца — забуду русский, буду владеть только английским или немецким. Но и их потом забуду! Они где-то во мне... так у нас устроено. И с прочими знаниями тоже.

Семен, дивясь, покрутил головой.

— Сейчас вот достаю из кладовой памяти — сама себя слушаю и увлечена... Так вот, дальше о твоей земле. Тут раньше было море, и на дне его постепенно сформировались известняки. Кстати, если бы ты знал, какие там ракушки лежат до сей поры! Но тебе не добраться. Только в размывах, особенно по ручью, где есть сильные родники, можно найти осколки раковин тех моллюсков, которые жили здесь на дне каменноугольного моря. Позднее был ледник, он оставил морены-отложения, а они перекрыты озерными отложениями — тут было раньше не одно это озеро, а много. Так устроена твоя земля... Главная ее особенность: в толще известняков — карстовые явления вроде котловин, провалов, пещер. Но это на большой грубине. Туда уходит Царь-озеро.

И сказавши так, она сама отдалялась, уплывала.

— Ты придешь еще раз? Завтра ночью, а?

Она грустно покачала головой: нет, мол.

— Но меня опять будет давить этот гад-каток!

— Есть прекрасное средство: читай то стихотворение, как молитву... Помнишь?.. Звезды меркнут и гаснут. В огне облака. Белый пар по лугам расстилается...

И растаяла. А Семен Размахаев счастливо спал в эту ночь.

На другой день в камере появился новенький, который, едва переступив порог, закричал Семену:

— Здорово, командир! И ты здесь?

Это был тот кривошеий лесоруб, что вел просеку неподалеку от Семенова озера и хотел загнать пастуху по дешевке только что спиленные ели.

— За что тебя? — спросил Семен.

—Да, понимаешь, вели мы линию электропередачи... ну, ту самую, что идет мимо твоей деревни. Это значит, такие вот металлические опоры ставим высотой с десятиэтажный дом. Так я две опоры, это самое, пропил.

— Как пропил?

— Ну, загнал налево.

— По бутылке за опору?

— Не-ет, у них же четыре ноги у каждой. Значит, за каждую ногу по пузырю, итого четыре за всю опору.

— Да кому они нужны?

— В хозяйстве все пригодится! Дачный кооператив взял... он из этой арматуры теплицы решил построить.

Чем дольше живешь на свете, тем больше чудес...

Этот шустрый малый тоже плохо спал по ночам, тоже кричал: «А-а!»

— Ты чего, дурдом? — будили его.

— Да, понимаешь, замучил сон, один и тот же: покупаю бутылку, только от прилавка отойду — дзеннь! — разбилась. Беру еще одну, на последние деньги, и снова — дзеннь!

Кривошеему сочувствовали единодушно, если не считать Семена, который на это не отзывался никак, лежал и бубнил в полудреме:

— Звезды меркнут и гаснут. В огне облака. Белый пар по лугам расстилается. По зеркальной воде, по кудрям лозняка От зари алый свет разливается...

— А ты чего бубнишь? — спросили у него.

— А вот послушайте: что ни строка, то картина, и рисовать не надо — все перед глазами, как живое. Звезды меркнут и гаснут...

— Во чудики! — сказал один преступничек. — Сумасшедший дом...

— Ничего, — сказал другой. — Давай дальше, как там?

— Дремлет чуткий камыш. Тишь, безлюдье вокруг. Чуть приметна тропинка росистая... Вы слышите? Чуткий камыш, безлюдье и чуть приметная тропинка... Куст заденешь плечом — на лицо тебе вдруг С листьев брызнет

роса серебристая... Вот и солнце встает, из-за пашен блестит, За морями ночлег свой покинуло. На поля, на луга, на макушки ракит Золотыми потоками хлынуло...

Лекарство от дурных снов и бессонницы действовало исцеляюще: и в эту ночь Семен Размахаев уснул глубоко и во сне улыбался. Утром проснулся в бодром состоянии, приговаривая:

— Ясно утро, тихо веет теплый ветерок. Луг, как бархат, зеленеет. В зареве восток. Окаймленное кустами Молодых ракит, Разноцветными огнями Озеро блестит... Вы хоть видели озеро-то, черти? Вот сейчас там утро... ветерок веет и восток в зареве...

Над ним похохатывали, но никто уже не ругался.

Опять он ремонтировал чей-то автомобиль, за ним душевую установку в вытрезвителе, отопительную систему в прокуратуре... И уж хотели попробовать его на задержании особо опасного преступника, но тут заранее отмеренный пятнадцатисуточный срок пребывания на казенных харчах кончился, а на второй Семен остаться не пожелал.

— Ну, не забывай нас, — сказал начальник милиции; он как раз вышел на милицейское крыльцо, а тут только что освобожденный Семен. — Если что, приютим опять недельки на две, еще поработаешь. Говорят, ты печки кладешь? Это очень кстати: есть у нас и такая работенка. Так что имей в виду, Семен Степаныч: по первому звонку оттуда...

— Волна качает берега, — непонятно ответил на это Размахай. — Наше дело правое, победа будет за нами.

— Передавай привет Сверкалову... Хвастал он мне, что где-то у нас на озере утки водятся, так ты ему скажи, чтоб поберег их до меня; приеду — на охоту вмете сходим.

— На охоту мы ходили и убили воробья,— пробормотал Размахай, мгновенно ожесточаясь. — Всю неделю мясо ели и осталось...

— Да погоди, сейчас ваш участковый приедет, я ему прикажу тебя доставить туда, где взял.

Семен не стал ждать участкового, ушел пешком. Ни разу он не оглянулся ни на милицию, ни на Дом правосудия, ни на город. Сказанное вскользь об утках да о скорой охоте на них засело болезненной занозой, и чтоб умерить боль, Размахай бормотал:

— Едет пахарь с сохой, едет — песню поет. По плечу молодцу все тяжелое... не боли ты, душа! Отдохни от забот! Здравствуй, солнце да утро веселое!..

Он не знал, не мог знать, что как раз в это время, когда так бодро шагал по шоссе домой, самолет сельскохозяйственной авиации, заходя на очередной облет картофельного поля в Хлыновском логу, слишком рано открыл заслонку в своем брюхе и просыпал какую-то ядовитую гадость не только на поле, но и на озерный берег, и на само Царь-озеро.

Тотчас в Рябухиной заводи околели застенчивые и женственные лягушечки, прозванные Семеном хитрецами за то, что умели они посматривать на него хитровато, когда он угощал их овсяными хлопьями, размоченными в сладкой воде. К моменту возвращения Размахая всем племенем лежали они на приплеске, выпучив глаза в ресничках то ли от ужаса, то ли в великом недоумении.

Досталось и лягушечкам-ноготкам в осиннике возле Панютина ручья — ну, эти вроде бы не все поголовно вымерли, уцелели зеленые в крапинках, которых Семен считал кавалерами, а вот их нарядные барышни оказались менее стойкими, они погибли.

Значительно поредело племя дубравниц: не выдержали жизненного испытания в основном малыши.

Барыня вечером выловила в заводи здоровенного леща — такого не бывало в ее рыболовной практике, но, понюхав и поразмыслив, есть его не решилась. В осоку набилось довольно много всякой рыбы, но она шевелилась медленно, будто снулая, а некоторые уже плавали вверх брюхом.

Все это предстояло Семену узнать по возвращении домой.

ЭПИЛОГ

В сентябре под осенним дождичком Семен молчаливо засадил бывшую усадьбу Сторожковых-Бадеевых (хозяева уже перебрались на жительство в Вяхирево) молодыми березками да липами. Обожженные соляркой пятна земли вскопал и закрыл пластами дерновины, срезанной над обрывом. Ему явно хотелось скрыть безобразие, которое оскорбляло его глаз, но душевную смуту, которая ясно отражалась на всем облике его, ничто не могло унять: ни посадка деревьев, ни благоприятные известия, приносимые Маней из женской консультации.

Между тем осень расхозяйничалась. Подули мокрые вет-

ра, зарядили хлесткие дожди, влачились и влачились над Архиповловкой бесконечные тучи. В деревне то и дело гас свет: где-то рвалась линия электропередачи, и с раннего вечера деревня погружалась в темноту.

Семен сам проверял линию, находил обрыв, соединял провода, и Архиповловка благодарно вздыхала.

А потом наступила тишь. В одну из ночей поседели травы, иней опушил оголенные ветки деревьев и кустов, и на озеро лег тонкий, как оконное стекло, ледок. В нем отпечатались диковинные тропические растения, рыбы и звери, какие ныне уже не водятся на Земле... в зарослях угадывались силуэты живых существ, не похожих ни на кого из ныне живущих.

«Это вода хранит память о былой жизни», — озаренно думал Семен.

Он подолгу стоял на берегу, смотрел на озерную гладь, иногда обращал свое лицо к небу, задирая голову в лихой кепочке, потом опять вглядывался в зеркало льда, ловя в нем отражение звезд. Он кого-то или чего-то ждал. Морозец пощипывал его за уши.

В следующую ночь ударил мороз покрепче, белые дымы встали над Архиповловкой высоко-высоко, не относимые никуда; иней, медленно кружась, мелкими блестками опадал с ледяного неба.

Озеро окончательно застыло.

Наступил декабрь. Маня ушла в декретный отпуск... И вот в эту пору в один из дней Семен исчез. То есть был-был, видели его то у колодца, то на берегу, то возле собственного двора — и вдруг нет его нигде.

Маня явилась — корова стоит недоеная, измученная, голодная. Барыня встретила хозяйку злобно — одичала, что ли? В сенях почему-то горит электрическая лампочка, в большой кастрюле на кухонном залавке замочен и прокисает молотый овес.

Семен не явился ночевать, и Маня еще больше встревожилась. Если б не была тяжела, то кинулась бы искать. Помаленьку хлопотала по хозяйству и ждала, вздрагивая от каждого стука.

Исчез мужик. День нету, два... Соседка Вера Антоновна отправилась на остров наломать вереску для веника и увидела: Семен лежал подо льдом лицом вниз, словно рассматривал что-то на дне, раскинув руки и ноги. Будто там, под верхним слоем льда, был еще один слой, и

сосед Размахаев заполз между ними понаблюдать за подводным миром.

Дали знать в Вяхирево. Приехал милиционер Юра, с ним еще кто-то незнакомый, приказали Осипу Кострикину запрячь Ковбоя и чтоб выехал на озеро.

Семена Размахаева вырубили изо льда целой глыбой, положили на сани уже лицом вверх — лицо было удивленным и торжественным, словно он узнал что-то необыкновенное, изумился несказанно и от этого чувства умер.

Одни говорили, что утонул при ледоставе... пошел-де по тонкому льду и провалился.

Другие — что утащила его большая рыба, о которой он не раз кое-кому говорил под большим секретом.

Третьи — что позвал кто-то из озерной глубины...

Болтать можно что угодно, а правду как узнать?

Семена Размахаева похоронили на старом кладбище, на Веселой Горке, а примерно месяц спустя Маня Осоргина родила мальчика.

Зима была суровой. Говорили, что озеро промерзло до самого дна, но только в это что-то плохо верится. С наступлением весны случилось то, что случалось всегда: когда полая вода залила лед поверху и озеро заполнилось до краев, оно при ясной и безветренной погоде вдруг закипело разом по всей поверхности, и лед всплыл. Значит, ко дну-то не был приморожен. Всплыл и довольно быстро растаял.

Зазеленели берега; вот когда дружно выпустили бойкие листочки молодые деревца, посаженные Размахаем, именно в связи с этим печаль о нем в Архиповке стала явственнее: все чаще и чаще вспоминали Семена. Да и Маня, перебравшаяся сюда на жительство, теперь каждый день выносила маленького Размахайчика посмотреть на озеро и послушать лягушиные концерты. Младенец был всегда серьезен — вылитый отец! — с чрезвычайно осмысленными глазками.

И вот тут слушок пополз из дома в дом: будто бы иногда, и довольно часто, не только вечером, но даже и днем можно явственно различить на острове сидящего там человека. Он сидит будто бы на некотором возвышении, должно быть, на камне, среди молодых дубочков и смотрит, смотрит на озеро, изредка оглядываясь на Архиповку.

Когда Вере Антоновне, бывшей сельсоветской работнице, впервые привиделось это, ее смутила вопиющая незаконность такого явления. Старушка, всегда говорившая, что она-де неверующая, бойко крестилась:

— Господи боже мой... Да кто ж это там? В кепочке-то... Кепочку-то этак только Размахай носил. А разве можно мертвому этак-то сидеть? Разве можно пугать народ?

Мане об этом она ничего не сказала, а то молоко пропадет — она ведь кормящая мать, — пошла к Осипу Кострикину. Тот вышел на крыльцо, вгляделся:

— Ну, точно: он. Больше некому.

А если это так, то что делать: бояться или радоваться?

Осип, бывалый человек, усмехнулся, махнул рукой: пусть, мол, сидит, если нравится.

Примерно в эти же дни заехал в Архиполовку Валера Сторожок.

— Пахал сейчас в Хлыновском логу, — рассказывал он, — так вы не поверите: как подъеду к лесу, вот где Семен Размахаич лесок посадил, так вижу — стоит под елкой! Ну да, он, собственной персоной: в плаще, капюшон надвинул на лоб... Ясно-ясно вижу, вот как вас. У меня мороз по коже. Стоит и смотрит... Да пропади ты пропадом, говорю, чтоб я это место пахал!..

Некоторое время спустя видели Семена и возле Векшиной протоки: Осип Кострикин тальник на корзины резал, обернулся — Размахай стоит. Ни слова Семен Степаныч не сказал, но рукой махнул: уходи, мол, отсюда. Он и раньше не раз предостерегал Осипа: тут, мол, бобер живет, не пугай его. И теперь вот.

Старушка Вера Антоновна надумала в озере старую керосинку песком оттирать. Только приступила было к делу, а он, Семен-то, и стоит в тростниках, зубы оскалил, то ли смеется, то ли рассердясь.

— Меня дрожь проняла, — призналась старушка. — Я его крестным знамением — а ему хоть бы что. Я оттуда опрометью, даже и про керосинку забыла. Потом пошла за керосинкой — нету.

А в доме Размахаевом появился портрет. Маня нашла этот портрет на божнице, за книгами: на нем Семен Степаныч как живой — глаза синим огнем горят, требовательные; соломенные волосы просто приглажены ладонью, а не причесаны; нос хрящеватый блестит, правая рука

положена ладонью на грудь против сердца: то ли клятву произносит, то ли вот сейчас поклонится старинным русским поклоном: исполать, мол, вам, люди добрые, вот я и вернулся.

Маня повесила портрет на самое почетное место, маленькому Размахайчику сказала: это твой отец, запоминай и привыкай, он как живой тут.

Однажды явились в Архиполовку друзья-приятели Валера Сторожок и Юра. Дело было к вечеру, и на острове сидел человек...

— Ну что, видишь? — сказал Сторожок удовлетворенно. — А ты не верил. Убедись сам. Точно он! Всегда обещал мне: даже, мол, если помру, и с того света приду, чтоб волна качала берега, никому покою не дам.

Сбитнев смотрел сквозь очки и пожимал плечами: как, мол, он туда попал? Лодки нет. Если вплавь, то почему одетый? Не с неба же спустился! И зачем сидит? Чего от него ждать, худа или добра?

— Давай сплаваем, — предложил Сторожок, у которого от азарта и ушки навострились. — Проверим документы.

— Да ну! Кто-нибудь из городских, рыбак, — нерешительно возражал Юра.— А может, просто деревья посгрудились, вот и кажется.

Милиционер чего-то опасался: как-никак человек при должности, и ронять авторитет ему не годится. Что скажут потом? Привидение, мол, на острове участковый ловил. Засмеют!

— Ну, ради интересу, Юр! — азартно уговаривал Сторожок. — Проверим, как и что. Ну! Смотри, по-моему, точно: человек сидит. Может, беглый какой, а? Тут раньше ловили какого-то дезертира Архипа. Поймаем — тебя в звании повысят, мне премию денежную, а бабе Вере медаль за бдительность: это она первой-то углядела.

Сбитнев опять пожал плечами, усмехнулся:

— Давай искупаемся... ради интересу...

Они разделись и поплыли. А Маня с маленьким Размахайчиком на руках и Осип Кострикин, и Вера Антоновна стояли на берегу. Ветерок морщил озеро, молодые дубки на острове гнулись то в одну, то в другую сторону, человек на острове — или что это было? — казалось, сидел в задумчивости. Человек этот уходить или исчезать не собирался: двое плывущих его не пугали. А вот маленький Размахайчик, на удивление всем, смеялся.

— Он никогда так не хохотал! — дивилась его мать. Остальные переглядывались.

Юра со Сторожком выбрались на остров, помахали оттуда зрителям, потом вернулись, немного сконфуженные.

— Ну, что? — спрашивали у них.

— Никого там нет... Так просто... волна качает берега.

— А почему же отсюда-то так видится?

— Камень там лежит, не знаете, что ли? — сказал Валера. — А рядом дубки. Ну, вот все это вместе вам и маячит.

— Лягушка на камне сидит, — усмехнулся Сбитнев. — Красивая такая лягушенция, прямо-таки царевна — золотистая вся, я такой никогда и не видывал.

— Надо было ее арестовать, — сказал Осип Кострикин.

— Поди-ка... Увидала нас — скакнула в воду. И поплыла шустро так, будто рыбка.

А маленький Размахайчик уже не смеялся, а пристально, внимательно смотрел на друзей, Сторожка и Юру, словно хотел получше их запомнить.

Архиполовка успокоилась. В самом деле, даже если и сидит на острове кто — его дело. Вреда ведь никакого.

Разговоры, однако, не унялись: вспоминали Семена и так, и этак. И что делал, и о чем говорил, и что в нем хорошего или плохого... К достоверному прибавлялась нелепица, из правды вычиталось несущественное, остаток умножался.

ВСЕ, ЧТО ДО ЭТИХ ПОР — ПРАВДА. А ДАЛЬШЕ — ЛЕГЕНДА.

1988

ВЕЛИКИЙ МОСТ

1

В полдень прошел короткий шумный ливень, после которого тотчас выглянуло солнце, веселое, словно лик некоего божества, учинившего в городе сумятицу с дождем и вихревыми набегами ветра.

Парил асфальт, пузыри плавали в лужах; шумели ручьи на мостовой, падая сквозь решетки водостоков; чирикали обезумевшие воробьи.

Возле цветочной клумбы на тротуаре черная жижа — перед дождем высыпали грудой землю, и вот ее размыло, она сползла на асфальт, под ноги прохожим. Солнечный зайчик взблеснул искоркой почти под ногами; Мережников нагнулся и вдруг поднял мокрое стеклянное колечко, розовое, мутноватое, со свежим сколом величиной со спичечную головку, с налипшими крохами черной земли.

Он нагнулся снова, старательно поворошил влажный, набухший перегной: нет ли еще чего. Да где там! Уж и то сказочное везение — найти эту стеклянную драгоценность в древней, не раз перетряхнутой и размятой в руках, пропущенной сквозь пальцы земле. Ополоснул колечко в теплой луже, волнуясь, примерил — оно влезало лишь на мизинец. Владимир Андреевич набрал воздуху в грудь, словно собираясь крикнуть, но только радостно улыбнулся.

Невдалеке, разбрызгивая лужи, проехал и остановился самосвал, кузов его стал косо подниматься.

— Поберегись, подруга! — раздался крик.

Девушка, шедшая по тротуару, отступила подальше, оглянулась на крикнувшего ей шофера, помахала рукой: видно, были знакомы.

Мережников поравнялся с самосвалом.

— Откуда земля?

— С Троицкого раскопа, — ответил веселый шофер, провожая девушку взглядом.

Троицкий... Это Людин конец, бывшие Черницына и Добрыня улицы. Там же Пробойная и Редятина.

— Хотите на дачу вам привезем? — предложил шо-

фер, видя, что прохожий рассматривает землю.

— Спасибо, у меня нет дачи.

— Была бы земля! А дача приложится.

С шофером в кабине сидел еще кто-то, они засмеялись.

Мережников шел, лаская в пальцах колечко. Сердце билось, словно получил телеграмму с сокрушительно радостным известием. Этой немудрящей стекляшке сколько веков? Новгородская экспедиция археологов берет сейчас в Троицком раскопе тринадцатый век. Может, и колечко именно из тринадцатого? Скорей всего так.

Как же это вы, уважаемые, пропустили? Этак у вас и берестяные грамоты меж пальцев пройдут и на клумбу угодят. Набрали себе в подсобные рабочие школьников, а с тех известно какой спрос! Много ли они понимают! Ладно бы просто были рассеяны да легкомысленны, а случается и того хуже: прошлым летом знакомая Мережникову девочка-семиклассница нашла и утаила золотой перстень, несколько монет, частый костяной гребешок и еще что-то. Когда Владимир Андреевич узнал об этом — все уже растащили у нее подружки, все пропало без следа, и перстень как в воду канул. То-то было досады! Иванину рассказал — тот пожал плечами: бывает, мол, за всеми не уследишь! А с девчонкой этой, соседкой Мережникова, не затевать же уголовное расследование!

Иванину надо нынче же позвонить, сказать о кольце: «Вы что, граждане ученые-археологи! Ненайденное означает потерянное. А ведь вы не картошку копаете!»

К удивлению встречной женщины, Мережников улыбнулся именно ей, а ему понравилось: «Не картошку копаете!» Именно так и следует упрекнуть археологов. Прекрасный повод пощекотать их самолюбие! А то заносчивы очень: они-де профессионалы, у них-де фундаментальные знания, а все прочие — просто любители, нахватались верхушек.

Есть там одна археологиня, Владимир Андреевич видел ее в экспедиционной лаборатории да и на раскопках тоже — разговаривать с нею невозможно! То ли со старшего курса она, то ли первого года аспирантуры — бойка, смела, напориста: все знает, все ей ясно, видит насквозь не только землю, но и тысячелетия истории вплоть до дня сотворения мира. Когда Мережни-

кова знакомили с нею и представили как местного историка, она с невыносимо невинной миной спросила:

— Вы небось придерживаетесь своей собственной точки зрения о месте возникновения Новгорода? Признайтесь, у вас своя гипотеза на этот счет?

Владимир Андреевич, несколько огорошенный, промедлил с ответом. Девушка была хороша собой, да уж больно умна. Каково ироническое кривление губ! Да каков тон! И в глазах что-то не то чтобы враждебное, но — чужое, отстраняющее.

— Все предлагают гипотезы, — притворно вздохнув, объяснила она, — не больше и не меньше. Как раз нынче приходил один знаток... Очень интересно толковал насчет Гостомысла, которого он считает основателем Новгорода. Неужели вы ничего нам не предложите?

Иванин только хмыкнул, он не был расположен к легкомысленному разговору: не за тем они зашли в лабораторию. Иванину не терпелось показать гостю берестяную грамоту, найденную накануне. Еще сырая, она лежала под стеклом, придавленная чугунной гирькой. То было послание, адресованное Олисею Гречину, жителю Черницыной улицы, от некоего попа: поп заказывал Олисею икону.

Иванин был убежден, что хозяин усадьбы на Черницыной улице — живописец. Теперь необходимо сделать сравнительный анализ найденных на Троицком раскопе красок и остатков фресковой живописи из иных мест — может оказаться, что Олисей Гречин был одним из авторов росписи не только Пречистенской церкви, разрушенной в 1745 году, но и всемирно известной церкви Спаса-на-Нередице. Перспектива заманчивая, что и говорить! Во-первых, будет открыто имя древнейшего русского художника, одного из создателей художественной славы Новгорода; а во-вторых, устанавливается авторство дошедших до сегодняшнего времени живописных произведений двенадцатого века.

Мережников, склонившись, с трудом разбирал угловатые буковки. Письмо-заказ можно было перевести на современный русский примерно так: «Напиши мне двух шестикрылых ангелов на две иконки, на верх деисуса. И целую тебя. А бог вознаградит».

Удивительная грамота! Крайне любопытный текст. Иванин старательно скрывал свое волнение — мирно и тихо улыбался. И только.

Берестяное послание надолго потом завладело думами Владимира Андреевича, однако осталась от того визита на базу археологов в бывшем Знаменском монастыре вместе с чувством радостной взбудораженности некая досадная заноза внутри. Уж больно пренебрежительно говорила с ним девушка в лаборатории! Как ее зовут-то? Иванин величал вроде бы Татьяной Григорьевной. Таня, значит.

Увлекшись разговором с руководителем новгородской экспедиции, он тогда ей ничего не ответил. А жаль. Столь дерзкое выступление, к тому же ничем не вызванное, прощать не следует. Ну ладно, еще будет случай потолковать. Таня работает как раз на Троицком, а туда следует заглядывать почаще.

«Стеклянный-то перстенек прозевала, — упрекнул ее теперь Мережников и легонько повернул его на мизинце. — Подобает ли таковому быть, а? Небось не картошку копаете!»

Он, жалеючи, поглядывал на встречных: они не знали, что у него есть! Ни один взгляд не задержался на его руке и не вспыхнул ни интересом, ни завистью. Никто не подозревал, какой он шел богатый и как наполнен был радостью. А исток этой радости далеко, далеко...

Старый мастер склонялся над глиняным тиглем, дышащим алым и синим, вытягивал тугое естество... Чуть закрутил, обрубил, сомкнул концы. Старый мастер был внимателен и сосредоточен, капли пота созревали у него под головным платком; что-то шепча, он отодвинул остывающую поделку: так родилось колечко, чтобы дожить до этого солнечного дня — вот оно, на пальце. Ему шесть веков. Оно валялось возле груды земли на тротуаре, и он, Мережников, мог раздавить его ногой, не взблесни солнце на сколотом краешке.

2

Придя к себе, Владимир Андреевич внимательно через лупу стал осматривать находку: колечко цельное, без трещин, только изрядно потертое снаружи; сквозь сетку мельчайших царапин пробивается изнутри живой розовый цвет и... на внутренней стороне едва-едва заметно и косо-криво нацарапаны некие буквы.

«Заговорное, что ли?» — всполошенно удивился Мережников. Щурясь, не без усилия прочитал: «Полюби мя».

— Полюби меня, — явственно прозвучало в ушах, и легкий шелест возник и растаял в его кабинете, как бы уличный ветерок прокатился, хотя окно было закрыто, или невидимая большая птица взмахнула крылами.

— ...люби мя... — и надеялся, и умолял, и ожидал — голос, предназначенный неведомо кому.

Мережникову вдруг неловко стало, словно подсмотрел что-то тайное, чему не должно быть свидетелей; словно распечатал ненароком чужое любовное письмо или действительно услышал такое, что говорится лишь наедине.

Колечко обрело одушевленность; чье-то дыхание было за ним, чей-то взгляд, чья-то смутная живая тень.

Откуда оно закатилось в Новгород и когда? Здешние ремесленники таковых не делали... «Полюби мя»... Ишь ты!.. Да кто же это, и кому — как вздох, как заклинание, как мольба одинокого человека: полюби? С чьего это пальца сронилось и схоронилось на несколько веков? С бревенчатой мостовой, на которую глядели бычьими пузырями окна домов, угодило в кузов самосвала, потом на асфальт, и вот лежит на столе рядом с фигурной пластмассовой авторучкой в виде взмывающего космического корабля. Чудно!

— Полюби, — дохнуло снова и нежно, и печально, и снова пролетела, удаляясь, неведомая большая птица.

Голос был явно женский. Только женщина могла войти и удалиться столь неслышно. Она не страдала, нет! Она просто надеялась и ждала.

Вот чье это колечко. Уж верно плакала неутешно, когда потеряла. А может, сама кинула в сердцах? Не любишь, и не надо!.. И ты постыл, и кольцо постыло...

Что ж, может быть, и кинула, хотя не бросовая это вещь для тех дней. Это нынче из стекла пивные бутылки делают, а тогда стеклянный перстенек дорогого стоил.

Владимир Андреевич полюбовался своей находкой. Как теперь с нею расстаться! Иванину звонить — надо и ее отдать. Пронумеруют, положат в ящик вместе с другими, и снова долго лежать ему неодушевленно. «Потом отдам. Потом...» — уговаривал себя Мережников,

то кладя кольцо на холодное настольное стекло и откидываясь в кресле, то согревая его на ладони и склоняясь над ним низко.

Буковки нацарапаны были неровно, и между словами краткой надписи нет должного просвета. Непривычен был к письму человек, умолявший полюбить его. Тесно словам, неудобно вкось поставленным буквам, и, наверно, тесно было сердцу того, кто писал, как нынче теснило дыхание живущего человека.

3

День пошел своим чередом.

Ему звонили из газеты, просили ознакомиться с рукописью статьи, в которой утверждалось, что некогда здесь, в Новгороде, насчитывалось ни много ни мало, а четыреста тысяч жителей.

Его приглашали непременно присутствовать при беседе с известным немецким археологом в обкоме партии.

Главный режиссер областного драмтеатра звал посмотреть декорации к «Вадиму Новгородскому» Княжнина.

Кто-то из студентов педагогического института, пишущих курсовую, спрашивал по телефону, что означают слова «горончар», «блазень», «веверица» и как понимать выражение «продал есми в дернь без выкупа и гаровные воды промеж волощан во всех рыбных ловлех поллука и пожни морские».

Юные историки-следопыты из школы интересовались, когда в Новгороде бывали солнечные затмения, о которых упоминается в летописях, и как именно упоминается.

Книжный магазин советовался с ним: выходит в издательстве новая монография о декоративном оформлении древнерусских книг — велик ли будет спрос на нее, сколько экземпляров заказывать?

Почти каждый день его звали выступить то в общежитии строителей, то на конференции медиков, то на совещании группы лекторов и докладчиков, то перед гостями из холодной Якутии или солнечного Узбекистана. Все это также были его обязанности, возложенные на него неизвестно кем и когда, обязанности довольно обременительные, отнимавшие много времени, с чем

в его родном учреждении давно примирились и считали их даже естественными и законными. Впрочем, с этим никак не мог согласиться сам директор; Алексей Викторович Балин не раз говорил, что каждый человек должен честно выполнять ту работу, за которую он получает от государства зарплату. При этом директор довольно выразительно поглядывал на своего заместителя, ибо Мережников был весьма и весьма волен в своих занятиях, позволял себе чересчур многое. Директор мирился с независимостью своего зама лишь потому, что в свое время получил на этот счет твердые указания от начальства, но ясно было, что отступил он временно, выжидал, скрепя сердце, надеялся на перемены: не всегда же к Мережникову будут благоволить вышестоящие люди, когда-нибудь да споткнется! «Долго ждать будешь, Леша», — мысленно поддразнивал понимавший это Мережников и улыбался снисходительно, совсем не сердясь.

Из Алексея Викторовича Балина мог бы выйти неплохой председатель колхоза или заведующий бытовой мастерской средней руки: швейной или сапожной. А как он оказался на нынешнем своем посту — этого Мережников не знал, ибо случилось сие задолго до его прихода. Способности Балина на этом поприще использовались лишь наполовину. Это был хозяйственный и обстоятельный человек. Вернее так: обстоятельный и хозяйственный, потому что рачительная, со сметкой, с хитрецой обстоятельность во всем первенствовала в нем.

Балин — крепкий мужчина среднего роста, с широкими прямыми плечами, тяжеловатый в походке, с мужественным лицом и твердым густым голосом. Он постоянен в одежде, пристрастиях, манере держать себя, в отпускаемых шуточках, словно взятых однажды напрокат (ему хочется быть демократичным!). Просто невозможно вообразить себе Балина меняющимся! Казалось, директор и во младенчестве был этаким квадратненьким мужичком, солидно насупленным, с баском.

Неторопливость, уверенность в решениях, особая вескость, которую он умел придавать своим словам и поступкам, пусть даже незначительным, — все это в определенной степени нравилось окружающим и, наверное, неизменно наводило начальство на утешительную мысль, что Балин — человек надежный, занимает «свое место», что кадровый вопрос в данном случае разрешен удачно. Нель-

зя не признать в то же время, что директор своей повадкой, манерой общения создавал себе определенный вес и у своих сотрудников.

Мережников, например, с удовольствием наблюдал, как сегодня во время утренней планерки директор, солидно кашлянув, встал, окинул сидевших перед ним сугубо серьезным взглядом, выдержал паузу и произнес:

— Товарищи!

Кто смеялся, кто говорил, кто просто подремывал — вдруг словно упругим ветерком опахнуло всех: сотрудники отмобилизованы, готовы слушать речь своего руководителя, как откровение. Впрочем, произнесение речей не было сильной стороной Балина. Мережникову с трудом удавалось сохранять достаточно серьезную мину, когда тот глубокомысленно говорил:

— В последнее время стало заметно некоторое расхолаживание в деятельности организма нашего учреждения. Налицо симптомы явного равнодушия — этой страшной болезни любого коллектива, как производственного, так и культурно-просветительного, каковым являемся мы с вами. Подобное положение недопустимо, и мы не должны с ним мириться...

Балин опирался прямыми руками о столешницу, суставы согнутых пальцев побелели, лицо было исполнено значительности. Именно так, по мнению Мережникова, неторопливо и веско, по-мужицки солидно председатель колхоза должен делать отчет по итогам года.

Речь свою Балин строил этак блоками, готовыми платформами: «культурный уровень советских людей обязывает нас», «руководствуясь последними постановлениями по активизации и усилению», «партия и правительство ждут от нас новых достижений по повышению», «могучий созидательный порыв нашего народа», «претворение в жизнь социально-экономической программы диктует»...

Ничего особенного в учреждении, конечно, не случилось, ничего из ряда вон выходящего не произошло, просто директор считает нужным таким образом (а никаких иных способов он не знает) «подтянуть гайки». Все, что он скажет далее, известно и Мережникову, и остальным сотрудникам по прошлым его ораторским упражнениям. Крупноблочное строительство своей речи на обыкновенной планерке Балин может вести и час, и полтора, и более. Все это пустое балабольство, его, разумеется, в

заслугу директору не поставишь, но зато как он встал! Как он произнес первое слово: «Товарищи!» Как он сразу возвысился над столом, над сидевшими в кабинете! Даже стол, и тот вроде бы приподнялся. Как хотите, а это уже само по себе чего-то стоило, такое не всякому удается.

Культурно-просветительный коллектив, встрепенувшийся было от веско произнесенного обращения, постепенно распускался: инструктор что-то прошептал инспектору, заведующая библиотекой подавила то ли смешок, то ли зевок, две бухгалтерши мирно беседовали. Владимир Андреевич, вдруг словно вспомнив о чем-то, тихонько встал и вышел.

4

Как обычно, часам к одиннадцати секретарша директора принесла Владимиру Андреевичу почту. Не было дня, чтобы Мережников не получил письма; иногда он выуживал из послания какого-нибудь самодеятельного архивариуса такие факты и такие известия, каких не почерпнешь нигде, поэтому к частной переписке Мережников относился очень серьезно и с должным старанием, независимо от того, был ли его корреспондентом знаменитый ученый или безвестный старичок-краевед, подчас плохо знакомый с грамматикой.

Секретарша Зоя нынче вместе с письмами и прочими бумагами принесла тяжелый пакет — этакий кирпич, завернутый в грубую почтовую бумагу.

— Явилась очень красивая молодая женщина, сказала, что это подарок для вас, Владимир Андреевич, — бойко отрапортовала Зоя. — Она не назвала себя, как я догадываюсь, в целях конспирации.

— Какая же конспирация, коли она имеет дело с вами! — отшутился Мережников. — От вас ничего не скроешь.

— Это уж точно, — удовлетворенно подтвердила та. — Мне кажется, я ее встречала. У нее муж в облпотребсоюзе работает. Кстати, очень видный из себя мужчина, килограммов этак на девяносто. Имейте это в виду и не попадайтесь ему на узенькой тропинке. Он не будет смотреть на ваши шашни сквозь пальцы.

— Очень легкомысленно с вашей стороны подозревать меня, — заметил Мережников.

А ту смех разобрал:

— Меня не проведете!

— Я не играю в эти игрушки, Зоя Павловна!

— Зато она играет. Этого достаточно, чтобы опасаться мужа.

Повернулась Зоя и ушла, хлопая сверх всякой меры расклешенными брюками. С Балиным она себе такое никогда не позволит — тот фамильярности не допустит, нет.

В пакете оказались две книги: одна — «Описание старопечатных книг славянских, служащее дополнением к описанию библиотек графа Ф. А. Толстого и купца И. Н. Царского», издание 1841 года, — ей Мережников очень обрадовался; вторая — новейший выпуск «Трех мушкетеров» — ну, эту можно кому-нибудь и отдать. В «Мушкетерах» записка от Виталия, он поздравлял «с прошедшим Новым годом» — это его обычные шуточки; можно не сомневаться, что толстенный том Дюма отправлен в Москву Славе Фирсановскому.

Избави боже показывать Виталию найденное нынче кольцо, он потребует его себе в качестве ответного дара, и отказать ему было бы просто невозможно.

«Как хочешь, а долг чести повелевает», — сказал бы Виталий.

Мережников улыбнулся и поднял телефонную трубку, набрал номер — ему ответил знакомый женский голос. После взаимных приветствий Владимир Андреевич спросил:

— Давно вы видели моего лучшего друга?

— Позавчера! — весело ответила женщина и чему-то засмеялась.

— Как он поживает? Почему мне не звонит?

— Мы ездили в Суздаль!

— Было что-нибудь серьезное?

— Охотились!

— Надеюсь, вы никого не убили?

— Охотовед клятвенно уверял, что там обитает то ли глухарь, то ли тетерев, я не очень разбираюсь. Виталий говорит, осенью мы его непременно настигнем.

— Охотоведа?

— Глухаря, глухаря!

— Что говорил мой друг по поводу обещанного приезда в Новгород?

— Он чего только не обещал! — женщина, не сдерживаясь, снова засмеялась.

Она уже съездила с Виталием и в Боровичи «на кабана», и в Осташков «на медведя», и в Старую Руссу «на уток». Как только Виталий отъезжал от своей семьи за пределы родного ему Ленинграда, возле него тотчас появлялась жена новгородского торгового работника. Как ей удается объяснить свои отлучки из дому собственному мужу, остается загадкой и для Виталия. Он охотно о ней рассказывал, и, судя по рассказам, спутница его по командировкам и поездкам на охоту — в высшей степени эмансипированная женщина...

— Когда он спихнет своего старичка?

— Старичку оформляют персональную. А Виталия вызывали в управление для предварительной беседы. Уже можно считать, что он заведующий лабораторией. Растет ваш друг!

— Если не будет увлекаться охотой...

— Охота способствует карьере, Владимир Андреевич. Советую и вам заняться...

Она очень приятно смеется, у нее прямо-таки музыкальных смех.

Зовут ее Злата Максимовна. Работает она в некоей проектной организации, а кем, Мережников не интересовался. Да и саму Злату Максимовну он в глаза не видел, вот только по телефону разговаривали несколько раз: Виталий просил ее что-нибудь передать или сообщить другу. Владимир Андреевич представлял эту женщину непременно полной, с улыбчивыми глазами, с пышными волосами...

Странное чувство уязвленности, даже обиды было при этом у Мережникова: словно друга пригласила на вальс красавица, а вот сам он стоит у стенки, никому не нужный, никому не интересный, всеми забытый.

«Охота способствует карьере»... Что она хотела этим сказать?

5

Надпись со стеклянного колечка Владимир Андреевич скопировал на обрывок бумаги, сунул под стекло на столе. Там у него лежало множество всяких бумажек со случайными записями. Владимир Андреевич любил выудить откуда-нибудь из архивного моря свидетельство вроде: «В полунощную сторону пожня Погорелка, а межахъ она з глубника с сенокосами... с полу-

нощника межа тои пожни Погорелки лыва и в ней лесъ», — выписывал на клочок бумаги, сохраняя начертания старых букв, и совал под стекло без всякой определенной цели. Подобная записка странным образом волновала и радовала сердце. В самом деле, где она ныне, эта пожня Погорелка, что с полунощной стороны? Какой трактор ее пашет? Или легло по ней асфальтовое шоссе? Или заросла она лесом, да и не в первый раз? И небось так же дует над той пожней глубник — теплый ветер.

«Бонякъ же раздилися на полкы и сбиша угры в мяч яко соколъ галице сбиваеть и побегоша угре...» Это старый знакомый Мережникова половецкий хан Боняк, волчий полководец. Как образно и точно написал о нем летописец! Поистине талантливый военачальник этот хан Боняк! Окружил, сбил в кучу полки угров, и те в панике бежали.

Одна из последних бумажек, подсунутых под стекло недавно, мозолила и бередила глаза и служила ему, Мережникову, укором: «Арабский писатель Аль-Хаддаси пишет, что русы появились на Каспийском море в 780 году на ста судах по сотне воинов в каждом. Князем у них — Доброслав». Весть эта дошла до Мережникова через три перевода — с арабского на греческий, с греческого на немецкий и с немецкого на русский. Кто этот князь? Какого рода? Откуда вдруг приплыла на Каспий русская рать числом в десять тысяч человек? Ничего этого он не знал. Печально, печально... Возможно, Аль-Хаддаси преувеличивает, возможно; однако факт появления русов на Каспийском море замечателен. Где, в какие розыски пуститься, чтоб выудить из океана забвения деяния князя Доброслава и его дружины?

Он рылся в приходо-расходных книгах и описаниях церквей, в кабальных записях городов и текстах посольских наказов, в приказных грамотах и во врачебниках, в прениях вероотступников и праведных богоборцев, в протоколах допросов и в текстах берестяных грамот, в житиях епископов и юродивых и отчетах царских воевод...

Он погружался в некую пучину времени, и нынешний мир отступал от него; в ушах звучали голоса плачущих и ликующих, поверженных и вознесенных, довольных и страждущих. Летописцы, паломники, князья, полонянники, монахи, волхвы, бояре, мирные жители новгородских кон-

цов, воины, купцы, ярыги — все толпились вокруг него, и каждый имел свой голос.

— От каменного удару ребро переломлено, и в том месте нарос пузырь великой и от того вздохнуть не дает...

— Испортили жену его и до ныне кричит и бьет ее об землю...

— Придете благочестия любители и целомудрия рачители, чистоте же убо и премудрости взыскатели...

— Ответчик Гришка выслушал челобитную, в ответе сказал: не бивал я того Софронка и не бранивал, дело-де он, Софронко, заминает, клеплет, а мне де на него, Софронка, самому, государь, бити челом в бране...

Припаду я ко могилушке,
Я послушаю, бессчастная,
Нонь не стонет ли сыра земля...

— Полюби мя...

6

— А тот Григорей выкрал бочюрку винную дубовую, полтора ведра, да две бочюрки галинные дубовые, — проговорил он, входя. — Здравствуйте!

Эту комнату, заставленную тесно столами, стеллажами, шкафами, сами хозяйки ее называли бабьим царством, хотя заходили сюда, а подчас и работали, не одни только женщины. Мережников пользовался здесь справочными данными, которые подбирал для него сам заведующий Григорий Павлович, имевший составную фамилию — Часовников-Сушко. За рядом стеллажей — низенькая, как раз по макушку, дверь в «закуточек», где сидел этот тихий и кропотливо работящий человек, сухонький, седенький, но с удивительно черными живыми глазами.

— А тот Григорей... — заговорщицки улыбаясь, повторил Владимир Андреевич и направился прямо к двери.

С хозяином закуточка они были приятели. Тот жил одиноко: жена померла, дочки разъехались — и отношениями с Мережниковым очень дорожил.

— А Григорь Павлыча нету, — предупредила поспешно Вера Станиславовна.

— Куда же вы его дели?

— В отпуск ушел.

— Разве ему полагается отпуск? — удивился Мережников. — За что? А главное, зачем! Он занеможет от безделья, занедужит и захворает.

Перед его приходом женщины были заняты скучным разговором и скучным делом, а теперь отложили в сторону свои занятия, заулыбались, приготовились к своеобразному развлечению, каковым был для них приход всякого постороннего человека, а Владимира Андреевича — в особенности.

— Что вам, наш повелитель Григорий Павлович! Побудьте с нами. Али мы хуже?

Женщины знали: если Мережников рассеян и озабочен, то лучше с ним и не заговаривать, толку не будет — он просто не услышит или ответит невпопад. Но иногда, вот как сегодня, он бывал совсем иным: и смешлив, и разговорчив, и даже глуповат — такой он им и нравился.

— Почему вчера не зашли, и позавчера, и третьеводни? — допрашивали его.

— Не гневайтесь, ваши величества.

— Мы так ждали!

— Не велите казнить, велите слово молвить.

— Молвите.

— Занят был.

— Чем же это?

— Расследовал преступление некоего Григорея, который украл две бочюрки еще в пятнадцатом веке. Думаю, не он ли? — кивок в сторону закуточка.

Тоне Митрофановой много не надо: она уже киснет от смеха. А вот Веру Станиславовну рассмешить трудно.

— Подозреваете?..— спросила она деловито.— Грех...

— А как иначе? Справедливость должна восторжествовать? Должна. Даже через полтысячи лет. Ишь, почуял опасность и ушел в отпуск. Ничего, я его достигну, разоблачу. Он предстанет перед нами в своем истинном обличье, злодей...

— Вечно вы расследуете какие-то страсти-мордасти тысячелетней давности,— проворчала Валентина.

Она всегда сумрачна и одеваться любит в темные тона, во что-нибудь вязаное, что не всегда сидит на ней хорошо. В самые веселые минуты, когда все хохочут, Валентина только усмехнется да, дивясь, покачает головой. Она и шутит с тем же сумрачным видом.

По образованию Валентина агроном, но ни в каком колхозе или совхозе не работала и недели, разве что, пока училась, так посылали на практику! А теперь вот мирно подшивает и нумерует документы, складывает в папочки, поглядывает в окно на ветки ближнего клена, за которым видны подстриженные кусты. Фамилия у нее очень славная — Ранимова.

— В прошлый раз рассказывали про то, как во Смоленске явился волк гол, шерсти не было на нем, а людей ел. Это подумать только! Дрожь берет.

— Что делать! Вся история состоит из несчастий,— серьезно заметил Владимир Андреевич.— Войны, землетрясения, моровые поветрия, голод, наводнения, распятия на кресте, сожжения на костре... В общем-то не очень веселая эта наука, Валентина! А я ею как раз занимаюсь.

— А я вот когда свою собственную историю вспоминаю — детство, девичество,— мне и светло, и радостно. Никакого горя словно и не бывало! Почему же история всего народа невесела?

— Это уж слишком серьезный разговор,— вмешалась Тоня Митрофанова.— Его нам только и не хватало! Вы сейчас затеете, как в прошлый раз. Давайте поболтаем просто так. И про страшное можно, я страшное люблю. Чем ужасней, тем лучше.

— Волком же страшно всю ночь выющим...— скороговоркой произнес Мережников,— и враны грающе и кричаще, и орлы клекочуще страшно зело всю ночь...

— Вот-вот... вам от этого весело, а я всю ночь не спала — голый волк снился,— ворчала Валентина.

— Да полно, волк ли то был! — усомнилась Вера Станиславовна, и в бабьем царстве сразу стало веселее.

Пожалуй, самой приметной женщиной здесь была Вера Станиславовна — этакая матрона, неторопливая, любящая сказать: «Да у меня уж внуки скоро!»,— хотя лет ей не так много, небось не более тридцати пяти. К ней то и дело приходят сюда то дочка — девушка лет шестнадцати, то один из сыновей-школьников.

На Веру Станиславовну приятно смотреть — спокойное доброе лицо, которое, казалось, совсем не способно выражать гнев или злобу — только улыбку; удивительно белые, пухлые руки, явно предназначенные стряпать,

пеленать младенцев, вязать курточки и носочки; доброжелательный взгляд — Вера Станиславовна и на взрослых глядела снисходительно, как на детей. Вся она — олицетворение благополучного материнства, мирного домашнего счастья. И еще одну способность знал за ней Мережников: любое происшествие она готова была истолковать в благоприятном духе. Роль ее в этом женском коллективе, надо полагать, умиротворяющая.

Григорий Павлович — давний страдалец от их обсуждений, о которых сам он, кстати, был прекрасно осведомлен — в закуточке все слышно. Если уж насмешки над ним принимали особо острый характер, он выходил оттуда, довольно улыбаясь и потирая руки: «Злословие, дети мои, есть худший из пороков». Ему приятно было всякое внимание, обращенное на него, лишь бы вовсе не забыли!

— Вы хоть его навещаете? — спросил Мережников.

— Эх! Был бы он лет на пятьдесят помоложе! — бесцеремонно заявила Валентина.

Тоня так и фыркнула.

— Навещаем, навещаем,— поспешила Вера Станиславовна, увидев огорчение гостя.— Вчера Валя ходила: пол мыла, блинов напекла, приласкала.

— Вы его не забывайте. Как-никак он ведь голубых кровей. Его мама — потомственная тульская дворянка, бабушка воспитывалась в Смольном, а дед в русско-турецкую был генералом, орден получил.

— «Знак Почета»?

— Точно не знаю. Вроде бы Андрея Первозванного — это очень важный орден. Вы должны обращаться с Григорием Павловичем весьма и весьма почтительно. Сидит он тут у вас еще с пятнадцатого века — бессмертный человек, не ведающий покоя во трудах своих.

— Мы вообще старичков любим и уважаем,— сказала Валентина.— Помним, что каждый старичок был когда-то мужчиной.

Тоня упала головой на стол, худенькие плечи ее вздрагивали.

— Не всегда же Григорий Павлович был такой смирный,— поддержала игру Вера Станиславовна.— Он иногда нет-нет да и вспомнит: были, мол, когда-то и мы рысаками! На ладошки поплюет и шевелюру пригладит. Она у него куда как густа!

— Тихий-тихий, а вот завел же себе гарем,— Ме-

режников решил постоять за честь дворянского сына Часовникова-Сушко.— Должно быть, это и есть причина его долголетия и трудоусердия, а?

— Кто гарем? Мы? — пылко возмутилась Тоня, тотчас переставшая смеяться.— Да он у нас в услужении, как этот... гномик у лесных русалок. Как мы повелим, так он и...

— Ага... «гномик» и «в услужении», очень мило. Я ему передам. Считайте, что прогрессивки у вас нет.

Разговор продолжался в этом же роде, то и дело прерываемый смехом. Но что-то беспокоило Мережникова, чего он сам не осознал сразу. Потом понял: один из столов занимала незнакомая ему женщина с фигурным гребнем в густых волосах. Она смотрела на него, как ему показалось, изумленно: серьезный, мол, человек, а городит такие глупости! Хоть бы она ушла, что ли...

— Говорят, вашему директору хотят дать орден,— сказала Вера Станиславовна.— То ли «Знак Почета», то ли, бери выше, Трудового Красного Знамени.

— Андрея Первозванного,— подсказала Валентина.

— Мне об этом не докладывали,— Мережников состроил недоуменную гримасу.— Странно, почему не доложили! А откуда у вас такие сведения?

— От человека, заслуживающего доверия.

Наградной лист и прочие необходимые документы на Балина Мережников готовил сам, и сам отнес все это в обком партии, сказал, где надо, необходимые похвальные слова о своем директоре, но на какую конкретно награду может претендовать Балин — этого Мережников не знал.

— Несомненно, Алексей Викторович достоин ордена.

— А вы? — хихикнула Тоня.

— Мой юбилей еще далеко! Я до своего пятидесятилетия столько раз согрешу, что и похвальной грамоты не за что будет дать, не говоря уж об ордене.

— Не скромничайте,— сказала Вера Станиславовна.— Эта скромность уже от вашей гордости. Грех.

— Ой, у вас колечко! — заметила Тоня.— Какое славное! Что это — нефрит?

Мережников глянул на кольцо и прикрыл его ладонью.

— Дареное? — хитренько, как только она это умела, спросила Тоня.

— Дареное.

— От женщины?

— Возможно.

— Она вас очень любит?

— Я в эти игрушки не играю, Тоня Хитровановна! — шутливо рассердился Владимир Андреевич.— Я очень серьезный человек, почтенный отец семейства и даже депутат горсовета.

— А колечко-то откуда?

— Не скажу.

— По-моему, это нефрит. Только почему он розовый?

У Тони три передних зуба золотые. Пожалуй, именно они придают ее остренькому личику беличье выражение. Сама она вся худенькая, маленькая, с жидким пучком льняных волос — почти девочка. А вот мужа нашла себе крупного, широколицего здоровяка — он шофер городского автобуса, и Мережников часто видел Тоню стоящей на остановке возле центрального телеграфа: Тоня не хочет ехать на «чужом» автобусе, ждет «своего».

— Дайте посмотреть,— сказала женщина с гребнем в волосах, вставая из-за стола.— Меня тоже заинтересовало ваше кольцо.

7

Она была в той поре, когда во всем облике здоровой и еще цветущей женщины уже заметна некоторая усталость, даже блеклость: и навсегда осевшие морщинки у глаз, и тяжеловат подбородок, и — увы! — не так легка походка. Однако губы румяны, и румяны щеки, и глаза горят молодым, живым огнем — еще не осень, разве что преддверие золотой осени.

Она проработала здесь всего неделю и за этот срок примирилась с мыслью, что вот так и будет приходить сюда и вместе с этими женщинами, которые были ей вовсе не интересны, заниматься скучным делом день за днем, месяц за месяцем. Обычная конторская работа, без особых треволнений; ничего примечательного или занимательного случиться здесь не может — так, ничтожные разговоры, мелкая суета, и не более.

И вдруг вошел он...

Потом уже, перебирая мысленно, как это случилось,

она вспомнила все до мелочей. А было так: пришла очередная инструкция из министерства, Людмила Романовна не без усилия вчитывалась в отпечатанный на ротаторе текст и тут услышала тихий всхлип входной двери и незнакомый голос, весело и уверенно выговаривавший непонятные слова; голос заставил ее тотчас глянуть на входившего. «Здравствуйте!» — произнес он, обращаясь ко всем сразу, и Людмила Романовна почти машинально ответила ему.

Словно будоражащий ветерок ворвался вдруг в бабье царство и опахнул всех, прошелестел и замер в напряжении. Толстая Вера откинулась корпусом на спинку стула, одергивая платье на груди и на коленях, хмурая Валентина озабоченно поправила волосы, Тоня встрепенулась вся и тоже заохорашивалась — все это, запечатленное вторым зрением, Людмила Романовна вспомнила уже потом, а в ту минуту еще не сознавала, что к чему, и только одно поняла: случилось что-то радостное, праздничное, и это «что-то» связано с только что вошедшим человеком.

«Кто это? Кто это?» — изумленно и обрадованно забеспокоилась Людмила Романовна, спрашивая глазами у женщин.

«Мережников», — одними губами подсказала Тоня, но это ничего не объяснило ей.

Голос его как бы наполнил эту комнату — несколько странный голос, словно бы недооформившийся баритон, чуть-чуть хрипловатый, мягкий. «Не уходи», — мысленно попросила она, когда Мережников направился было в кабинет заведующего. И он остановился, продолжая веселые препирательства с женщинами. Довольно высокий, с оживленным, почти юношеским лицом, веселый, но несколько скованный и неловкий в жестах и в шутках, он напомнил вдруг ей кого-то очень знакомого, очень близкого; впрочем, это было конечно же первое и ошибочное впечатление — ни на кого он не похож! Никогда ей не встречался человек, похожий на него даже отдаленно.

Ей приятно было услышать его имя — Владимир Андреевич — и приятно видеть смущение, которое он постарался скрыть, когда встретил ее взгляд.

Он явно был здесь своим человеком, а вернее, желанным гостем: расхаживал по комнате и шутил, шутил...

Всем своим обликом, манерой разговаривать, улыбаться, откидывать рукой непослушные волосы он сразу располагал к себе, хотя при всем этом держался все-таки отстраненно, немного холодно. Эта своеобразная сдержанность, которую сам он не мог превозмочь, особенно понравилась ей.

«Очень милый,— подумала Людмила Романовна.— Очень милый и скромный, и... необыкновенный!»

Одет он был добротно, опрятно, хотя и несколько небрежно: из пиджачного кармана слишком высовывалась авторучка и узел галстука чуть съехал, так что над ним выглядывала пуговица рубашки. Людмила Романовна вдруг почувствовала прилив нежности к нему, захотелось подойти, поправить галстук, смахнуть невидимые пылинки, близко заглянуть в глаза.

Она выросла в интеллигентной семье, совсем недавно была замужем, и друзья ее отца, а потом и мужа были людьми определенного круга — врачи, преподаватели, офицеры — и потому она умела оценить, насколько хорошо с точки зрения моды или вкуса одет гость и насколько он образован, воспитан, деликатен. Она тотчас решила, что Мережников женат не очень-то удачно, что он «попал в плохие руки». Кто у него жена? Небось старательна, а бестолкова: рубашку мужу и постирает, и погладит, а посоветовать, какой надеть галстук, не может. Чаще всего таким вот мужьям попадаются жены недалекие, простенькие, каковых она называла «серенькими курочками».

Обитательницы бабьего царства вперебой говорили с ним, и это им он улыбался, с ними вместе смеялся, а ей это было не то чтобы тягостно, а — досадно.

«Хочу, чтобы был мой,— сказал кто-то в ней самой и требовательно, и просяще.— Пусть со мной говорит, со мной».

Ревнивое чувство толкнуло ее встать и сказать: «Дайте посмотреть... Меня тоже заинтересовало ваше колечко». Надо было непременно преодолеть некое пространство, отдалявшее ее от круга беседующих, круга, в котором были они, давние знакомые, а она, Людмила Романовна, все еще чувствовала себя отчужденной; надо было разорвать их хоровод вокруг гостя и вступить в него самой.

А он тоже бессознательно выделил ее среди женщин, находившихся в комнате. Невольно отметил кра-

сивые руки, обнаженные до плеч, и живые глаза, и ее слегка располневшее тело, отнюдь не утратившее своей привлекательной силы. Они едва заметно улыбнулись друг другу, и оба почувствовали, как что-то всколыхнулось у каждого из них в душе.

Хоть и мимолетно было это взаимное движение душ, однако все обитательницы бабьего царства уловили его и сразу решили, что между Людмилой Романовной и Мережниковым... «Что-то есть, что-то есть!..»

Когда он ушел, они стали подшучивать над нею. А она даже покраснела — то ли от смущения, то ли от приятного сознания, что они правы. И отнекивалась, польщенная:

— Да с чего вы взяли, господи!

— Нас не проведешь, дорогая, не проведешь!

— Да я ему в матери гожусь! Он по сравнению со мной еще мальчик.

— Ай да мальчик!

Когда же Людмила Романовна отлучилась на минуту, разговор об этом возобновился. Тоня с Валентиной замурлыкали вперебой.

— Романовна-то наша, а?

— Уже сориентировалась. Ох, быстра!

— Ох, шустра! Приворожила кандидата...

— ...каких-то там наук.

— Исторических, каких же еще! — подсказала Вера Станиславовна.

— Да он филолог,— заспорила было Валентина.

— Какая разница! — возразила Тоня.— Важно, что кандидат, ученый. И к тому же интересный такой.

— Что, завидно вам! Такого мужика перехватила. Теперь уведет у вас из-под носа. А еще молодые! Мне бы ваши годы!

— Мужик он, конечно, неплох,— обычным своим грубоватым тоном заявила Валентина.— Даже иной раз страшно: вдруг позовет? Как тут нашей сестре быть?

— Этот не позовет,— уверенно сказала Вера Станиславовна.— Он при науке и в игрушки не играет. Пошутить пошутит, а на глупости — нет, не способен. При науке он, понимаете?

— И как она отважно,— сказала не без недоумения Тоня и, дивясь, покачала головой.— Подошла, за руку его взяла... Надо же так! Я б никогда не сумела.

— А полно! — возразила рассудительно Валенти-

на.— У каждой из нас своя хватка. Просто она посмелей, вот и все.

Вера Станиславовна изрекла с непонятной улыбкой, то ли насмешливой, то ли злой:

— Нахальство — второе счастье.

8

Встреча эта пробудила в ней самые светлые надежды. Жизнь разом обрела вдруг новый смысл; каждый день был теперь наполнен ожиданием: вот-вот появится снова Владимир Андреевич Мережников, и что-то такое произойдет, что-то вдруг случится... Сердце отзывалось сладкой молодой тревогой. Людмила Романовна очень хорошо понимала, что все это значит, а понимая, радовалась тому и хотела подтолкнуть, поторопить события. Но прошел день, второй, третий... желаемый гость в бабьем царстве не появлялся. Вот уж и неделя миновала...

«Да что это! — возмутилась Людмила Романовна.— Как провалился!»

Она ждала с каждым днем все нетерпеливей. Почему его не видно? Неужели у заместителя директора смежной организации нет никаких дел или забот, которые привели бы его сюда? Или наоборот — слишком много дел, так что он не может улучить и полчаса? Говорят, раньше заходил чаще, а теперь глаз не кажет. Что все это значит?

Она досадовала, что не успела сказать ему того-то и того-то, что выразилась недостаточно умно, что засмеялась не к месту. Мешала Тоня, то и дело бесцеремонно встревавшая в разговор, да и другие тоже не отставали. Как жаль, что и сама она вела беседу не лучшим образом, не смогла направить ее в нужное, выгодное ей русло.

«Неужели он не придет еще долго? — спрашивала себя Людмила Романовна с нарастающей досадой и даже тревогой.— Не подстерегать же мне его у подъезда! Мне, слава богу, не шестнадцать».

Однажды она увидела Мережникова издали на территории кремля: Владимир Андреевич шел стремительной походкой, и его окликнули две женщины; он остановился, потом пошел с ними столь же деловито, озабо-

ченно. В другой раз Людмила Романовна шла мимо Дома Советов, а четверо деловитых мужчин, горячо обсуждая что-то, спускались по ступенькам парадного подъезда; она узнала среди них Владимира Андреевича в тот момент, когда все четверо садились в черную «Волгу», которая тотчас отъехала.

Ни в том, ни в другом случае он не заметил ее.

Мережников работал рядом, в соседнем здании, и, идя ли на работу, возвращаясь ли с нее, она выбирала путь таким образом, чтоб можно было попасть ему навстречу. Она чутко ловила теперь каждый слух о нем, каждую мелочь, к нему относящуюся, будь это просто рассказ о каком-нибудь незначительном событии, в котором он даже не упоминался, но которое все-таки имело какое-то отношение к нему лично или к его работе.

Иногда осторожно и с видимым равнодушием она расспрашивала о нем Веру Станиславовну, или Валентину, или Тоню. Людмиле Романовне казалось, что те не замечают ее интереса к Мережникову, а от чутких соседок не ускользало ничего.

— У меня подруга влюбилась в женатого мужчину,— с невинным видом заявила однажды хитрющая Тоня Митрофанова.— И вот теперь...

— Раскидывает на него паутинку,— с серьезным выражением лица закончила Вера Станиславовна.

— Ага... Интересно, как у них дальше будет,— мурлыкала «Хитровановна».

Валентина усмехалась молча.

— Это вы обо мне? — изумилась Людмила Романовна такому коварству.— Да как можно! Он, конечно, очень интересен для кого угодно, да ведь не в том же смысле! Я стара для него, милые граждане! Мережников совсем еще молодой человек. Он может увлечься моей дочерью — ей девятнадцать, но не мною. Господи, выдумаете тоже! Ах, Тоня! Вот уж справедливо величал вас Хитровановной Владимир Андреич. Я от вас не ожидала.

Отпиралась с жаром, с возмущением и сама чувствовала, что даже отпираться ей приятно. Ведь речь шла о нем!

Кое-как свела дело к шутке, но больше уж с ними о Мережникове не заговаривала. Надо было искать какие-то иные пути, чтоб узнать о нем хоть что-нибудь. Лучше всего через его сослуживцев.

С Алексеем Викторовичем Балиным она была немного знакома: когда переехала в Новгород, Злата, двоюродная сестра, посоветовала поступить на работу именно в его учреждение, откуда только что уволилась сотрудница. Разговор с Балиным тогда ничего не дал: место уже оказалось занято. Да Людмила Романовна и не огорчилась: не понравился ей директор — слишком официален, слишком высокомерен, словно бог весть какой пост занимает! Хуже нет работать под руководством человека, который тебе не по душе; во второй раз она к Балину не пошла, хотя тот обещал о чем-то «подумать». Если б тогда она встретила Мережникова!.. Теперь вот на его сослуживцев поглядывала с завистью: они каждый день видят Владимира Андреевича, разговаривают с ним, делают для него какую-то работу.

Хождение одной дорогой с ними привело к тому, что однажды ей повезло: по пути в столовую Дома Советов, куда все ходили обедать, Людмила Романовна познакомилась с молодой, модно одетой женщиной — ее звали Зоей, и работала она секретаршей у Балина. Людмила Романовна теперь, собираясь в столовую, звонила Зое, и они шли вместе, садились за один столик, вместе возвращались. Зоя знала все и была к тому же разговорчива; можно ни о чем не спрашивать, сама все расскажет: где заместитель директора Мережников, чем занят, что о нем говорят, что сам он сказал, кто ему звонил или заходил в его кабинет, откуда получает письма... Зоя чутко улавливала юмористическую сторону любого происшествия и рассказывала, должно быть, присочиняя на ходу, с удовольствием хохоча.

Балин появился в одном из своих отделов, сказал что-то резкое сотрудникам и тотчас вышел, хлопнув дверью. Владимир Андреевич, оказавшийся тому свидетелем, прокомментировал будто бы так:

— И гнев божий бысть: приидоша половцы и победиша русьскую землю...

Вчера Зоя принесла начальству «в целях подхалимажа», как она выразилась, по букетику луговых ромашек. Балин цветов не заметил, в конце дня секретарша нашла в вазочке окурок сигареты — директор был чем-то явно расстроен. А Мережников сделал ей вежливый выговор: «Время бездумного собирания цветов ушло в прошлое, Зоя Павловна! Нынче за это надо штраф на-

лагать!» Дальше он произнес какую-то мудреную фразу со словами «экологическая среда»,— ее Зоя не запомнила.

Анекдот, рассказанный Мережниковым в комнате инструкторов: змея просит черепаху перевезти через реку, а та отказывается: «Ведь ты меня ужалишь!» Змея обещает не жалить. Доверчивая черепаха перевозит змею, и та ее все-таки кусает. «Ведь ты обещала не жалить!» — упрекает умирающая черепаха. «А вот такая уж я подлая...»

Некая женщина несколько дней назад принесла Мережникову подарок, но, не дождавшись Владимира Андреевича, оставила сверток у Зои и ушла. Мережников, как показалось секретарше, смутился, когда она принесла ему сверток.

— Что-то тут не то,— смеясь, говорила Зоя.— Что-то тут не так. Уж я докопаюсь.

Последнее сообщение особенно заинтересовало Людмилу Романовну: что за женщина? Какой подарок? По описанию Зои это же... Сегодня, сейчас, немедленно — позвонить сестре и спросить.

9

— Мы с мужем разошлись два года назад,— размышляюще говорила Людмила Романовна.— Но, знаете... Наше расставание произошло гораздо раньше.

— Долго порознь жили? — у Тони на лице сострадательное бабье участие и чисто девичье любопытство.

— Почему же. Даже спали вместе! А все равно врозь.

— Разве так бывает?

— Всякое бывает в жизни, Тонечка!

— Пил, что ли? — бесцеремонно спросила Валентина.

Людмила Романовна снисходительно улыбнулась ей:

— Нет. Он ведь военный, у них с этим строго. Да и не в том дело. Просто не склонен. Выпить выпьет немного, но не напьется, нет.

— Значит, гулял.

— Что вы! Да он меня, как говорится, на руках носил. Я для него была... Идеал, да и только. Уж так нравилось ему, что вот женушка у него всегда сидит

дома, хранит, так сказать, семейный очаг, с дочкой нянчится. Когда он ни придет — в квартире уют и чистота, обед сготовлен. Он это очень любил. Ласковый был, добрый. Одевал меня, как куклу... Да что там говорить!..

— Такого мужика бросать грех,— строго сказала Валентина.— Как же это вы?

— А я себя чувствовала, как рыбка в аквариуме... Или белочка в клеточке. И — забастовала! Заявила ему: не хочу быть ни белочкой, ни рыбешкой! Жить хочу!.. Пошла работать — такой общественницей стала! Друзей завела — такие у нас домашние вечера были! То у меня, то у подруги. Приглашали интересных гостей — артистов, литераторов. Прямо-таки великосветский салон, ей-богу! И ездила куда хотела и когда хотела. Вот так.

— Из-за этого и разошлись? — осведомилась Вера Станиславовна, не скрывая иронии.— Из-за того, что вам захотелось пойти на работу?

Людмила Романовна, поколебавшись, призналась грустно:

— Как вам объяснить... Я поняла, что не люблю мужа. В этом все дело. Супружество без любви — обыкновенное сожительство. Так я считаю.

Тоня покачала головой, мысленно примеряя такой поступок на что-то свое.

— Как же вы это поняли, дорогая моя? — спросила Вера Станиславовна.

Тоня сразу уловила что-то смешное в этом вопросе и радостно насторожилась.

— Ну, по-моему, это сразу ясно каждому.

Людмила Романовна обезоруживающе улыбнулась.

Вера Станиславовна пожала плечами.

— А и в самом деле,— живо подхватила Тоня.— Как тут понять? Вот, например, люблю я своего мужа или нет? Да я его иной раз так и шарахнула бы чем-нибудь, особенно когда он выпивши. Прямо-таки ненавижу! Какая уж тут любовь! А пройдет время — и уж жалко: все-таки, думаешь, свой человек. И так по нескольку раз в день: то приласкать его хочется, то ненавижу, потом опять вроде бы люблю... Прямо какой-то биологический цикл!

— То, что у вас с мужем,— привычка, вот и все,— печально и убежденно сказала Людмила Романовна.—

Чего тут гадать! Не любите вы его и не знаете, что такое любовь. Так-то, Тонечка. Мне вас жаль.

Валентина смотрела на нее внимательно.

— А вы? — спросила задетая Тоня.— Вы знаете?

— А я любила! — лихо ответила Людмила Романовна.— Еще как! Без оглядки, без памяти. И ныне, хоть и прошло все, я счастлива: все-таки это было у меня! Не зря жизнь прожила...

Она развеселилась, раскраснелась, и, пожалуй, только Валя, неотступно и хмуро наблюдавшая за нею, заметила в этом некоторое притворство, игру.

10

Одна стена его домашнего кабинета была завешана листами плотной бумаги; на этой бумаге некогда он во всю стену любовно вычертил родословное древо русских князей; вычерчено было таким образом, что первый нелегендарный князь Игорь Старый поместился в кружочке под самым потолком, а слабоумный Федор Иоанович с убиенным царевичем Димитрием, сыновья Грозного, на которых пресеклась династия Рюриковичей, выезжали на плинтус.

Каждый князь, даже если это младенец, проживший на свете всего несколько дней, удостоен был на этом древе листочка той или иной формы, на котором уместилось его полное имя и даты рождения и смерти. В зависимости от совершенных при жизни деяний и честь ему воздана Мережниковым соответственная. Самые знаменитые, вроде Мстислава Великого или Ярослава Осмомысла, удостаивались большого кружка, к тому же выполненного красной тушью и потому похожего на яблоко: и имя его, и титул его, и битвы его, и имена жен с детьми — все это исполнено той праздничной красной тушью. Князья, вроде Мстислава Удалого или Святослава Сестринича, имели не кружок, а овал размером поменьше, хотя и красные буквы. Что касается Василия Косого или Владимира Старицкого, то они располагались в синих овалах без особых сообщений, только даты жизни.

Славные дела князей — красные надписи, черные дела — черные надписи; иные насовершали столько деяний за свою жизнь, что надписи налезали одна на дру-

гую. Красным: о Владимире Васильевиче Волынском, раздавшем все свое имущество бедным; о княжне Полоцкой Предславе, переписывавшей книги, которые она затем продавала, а вырученными таким образом деньгами оделяла нищих; о Святославе Ярославиче Киевском, который собирал книги повсюду и наполнял ими клети; о Романе Ростиславиче Смоленском, издержавшем все свои средства на содержание учителей греческих и латинских, принуждавшем к учению в устроенных им училищах. Черным: о князьях-перебежчиках, князьях-братоубийцах, князьях-изменниках, приводивших на Русскую землю татар или половцев.

На этой стене сходились рати, восседали на отчие столы и свергались с них, совершались подвиги и подлости, устраивались пышные свадьбы и многолюдные казни — на ней творилась История. По крайней мере так в свое время казалось молодому Мережникову.

И теперь время от времени на древе появлялся новый листочек — сначала он бывал начерчен с большой осторожностью карандашом и черенок его заключал в себе знак вопроса, а потом уж любовно обводились тушью и контур овального листочка, и буквы имени и записывались главные деяния княжеского отпрыска. В этот день хозяин кабинета испытывал явное удовлетворение.

Ныне родословное древо могло бы и не висеть на стене, оно все было в памяти Владимира Андреевича. Спроси его, кто такой Иван Коротопол, и он тотчас ответит, не глядя на свою столь любовно расписанную стену, какой земли этот князь, когда он жил и за что убил своего двоюродного брата Александра Пронского в таком-то году. А на ком женат был, скажем, тот же Василий Косой и чем отличалась от прочих его жена? А который из князей бежал к германскому императору Фридриху Барбароссе и почему? А куда и за кого выдал своих дочерей Святополк Изяславич Новгородский и что с ними было там, на чужбине?

Все это знал Мережников, как таблицу умножения. Иногда он мог назвать только имя князя, а более о нем ничего. Иногда листочек был удручающе пуст, не имел ни черенка, ни надписей и бередил, как бельмо в глазу,— человек запечатлен в Истории, а кто он, чей сын, какие вершил дела — неизвестно...

Листочки родословного древа Рюриковичей были

связаны между собой разнообразными линиями: штриховыми, пунктирными, цветными, толстыми и тонкими — они обозначали связи родов и семей. Переплетение их было так сложно, что при первом взгляде казалось: оно не имеет никакой системы; потому создавалось впечатление полного хаоса — листья запутались, как мотыльки в огромной паутине.

В эту же паутину попали и ученые летописцы, вроде Софония Рязанского, и храбрые витязи, вроде монаха Пересвета, и новгородские посадники с краткими сведениями о их делах или с текстами грамот, вроде той, что послали новгородцы Всеволоду Юрьевичу Большое Гнездо: «Княже, кланяем ти ся, а братья своеи не выдаваем».

По середине стены сверху донизу шли наиболее крупные листья — здесь располагалась та ветвь, которая дала московских князей. Кружки в красной туши следовали один за другим, и красные надписи преобладали. Рядом с ними — многочисленные князья тверские и рязанские, ярославские и суздальские...

С самого края, возле книжных полок, было много пустого места, и листочки все маленькие, большинство с одним только именем князя — ни деяний его, ни жен, ни дат рождения и смерти. То была ветвь князей полоцких, теряющаяся в безвестности; сюда чаще всего устремлял свой пристальный взгляд Владимир Андреевич, словно на бумаге под его взглядом могло вдруг чудодейственным образом проявиться желаемое. Это белое поле на стене и доныне возбуждало его любопытство. Он бывал особенно рад, если мог нарисовать именно здесь новый листочек или сделать запись, пусть даже и черным. В этот день он чувствовал себя именинником.

Родовое гнездо полоцких князей начинало расти под князем Всеславом, который пользовался на Руси известностью чародея и оборотня — «обернувшись волком, побежал он ночью от Белгорода, закутавшись в серую мглу». Князь этот, вызывавший у Мережникова особенный интерес, прожил жизнь, словно проплыл по бурной, порожистой, коварной реке; он сидел и на заветном киевском столе, сидел и узником «в порубе», знал благородство врагов и предательство друзей, жестоко карал и сам был унижен. Меж ратными походами не забыл он своего долга по продолжению рода и оставил

после себя шестерых сыновей, в свою очередь имевших многочисленное потомство. Оно разветвилось, размножилось, вросло в толщу народа и затерялось в ней.

О правнуках Всеслава Полоцкого и их детях, о связях полоцких князей с Литовским княжеством, с королевствами Польским и Венгерским, о славных городах Ерсика и Куконос Владимир Андреевич написал несколько статей еще в то время, когда был студентом, и его изыскания из времени начального дробления русских княжеств привлекли внимание маститых историков страны. Именно тогда он с великим старанием вычертил родословное древо Рюриковичей. Листы бумаги долго пылились за шкафом, но недавно Владимир Андреевич принялся перечитывать новгородскую летопись с самого начала и вновь вывесил их на стену. Здесь они очень заинтересовали его семилетнюю дочь.

11

Мережников любил свой домашний кабинет — это была небольшая комната, казавшаяся тесной прежде всего из-за обилия книг: они занимали самодельные полки по стенам, стояли и лежали на полу, на этажерке, на столике торшера, на полочке для цветов, в книжном шкафу и на книжном шкафу до потолка, на столе, на стульях... Если бы их посильно было класть на потолок, можно не сомневаться, они лежали бы и там. Книги на полках стояли разномастным строем, как ополченцы, поднятые по тревоге и выстроенные на сборном пункте отнюдь не для парада — ни по одежке, ни по росту, ни по своей внутренней сути они не подходили друг к другу, хотя и имели общее предназначение.

Письменный стол Мережникову сделали по спецзаказу и по его собственному проекту на местном мебельном комбинате — стол являл собой солидное сооружение с ящичками и ящиками, нишами и полочками. На раздвижной столешнице лежали опять-таки книги и листы рукописей, и мережниковских, и старинных, свежие журналы, всяческие потрепанные папки, подшивки, ценные фотографии и пустяковые безделушки...

Хозяин любил свой кабинет прежде всего за то, что стоило ему войти сюда, сесть в это кресло возле стола и — все под рукой: хочешь — читай, хочешь — пиши.

Можно встать и походить в раздумье взад-вперед, вальнуться потом на диван, а здесь, не вставая, протяни руку — и достанешь с полки то, к чему душа лежит: неумело переплетенную книгу со скорописью семнадцатого века или сувенирный томик стихов, изданный совсем недавно; и если опустить руку, то так же не глядя, наугад вытащишь из-под дивана то, чем увлечен был вчера на сон грядущий — опять-таки книгу или рукопись, размышляючи о которой и заснул поздно ночью; и так же механически, не отвлекаясь на поиски, можно достать блокнот с карандашом, чтоб записать что-либо. Посидев за столом, он брал настольную лампу с длинным шнуром и устраивался прямо на полу в углу кабинета, и читал, и листал, и делал выписки — рабочей плоскости стола явно не хватало, а работать, сидя на полу, Мережникову даже нравилось, чем он немало смешил свою жену Любовь Ивановну.

Все в его кабинете знало свое место и свою роль — и книга, и прочая вещь. Хотя, на первый взгляд, как и в чертеже родословия,— полный хаос, беспорядок. Что ж, может быть, неискушенному посетителю театра покажется, что и музыканты в оркестровой яме сидят вольно, кто где желает, тогда как это не более как его заблуждение. Подобно музыкантам единого оркестра расположились и книги, и вещи в кабинете Мережникова.

Едва вступив сюда, он, как всегда, ощутил привычное нетерпеливое чувство, какое бывает, наверно, у охотника, выходящего с ружьем в поле или в лес, у полководца, начинающего битву, у дирижера, поднимающего руку с палочкой перед началом симфонии... Он глубоко вздохнул, оглянулся, придвинул к себе огромный фолиант новгородской летописи...

Чувства воодушевления, азарта, своеобразной жадности полностью владели им. Ни возня дочери в соседней комнате, ни хлопоты жены на кухне — обе по случаю выходного дня были дома — не отвлекали его; Владимир Андреевич их попросту не слышал.

Время от времени хозяин кабинета в изнеможении отстранялся от работы, не сразу приходил в себя, в удивлении замечал и этот стол, за которым сидел, и живые голоса за дверью, и мирный шум живых кленов за окном — все было так несовместимо и дико рядом с тем, что только что окружало и наполняло его.

Он вживался в прошлое, погружая себя в пучину времени, и «тот» мир властно держал его, не отпуская. От телефонного звонка Мережников вздрагивал и некоторое время тупо смотрел на оживший аппарат, не в силах осознать причинную связь этого явления с чем-либо. Если жена заглядывала в кабинет и спрашивала что-нибудь (а это случалось довольно редко), Мережников не сразу мог уразуметь, что именно ему говорят, и некоторое время смотрел на нее отсутствующим взглядом. Любовь Ивановна усмехалась и, махнув рукой, исчезала.

Вот эту свою способность удаляться от сегодняшнего течения времени и отступать назад, что означало в глубь себя, знал за собой Мережников и даже немножко побаивался ее, то есть понимал ее с некоторым страхом: не принесла бы беды.

Он свободно перемещался в пространстве истории с Гостомысловых времен до первых царей московских, но ему трудно было преодолеть барьер пяти веков от берестяных посланий «от Гостяты от Васильви» до нынешнего дня. И если он был «там», вернуться «сюда» уже не мог во мгновение ока.

12

Дочь Джуля вошла к нему, словно подкрадываясь и с опаской: то ли можно, то ли нельзя; но встретив взгляд отца, приободрилась и, как обычно, стала разглядывать висевшее на стене княжеское родословие. Потом забралась на стул, ткнула пальчиком в первый попавшийся «листочек», попросила:

— Расскажи мне вот про этого князя.

— Это не князь.

— А кто?

— Княжна.

— А-а, потому что зелененькая.

— Наоборот: зелененькая, потому-то княжна.

— Княжна — это кто?

— Дочь князя.

— Как я у тебя?

— Совершенно верно. Только я не князь.

— Почему?

— Да так уж, не родился князем, да и все.

Тут было что-то загадочное, но Джуля решила выяснить это потом.

— Расскажи мне про княжну.

— Ты ее запомни,— оживился Мережников, радуясь, что палец Джули уперся в такой привлекательный зеленый листочек на древе.— Это очень замечательная особа. Видишь ли, вот у этого князя Ярослава Всеволодовича было много сыновей: старший Федор, потом Александр. Вот они. Александр в красном большом кружке — потому что это был большой человек, великий полководец Александр Невский.

— Я знаю,— нетерпеливо перебила Джуля.— Про него ты рассказывал в прошлый раз.

— Ну вот, а его брат Федор — в маленьком листочке. Это потому что старший не успел ничего совершить за свою жизнь — ему было шестнадцать лет, когда он умер. Неизвестно почему. Умер как раз накануне свадьбы, а невестой его была черниговская княжна.

— Наверно, он простудился,— предположила Джуля.

— Возможно. Федора Ярославича похоронили в нашем Юрьевом монастыре, как раз под полом Георгиевского собора.

— Мы там были! Почему ты мне не сказал тогда?

— Я тебе сказал, но ты не слушала, смотрела по сторонам.

— Он и сейчас там лежит?

— Ну... это было очень давно. Так давно, что...

— А невеста? Вышла потом замуж за кого?

— В том-то и дело, что она ни за кого уж не пошла. Она так любила Федора, своего жениха, что сохранила верность ему: постриглась в монахини, потом стала игуменьей монастыря...

— Игуменьей — это как?

— Главной монахиней, значит.

— Директором,— подсказала Джуля.— Или заведующей, как в детском садике.

— Пусть так, дело не в этом. Главное другое: всю жизнь она посвятила добрым делам: оделяла нищих, помогала бедным, лечила больных...

— Она была и доктором?

— Нет, но это была очень образованная девушка, знавшая несколько языков! Она жила в монастырской келье, читала древних авторов, переводила их книги с греческого и латинского на русский язык. В летописи

сказано так: «Она познала все книги Вирглийскы и витийски, была сведуща в книгах Аскилоповых и Галиновых, Аристотелевых и Омировых и Платоновых». Ты понимаешь? Была поклонницей античной литературы: читала Аристотеля, Гомера, Вергилия, Платона... А еще знаменитого медика Галена... Видишь, какая это была просвещенная девушка!

— Ей надо было найти другого жениха,— со вздохом сказала Джуля.

— Зачем?

— Все так делают.

В наступившей паузе Владимир Андреевич изучающе смотрел на дочь: откуда у нее такие сведения?

— Скучно одной,— пояснила Джуля.— Вдвоем лучше.

— Видишь ли, иногда невозможно это.

— Почему? Разве не хватало женихов?

— Нет. Женихов было достаточно. Она ведь все-таки княжна.

— Тогда почему она не женилась?

— Любила Федора и никого другого любить не могла.

— Это который умер? — уточнила Джуля.

— Да. Она его очень любила. А когда очень любят одного, то никого больше любить не могут — так уж устроен человек. И тут уж ничего нельзя сделать. Понимаешь?

Дочь двигала бровками, размышляя, разглядывала зелененький листочек.

— Как ее звали?

— Евфросинья. Евфросинья Михайловна.

— А маленькую?

— Фрося. Ее отец был также замечательный человек, твердый, мужественный. Он умер мученической смертью в Орде, потому что не отступил от своей веры, не поклонился ордынским идолам. Он знал, что его за это казнят, и все-таки не поклонился. За это черниговского князя прозвали потом Святым. Вот какой отец был у Евфросиньи, невесты Федора. А дед ее — Всеволод Чермный, великий князь киевский...

— Все-таки зря она ушла в монастырь,— вздохнула Джуля, прерывая увлекшегося отца.— Там скучно. Лучше вышла бы замуж.

— Зачем? — начал уже сердиться Владимир Андреевич.

— Были бы дети,— рассудительно отвечала семилетняя дочь.

— Но она любила Федора Ярославича!

— Я и говорю: жалко.

— Ты считаешь, что дети — это главное? — спросил совершенно обескураженный отец.

— А что?

— Любовь! Это она подвигает человека на добрые дела! На великие дела! Это она сделала обезьяну человеком, а человек — вершинное творение природы. Таким образом любовь сама по себе есть божество. Понимаешь? А у нее, между прочим, есть непременная спутница — верность. Прекрасное человеческое качество! И княжна Евфросинья достойна самых высоких похвал. А ты говоришь: жалко...

В кабинет вступила жена:

— Боже мой, как пылко, как пламенно! Джульетта, марш в свою комнату.

Джуля молча слезла со стула и пошла к двери.

— Постой! Зачем, куда ты ее гонишь? У нас очень интересный разговор. Джуля, оставайся.

— Нет, я пойду подумаю,— сказала та и удалилась, не оборачиваясь.

Уж так серьезно сказала — в самом деле пошла размышлять.

– Ты считаешь уместным вести с ребенком такие беседы? — спросила Любовь Ивановна.— О супружеской верности, о пламенной любви, о причинах рождения детей... Да?

Почему бы и нет?

– Да еще столь взволнованно! С таким душевным подъемом!

Любовь Ивановна иронически улыбалась.

— Ты считаешь это непристойным? — осведомился в свою очередь Владимир Андреевич, несколько задетый.

— Я считаю это непедагогичным.

— Понятие педагогичности весьма расплывчато,— возразил муж.— Мы с дочерью толковали о прекрасных вещах. Что может быть педагогичнее!

— И как следствие такого отцовского воспитания, семилетняя дочь уже теперь собирается замуж. Я сегодня спросила у нее: хочется ли ей в школу. Она отвергла категорически: нет. Я удивилась: а чего тебе хочется? Знаешь, что она ответила? Джульетта сказала: хочу за-

муж, чтоб у меня были свои дети, чтоб их было много, как в садике...

— Это прекрасно! — засмеялся Владимир Андреевич.

— Ты обрати внимание, в какие игры она играет: не рисует, не строит, не бегает с подружками — она или наряжается невестой, или занята куклами: баюкает, кормит, водит на прогулки, укладывает спать, лечит от болезней... Самые, заметь, примитивные занятия. Игры эти не несут ей познания, не развивают ее.

— Ты ошибаешься. Джульетта наша будет очень женственна и в этом смысле совершенна, как и подобает тому быть. В ней ярко выражен материнский инстинкт, стремление к покровительству над маленькими — этому следует только радоваться.

— Но ведь она не просто заявляет: хочу, мол, иметь ребеночка. Она говорит: хочу замуж! Значит, имеет в виду нечто большее — это-то и удивительно! Тут не один материнский инстинкт. Вот я и думаю, не твое ли это воспитание. Отсюда и нынешняя ваша беседа...

— Ну, если в ней заложена, запрограммирована, так сказать, способность к пылкой любви — это тоже неплохо и само по себе уже талант,— рассудительно и довольно рассеянно заключил муж.— Судьба каждого из нас записана на небесах — это уже доказано наукой, имя которой генетика.

— Володя,— укоризненно, с нажимом проговорила Любовь Ивановна,— ты у меня... слова не найду. Иногда смотрю на тебя с грустью и, признаться, с недоумением. То ли я не по возрасту стара, то ли ты не по возрасту молод. Признаюсь честно: меня как-то всякие эти любовные соображения очень мало трогают. А в тебе они живы.

— Увы, это не так,— возразил он с кривой улыбкой.— Ты преувеличиваешь.

— Что за странные порывы души! — продолжала жена, не слушая его.— Что за странное рассуждение! Знаешь, я давно замечаю: ты немного неспокоен, ты как будто чего-то ждешь, о чем-то сожалеешь. Что с тобой, Володя? Грустишь, тоскуешь...

— Оставь, Люба. Что ты выдумываешь! Даже если это и так, тебе следует только порадоваться: значит, муж твой действительно еще молод.

— Но это пустое, Володя! Всему свое время, пони-

маешь? Время гуляний по вечерам, мечтаний и вздыханий, время пылких речей и прочая, и прочая. А теперь у нас уже все иное и сами мы иные. Было бы странно, если бы я начала чистить перышки и щебетать...

— Ничего странного. Позволь только заметить, что я не чищу перышки и не щебечу. Я занят делом и, кроме дела, не занимаюсь ничем. Тебе это известно, как никому другому. И давай закончим наш разговор.

— Не отпирайся. Мы с тобой достаточно близко друг к другу живем, а я достаточно внимательна, чтоб замечать. Мы никогда с тобой не говорили на эту тему, и я рада, что наконец объяснимся. Какой-то хмель бродит в твоей душе... или как это назвать, не знаю. Согласна, есть что-то привлекательное в том, что ты у меня сохранил этакие юношеские... заблуждения — насчет возвышенной любви как созидающей и исцеляющей силы...

— Оставь, Люба. Мне не нравится твой тон,— все больше досадуя, сказал муж.— Оставь, пожалуйста.

Жена замолчала и некоторое время смотрела, как он, хмурясь, листал летопись.

— Столь ревниво ты оберегаешь это,— заметила она и тихо засмеялась.— Не троньте — это свято!.. Так, Володя?

— Ты мне мешаешь работать.

— Оно живет в самом заветном уголке души...

— И по браце целомудренно живяста, яко златопрьсистый голубь и сладкоглаголивая ластовица...— стал он читать вслух, склоняясь над летописью.

13

Когда у Мережниковых родилась дочка, молодая мама дала ей имя, даже не посоветовавшись с ним, отцом.

— Имя сыну придумаешь ты, а дочери — я,— заявила она, еще когда они только поженились.

— Ты сначала роди,— заметил на это молодой муж, а потом горько раскаялся, что пропустил меж ушей ее заявление, не опротестовал его.

Он долго был недоволен именем дочери, долго ворчал:

— Как будто нет русских имен! Арина, Елена, Ка-

терина... Ну что бы дочка у меня была Арина Владимировна, в честь бабушки,— прекрасно! А так — Джульетта Владимировна. Ни два, ни полтора.

Однако постепенно он примирился с дочерниным именем, и оно стало даже нравиться ему. И в семье, и во дворе их дома девочку Мережниковых звали Джулей. Огорчало только, что в соседнем подъезде у Светланы Мамоновой собачку-пуделя тоже звали Джулькой. Но и это огорчение тоже было относительное, потому что тезки были влюблены друг в друга и перегащивались: Джуля Мережникова ходила в соседний подъезд, белый пуделек бегал к Мережниковым. Дружба эта забавляла весь дом и целый двор, особенно потому, что девочка была убеждена, что пуделя родила Светина мама, и ее, Джулина мама, тоже должна родить пуделька, о чем и сообщалось всем и каждому.

Это рос человечек хлопотливый и лопотливый. Когда она была дома, голосок ее не умолкал ни на минуту, и даже во сне она любила что-нибудь лепетать.

«Ах ты мой комочек протоплазмы!» — говаривала Любовь Ивановна, лаская Джулю. Ироническая снисходительность не покидала мать даже в эти минуты. Она как бы подшучивала над своим материнским чувством, сознавая его как некую слабость.

Мир Джули никак не совмещался с миром любого из родителей. Входя иногда в кабинет отца, она тотчас начинала оглядываться и на личике ее сразу появлялось озабоченное, серьезное выражение. Задав несколько вопросов: «А это что? А почему это?» — дочь покидала кабинет разочарованная, и через минуту можно было слышать ее голосок в других комнатах — она любила играть одна.

Девочка месяцами гостила у родителей Любови Ивановны, привыкла к ним и частенько звала деда «папой», а родного отца могла назвать «дедулей» — два эти слова были для нее синонимами. Владимир Андреевич не протестовал и не испытывал ревности по этому поводу. Его тесть и теща считали, что внуков надо воспитывать любовью и лаской, а Джуля была единственной их внучкой, потому они расставались с нею крайне неохотно, а отпустивши, тотчас требовали назад.

Мережниковы сознавали, что воспитанием дочери занимаются слишком мало.

— Сколько времени она находится с нами? — ино-

гда с упреком спрашивал Владимир Андреевич.— В общей сложности за год наберется ли два-три месяца?

— Такова жизнь! — рассудительно отвечала Любовь Ивановна.

Ее не слишком заботило отсутствие дочери. Скорее наоборот: хлопот меньше! Можно с утра до вечера пропадать на работе.

Золотые годы, когда Джуля была особенно хороша, забавна, утешна, уже миновали, оставив в памяти родителей лишь несколько смешных историй.

«Папа, ди мамазу»,— предложила она однажды, стоя перед зеркалом и малюясь материной помадой. Вот это — «папа, ди мамазу» — они, родители, часто вспоминали. Или другое: «Мама, позуй и дай мне». Любовь Ивановна — деревенское воспитание! — давала ей жеваное, а на укоризненный взгляд мужа говорила: «Молчи. Это негигиенично, зато здоро́во. Я — мать!»

Несколько смешных историй — это все, что осталось в памяти родителей от ее младенческих лет. Остальное уж исчезло, растворилось во времени. Сейчас Джуля стала тоненькая, длинненькая и уже серьезная — должно быть, в маму. Можно предполагать с уверенностью, что годам к десяти она и вовсе заумничает, вовсе лишится детскости.

«И что же, больше такого не будет? — спрашивал себя Мережников.— Эта пора прошла, и все?»

Ни детского лепета, ни возни с купанием и переодеванием, ни хныканья по поводу манной каши; и никто не подойдет, тепленький и доверчивый, не прижмется, не уснет на плече?

— Люба, давай родим еще одного, — сказал он однажды, сказал просто так, больше из интереса, что ответит на это жена, но в общем-то уже заранее зная, что она ответит.

— Нет, — категорически отвергла Любовь Ивановна. — Этот подвиг мне не по плечу. Хватит нам и одной Джульетты.

Подумала-подумала, поусмехалась, потом добавила:

— Второй ребенок — это слишком большая роскошь, иначе говоря, излишество. Как представлю себе: снова бессонные ночи, снова подгузнички, снова коклюш или что-нибудь вроде этого, снова рев и визг оттого, что он шлепнулся, или хочет спать, или голоден, или ему скучно... Нет, Володя.

Она права: слишком это хлопотное дело. Ему и самому было даже страшно подумать, что они заведут себе еще одного ребенка. Но вместе с тем, когда видел на улице чужих малышей, у него радостно отзывалось сердце и он провожал их взглядом, иногда ловя на своем лице невольную растроганную улыбку.

Он затеял и второй такой разговор, потому что даже просто поговорить с женой о будущем малыше было приятно. Однако Любовь Ивановна ответила на этот раз кратко и сухо:

— Роди. А с меня довольно.

И по тому, как она ответила, Владимир Андреевич понял: решение ее окончательно и бесповоротно. Значит, никогда не будет у него сына, которому он дал бы имя, не будет и дочери Аринки. Некого будет водить за ручку в сквер! Некому объяснять, почему светит солнце и отчего бывает ветер; и никто уже не позовет: папа, ди мамазу.

У него возникло тягостное ощущение, что отсюда, уже с теперешнего возраста, начинается его нисхождение в старость. Раньше он шел в гору, к вершине или к перевалу, а теперь вот как бы заскользил вниз, еще медленно, незаметно, а там все быстрей и быстрей...

«И кану, — думал он, печально усмехаясь. — Кану в безвестье и бесследье... Камушком на дно».

14

Мережников долго не появлялся в бабьем царстве, и Людмила Романовна даже стала сердиться на него, даже решила, что когда он придет, то обойдется с ним как-нибудь построже.

— Вас не было сто лет, — сказала она ему с легкой досадой, когда он наконец появился; и тотчас отложила все свои дела, радуясь, что сидит в комнате одна. Она даже забыла, что хотела быть с ним суровой, повеселела, заулыбалась.

— Что, Григорий Павлович еще не вышел из отпуска? — озабоченно спросил Владимир Андреевич.

— Уехал, говорят, то ли к сыну, то ли к дочери.

— Жаль. Он мне нужен. — Мережников вздохнул, оглядываясь и удивляясь, что никого больше нет в этой комнате.

Людмила Романовна полна была сдерживаемой энергии, она чувствовала чудодейственный прилив сил и потому улыбалась и говорила с брызжущей радостью:

— Расскажите, чем вы были заняты? Я каждый день с таким почтением поглядываю на ваше уважаемое учреждение! Выходят из него люди — я смотрю на них прямо-таки с завистью: вот, думаю, повезло, работают в достойном месте.

— Вылетают оттуда птицы райские гамаюн и финик и благоухание износят чудное, — проговорил он рассеянно, не решаясь ни сесть, ни уйти.

Эта женщина всего несколько дней назад так понравилась ему! Он так заволновался тогда! Почему же нынче потухло все в душе и он поглядывал на нее не то чтобы с досадой, а — скучая.

— Ах, вы все еще носите это колечко! Надо полагать, оно несет в себе высокий смысл. Оно, так сказать, залог и обещание.

— Да, — очень серьезно сказал он.

— Или оно дорого вам, как память...

— Как память, — повторил Владимир Андреевич.

— Понимаю, понимаю...

Вот так всегда: короткое движение души, как мимолетный сон, и снова ничего. И даже удивительно: почему это она ему так понравилась?

Людмила Романовна, изогнув полный стан, дотянулась до шкафа, достала деревянную безделушечку — старичок-лесовичок с корзиной и палочкой.

— А что вы скажете об этой прелестной вещице?

Вот слово, которое он никогда не употреблял в его современном смысле и которое безумно нравилось ему в древних текстах: прелестная грамота, прелестные письма...

— У вас было какое-то торжество? — спохватившись, спросил Владимир Андреевич. — И подвластные вам племена приносили и клали к вашим ногам подарки. Так, да?

— Если бы! Какое уж тут торжество, если я проболела два дня. Вам-то горя мало, хоть я умри. Не пришли сюда, не поинтересовались, почему, мол, нет Людмилы Романовны.

«А я не играю в эти игрушки», — чуть не сказал он, начиная сердиться от ее кокетливости.

— А выздоровела я благодаря сему амулету. Сосед подарил.

— Это любовь, она и лечит. А деревянный болванчик тут ни при чем. Все дело в дарителе.

— Вы подозреваете меня в легкомысленном поведении? — сказала она, смеясь. — Ему всего семь лет.

— Лета не играют никакой роли, — серьезно возразил Мережников. — Главное — сердце, а оно пламенеет в любом возрасте.

— Браво! — Людмила Романовна похлопала в ладоши. — Следовательно, у вас тоже.

— У меня — нет, — возразил он, сожалея, что ввязался в этот игривый разговор.

— Не может быть! Разве у вас нет соседки? Вы живете в особняке? И ни с кем не встречаетесь на лестничной площадке? И не обмениваетесь поклонами и любезностями?

— С соседом. Кстати, очень симпатичный человек. Породою и возрастом хорош, духом кроток и великодушен, и лицом долголик, и доброгласен вельми.

Она легко засмеялась, услышав его скороговорку.

— Тогда передайте мои наилучшие пожелания вашей жене. Вот вы сейчас здесь, а у них небось свидание, — поддразнила она.

— Нет. Я знаю, они встречаются по утрам в семь пятнадцать, когда к нашему подъезду подкатывает мусорная машина. Тут они оба выходят с ведрами, что, надо полагать, и есть свидание.

— А вы, значит, и этого не имеете!

— Увы мне!.. Впрочем, что я! — оживился Владимир Андреевич. — Погодите-ка, у меня тоже есть соседка. Как это я мог забыть! И, кстати, красавица!

— Вот видите! Расскажите мне о ней. И о ваших интимных отношениях с нею расскажите. Не может быть, чтобы у вас с нею не было интимных отношений. Вы говорите, она хороша собой?.. И молода? Как я ей завидую!..

15

Соседку свою он видел чаще всего сверху из окна; обычно она шла по деревянным мосточкам, проложенным в их микрорайоне по топкому глинистому пустырю прямо к подъезду, таща за руку малыша и что-то наставительно говоря ему. Тотчас после этого он слышал,

как они медленно поднимались до третьего этажа, причем она говорила довольно громко, неприятным носовым голосом, а что именно, не разобрать. Он слышал только, как она протяжно и немного капризно, укоризненно произносила: «Анто-он», а потом что-то быстро-быстро, то ласково, то раздраженно и снова ласково. Так они поднимались по ступенькам, шаркая, вздыхая, и малыш иногда принимался реветь таким же неприятным, как у нее, раздражающим голосом. Потом картаво лязгал ключ в замке, голоса на лестничной площадке были совсем рядом и отчетливо слышны. Дверь хлопала, и голоса глохли, стихали.

Он сталкивался с нею в магазине лицом к лицу и поспешно отворачивался — ему почему-то не хотелось здороваться с нею и не хотелось встречаться взглядом.

Несколько раз он видел ее далеко от дома, где-нибудь в центре города, все с тем же малышом, причем они, как обычно, пререкались: она его наставляла, а он или повторял за нею, или твердил что-то свое.

Это была крайне невзрачного вида молодая женщина, невысокого роста, в нескладном костюме, который топорщился на ней, словно был с чужого плеча; или в рябом пальто, которое обвисало на ней, как на вешалке; или в платье с широким вырезом, открывающим худые ключицы. Выражение лица всегда унылое, жидкие волосы схвачены сзади в пучок резинкой... Но самое некрасивое, что было в ней — это ноги. Не сказать, чтобы они были сильно кривыми, но как-то так нескладно она ходила, как-то так нескладно обувалась... «Не ноги, а костыли», — думал он все с тем же неприязненным чувством к ней.

— Володя, — однажды сказала ему жена,— глянь, как соседка наша идет! — И смотрела с улыбкой из окна сверху вниз, и, дивясь, качала головой. — Карикатурная походка, — заключила она. — Учебное пособие: как женщине не надо ходить.

И он понимающе улыбался. У него жена статная, стройная — сказались два года гимнастической школы, в которой она занималась еще школьницей. И как будто не рожала ни разу — талия девушкина. У его Любови Ивановны лицо породистое, — даже очки не портят; высокий чистый лоб, прямой нос, благородный цвет кожи, а взгляд из-под очков твердый, властный — любого остановит и встряхнет.

— И ведь что удивительно, — говорила жена, усмеха-

ясь, — и на такую кто-то позарился. Ох, мужчины, мужчины!

— Ты про ребеночка?

— И про ребеночка, и... ведь кто-то ходит к ней! Регулярно по субботам. Я не раз видела, да и вообще...

Муж знал, что она подразумевает под «вообще». Он никогда не замечал, чтобы кто-то разговаривал с соседкой или стучался к ней в дверь, но про это «вообще» он, конечно, знал.

В плане этажа маленькая соседкина квартира как бы вклинивалась в четырехкомнатную квартиру Мережниковых. Две стены, сходившиеся углом, были их общими стенами. Одна из них, должно быть, капитальная, кирпичной кладки, а вторая слабая: то ли панель сама по себе тонка, то ли стояла она неплотно и где-то под полом зияла невидимая щель...

По субботам неприятные, раздраженные окрики соседки уже не раздавались, и малыш не громыхал жестяными игрушками, не свистел, ничего не ронял, не бил и не ревел. Его рано укладывали спать, и голос молодой матери был в эти минуты особенно нежен и ласков. Она напевала, она терпеливо уговаривала, убаюкивала, и к ее ровному голосу, приобретавшему благозвучную тональность, примешивалось неясное «бу-бу-бу» мужского голоса. Потом там наступала тишина, а через некоторое время слышался шепот, говор посмелей и смех, слышать который было как-то неловко.

В его комнате тикал будильник, до полуночи шелестели страницы, но — только это, больше никаких звуков.

Стена, исчерченная, исписанная, изрисованная, открывала безмерное пространство, и он мог беспрепятственно размышлять в нем... Но это была та стена, которая отделяла его от соседки. По субботам за нею, совсем рядом, журчал говорок, поминутно перебиваемый смехом, шуршало одеяло о стену, кто-то шел торопливо босыми ногами, и опять шорох постели, прерывающийся шепот, приглушенный смех и слова. Безмерное пространство исчезало, спугнутое тихой и скромной соседкой и ее субботним другом.

Мережников старательно вперял взгляд в книгу, подбивал углы подушки, закрывая уши, и все равно слушал, борясь с самим собой, пытаясь собрать воедино уже разрозненные мысли и не в силах сделать это.

А те лежали рядом с ним, казалось даже, на одной с ним постели, не зная и не ведая о нем, своем соседе. В нем же что-то начинало подленько хихикать или громогласно возмущаться, толкало к стене — постучи кулаком, скажи им: нельзя ли потише, граждане! И в то время неведомый бес, сидящий внутри, укорял злорадно: что, завидуешь!..

Он прибегал к самому верному, испытанному средству: брал с полочки над головой томик стихов и читал вслух:

Притворной нежности не требуй от меня,
Я сердца моего не скрою хлад печальный.
Ты права, в нем уж нет прекрасного огня
    Моей любви первоначальной.

Торжественная размеренность стихов и горестный смысл их всегда чаровали его. А за стеной явственно слышался звук поцелуя. И еще... И снова... Владимир Андреевич прибавил голоса:

Напрасно я себе на память приводил
И милый образ твой и прежние мечтанья:
    Безжизненны мои воспоминанья,
    Я клятвы дал, но дал их выше сил.

Нет, и стихи не спасали; они были сами по себе, а он сам по себе. Слова звучали, а собственный голос казался Владимиру Андреевичу фальшивым, а стихи ненужными. Он начинал снова, повторяя по нескольку раз строки, которые еще вчера, еще сегодня твердил, шагая на работу, и они так волновали его, а сейчас же были пустыми и холодными.

Почти ничего нельзя было разобрать из отрывочной речи за тонкой стеной, только вздохи, шорохи, шепоты; а разыгравшееся воображение подсказывало то и это, он видел и слышал. Лишь однажды до него донеслось явственно заботливое: «Устала?»

Он повернулся на диване, как от толчка, и с минуту лежал, ошеломленный, уставив взгляд в потолок, взбудораженный новым, незнакомым ему волнением, осознав которое почувствовал острый стыд.

Мужчина сказал: «Устала?» Не спрашивая — утверждая. Заботливо и благодарно. А что ответила ему женщина? Какие слова произносила счастливым шепотом? Почему они таким сладким ужасом отозвались в нем,

лежащем совсем в другой комнате, а значит, в другом мире?

«Боже мой! — чуть не вслух простонал Мережников. — Да что же это такое?.. Наказание, ей-богу!»

16

На другой день он встретил ее на лестнице. Соседка поднималась с малышом, который отставал от нее на три-четыре ступеньки, цепляясь за перила, кривя личико от подступающего плача, а мать сердито выговаривала ему неприятным и чуть-чуть гнусавым голосом:

— Анто-о-он! Мама не может тебя таскать на руках. У мамы ручки болят. Ты мужчина. Ходи сам.

Владимир Андреевич, спускаясь, с любопытством уставился на нее: неужели эта женщина с остреньким лисьим лицом, с косо подрезанной челкой, спадающей на лоб, неужели это она вчера так счастливо шептала? И неужели это ей был адресован нежный и благодарный полувопрос: «Устала?»

Соседка была спокойна и вид имела самый невинный.

— Здравствуйте, — сказала она ему, не поднимая глаз.

Он отозвался торопливо и вежливо:

— Здравствуйте.

И, проходя мимо, чуть тронул малыша по волосам.

И он, и его жена Любовь Ивановна выросли в деревне, а там были свои неписаные, веками утвержденные нормы нравственности. Например, девка с парнем могут посидеть на крылечке или на завалинке ее дома, но нигде в ином месте, иначе люди осудят. Они могут поцеловаться только на третий вечер такого совместного сидения, а коли парень полезет раньше — значит, он девку не уважает, а коли не полезет вовсе, так тоже не уважает. Все расписано, от первого до последнего шага...

— Не знаю, — сухо сказала за столом его жена, — как это и понимать. Мать-одиночка берет напрокат чужого мужа на субботний вечер. Что это за мать такая? И что за приходящий мужчина? Кто он такой? Небось каждый раз возвращается к жене. И что он ей говорит? Если бы любовь — ну, тогда туда-сюда. Это я еще могу понять. Но ведь он ее не любит!

— Почему?

— Ты что, всерьез можешь предположить?..

— Нет, — сказал он решительно и даже ладонью провел, словно отрезал. — Нет!

Владимир Андреевич и впрямь не мог предположить, допустить такое: чтоб соседку кто-то мог любить. Уж больно непривлекательна. И вместе с тем...

Видел ли он ее в магазинной очереди, замечал ли в толпе на автобусной остановке, он тотчас выделял ее: она притягивала его взгляд, и во взгляде этом был всегда вопрос, и недоумение, и неподдельное любопытство. Эта некрасивая женщина с малышом мучила его, как пустая и неразрешимая загадка. В чем дело? Неужели она может очаровать кого-то, быть любима кем-то? Ведь в этом мужском шепоте за стеной столько непритворной нежности! Если не сказать большего...

Думая так, он в удивлении качал головой.

Кто он, этот субботний гость соседки? Она так некрасива, что позариться на нее, по мнению Мережникова, можно только зажмурившись.

Прошла неделя — и снова убаюкивание младенца, шлепанье босых ног, тугой скрип кровати, шуршанье одеяла о тонкую стенку и лепетливый горячечный шепот соседки, слушать который было невыносимо. Раза два Мережников вставал, заносил кулак, — не постучать ли им? — потом в раздумье отступал. Может быть, громко и ясно сказать: «Граждане! Вы разбудите ребенка, раз уж разбудили меня, лежащего за стеной!» Услышат. Ведь такая тишина стоит в этот поздний час!

«Завидуешь!» — злорадствовал в нем самом его собственный голос.

«Да нет же! — раздражался другой, точно такой же. — Просто спать мешают и читать тоже...»

«Завидуешь, — удовлетворенно заключал первый голос. — Чужое счастье тебя мучит».

Чтобы заглушить в себе этот ядовитый голос, Владимир Андреевич встал, злой и нетерпеливый, пошел в комнату, которая считалась у Мережниковых детской и где на диване спала Любовь Ивановна, стал тормошить ее, сонную обнимал, тихонько шепча на ухо, чтоб не разбудить дочку:

— Люба, ну что ты здесь! Пойдем ко мне.

Она не сразу проснулась, а проснувшись, рассердилась:

— Ты что чудишь?

— Люба!..

— Владимир Андреевич, посмотри-ка, час ночи! И ты меня будишь. Да совесть есть ли у тебя?

Она называла его по имени-отчеству, только когда очень сердилась.

— Я устала, весь день на ногах. Три лекции, совещание у декана, консультации... Иди спи!

И Любовь Ивановна бесцеремонно оттолкнула мужа.

Сконфуженный, виноватый и злой, он отступил.

А она ворчала, отворачиваясь к стене:

— Явился!.. Иди к нему среди ночи... Сейчас побегу!..

17

Любовь Ивановна преподавала в институте, была членом горкома партии, депутатом областного Совета, входила в какие-то комиссии, а помимо всего этого, вела и научную работу. У себя на кафедре она возглавила бригаду по разработке научных тем на базе институтской лаборатории. Подручными у нее были двое аспирантов; эти аспиранты, деловые и бравые ребята, иногда появлялись в квартире Мережниковых, принося с собой рулоны чертежей, логарифмические линейки, толстые справочники и прочее. Любовь Ивановна допоздна заседала с ними, споря до хрипоты на каком-то диком, сугубо специальном языке, который Владимир Андреевич не понимал и который возмущал его. После таких сидений он с еще большим отчуждением, но и с большим почтением поглядывал на жену.

— Нынче весна очень тяжелая была, — пожаловалась однажды Любовь Ивановна. — Закрывали две исследовательские темы — госбюджетную и хоздоговорную. Ты представляешь? Это значит, надо оформить по всем правилам два отчета. Такая занудная работа! Хоздоговорную тему мы закрыли к майским праздникам и уже сейчас имеем акт внедрения на двести пятьдесят две тысячи рублей. Неплохо, верно? А с госбюджетной до сих пор не разделались. Последний срок через неделю. Да сессия начинается. Устала, как старый паровоз!

Жаловалась она явно не по тому адресу, ибо муж

не одобрял ее увлечения работой, особенно сверхурочной — той, что сверх прямых обязанностей. Его раздражали эти «научные радения», как он их называл, из-за них в семье не было должного порядка, в квартире — домашнего уюта.

— Зачем и бралась, — с недовольным видом ронял Владимир Андреевич.

— Как это зачем! — Любовь Ивановна вскидывала на него изумленный взгляд.

— А так. Зачем? Ну?

Так начинался тяжелый разговор, один из тех, что в последнее время стали у них случаться, пожалуй, слишком часто.

— Это же работа на износ! Где-то на пределе твоих возможностей, — говорил он с неприятным для нее выражением на лице. — Во имя чего? Почестей жаждешь? Аплодисментов?

Ему не хотелось говорить, что вот-де она не бережет себя, что надо, мол, ей побольше отдыхать, и прочее. Не шли такие слова с языка, и все тут. Все это понятно: научная работа и все такое. Но почему именно она! Пусть занимается наукой кто-нибудь другой. В конце концов это не женское дело. Ее дело — быть матерью для Джули, женой ему, хозяйкой в своей квартире.

— Что тебе, денег не хватает? — нудил он. — По-моему, ни одна семья в нашем городе не зарабатывает столько, сколько мы с тобой.

Любовь Ивановна с иронической улыбкой смотрела на него. У нее была прекрасная позиция: муж — собственник, муж — отсталый человек, раз считает, что она должна сидеть дома и заниматься хозяйством. Она не без злорадного удовольствия покачивала головой в такт его словам: давай, мол, давай, выкладывай и дальше. Но это в лучшем случае. А в худшем она вспыхивала:

— При чем тут деньги!

И они начинали ссориться.

Он не хотел понимать ее! Не хотел мириться с нею, занятой, увлеченной, задавленной работой. В свою очередь она, заходя в мужнин домашний кабинет, с плохо скрытым недоумением и недовольством оглядывала его хозяйство: полки с книгами, ящики с карточками, развал рукописей и каких-то древних бумаг на столе, и на стульях, и на подоконнике. Она терпеть не могла ста-

рых фолиантов, стоящих и лежащих у него в кабинете, засаленных, захватанных, рассыпающихся от ветхости на отдельные листы. То, что его приводило в трепет, в восторг — в ней вызывало лишь неприязненное чувство, почти брезгливость: ей казалось, что все эти старые книги дурно пахнут.

— Неизвестно, мыли ли они руки после масляных блинов в семнадцатом-то веке, — замечала Любовь Ивановна, вообще склонная к пренебрежительности. — А вот в этом житии явно жили клопы. Ты не находишь?

— Это очень древние клопы, — возражал он, не без обиды за свою библиотеку. — Они пили свежую боярскую да дьяческую кровь.

— Холопскую!

Она долго не могла собраться почитать книгу, написанную мужем, а когда наконец прочла, поразмыслив, заявила ему примерно так:

— Я не понимаю, Володя, ни черта в твоих рассуждениях. То есть я не могу уразуметь, как можно строить все на предположениях, на домыслах, на гипотезах. Образуется цепочка, когда одна неправда заведомо рождает другую — недопустимо! Все же должно обсчитываться: и фантазия, и вымысел. А иначе это не наука, а шарлатанство.

Она тотчас извинилась за нечаянно брошенное слово и сказала, что вовсе не считает шарлатанством его книгу.

— Все в этом мире подчиняется строгому и стройному расчету, все версии и догадки должны опираться на достоверные, не раз проверенные факты, даже формулы, черт возьми! Не улыбайся, пожалуйста.

Он не пускался в дискуссии с нею, ибо это походило бы на детский спор: что лучше, танк или самолет. Они мыслили разными категориями, к тому же Любовь Ивановна просто была логичней в своих доводах, уверенней, упрямей; ввести ее в свою область Владимир Андреевич давно уже отчаялся.

— Ты мне напоминаешь человека, идущего по тонкому льду, — заключила она. — Он или упадет и расшибется, или провалится и утонет. Это неизбежно.

18

За семейным ли столом, в играх ли с дочерью Любовь Ивановна являла собой образ отсутствующего человека: она здесь, и в то же время ее нет. Более того: в собственной квартире она была не хозяйкой, а жила как в гостинице. Она с достаточной отчетливостью сознавала свой долг перед семьей по части домашнего хозяйства, но никакого влечения к женским повседневным хлопотам в ней не было, и никогда, кажется, кухонные да квартирные заботы не занимали ее мыслей. Она светло улыбалась, видя гору невымытой посуды или кучу невыстиранного белья: «Володя, неужели ты не можешь этого сделать?»

Правду сказать, если он брался мыть тарелки или стирать белье, Любовь Ивановна чувствовала себя виноватой.

— Иногда я думаю: нашел бы мой муж себе женщину, чтоб стряпала, стирала, ухаживала за ним... — размышляла она вслух. — Тебе такую надо, Володя: подай то, принеси это, сходи туда, положи сюда. Такие женщины есть, я знаю! Простые, добрые, ласковые — прекрасные матери и жены! А твоя жена утром уходит, возвращается вечером, и даже в выходные дни у нее мало свободного времени — ни с детьми поиграть, ни мужа приласкать. Знаешь, я считаю, что занимаю чужое место. Тебе крупно не повезло.

— Ну и к чему этот разговор? — спрашивал Владимир Андреевич сухо.

— А к тому, что я тебя очень уважаю, — заявляла она, смеясь. — Как товарища по несчастью. Я тебя уважаю и думаю, ты имеешь полное право меня бросить, ибо я того заслуживаю. А что? Пришел бы ко мне однажды и сказал: знаешь, Люба, я встретил хорошую женщину...

У Любови Ивановны рациональный ум, ей в высшей степени свойственен здравый смысл. Но как раз такие ее размышления, разумные и доброжелательные, возмущали и оскорбляли его. Обычно в ответ на это он отмалчивался, но молчание мужа не останавливало Любовь Ивановну, а как будто бы даже подогревало ее на дальнейшие рассуждения. Она призналась ему однажды, что подобные разговоры доставляют ей своеобразное утешение:

— Я как тот пьяница, который решил бросить пить. Принятое решение успокаивает его, делает нравственней его жизнь, поднимает в собственных глазах, и он, утешившись, пьет по-прежнему.

— Какие ужасные вещи ты говоришь! — раздраженно замечал он.

— Ну, почему ужасные, Володя? — хладнокровно возражала жена и печально усмехалась. — Мы с тобой разумные люди, все понимаем и в конце концов можем решить все ко взаимному удовольствию...

— Взаимное удовольствие — это, надо полагать, развод? — уточнял он.

— Ах, не знаю, не знаю, — отмахивалась она.

Вот такие разговоры случались у них в семье.

Мережниковы некогда учились вместе: в одном университете, на одном курсе, только на разных факультетах. Люба Суровикина считалась там бесспорной красавицей: когда она шла по университетскому ли коридору, по улице ли, ее провожали глазами и парни, и девушки.

— Меня даже учителя в школе любили за то, что красивенькая была, и, подозреваю, по этой причине сильно завышали оценки, — говорила она. — Я всегда числилась в любимицах, в примерных ученицах. И даже на вступительных экзаменах в университете небось не обошлось без моих девических чар.

Ну, тут она преувеличивала: и вступительные экзамены, и все прочие Люба Суровикина всегда сдавала уверенно, приятно удивляя преподавателей смелостью суждений и широтой эрудиции.

К чести ее надо сказать, что она всегда довольно юмористически относилась к тому впечатлению, которое неизменно производила своей привлекательной внешностью. Любовь Ивановну не то чтобы огорчало, а охлаждало и даже сердило то впечатление, которому причиной была ее внешность. «Только недалекие люди, — говорила она, — судят об орехе по скорлупке, а о яблоке — по кожице».

Она была дружелюбна со всеми, ровна в обращении, и потому, кажется, не бывало у нее ни тайных или явных врагов, ни завистников. Впрочем, это только казалось.

За нею ухаживали многие из ребят, но никто не мог похвастаться успехом. Никого из них она не отличала

знаками особого внимания: не ходила в кино или на танцы с кем-то вдвоем — только в компании; никто ни разу не провожал ее — провожали только компанией. К тому же Люба умела быть и высокомерной, и до обидного ироничной и всегда безжалостно пользовалась своим оружием, чтобы осадить очередного чересчур пылкого или настойчивого ухажера.

Он, Володя Мережников, не относился к числу тех, с кем она отмечала день своего рождения или встречала Новый год. У нее был свой круг друзей, у него — свой. Знакомы же они были потому, что на втором курсе Любу Суровикину выбрали в комитет комсомола и она с успехом вела культурно-массовый сектор, к которому он, Мережников, был причастен.

Они встречались, говорили о делах, шутили — все при посторонних и никогда вдвоем. Ему в голову не приходило, что у Любы нет своего парня, и точно так же не приходило в голову, что можно за нею ухаживать. Вдруг однажды — это случилось уже на последнем курсе, весной — она подошла в коридоре к группе ребят, среди которых стоял и он, подошла и сказала без обиняков:

— Мережников Володя, я приглашаю тебя сегодня вечером на мероприятие интимно-личного характера.

Все засмеялись, а она покраснела и продолжала столь же отважно:

— На танцы, например. Ты согласен?

Все знали, что Мережников на танцы не ходит, да и саму Любу видели там очень редко.

Он замешкался с ответом, а она с упреком сказала тем, кто стоял рядом:

— Что вы смеетесь! Девушке нравится парень. Что ж тут смешного?

Ребята замолчали, слегка огорошенные.

— Ты согласен, Володя?

— Разумеется, — сказал он, глупо улыбаясь.

На танцы они не пошли, а просто гуляли по городу. Гуляние повторилось и на другой вечер, и на третий... А недели через две Люба сказала:

— Володя, я не знаю, как все это делается... То есть я считаю, что если ты не намерен на мне жениться, то нам надо прекратить встречи.

Он ответил довольно поспешно:

— Намерен. Конечно, намерен! Еще бы!

На другой же день начали хлопоты с загсом, известили родителей...

Так они стали мужем и женой.

Теперь Любовь Ивановна иногда говорила раскаянно:

— Я, наверно, тогда поспешила. Не надо было... Откуда во мне эта самоуверенность! Я решила так: раз я хороша собой... А ведь я была хороша собой, Володя! Так вот, раз я, мол, девушка красивая — этого достаточно для того, чтобы Мережников меня полюбил и был со мной счастливым. Следовательно, он вполне может быть моим мужем. Все логично, закономерно.

— Я тебя полюбил, — неизменно отвечал он на это. — Иначе не женился бы.

— Ах, отстань! — сердилась она. — Разве это любовь! Живем мы с тобой друг возле друга, в сущности — соседи по коммунальной квартире, не более. Разве нет? Я занимаю место твоей жены, которая где-то там... просто не встретилась тебе. А ты — место моего мужа, который тоже — увы! — не отыскал меня. Ты что, не согласен?

Впрочем, после разговора о желательности и даже необходимости развода она могла заявить и обратное, начисто позабыв о том, что говорила перед тем:

— Скажут: Мережникова развелась с мужем. Мережникова разведенная. Фу! — ее даже передергивало от этого. — Так некрасиво, так пошло! Мне противна сама мысль об этом.

Иногда, поговорив таким образом, они расставались несколько успокоенные и примиренные, но чаще все-таки некая тяжесть оставалась в душе того и другого из супругов и долго не исчезала.

Ссоры у Мережниковых были особенные — даже и не ссоры, а просто проявления взаимной холодности или взаимного равнодушия. Внешне супружеская жизнь шла чинно, ровно, вполне пристойно, и соседи небось считали их семью образцом добропорядочной, благополучной семьи.

А Мережников чувствовал себя одиноким, временами даже никому не нужным.

19

У него была история, счастливо выдуманная им однажды, которую он холил и лелеял в своем вообра-

жении, дополняя все новыми и новыми приятными подробностями, и которая, наверно, уже доставила ему столько же удовольствия и даже счастья, как если бы она случилась на самом деле.

Вот она!

Среди обычного рабочего дня в его кабинете раздастся вдруг телефонный звонок:

— Могу я поговорить с товарищем Мережниковым?

Голос девичий, взволнованный, напряженный...

«Погоди-ка, — сомневался он иногда в этом месте истории, — а при чем тут телефон? Разве эта девушка не может подойти ко мне просто на улице или даже явиться в мой кабинет? Мало ли у меня бывает народу! Придет и скажет все...» Но он привык к тому, что история начиналась с телефонного звонка, так уж она сложилась в его воображении, и в случайности этой заключалась убедительность.

— Могу я поговорить?..

— Можете. Я слушаю вас.

— Вы Владимир Андреевич Мережников?

— Представьте себе.

Он отвечал весело, шутливо.

— Простите, но я должна точно знать, что это вы. Назовите, пожалуйста, имя вашей мамы.

— Нина Филипповна. А в чем дело? С кем я говорю?

— Вы меня не знаете... Мне очень нужно вам сказать... очень важное. Важное и для меня и, может быть, для вас тоже.

Владимир Андреевич явственно слышал, как она говорит, и слышал, как звучит его собственный голос, мягко, почти отечески, но достаточно официально — голос человека солидного и серьезного. А она говорила сбивчиво, путано, волнуясь... Это само собой понятно — молодая девушка, она впервые назначала свидание, и кому! Он видел ее такой: невысокого роста, с длинной русой косой, с пухлыми губами и серьезными серыми (или синими) глазами.

— Я хотела бы... чтоб мы с вами встретились... где-нибудь.

— О, давненько я не ходил на свидания!

— Если вы не против... в парке, например... Напротив Княжой башни.

Он шел по этому диалогу, как по знакомой лестни-

це, зная, что последует на каждой следующей ступеньке. Однако такое начало было необходимо ему. Оно настраивало его душевный механизм на определенную волну, Владимиру Андреевичу становилось радостно в предвкушении того, что последует дальше. А дальше начиналось самое-самое, тут он подвигался медленно, с оглядкой, прочувствованно, как пьют хорошее вино.

Он выходил на улицу, все еще озабоченный, но уже с ясным звучанием знакомой ему мелодии в душе. Шел через просторную площадь, здоровался со встречными знакомыми, не подозревавшими, куда он идет неторопливой походкой с таким немного усталым и задумчивым видом. Наконец вступал под тень деревьев Кремлевского парка, где и тихо, и прохладно, где так трогательно прекрасны и синичьи пересвисты, и даже воробьиная свара.

Притворной нежности не требуй от меня
Я сердца моего не скрою хлад печальный...

На нем светлый костюм, ветерок шевелит его волосы, в которых хоть и нет пока седины, но, может быть, к тому времени уже будет.

Я сердца моего не скрою хлад печальный...

Она появится, когда из парковой аллеи уже виден будет Волхов и аркада Ярославова Дворища на том берегу. Здесь, возле кремлевской стены, самое безлюдное, самое укромное место; здесь особенно уютно и потаенно; шум города отстранен, отдален; здесь можно беседовать, не приглушая голоса, — никто не услышит и никто не помешает.

Грущу я: но и грусть минует, знаменуя
Судьбины полную победу надо мной;
Кто знает? мнением сольюся я с толпой,
Подругу, без любви — кто знает? — изберу я.

И вот он, тот момент: она подошла — решимость ее сквозь смущение, как цыпленок из скорлупы...

— Извините меня... Я осмелилась позвонить вам и пригласить сюда. Дело у меня очень важное...

Ей лет восемнадцать. Да, она русоволоса, синие глаза, у нее нежная девическая шея, загорелые, милые плечи...

Он мысленно мог разглядывать ее долго: эти ямочки

на щеках, эти нежные, исполненные девического изящества руки, этот поясок на тонкой талии, которым играет ветер.

Наступившая пауза не тяготит их обоих. Она смотрит на него доверчиво и открыто: вот она я, какая уж есть, — а он с грустным, умудренным любованием. Как им говорить о том, что и ему, и ей уготовано при этой встрече? Какими словами выразить?

— Владимир Андреевич, обещайте, что вы не будете прерывать меня, пока я не скажу всего. Что бы я ни сказала, не прерывайте. Пожалуйста.

— Хорошо, я обещаю вам, — говорит он, видя, как она ужасно, катастрофически волнуется.

А у него вид серьезного, много повидавшего и много пережившего человека. Он смотрит на нее спокойно, благожелательно, умно.

— Видите ли, я хочу... если кратко... я хочу сделать вам подарок.

— Мне? Какой? И за что?..

— Вы обещали не прерывать меня, — она говорит, задыхаясь от волнения. — Я решила... посвятить вам себя... Это и есть мой подарок.

«Нет, постой!.. Она не так, не так!.. Как-то иначе...»

Может быть, она произносит тихо, сразу севшим голосом:

— Я... дарю... вам... себя...

«Нет, опять не то... Получается обреченно. А разве с таким чувством придет она ко мне!»

Признаться, где-то здесь начинались для него «разночтения». Всякий раз одно и то же она говорила поразному.

— Вы, конечно, спросите, почему я это говорю, почему я на это вдруг решилась. Не вдруг, нет! Я давно уже знаю вас и давно ношу в себе надежду — нет, решимость. Я знаю, вы, в сущности, очень одиноки. Так я буду вам другом, преданным, самоотверженным другом. Я буду счастлива посвятить себя вам, Владимир Андреевич, вашему делу, поэтому пусть не покажется странным мой сегодняшний поступок...

Голос ее явственно звучал у него в ушах; ее взволнованное лицо стояло перед ним; он видел, как она мнет в пальцах концы пояска, и руки ее были перед ним живые.

— И вы не имеете права отказываться, потому что

это... это убьет меня. Поймите, с вами я вижу смысл жизни, без вас — нет.

Он слушал внимательно: нет ли фальши. И если фальшь была, тотчас заставлял воображаемую собеседницу повторить это место более искренне.

Далее она говорила примерно так:

— Да, я знаю, что вы женаты, и не претендую на роль жены. Я стану служанкой вашей, секретаршей, любовницей, девочкой на посылках — мне все равно, лишь бы быть рядом. Я всегда буду вашей тенью, никому не видимой и совсем не обременительной вам... Я люблю вас.

Она говорила, говорила, и он по нескольку раз мысленно повторял ее фразы, одну за другой, примеряя к месту и так, и этак, выслушивал их то в одной интонации, то в другой: «Я люблю вас... Люблю... Я люблю тебя».

Нет, Владимир Андреевич не упивался ее славословием в свой адрес. Просто он сознавал, насколько необычен такой поступок, насколько он несообразен с реальностью. Ему хотелось как можно убедительнее мотивировать его, чтоб самому верить в то, что такое может случиться, может! Ведь эта история только в том случае могла радовать, если она выглядела убедительной в его собственных глазах!

Он никак не мог остановиться на том, кто же она. То ему хотелось, чтобы девушка была, например, студенткой с истфака — тогда она будет способна оценить по достоинству, скажем, его оригинальную версию о происхождении и родственных связях юного князя Ивана, правившего в Козельске во времена нашествия Батыя, или спорную, конечно, гипотезу о месте крещения киевского князя Владимира Красное Солнышко. А иногда он был совсем не против, чтоб познания ее ограничивались учебником для средней школы, тогда он имел бы радость сам прочитать ей полный курс истории. «Пусть их будет две», — усмехался Владимир Андреевич, иронизируя сам над собой.

И вообще, все это объяснение в парке никак не укладывалось в определенное русло, не находило единственно верных слов, тут он часто сбивался. Все зависело от того, насколько сам он бывал «в ударе» в минуты отрадных мечтаний. Иногда порыв вдохновения охватывал его всецело и все получалось так удачно — хоть записывай на

бумагу; чаще же он, разочарованный и огорченный, отступался.

Зато завершение их разговора сложилось давно, сложилось сразу и уже не претерпевало никаких изменений.

— Нет, — говорил он, нежно целуя ее, — я не могу отказаться от такого подарка. Это выше моих сил. Я принимаю его и благодарю вас.

20

«О черт! Если бы кто-нибудь знал, до какой степени я глуп!» — сокрушался он иногда, искренне удивляясь самому себе, как дивится ребенок, совершив какую-нибудь шалость: неужели это он такое сотворил! И сокрушался, и упрекал себя, и подтрунивал сам над собою: «Нет, конечно, знают, что глуповат. Но чтоб до такой степени! Об этом вряд ли подозревают».

Вот говорят: чужая душа потемки. А своя тем более. В самом деле, если разобраться: ну почему эта дурацкая выдумка тешит его, человека далеко не юного возраста? Как она может занимать его мысли? А ведь и тешит, и занимает... «Тайный порок души, — вздыхал Мережников, виновато усмехаясь, и тотчас оправдывался: — Но ведь об этом никто не знает! И никому от этого никакого вреда».

Это было *его* достояние, поделиться которым казалось немыслимым с кем бы то ни было. Не родился на свет человек, которому Мережников мог бы поведать придуманную им историю так, как она выпестовалась в его душе, и не было на свете муки, которая заставила бы рассказать ее. Дико даже подумать об этом! Ведь это все равно, что выставить себя на всеобщую потеху и поругание, все равно что признаться в тяжком преступлении, это столь же постыдно, как, например, выйти голым на улицу. Никто никогда не узнает о девушке с длинной косой и синими глазами — она живет глубоко в нем, а он никому ее не выдаст.

Однажды только, будучи в Москве у друзей, он за дружеской беседой случайно обронил: «Подошла бы какая-нибудь дура и сказала бы: пойдем, я люблю тебя. Пошел бы хоть на край света». Сказал и был поднят на смех. Виталий, только что вернувшийся после

очередной «охоты» со Златой, посмотрел на него внимательно и грустно и сказал:

— Брось, Володя. Никому мы не нужны с нашим душевным скарбом.

А Слава Фирсановский, так счастливо завершивший докторскую диссертацию, добавил, улыбаясь:

— Мой цикл размножения закончен, потому всякие эти любовные томления, вздохи... Будем преданы женщине по имени История! И только ей.

Вот так. Нечего было приставать к людям с откровенностями. Ну-ка расскажи он им о свидании напротив Княжой башни — то-то было бы смеху!

Если уж поделиться с кем-нибудь заветным мечтанием, если уж подступила бы такая крайняя необходимость — представим невозможное! — то Мережников, перебрав всех друзей, пожалуй, остановился бы на жене своей Любе. Та человек серьезный и, по крайней мере, не осмеет, а выслушает и, конечно, хладнокровно изречет: «Дурак, и больше ты никто. Что тебе еще сказать!» После чего о сем разговоре забудет.

Между тем глупая мечта наполняла его внутренним светом, а раз так, что же в ней плохого? Напротив: она благородна, она прекрасна.

Друзьям своим он не обронил бы и той туманной фразы, не случись накануне маленького происшествия, несколько выбившего его из привычной колеи.

Накануне у Владимира Андреевича был целый вечер пустой: дел никаких, встреча с друзьями назначена на завтра. Потолкался у Большого театра, надеясь купить билет «с рук», — не повезло. Тогда отправился на Красную площадь, где очень любил бывать, и в особенности по вечерам. По вечерам здесь рассеянный свет прожекторов, праздничное, разноязыкое многолюдие...

Он гулял по площади, отрешенно улыбался незнакомым людям, подолгу смотрел на купола Василия Блаженного и вдруг в ровном говоре, стоявшем вокруг, услышал явственно фразу, произнесенную девичьим голосом!

— А в меня часто влюбляются!

Сказано было весело, с беззаботным смешком, с лукавой безоглядной интонацией. Владимир Андреевич живо обернулся — кто это мог так сказать? — и увидел проходящую сквозь толпу пару: пожилой, слегка скособоченный то ли от тяжелого портфеля, то ли от физического недуга, крупный мужчина и рядом с ним тоненькая

девушка в кожаном пальтишке, в вязаной ярко-алой шапочке. Она говорила, говорила, почти не переставая и как-то странно вдруг вспыхивая смехом. А ее спутник что-то отвечал глуховатым голосом, и Владимир Андреевич поймал печально любующееся выражение его глаз, когда тот смотрел на нее.

Нетрудно было догадаться, что эта пара — малознакомые люди, возможно, только что разговорившиеся. Владимир Андреевич проводил их взглядом и как-то сразу заскучал, загрустил...

Четверть часа спустя он вдруг увидел их снова. Они брели в обратном направлении, именно брели, неторопливо, нога за ногу, и все так же увлеченно беседовали. О чем они могли толковать? Да не важно. Ясно было только то, что этому пожилому человеку приятно беседовать с юной девушкой, а той лестно его внимание.

Поддаваясь безотчетному чувству, Владимир Андреевич пошел в том же направлении, что и они, иногда теряя их в толпе и тотчас снова находя. Возле Василия Блаженного они остановились и долго разговаривали, а он ходил в отдалении и укорял их: «Ну будет вам! Как можно так долго говорить! О чем?» Вот сейчас они попрощаются, и он подойдет к этой девушке и заговорит с нею. Мережников заранее волновался, волновался до того, что все тело подрагивало, как от холодной сырости, хотя вечер был теплый.

«А в меня часто влюбляются!..» Он улыбался, вспоминая, и неторопливо выписывал восьмерки перед Спасской башней. Вдруг увидел, что пожилой собеседник «красной шапочки» идет один в сторону Замоскворечья; Владимир Андреевич оглянулся — девушки нигде не было видно. Он сразу запаниковал и торопливо пошел к тому месту, где она только что стояла, и увидел вдруг ее в толпе, в нескольких шагах от себя.

— Вот, девушка, — сказал он ей, поравнявшись. — Я чуть было вас не потерял...

Девушка обернулась: кому это говорят?

У него и впрямь был вид человека, только что счастливо нашедшего свою пропажу, и голос звучал обрадованно.

— Кто этот симпатичный мужчина, с которым вы так увлеченно беседовали?

Она засмеялась, как вспыхнула, и смехом покрыла возникшую неловкость.

— А-а... Очень интересный человек! Я так разболталась с ним, так разболталась...

— Небось преподаватель из вашего института или что-то в этом роде?

— Нет, он назвался научным сотрудником... чего-то там.

— Очень почтенная должность.

С этого начался их разговор и потек довольно свободно, без напряжения, без фальши. Мережников сказал, что у Новгородского кремля тоже есть Спасская башня, и стал объяснять различия, исторические и архитектурные, обоих кремлей: в Москве и в Новгороде. А девушка оказалась заинтересованной слушательницей, спрашивала, удивлялась, восхищалась. Вот так, беседуя, они шли по Красной площади, а потом Владимир Андреевич заговорил, все более волнуясь:

— Мы с вами через четверть часа или чуть позже расстанемся и даже не будем знать друг о друге, кто мы и что мы. Просто встретились двое людей в великом круговороте, поговорили и разошлись. Поверьте, я не стану набиваться на знакомство, спрашивать, как вас зовут, где вы живете и прочее. Но ведь как все это странно, согласитесь!

Она согласилась, весело улыбаясь и поправляя шапочку.

— Что-то мне грустно сегодня, — признался Владимир Андреевич. — Так грустно! Должно быть, оттого, что на весь вечер остался совершенно один. И все это усугубилось как-то...

Он растерянно развел руками.

— Да что вы! — она вспыхнула смехом. — А я так очень люблю оставаться одна.

Смешная девчонка и очень милая.

Мережников улыбнулся:

— Я говорю совсем об ином — об одиночестве в толпе, в комнате, полной людьми, в шумной застолице...

Он увлекся, пустился в пылкое и откровенное рассуждение, спутница поглядывала на него серьезно, озабоченно, внимательно.

— Нет, не о том что-то я, — глубоким вздохом и раскаянно прервал свою речь Владимир Андреевич. — Давайте о чем-нибудь повеселее. Что у вас из дежурной тематики? О театре, что ли, а? А часто ходите в театр?

— Не очень... Но, продолжайте, пожалуйста. Вы так говорили... Я впервые слышу, чтобы так...

Владимир Андреевич потом и не мог вспомнить, сколько раз они пересекли площадь от Василия Блаженного до Исторического музея и обратно, после чего брели вдоль ограды Александровского сада, наконец, оказались у гостиницы «Москва», в которой он тогда жил. Здесь, у метро, попрощались. Он смотрел, как она спускается по лестнице, и ему хотелось остановить ее, сказать напоследок что-то значительное, что-то очень важное. Она снизу глянула на него, стащила с белокурых волос алую шапочку, помахала ею, улыбнулась печально и исчезла.

И сладостно, и горько было ему оттого, что она ушла, не оставив ему ни имени своего, ни адреса — ничего. Он не знал, будет ли сожалеть потом, но и в эту ночь, и на другой день, то и дело мыслями возвращался к ней, видел ее внимательные глаза, обращенные к себе, и слышал тронувший его голос: «Продолжайте, пожалуйста. Вы так говорили...»

И вот когда сидел с друзьями, которых давненько не видел, вздохнул вдруг: «Подошла бы... пошел бы хоть на край света».

21

День и два прошло, он все хотел встретить соседку, остановить и сказать ей очень мягко, очень вежливо и очень деликатно, сказать заготовленные загодя слова: «Послушайте, я совсем не против того, чтобы вы по субботам шептались с кем-то в постели. Меня это даже забавляет, хоть и не всегда. Но, как порядочный человек, я должен вас предупредить, что мне все слышно. Может быть, и не только мне. Понимаете?»

Но именно в эти дни он не видел соседку.

И наступила вновь суббота, и все повторилось, как прежде. Даже с тем же заботливо-нежным вопросом...

Услышав это, он сгреб в охапку подушку, одеяло, тюфяк, хлопнул все в соседней комнате на пол, крепко закрыл дверь в свой кабинет и улегся спать прямо на полу. Ни шороха, ни звука не долетало сюда от соседки, но он не мог уснуть. Было жестко, было досадно, было горько неизвестно отчего. Он чувствовал себя глубоко оскорбленным.

Эта бессонная ночь тяжело далась ему.

В понедельник утром перед тем, как идти на работу, он стоял на лестничной площадке и поджидал соседку. Поджидал затем, чтобы сказать ей давно приготовленное. Ведь надо же было ей это сказать!

«А может быть, не надо?.. Нет, скажу».

Он вздрогнул, когда открылась дверь ее квартиры и выбрался, держась за стенку, малыш, а вслед за ним показалась мать, а больше никого.

— Доброе утро,— сказала она и чуть склонила голову, то ли перед ним, то ли к малышу.

— Доброе утро,— ответил Мережников и больше не проронил ни слова. Странное волнение охватило его, и он не смог справиться с ним.

«За что сужу? — опять подумал он, пожимая плечами.— Кто она мне и кто я ей? Так в чем же дело? Она нарушает мой обывательский покой? Но ведь виновата не она, а прелести крупнопанельного домостроения. Что-то во мне стариковское появилось, ханжеское...»

В тот день он сказал жене с веселой досадой:

— Прям черт знает что! Хоть квартиру меняй. По субботам невозможно спать.

Жена подняла на него вопросительный взгляд.

— Какие-то странные звуки всю ночь раздавалися там,— с усмешкой пояснил он, кивнув на соседнюю квартиру.

Жена понятливо улыбнулась, потом вдруг нахмурилась, осененная внезапной догадкой, и сказала:

— Так вот почему ты будил меня в тот раз! Это было в ночь с субботы на воскресенье.

Она уставилась на него, и густая краска поползла ему на щеки. Точно так же, от гнева и возмущения, вспыхнула Любовь Ивановна.

— Боже мой! Какая низость!..— выговорила она.— Что за скотские побуждения!

Они особенно пылко поругались в этот день.

22

Счастливо выдуманная история о девушке, влюбленной в него, служила ему утешением, пусть и кратким, в те сирые минуты, которые выпадали на его долю в последнее время. Он возвращался к ней, как ребенок к любимой игрушке, с нею засыпал, с нею утром вставал

с постели. Она наполняла неосознанным ожиданием все его существо, чем бы он ни занимался. И чем круче заваривалась вокруг него житейская сумятица, тем доверчивей была его приверженность к глупому вымыслу.

Он шел с работы домой обычно с тягостным предощущением грядущих неприятностей. Если жена была дома — а это случалось довольно редко,— он долго старательно мыл руки, чтоб у Любови Ивановны было время собрать на стол и уйти в соседнюю комнату. Обедал или ужинал в одиночестве, придерживая на краю стола книгу.

Поужинав и выйдя из кухни, Владимир Андреевич вежливо осведомлялся о чем-нибудь, например:

— Кто-нибудь звонил?

Он не хотел еще более обострять отношений, надо было как-то удерживать их на достойном уровне.

Любовь Ивановна тотчас холодно советовала:

— Если ты думаешь, что мне кто-то будет звонить тайно от тебя, подключи магнитофон.

«Приглашение к диалогу»,— усмехался муж и вместе с тем чувствовал, как злость уже шевельнулась в нем.

— Я о тебе,— говорил он тихо и с расстановкой,— теперь волен думать что угодно. Если ты способна на флирт возле мусорной машины и на лестничной площадке...

Он знал, что ее больше всего сердит это дурацкое обвинение, потому и пользовался им. Любовь Ивановна делала над собой усилие, чтоб не сорваться и не наговорить по горячности чего-нибудь, и уходила в другую комнату, включала телевизор, а Владимир Андреевич чувствовал себя удовлетворенным.

Если он осведомлялся довольно невинно: «Ты нынче расстроена?» — или что-нибудь в этом же духе, она, краснея пятнами и блестя глазами, срывалась с ровного голоса:

— Расстроена, потому что давно не виделись. Ясно тебе?

Ей казалось, что муж ее подозревает всерьез, и ее особенно оскорбляло это.

— Ясно,— ответствовал он.— А кричать к чему? Вон дочь сидит. Ее не интересуют твои интимные обстоятельства.

После чего надо было непременно и поскорей разойтись по разным комнатам, иначе следовал злой «диалог», в котором они не щадили друг друга.

Отношения у супругов Мережниковых портились не поймешь из-за чего. Взаимная холодность друг к другу превратилась в неприязнь, неприязнь переросла в раздражение — все это рано или поздно должно было вылиться наружу, а повод найдется, не в нем дело. Однажды муж увидел Любовь Ивановну мирно беседующей у подъезда с соседом. Этот сосед был пожилой мужчина, всегда щеголевато одетый, немного кокетливый в манерах. Беседа у них шла, как заметил Владимир Андреевич, «не по правилам». То есть его жена разговаривала с соседом заинтересованно и благожелательно, как она разговаривала всегда и со всеми, а тот принимал это как благосклонность к нему лично, потому поигрывал и голосом, и глазами, что не понравилось Владимиру Андреевичу.

— Этого старого козла надо проучить, и я это сделаю,— пообещал он жене.— Пусть только еще раз поговорит с тобой подобным образом.

— Следует ли мне, мой дорогой супруг, воспринимать это как вашу ревность? — с шутливой церемонностью спросила Любовь Ивановна, которой сначала вроде бы и приятно было негодование мужа.

— Нет! — ответил он резко.— Я забочусь о своем добром имени! И только.

Разговор этот больно задел Любовь Ивановну, тем более что она не замечала заигрывающих интонаций в голосе соседа и считала все чистейшим вымыслом своего мужа. Она была поражена тем, что Владимир Андреевич может вполне серьезно подозревать ее и даже опасаться за свою мужнюю репутацию — это было оскорбление, которое мобилизовало в ней все злые силы, и теперь она была излишне гневлива и не прощала мужу и малости. А ничтожность внешних поводов к ссорам угнетала их обоих.

Тихо и чинно было в квартире Мережниковых. Муж с женой старательно делали вид, что ничего особенного не происходит, что все идет нормальным порядком. Однако притворство удавалось плохо, и семилетняя Джуля то и дело с испугом поглядывала на молчаливых родителей.

И о щеголеватом соседе уже оба забыли, а напряженная атмосфера в семье Мережниковых осталась: тучи нанесло до самого горизонта, и не видать просвета. Лишь изредка как бы расступались они, и выглядывало солнышко — улыбка всходила на красивое лицо Любови Ивановны, и взгляд ее на мужа был ласков, как в былые

дни. Если это совпадало с его добрым расположением духа, они могли разговаривать о чем-нибудь вполне нормально. Например, о соседке.

— Если в субботу будет опять то же самое, пойдем к ней и объяснимся,— решила она.— При этом хахале. Да-да, будь мужчиной! Мы должны выразить свое отношение к этому безобразию. Шугануть его хорошенько...

— Чистоту телесну храни,— проговорил муж с улыбкой,— кроме жены своей не знай никого и пьяньственнаго недуга также берегися, в дву сих главизнах вся злая сводятся до ада преисподняго...

Любовь Ивановна любила решительные поступки, и он знал, она именно так и сделает, потому злополучной субботы ждал, как очередную надвигающуюся беду.

Однако суббота, против ожидания, оказалась тихой. Ребеночек соседки долго играл жестяными игрушками, бегал по комнате, звал мать, а та чем-то была занята: то ли с посудой на кухне, то ли стиркой в ванне. Никто не пришел к ней, и Мережниковы в эту ночь уснули успокоенные.

Неделя миновала, и снова суббота оказалась тихая. Потом следующая — и опять у соседки никого. Супруги Мережниковы уже не вспоминали о ней. Однажды только, во время очередного краткого «прояснения», Любовь Ивановна спросила с иронической усмешкой:

— Володя, теперь спокойно спишь?

Он заподозрил, что она исполнила свое намерение и объяснилась с соседкой.

— Ну вот еще! Я с ней не разговаривала,— решительно отвергла жена.— Это ниже моего достоинства — знаться с такими женщинами.

Ниже ее достоинства... А и в самом деле их трудно представить рядом. «Какое дикое сопоставление: моя жена и эта! — думал он удовлетворенно.— Моей Любе хоть медаль давай за осанку, за стать, да что ж, и за нравственность тоже. А та — должно быть, просто распустеха, бабенка без строгих правил».

Распустеха, однако же вот... нравится кому-то! А на него, своего соседа, и не смотрит даже. А ведь его хладнокровная, рассудительная жена считает своего мужа красивым: «Хоть и не румяное ты яблочко, а шибко привлекательное — можно на выставку, как образец».

23

В бабьем царстве в большом ходу были розыгрыши и всяческие глупости. Здесь подчас происходило такое, от чего Владимир Андреевич, не раз бывший тому свидетелем, смеялся до изнеможения. А посмеяться он любил. Зная за Мережниковым эту слабость, женщины, как только он появлялся, затевали очередной спектакль или, как это у них называлось, «производственную пятиминутку».

Вера Станиславовна, солидная, очень серьезная женщина, поднимала телефонную трубку и набирала какой-нибудь номер, тыкая в вертушку пальцем наугад. Если ей отвечал мужской голос, разговор шел примерно по такому сценарию:

— Здравствуйте! Ой, я, кажется, не туда попала. Все время срывается семерка. Тут какое-то колдовство. Как только наберу ее, так попадаю неизвестно куда. Вы уж извините, ради бога, у нас телефон шалит. Надо же так!

С этого Вера Станиславовна входила в роль, и это же служило ей как бы пробным шагом, разведкой, насколько податлив собеседник. Далее шло веселей.

— Звоню Пете — это мой муж,— узнать хочу, уехал он в командировку или нет. Вот звоню ему, а слышу вдруг такой приятный мужской голос. Ха-ха. Нет, у него не такой приятный. Вот что автоматика творит: набираешь мужа, а тебе выпадает чужой мужчина. Ха-ха... Вам можно по телевизору выступать. Такой бархатный тембр. А мы бы на вас смотрели. У меня сынишка очень любит телевизор... Он сейчас у бабушки гостит. Нет, не телевизор, а мой трехлетний сын... Ах, что вы! Где уж там молода! На днях двадцать пять исполнится.

Далее разговор принимал оттенок все большей и большей интимности.

— А я всегда боюсь газовой колонки,— говорила Вера Станиславовна изнеженным голосом, не обращая внимания на сдавленно хохочущих подруг.— Как, знаете, перед сном входить в ванну, колонка шумит. Страшно... Особенно когда одна. Да. Посмотрю на себя в зеркало — у меня глаза вот такие. Нет, что вы! У нас в ванне зеркало не очень большое... Ну, уж вы скажете...

В комнате уже всхлипывали и постанывали от сме-

ха, Вера Станиславовна грозила кулаком и продолжала в том же духе. Телефонный роман развивался в соответствии с законами диалектики: разговор заканчивался договоренностью о том, «где встретиться».

Положив трубку, она говорила:

— Ну, девки, нынче в пять он будет дежурить возле памятника Тысячелетию, под фонарем. Опознавательный знак — свернутая в трубочку газета, как в детективном фильме.

В пять часов обитательницы бабьего царства ходили к памятнику Тысячелетию России смотреть на «шпиона» с газетой.

Ходил однажды и Владимир Андреевич: любопытство одолело. Это когда Вера Станиславовна совратила Алексея Викторовича Балина.

— Да ну! — не поверил тогда Мережников.— Он не придет. С моим директором у вас ничего не выйдет, это человек морально стойкий. Тут вас ожидает великое разочарование.

— Придет! — уверяли его.— Как миленький прибежит. Будет стоять, где и назначено: под аркой кремля, возле сувенирного киоска. Спорим?

Вот тогда Владимир Андреевич и отправился посмотреть.

— И каково же было мое удивление...— рассказывал он потом в бабьем царстве и хохотал до слез.

Удивление его было действительно велико.

Алексей Викторович ходил под проездной аркой кремля, что со стороны Волхова; в левой руке он держал, как и было условлено, свернутую трубочкой газету. Он имел, как всегда, вид солидного, занятого важным делом человека.

— Ну какие же все мужики дураки! — дивились, ахали в бабьем царстве.

Тоня по-детски вопрошала:

— Неужели и мой такой же?

— Твой лучше,— уверяли ее, фыркая от смеха.

А Валентина довольно мрачно предлагала:

— Давай испытаем, чтоб тебе не думалось. Позвонить ему?

Тоня пугалась и говорила:

— Нет, не надо. Вдруг и правда. Как я тогда с ним жить буду?

— Твой не поддастся,— очень серьезно говорила Вера

Станиславовна, и от этой ее серьезности смех вспыхивал еще дружнее.

Иногда за телефонный розыгрыш бралась сама Тоня, но у нее получалось совсем не то. Она имела крупный недостаток: была смешлива, а это при розыгрышах совсем ни к чему.

«Что за смех, когда речь идет о любви!» — журила ее Вера Станиславовна.

Тоня бралась за трубку, предварительно насмеявшись и едва сдерживаясь, чтобы вновь не расхохотаться.

— Кто это? — спрашивала она чересчур строго.— Строительное управление...— на лице ее отражалась некоторая растерянность.— А мне монтажника. Какого? Любого... Скорей!

Вот эту ее историю, как Тоня Митрофанова попала в стройуправление, потом вспоминали долго, рассказывая вместо анекдота: «Мне монтажника».— «Какого?» — «Любого, только скорей!»

Очередная пятиминутка случилась уже при Людмиле Романовне. Мережников, зашедший с самым грустным видом, сразу развеселился и смеялся больше всех.

— Позвоните Иванину,— предложил он Вере Станиславовне, заранее хохоча.

Иванина на месте не оказалось, и это спасло члена-корреспондента Академии наук от розыгрыша.

— Давайте в газету звякнем,— в свою очередь предложила Тоня.— Там есть один, у нас на Ленинградской живет, в береточке, в очках, говорок у него частый-частый, не сразу поймешь, что он толкует. Это он все о выставках да археологах пишет.

— А-а, знаю! Это из отдела культуры. Валяйте,— поощрил Мережников.— Его следует, он заслужил.

Вера Станиславовна с равнодушным видом набрала номер:

— Здравствуйте... Вы извините, я очень робею... Впервые приходится... Но, знаете, очень-очень ваши статьи... Просто наизусть помню. Какие именно? А все! Вчера мне вас показали, вы шли по Ленинградской... Вот не ожидала, что вы такой... Такой молодой и необыкновенный! Нынче я вас утром ждала, а вы прошли и даже не взглянули...

Пятиминутка растянулась на полчаса.

24

— Любовь изобрели мы, женщины! — говорила Людмила Романовна, поглядывая на молчаливого Мережникова.— Ведь началось с чего? Мужчины являлись в пещеру, приносили кусок мамонта, складывали в углу каменные топоры и подходили к огню погреться. А тут сидели мы, питекантропки и неандерталки. Они, грубые, примитивные, хватали нас и тащили по углам. Уж, казалось бы, чего проще: покорись, перетерпи. А мы не покорялись! Мы визжали, царапались, плевались — нет! Сначала потанцуй вокруг костра, попрыгай через огонь, обруби топором космы на башке, а потом уж... может быть и...

Людмила Романовна живописала с жаром, почти вдохновенно: Тоня влюбленно смотрела на нее, не переставая смеяться.

— Они были страшно неотесаны и с трудом поддавались дрессировке. Однако мало-помалу... Сначала некрасивые телодвижения вместо танца, дикие выкрики вместо песен, потом уже началось искусство. Рисунки на скалах... хоровое пение на один голос... односложные эпитафии на камнях... Ну а дальше — балет, серенады под окном, симфонии...

— Поножовщина,— подсказала Валентина мрачно.

— Рыцарские турниры! — не согласилась с нею Людмила Романовна.— Да-да, турниры! Кулачные бои и сражения гладиаторов. А мы их подталкивали: превосходи своих соперников пылкой храбростью, силой, умом! Выдумывай, исследуй! Здесь начало наук. Так ведь, Владимир Андреевич?

— Так, так,— кивнул он.— Последовало изобретение велосипеда и пороха...

— Истребление фауны и флоры,— опять довольно мрачно подсказала Валентина.

— Пьянство и распутство,— еле выговорила Тоня.

— Да ну вас! — почти рассердилась на своих соседок Людмила Романовна.— Чем занимались ваши бабушки, интересно знать, если у вас в крови такое... Полное отсутствие романтики! Вы что?! А я вам говорю: науки, искусство, прогресс — вся цивилизация! — это следствие любви, которую изобрели мы, женщины.

25

И в девушках, и будучи уже замужней женщиной, Людмила Романовна всегда ревниво следила, какое производит впечатление, и почти всегда это приносило ей большое удовлетворение. Не было такого, чтоб вот кто-то ей нравился и при этом не обращал бы на нее внимания. Наоборот! Шла ли по улице — она ловила на себе заинтересованные взгляды; сидела ли в гостях — за нею ухаживал и сосед справа, и сосед слева, и тот, что напротив; ехала ли в поезде — в ее купе был самый интересный разговор, и шутки, и смех: это спутники старались ради нее.

Все проявления симпатий она принимала как должное, и даже привыкла к ним. Она находила эти проявления даже тогда, когда их вовсе и не было! «Я женщина,— говорила она себе,— и хороша собой, потому мне поклоняются. Красивая женщина — это королева жизни. У нее всегда должен быть штат вольнонаемных рыцарей, и они у меня есть».

Иногда поклонение доходило до смешного или принимало совсем нежелательные формы, но это уж, как она считала, неизбежно при таком обилии поклонников.

Еще в те дни, когда Людмила Романовна готовилась к переезду в Новгород, когда ремонтировала здешнюю квартиру, ее познакомили с сантехником из соседнего дома: он, мол, и отопление отремонтирует, и стекла вставит — на все руки мастер. Это был мужичок низенький, гораздо ниже среднего роста, хитро соображающий, в молодцеватой кожаной каскеточке, какие носят шоферы-таксисты. Лет ему уже за сорок, а звали его дядя Вася.

— Для вас просто Вася,— сказал он ей в тот день, когда пришел поставить в кухне мойку для посуды, при этом оглядел ее довольно откровенно, что показалось Людмиле Романовне забавным. «О, этот дядя Вася — хват!» — подумала она тогда и позволила себе поговорить с ним в том же легком и веселом тоне.

Дядя Вася денег за работу не взял, а, уходя, обещающе сказал:

— Вы, если что, зовите меня... Кран там потечет... или скучно будет.

Проводив его, она расхохоталась. Дядя Вася был явно туповат и некультурен и попросту хамоват, но то, что и он

отныне в ее поклонниках, было ей почему-то приятно.

Поскольку она его потом не приглашала, то он пришел сам. На этот раз Людмила Романовна была не одна, дочь приехала оглядеть новое жилье, и дядя Вася, покрутив вентили в кухне и в ванне, ушел ни с чем. Но все-таки, улучив момент, подмигнул хозяйке весьма недвусмысленно: я, мол, понимаю, конспирация и все такое прочее, я-де потом приду.

Следующая встреча произошла у них на лестничной площадке довольно случайно, недели через две. Дядя Вася поинтересовался, не уехала ли дочь, и, услышав, что нет еще, сокрушенно помотал головой. Бес толкал и Людмилу Романовну, ее забавляло это ухаживание сантехника. В их коротком разговоре он выяснил, куда она поступила работать, и обронил: «Хорошо, я зайду». Она тогда полагала, что обещание зайти — всего лишь форма вежливости, и даже сказала: «Заходите»,— и тотчас забыла об этом.

И вот сегодня дядя Вася, красный от волнения и натужно улыбающийся, появился в дверях бабьего царства. Его появление было так неожиданно, что Людмила Романовна тоже растерялась.

— Что вам? — спросила вежливо Тоня.

Дядя Вася беспокойно бегал глазами и бормотал с улыбочкой:

— А я это иду мимо... Зайти, думаю?..

Людмила Романовна смотрела на него холодно, как подобает смотреть на незнакомого человека. Дядя Вася что-то уразумел и сконфуженно попятился.

Как раз в этот момент вошел Мережников, вежливо посторонился, пропуская сантехника, и Людмила Романовна тотчас заговорила с Владимиром Андреевичем, чтоб отвлечь всеобщее внимание от дяди Васи. Тот исчез, и она облегченно вздохнула.

Слава богу, никто не заподозрил ничего, а иначе... Людмила Романовна легко могла себе представить, что последовало бы, догадайся кто-нибудь, что этот неказистый мужичок пришел именно к ней. То-то было б веселья! И надолго.

Мережников и разговаривал, и улыбался, и даже шутил, но от наблюдательного взгляда Людмилы Романовны не укрылось, что была в этом принужденность, что-то мешало ему, что-то печалило.

«Почему у него такое выражение в глазах,— думала она, внимательно следя за ним, пока Вера Станиславовна

развлекала компанию.— Вот уж и смеется, а все равно... Что его тяготит? Молодой, красивый, умный... Чего вам не хватает, милый вы мой? Ведь все прекрасно. А мелкие огорчения — это пройдет. Я загорожу вас от всех печалей».

Она перебирала в памяти прошлые их разговоры, вспомнила, как он в прошлый раз упомянул соседа и пошутил про «мусорный роман». Может, за этим что-то кроется? Дай-то бог! От его красавицы небось всего можно ожидать.

И Людмила Романовна с возрастающей неприязнью думала о жене Мережникова: «Что имеем — не храним, потерявши плачем. Так-то, голубушка!»

26

Было известно, что Мережников располагает уникальной именной картотекой: будь то Великий князь Киевский или слуга захудалого новгородского боярина, если только в летописях, в документах ранней русской истории кто-то был назван по имени, значит, на него заведено что-то вроде паспорта в картотеке Владимира Андреевича, которая вот она, в его домашнем кабинете.

«Писана кабала на Семейку Сысоева сына... а ростом середней, молод, лет в двадцать, глазат, языком момотлив»,— занесено в кабальную книгу.

А не отзовется ли этот Семейка, что «языком момотлив», еще раз из необозримого пространства давно ушедшего времени и не совершит ли что-нибудь во славу русской истории? Потому в обширной картотеке Мережникова заведена на Семейку карточка со всеми «особыми приметами», датой и местом упоминания, короче говоря, всем, что только известно о Семейке Сысоевом сыне. Долетит о нем вторая весть — вместе с первой будут пополнять друг друга. Честь и место Семейке!

Еще больше честь и еще почетнее место новгородцу Замятне, уже имеющему и облик, и деяния — значит, он не умер, запечатлелся в Слове.

Отец его Некрас был одержим бесом стяжательства. Бес этот водил Некраса и на Колу, и к Сурожскому морю; отец брал сына с собою в Югру, когда Замятня был отроком. Юный купец к торговому делу был прилежен, но более обнаруживал интереса к новым людям и к новым землям да еще к книгам.

Отец ушел в Булгар, оставив сына с малым товаром в Великом Устюге. Здесь настигла Замятню весть, что Тохтамыш пограбил и побил русских людей в Булгаре, о чем с сокрушением сердца писано осиротевшим отроком в Великом Устюге. Он уже знает, что мертвого отца с товарищами татары пустили в челноке по течению Камы.

Торговые ли дела повлекли или великий дух странствий — на другое лето отправился Замятня на Вычегду, а от устья Вычегды в сторону Каменного Пояса. Дошел до того места, где в толстых пластах известняка зарождается река Вым, о которой он слышал в Новгороде. В верховьях Выма Замятня заболел, и надолго. Выхаживали его пермяки, водя за исцелением к лесным божествам. О деревянных бабах, о грудах гниющих возле них дорогих мехов — куниц, рыси, черной лисы, соболя; о серебряных чашах с неведомыми письменами и узорами, о белых полотнах — обо всем этом и прочем с удивлением повествует новгородец Замятня то ли в письмах, то ли в путевых записках. Для кого и кому писано — неизвестно.

В одном месте упоминается «даръ твой» (не о приданом ли?) и «дедко», где речь явно идет о Вячеславе Прокшиниче, должно быть, новгородском посаднике.

Все любопытно и загадочно.

От пермяков Замятня собирается уйти по короткому волоку с Выма на Ухту-реку...

А что с ним было дальше? Увы, никаких свидетельств!

А если свидетельства все-таки где-то имеются?.. Надо искать. Замятня того заслужил.

«Се яз, игумен Христофор, купил есми у Микиты у Ондреева пожню на Выксе... да гуменцо к той же пожни по старую межу, да жар лес... У Василия Прокшина сына Калытырина с товарищи куплено избенко с гуменными хоромы на уголье к каменному делу».

И рачительный игумен Христофор не потонул в безвестье, и он тут же, в кабинете Мережникова.

Несколько лет назад он выудил из океана забвения Ириньицу. Та Ириньица была дочерью ведерника Ворошила Власьева с новгородской Редятиной улицы, что в Людином конце. Была Ириньица «велелепна и велеозарна красотою лица своего, высока, чиста, доброноса, чистома бровма и велеока». Отец, как сказано было в старинной рукописи, обратился к ней с такой речью: «Чадо, доспела еси цветом полевым, реци ми, коего ти царя син годе есть, да с тем тя венчаю...»

Знать, небездоходно делал свои ведра Ворошило, имевший «землю орамую и луговую» по реке Шелони, и по стати невесте приготовил приданое, раз считал, что дщерь его достойна любого жениха, даже царского сына.

Вдруг появляется в полустершихся записях ильменский рыбарь Жданко Полочанин и возлюби дочь ведерника. Отец того Жданко, как явствовало из другой рукописи, был приведен в веденцах с Болосина Поля, а где то Поле — должно быть, в Полоцкой земле. Иначе откуда прозвище Полочанин?

«Жданко, видевши ю, начаша ю вабили за Днепр в Волоскую землю на реку Ревлю»...

Сманивал, значит, девку ухарь-полочанин. Да, видно, не по нраву пришелся Жданко ведернику Ворошиле или тяжело было отцу расставаться с Ириньицей, не хотел он «вдати дщерь в супружество». Может, за крепким запором держал ведерник красавицу дочку, или сама она чтила отцову волю, и ушел обиженный Жданко с купеческим обозом на юг.

Ветхая, распадающаяся рукопись повествовала далее: «Том же летом стоя все лето ведром и пригоре все жито. И бысть глад в Новгороде, и мнози хлебные ради скудости едяху траву и коренья, и млеко в дни постные».

И еще несчастье: «Сему же Ворошиле случися огнеными болезнию болети тяжко вельми до толика, еже не знати ему от умножения болезненаго и своих домочадец».

Обрывок надписи, найденный Мережниковым много времени спустя, гласил: «Погребен бысть Ворошило на буевище за Веряжею». О ведернике ли речь, о другом ли новгородце, кто знает!

Осиротевшая Ириньица в другое лето отправилась в долгий путь: может, надеялась найти Жданко, а может, весть ей прислал. К празднику святой троицы «придоша в Цернигов» Ириньица. «Во граде же Цернигове бысть в те дни ведро и воздух благорастворен, и кротко, и тихо, и светлость велиа зело». В добрый час пришла она сюда!

Однако не все то добро, когда «мнози очи имут на ню». Поселилась она у Павлы, вдовы сукновала, и здесь «старец же ветхой сей, Орефа-бортник, юностьными облегаеть себе вещьми, Ириньице привязается законом брака», улещает «зелом богатьством».

Нехорошо, старче! Грех... А вот и заговор влюблен-

ного бортника: «Горело б у рабы божии ретивое сердце по мне, рабу божию Орефию, в день при солнце, в ночь при месяце, месяца ветха, полна и перекроя, то по всякой день, по всякой час...»

Но «того же лета подрядился Жданко Полочанин наломать где доведется камени белого и ис того камени Неудаче Осташкову в Цернигове в готовой вертке скласть две печи добрым мастерством».

Да он на все руки мастер, этот Жданко,— и рыбу ловить, и печи класть! Такой упустит ли девку, что «чистома бровма и велеока»? Нет, не упустит. Жданко небось плечист и румян, радостив, леп, доброходен, с молодой кудрявой бородой (которая так ласково, так нежно щекочет шею!), с веселыми глазами, в которых сине, как в родном Ильмене, с голосом, которому идет и сладкий шепот и удалая песня. Зря старался ветхий старец Орефа, не улестить ему девку ни зелом богачеством, ни юностьными вещьми, не приворотить колдовским словом. Прощай, бортник Орефа, ты рано родился на свет и уйдешь рано, а Ириньица останется с Жданко...

То ли в самом деле одна судьба сложилась, то ли выстроились случайно в ряд пестрые свидетельства о разных людях — трудно сказать. Но Мережников уже привык к этим людям, и каждого представлял себе, как живого: и глыбистого, угрюмоватого Ворошила, и суетного, мелкого сластолюбца Орефу, и этих двоих...

Как хотелось ему думать, что идиллическая любовь сопровождала новогородскую красавицу и полочанина во всю их жизнь! Однако Мережникову попались в руки однажды разрозненные страницы неведомой рукописной книги без начала и конца, из которой явствовало, и что то ли внук, то ли племянник киевского князя Олелько, как сказано, вернулся в Киев, «с чужой жонкой Ириньицей» и она тоже «велелепна и велеозарна красотою лица своего». Вот тут и гадай: уж не та ли это, что с Редятиной улицы Новгорода? Время — то же, имя — то же, облик тот же, вот только место... А не увел ли свою невесту Жданко за Днепр, в Волоскую землю, на реку Ревлю? Ведь этот безымянный княжич вернулся в Киев, как сказано, именно из Волоской земли. Не приглянулась ли ему там чужая жонка, да и не увез ли он ее силою?

А что же Жданко, рыбарь и каменщик? Что с ним? «С чужой жонкой»,— значит, не со вдовицей. Что же случилось? Ведь не без своей охоты уехала Ириньица с

княжеским отпрыском, ибо обоих прогнали из Киева. Куда? Где теперь искать ее следы?

Некий княжич появился в Польше... С женой и малой дружиной. Не тот ли?

27

Нынешний день был для Мережникова удачен. В записях, сохранившихся неведомо как среди прочих бумаг Евфимьевского монастыря, оказалась одна довольно любопытного свойства: из нее пролился свет на судьбу игумена Иллариона, водившего дружбу с Прокшиничами. Игумен, как сказано, подарил внучке Вячеслава Прокшинича в день ее свадьбы святое евангелие «дивной работы», привезенное из Галича. Эта внучка выдана замуж за торгового человека, с которым была обручена чуть ли не с детства.

Вот уж не ожидал Мережников выудить такие сведения! И откуда! Из книги записей расходов и приходов, куда чья-то досужая рука вписала вдруг строки, как золотую нитку в рядовую ткань.

Не о Замятне ли часом речь? Не он ли это вернулся с Каменного Пояса, привезя с собою записки о виденном и слышанном для своей невесты? Скорей всего нет. Однако...

Эти монастырские бумаги, кое-как прошнурованные, некогда подмоченные, истлевшие, уже были однажды в руках у Мережникова, и он просматривал их, но бегло, и не смог разобрать тогда, о ком идет речь на тех вшитых позднее листах. А нынче пригляделся более внимательно, и вот...

Поистине никогда не знаешь, где потеряешь и где найдешь.

Мережников выглядел именинником и справедливо посчитал, что заслужил некоторую награду. А за окном жаркий день, велико желание искупаться, так почему бы и не поддаться искушению!

Пляж возле кремля самый ближний. Конечно, за городом, возле Юрьева монастыря, и вода попрозрачней, и песок почище, да только туда добираться-то сколько! А тут — вон он! — под боком. Сюда можно заглянуть и в рабочее время.

Солнце над головой горячее, речная гладь сверкает

ослепительными бликами, на пляже людно. Мережников разделся и, жуя пирожок вчерашнего производства, купленный по дороге, смотрел на блистающую реку, на праздничную толпу храмов в Ярославом Дворище за Волховом, на остатки довоенного моста... «Тое же осени внесе вода и лед и снег в Волхов, и бысть велика вельми и вышибе пятинадесять городень Великаго мосту».

Он представил себе мимолетно эти «городени», усмехнулся и продолжал размышлять.

Если повезло любознательному купцу Замятне Некрасову и он вернулся с Ухты-реки жив и невредим — это значило, что повезло и ему, Мережникову. Ведь в таком случае можно было надеяться, что грамотей Замятня не оставил благой склонности записывать впечатления о путешествии, обо всем виденном и слышанном. Следовательно, можно предположить, что где-то еще затерялись его записи и ждут своего открывателя.

Но даже и без них, лишь бы подтвердился факт возвращения купца и его женитьбы на внучке Прокшинича. Тогда можно сделать довольно широкие выводы из тех материалов о хитром игумене Илларионе, которыми Мережников располагал. У него была бы хорошая тема для очередной публикации и отличный повод удивить ученых мужей.

Честолюбивые планы, один другого заманчивей, толпились в голове Мережникова. «Только не надо спешить,— одернул он себя.— Не суетись, иначе все погубишь... А то получится, как с тем безымянным Олельковым внуком (или племянником?), что якобы убежал в Польшу. Кстати, нет ли о нем известий в переписных книгах, что привез Слава Фирсановский из Подольска? Вот повезло мужику!»

Им овладело радостное чувство, он словно встрепенулся весь.

Неподалеку расположились две девушки с книжками. Читали они усердно, редко отрывались. Тут же валялись толстые, насквозь исписанные тетради. «Студенточки,— снисходительно подумал Владимир Андреевич.— Июнь, экзамены у них...»

На одной был купальник удивительно ясного голубого цвета. Да и сама она была хороша — гибкая, легкая, светловолосая. Владимир Андреевич невольно наблюдал за нею, поспешно отводя взгляд, когда девушка случайно обращала к нему свое лицо.

Вот она встала, пошла...

— Наташа, погоди! — крикнула ей подруга.

— Да ну тебя, Галька,— отозвалась та.

Галя догнала ее, повисла на ней, но Наташа мягко отстранилась. Нет, ничто не нарушило гармонии в движениях девического тела, так просто, так великолепно облаченного в голубое.

«Да мало ли их, хороших-то! — одернул себя Владимир Андреевич.— Все хороши, пока молоденькие. У меня Люба такая ли ласковая была!.. А теперь что ни взгляд, то строгий выговор с предупреждением. И с занесением в личное дело».

Девушки постояли у воды, о чем-то весело разговаривая, и не стали купаться, вернулись на свое место. Владимир Андреевич лег лицом на руки, но прежние мысли о Замятне и Олельковом внуке покинули его. Он опять поднял голову и посмотрел на подруг.

«Вот что такое юность человека! — философски загрустил Мережников.— Ничего не делает девчонка: просто лежит. Но сколько в ней грации, сколько изящества! В том, как она облокотилась... В том, как постукивает ножкой по песку... На кого-то эта Наташа похожа. Кого-то очень напоминает».

Владимир Андреевич сходил к реке поплавать. Вода освежила его, и радостное чувство сильней зазвучало в нем. Уходить с пляжа ему уже не хотелось. «Должен же человек когда-то отдыхать».

Оглянулся — Наташа с Галей стряхивают песок с книжек, с того реденького старенького коврика, на котором лежали.

«А-а! Вы меня покидаете! — весело сказал он.— Тогда я тоже ухожу».

Девушки быстро оделись... «Нет, не оделись — облачились!» — и пошли по асфальтовой дорожке вдоль кремлевской стены.

«Ну да! Это же та «красная шапочка»! — неожиданно пришло ему в голову, но он тотчас усомнился.— Нет, та меня узнала бы. Однако очень похожа. Что, если спросить?»

Мережников заторопился, чтоб поспеть за ними, и, одевшись, пошел следом. Куда они пойдут сейчас? В кремль? А потом?

Но они поднялись к проездной арке кремля, под которой некогда разгуливал Балин Алексей Викторович с

газетой в руках, и прошли мимо нее. «Человек имеет право на глупые поступки»,— решил Мережников и отправился за ними, держась на почтительном расстоянии.

Галя обнимала Наташу за плечи, что-то все время рассказывала и смеялась.

«Куда они пойдут? — гадал Мережников, поглядывая на них.— Будут переходить улицу возле универмага? Или...»

Девушки повернули направо.

«А-а, вы на мост! Так нам по пути! Я всю жизнь мечтал пройтись в том же направлении!»

На мосту ветер налетал с Ильменя, пузырил ему рубаху, трепал галстук, и от этого было опять-таки очень хорошо.

Притворной нежности не требуй от меня...

Что это вдруг ветер поднялся! На пляже казалось, что вовсе тихо, а тут... Девчонки придерживали подолы платьев, смеялись, волосы их отдувало на сторону. Он различал смех Наташи — как все-таки она похожа на ту девушку, с которой он гулял по Красной площади!

Напрасно я себе на память приводил
И милый образ твой и прежние мечтанья.

Он в эту минуту чувствовал себя по-особенному хорошо, так хорошо, что просто не выразить словами.

Безжизненны мои воспоминанья,
Я клятвы дал, но дал их выше сил.

А в самом деле: как хороша жизнь! Свежий ветер, солнце, нарядный город... И милый образ твой. Как хорошо!

Вот он, милый образ твой, идет растрепой в невзрачном халатике, под которым голубой купальник, и облачено этим купальником девичье тело отнюдь не идеальных форм и пропорций.

На шумном перекрестке за мостом народу много, Мережникова затолкали, но ему и это было приятно. Здесь, в толпе, он приблизился к девушкам, уже не опасаясь, что они обратят на него внимание: почему, мол, идет следом.

«Куда теперь пойдем? — спрашивал он у них.— Может быть, расположимся на этом берегу Волхова и опять

будем загорать? Или отправимся на край света, где в толстых пластах известняка зарождается река Вым? Мне все равно, я готов».

Но возле кинотеатра «Октябрь» девушки вдруг свернули за угол дома и вошли в «Пончиковую».

«Я всю мою сознательную жизнь мечтал есть пончики!» — сказал себе Мережников и зашел в тесненькое помещеньице.

Здесь было жарко и душно, пахло горелым подсолнечным маслом и ванилью. Синий чад от плиты выволакивало в открытую дверь и в окна. «И об этом я только мечтал»,— упрямо повторил Мережников и подосадовал, что между ним и девушками в очередь вклинилась толстенная бабища, совершенно заслонив их.

«Так, пять штук пончиков и стакан кофе,— отметил он.— Очень хорошо. Великолепно! У вас завидный аппетит!»

Владимир Андреевич взял свои пончики и кофе оглянулся, где Наташа с Галей,— те стояли возле столика, за которым вполне хватило бы места и для него. «Но тут мужество покинуло его»,— подтрунил он над собой и поместился за соседним столиком.

Нет, это была не она, его собеседница во время прогулки по Красной площади. Конечно, не она!.. А впрочем, если одеть ее по-зимнему да водрузить на голову алую вязаную шапочку... К тому же не так уж и светло было в тот вечер, и у него не было возможности хорошенько рассмотреть ее лицо. Во всяком случае, она и Наташа были очень похожи друг на друга.

Из «Пончиковой» он вышел было следом за подругами и... остановился. «Хватит,— сказал он себе.— Все-таки эти подвиги не для меня».

Подруги удалялись от него вдоль по улице и скрылись.

«Всё»,— вздохнул Мережников, и поскучнел лицом, и отправился в обратный путь. От недавней веселости не осталось в нем и следа.

На мосту он остановился и долго смотрел вниз, где разбивалась вода об опоры, потом перевел взгляд на кремль и вознесенные над ним купола Софии, на закутанный в дымку силуэт Юрьева монастыря. Лицо его было задумчиво и печально.

28

На другой день его снова потянуло на берег Волхова.

Владимир Андреевич некоторое время противился этому желанию — все-таки дел много! — потом подумал, что — чем черт не шутит! — возможно, опять увидит этих двух девчушек, и оживился, повеселел и засобирался тотчас.

С горки к пляжу он спускался медленно, искал глазами голубой купальник. Таковых было немало, но Наташи он не увидел. У него как-то сразу пропало желание и купаться и загорать, и уж хотел повернуть назад, да вдруг наткнулся взглядом: Наташа и Галя лежали на том же самом месте, на том же потрепанном одеяле или коврике, опять с книжками, как и вчера.

«А-а, вы здесь! — радостно вскричал он.— Здрассьте! А я это, знаете, случайно шел мимо и вот завернул... Теперь, сами понимаете, расположусь неподалеку от вас. Хорошая погода, не правда ли? Полежим, а потом пойдем есть пончики. Они мне так понравились! У меня жена совсем отбилась от рук, пончиков печь не умеет, и вообще никаких обязанностей не выполняет. Это с женами бывает. Правда, редко, но бывает».

Он разделся и с удовольствием — нет, с блаженством! — растянулся на песке.

«Как дела, Наташа? Когда экзамен? Завтра? Мужайся. Все будет хорошо. Все будет великолепно! И экзамен сдашь, и еще более похорошеешь от загара. Уж это так! Жизнь прекрасна и удивительна — это не я сказал, это все говорят».

Он опять посматривал на них искоса. До чего ж все-таки хороша девчушка! Как славно она закручивает на затылке волосы! Рука узкая, ушко маленькое, розовой раковинкой...

«Ах ты, идиот! Тебе ли бегать за Наташами! У тебя при желании дочь могла бы быть такая... Ну и что? Я же ничего... Я просто так, любуюсь, и все. Что тут плохого? Разве я виноват, что она велелепна и велеозарна красотою лица своего? Чистома бровма и велеока... Опять же про мои подглядывания никто не знает. И я никому не скажу...»

Мережников огляделся вокруг внимательней; нет, другой такой, как она, нет на пляже. Все остальные не вы-

держивают сравнения, хотя он и самому себе не мог объяснить толком, чем же именно она ему нравится. Ведь не красивей всех... нет, не красивей. Умней? Да что он знает об ее уме! Так в чем же дело?

Подруги встали и пошли к воде, и он с непонятной гордостью следил за Наташей. Вот она вступила в мелководье, осторожно, словно боясь поскользнуться... вот зашла поглубже, поплыла.

В сильном волнении он встал, потоптался на месте, потом тоже пошел купаться.

Десятка два голов поплавками качались на воде, и среди них была одна, которая и тут сохраняла горделивость. Мережников поплыл совсем рядом с нею. Волосы у Наташи светлые, некоторые пряди чуть золотились, и на висках и на шее так славно завивались в кольца.

— Галина, давай окунемся,— говорила Наташа, тихонько хохоча.— Так хочется! И жалко волосы мочить.

Минуту спустя подруги уже выходили из воды, и Владимир Андреевич вернулся на свое место, следя за ними краем глаза.

Галя легла размашисто, как упала. Наташа, напротив, прежде чем лечь, поправила растрепавшиеся волосы, а потом уже легла неспешно, с мягкой кошачьей грацией.

Мережников усмехнулся.

Порывом ветра взморщило гладь реки, взметнуло матерчатые крыши «грибков», на пляже затрепыхались платья и рубахи у одевающихся и раздевающихся, а у подруг унесло несколько листков бумаги. Листочки эти, исписанные вдоль и поперек, скользили по песку и задержались возле Мережникова. Девушки оглянулись, когда Владимир Андреевич собирал уже их бумажки.

— Что это вы! — весело сказал он им, подходя.— Шпаргалки-то ваши унесло.

Они засмеялись, и он приободрился.

— Шпаргалки — это старо,— Владимир Андреевич опустился рядом с ними на корточки.— Поверьте мне, бывалому студенту: нынче они уже не в моде. Я окончил техникум и университет — прикиньте-ка, сколько это экзаменов. Школьные, вступительные, семестровые, выпускные... Да еще кандидатский минимум, да еще защита диссертации. Тут на бумажках писать — себе дороже.

— А где же надо? — спросила Галя.

Она, щурясь, смотрела на него снизу вверх.

— Лучше всего вот тут, с внутренней стороны,— он постучал пальцем по лбу.

— Это как? — недоуменно спросила она, а Наташа засмеялась.

Галя поняла, что ее разыграли, и захохотала громче подруги.

Владимир Андреевич взял один из учебников, прочитал на обложке «Н. Иваненко», положил на прежнее место.

— Се бо суть реки напаяющи вселенную всю, се суть исходяща мудрости, книгам бо есть неищетная глубина,— произнес он тем особенным говорком, каким обычно читал древние тексты.

Девушка в голубом купальнике вскинула на него вопросительный взгляд.

— Это из Ипатьевской летописи, Наташа,— пояснил он ей.— Нечаянно вспомнилось, как там о книгах говорится. Се суть исходяща мудрости...

— А откуда вы знаете, как ее зовут? — удивилась ее подруга.

— Ну, Галя! Разве это так трудно узнать!

— Ой, а мое имя кто вам сказал?

— Это же написано у вас на лице,— пожав плечами, серьезно сказал Мережников.— Учите, учите...

И поднявшись, вернулся на свое место.

«Какие они разные! Вот ведь обе хороши, но — небо и земля. Однако глупо все вышло!.. Зачем-то про диссертацию сказал... Кретин».

29

— Ах, господи! И что это за мужчины пошли?! Все торопятся, все спешат... Куда спешат? Зачем?

— Нет, я не спешу,— сказал Владимир Андреевич, хотя он именно спешил сейчас, а разговаривать с кем бы то ни было у него не было охоты.

— Разве я не вижу? Не успели поздороваться, уже смотрите в сторону. А мы с вами так давно не виделись! Кажется, целый год.

— Что вы! Всего неделю, не больше.

— А мне лучше знать. Мы с вами не виделись веч-

ность. И я, признаюсь, страшно соскучилась, а потому рада вас видеть и жажду слышать ваши новости.

— Какие у меня новости, Людмила Романовна! Я за ними хожу в ваше бабье царство.

— Мы это ценим. Знаете, как вас именуют в нашем обществе? Говорят, тысячу лет назад был князь Владимир Красное Солнышко, а вы — князь Владимир Месяц Ясный. Вы у нас появляетесь, как ясный месяц. Видите, как мы преклоняемся перед вами?

— Это приятно,— заметил он.

— Ну, пройдемтесь немножко, вы меня проводите чуть-чуть. Только не шагайте быстро, а то мы не успеем наговориться. Вам столько надо мне рассказать! Очень многое...

Был уже конец дня. Тени лежали на улицах, и солнце освещало только крыши домов, да верхние этажи, да вершины деревьев. Зеркально отсвечивали стекла окон, мягко и лучезарно горело золото на главном куполе Софийского собора; надвигался теплый и тихий вечер.

— Так что же, неужели у вас ничего не случилось за эту неделю?

Поддаваясь ее задушевному тону, он сказал вдруг:

— Случилось. Девушку, видите ли, я встретил очень... хорошую.

— Только одну? — осведомилась она, сдерживая смех.— По-моему, их так много!

— Одну.

— Это уже кое-что,— Людмила Романовна внимательно посмотрела на него.— Говорили, нет новостей, а тут целое событие. Даже сенсация!

Она не была ни огорчена, ни разочарована, отнюдь нет. Даже как будто обрадовалась, и Владимир Андреевич почувствовал, что ему хочется рассказать о Наташе. И он рассказал, посмеиваясь, подтрунивая сам над собою, как «обольщал» двух подружек, как «озадачивал» их цитатами из Ипатьевской летописи и как следовал за ними до самой «Пончиковой» на Торговой стороне. Теперь он с особенной ясностью увидел, как все это было глупо.

А Людмила Романовна слушала внимательно и серьезно, не перебивая, только покосилась на него с удивлением, когда в рассказе Мережникова прозвучала явная досада.

— А вы вовсе не безнадежны, Володя,— заявила она в раздумье.— Позвольте, я буду называть вас так, хотя, я знаю, вы и отец семейства, и кандидат наук. Я впервые увидела вас в таком свете и чувствую к вам прямо-таки нежность.

Мережников уже хмурился, почти не слушая ее и раскаиваясь, что разговор пошел в таком направлении. И что это его опять потянуло за язык! Сколько раз и прежде упрекал себя: не откровенничай. Кому это нужно! Держи свое при себе.

Он как будто открыл незащищенное место и теперь был беззащитен перед насмешкой или прямым упреком.

Но Людмила Романовна вовсе не собиралась высмеивать его.

— Слушайте,— продолжала она с воодушевлением.— В одной старинной книге о любви сказано так: приближающийся ко мне приближается к огню; тот, кто уходит от меня, не достоин жизни. А вы достойны жизни, Володя! Вы приближаетесь к огню. Благословляю вас на сей подвиг. Я очень хотела бы помочь вам, но пока могу только горячо пожелать счастья.

— Позвольте,— сказал он, и удивленный, и рассерженный ее пылкой речью,— что вы говорите? Разве можно такое одобрять? И вы это всерьез?

— Что именно? — насторожилась Людмила Романовна.

— Здравствуйте,— он коротко засмеялся.— Женатый мужик пристает к девушке, а вы...

— Ах, оставьте, пожалуйста! — прервала она его с досадой.— Девушки для того и созданы богом, чтоб к ним приставать. Они счастливы, когда к ним пристают, и наоборот, плачут от горя, когда на них не обращают внимания. А насчет этого — женатый или неженатый... Существует только одна шкала мер и весов: любишь или не любишь. На любовь запрета нет! Никому. И прекрасно, что нет! Иначе не стоило бы жить.

Он пробовал было возражать, но вместе с тем чувствовал, что возражать ему не хочется.

Как бы ни радовался он в эти дни встречам с Наташей, его не покидало тягостное сознание, что он совершает нечто предосудительное. Ведь ему тридцать пять, у него семья...

— Оставьте! — опять прервала она.— Теперь мне ясно видно, что я гораздо старше вас, старше настолько, что

гожусь вам в матери. Вы не знаете элементарных вещей. Вас мучат сомнения там, где они вас мучить не должны. Более того: гордитесь, что молоды, что вы еще не свободны от любви, от ее повелений!

— Хорошо,— сказал он, улыбаясь.— А как бы вы отнеслись, если бы такой вот человек, уже, что называется, в годках, стал обхаживать вашу дочь?

— Своей дочери я твердо внушила: помни, от собак бывают блохи, от мужчин бывают дети. Остальное — на ее усмотрение.

Она рассмеялась, и Мережников тоже шел и улыбался. Сегодня ему было легко и хорошо с этой женщиной.

— Вам, дорогой Владимир Андреевич, не хватает житейской мудрости, того, что именуется опытом души. Вы зарылись и утонули в своих книгах, обогатили ум знанием, а душевного опыта не набрались. Да, да! И еще вы не обрели до сих пор настоящей мужской хватки. Не слушайте, что будут говорить вам ханжи и резонеры! У них просто бледная немочь. Слушайте, что буду говорить вам я, а я отныне ваш друг, помните это. Так вот вам мой наказ: смелее действуйте! Безогляднее! Мы, женщины, любим смелых. Не отступайте никогда — ведь это во имя великой цели! Будьте отважным полководцем, и любая крепость падет. Неприступных и непобедимых крепостей никогда не было, нет и не будет.

И она весело смеялась.

— За это вам воздастся,— договорила она сквозь смех.— Воздастся, Володя!.. Князь Владимир Месяц Ясный...

30

И на другой день, и на следующие Мережников приходил на пляж. Придя, находил глазами Наташу, ложился где-нибудь неподалеку и любовался ею издали. «Приближающийся ко мне приближается к огню...»

Тело его покрылось молодым загаром, обожженные плечи болели, но он терпеливо жарился на солнце, ходил купаться, присоединялся к какому-нибудь кружку играющих в волейбол и, вспомнив студенческие навыки, хлестко, сильными ударами «гасил» мячи, на зависть всем играющим. То и дело поглядывал на Наташу: видит ли она? выделила ли она его из толпы?

Владимир Андреевич заметно оживился, повеселел в эти дни, походка стала упруже, движения свободней, взгляд смелее, он то и дело напевал что-нибудь, охотно улыбался, смеялся.

«Вот оно, разрешение всех проблем...— подумал он однажды.— Взять ее за руку, сказать: давай уедем куда-нибудь... А что! Разве это неосуществимо?..»

Мысль эта, явившись нечаянно, обожгла его. Он прогнал ее и раз, и два, но она упорно возвращалась, как собака к хозяину. Да и прогнал-то так... не очень.

«...И начать жизнь сначала. Будет у меня юная жена, всегда веселая, ласковая... Будет семейный уют... душевный уют. Надеюсь, она не станет писать диссертаций и посвящать себя разработке хоздоговорной темы, а, как и следует, будет женой... матерью моего сына...»

Ему приятно было размышлять о Наташе Иваненко, гадать, откуда она, кто ее родители, как она росла, о чем она мечтает. Фамилия подсказывала ему, что девушка приехала сюда откуда-то с юга, и он все больше и больше находил украинского в ее внешности, в говоре и манерах. «Какое-нибудь село над Днепром,— подремывая под солнцем, мечтал Мережников.— Или городишко... Уехать бы туда, отринув все свои напасти...»

И ему грезилось: белые домики по-над берегом, улицы сбегают к реке. Он и Наташа поднимаются от шумной пристани по одной из них, подходят к белой хате с подсолнухами в огороде.

«Это мой муж... Я его люблю, отец! Мама, я очень счастлива. Я счастлива, мама!»

И вот он сидит за столом, в вышитой рубашке с широкими рукавами, и рядом с ним она, светлая, улыбающаяся, и на белой ее кофточке та же самая вышивка, что и у него... Купаться пошли к Днепру — в воду входят, держась за руки... В вишневом саду она срывает для него самые спелые вишни и угощает с ладони... со своей узкой, милой ладони. А спят они в чистенькой горенке. «Я так люблю тебя!.. Ты пойми: я живу только тобой. Ты необыкновенный человек, и какое счастье быть с тобой рядом!..»

Так грезилось Мережникову, и теперь ему было ясно, что это она позвонила ему по телефону и назначила свидание на парковой дорожке напротив Княжой башни кремля. Это она сказала ему: «Я хочу посвятить вам себя». И это она так ласково заглянула ему в глаза тогда, в

Москве: «Продолжайте, пожалуйста. Вы так говорили...»

В эти дни он совсем отстранился от работы, зато был неизменно весел и бодр. Утром вставал с радостным чувством: сегодня снова пойдет к кремлю, на берег Волхова... А вечером ложился спать с той же радостью: завтра это повторится.

И вдруг все оборвалось: откуда-то с Балтики нанесло тучи, которые шли по небу по-осеннему быстро; похолодало, пошел дождь. Золотой песок на пляже потемнел, волна неспокойно гуляла по Волхову, померкли купола Софии, ветер рвал молодую листву на деревьях.

Два дня Мережников жил настороженно, в ожидании какого-то счастливого случая, который столкнет его с Наташей. Ему ничего не стоило узнать, где именно она учится: он просто обзвонил по телефону все техникумы, не так-то их много в городе. Оказалось, Наташа Иваненко заканчивает второй курс кооперативного и через два дня у нее последний экзамен.

Надеясь неизвестно на что, он ходил пешком на Торговую сторону, и желая, и боясь встречи с нею.

Наташу он, естественно, не встретил и в день последнего экзамена пришел к техникуму с самым решительным намерением. Надо же было хоть как-то, хоть что-то сказать ей, хотя и неясно, как и что именно! Нельзя ее отпускать на каникулы на целых два месяца! — просто так, не завязав хотя бы так называемого шапочного знакомства. Никаких определенных целей у него не было! Одно знал: им надо поговорить. А там видно будет.

«Смелее действуйте! Мы, женщины, любим отважных...»

— А нахальство — второе счастье,— вслух пробормотал он.

Часа полтора просидел в скверике перед парадными дверями: Наташа не появлялась. Зато вдруг увидел Галю и отважно остановил ее; заговорил, пошутил о том о сем. Оказалось, зря он сидел — Наташа экзамены сдала досрочно еще позавчера и уже уехала.

— Куда? — спросил Владимир Андреевич безразличным тоном.

— В Кандалакшу. У нее там родители.

— В Кандалакшу?

Вот тебе и Украина. Вот тебе и домик на берегу Днепра...

Он хотел спросить адрес, но не решился: как бы живоглазенькая Галя что-нибудь не заподозрила — это уж совсем ни к чему.

31

Она уехала, и наступило отрезвление. Краски дня поблекли, и ночи стали глуше. Ощущение одиночества усилилось оттого, что на другой день Владимир Андреевич проводил жену с дочкой в деревню и остался совсем один.

Спасаясь от прихлынувшей тоски, он брался за всякие хлопоты, которые не требовали углубленного раздумья, сосредоточенности. Очень кстати ушел в отпуск директор, так что Мережникову пришлось его замещать.

Поначалу хлопотал он азартно о нужном и ненужном, старался быть распорядительным и деловым, но очень скоро охладел.

Жизнь стала пресной. Мережников чувствовал себя постаревшим и очень одиноким, частенько погружался в невеселые размышления.

После нескольких дней ненастья опять наступила жаркая погода, опять в распахнутом окне приветливо шелестела листва, залетал вольный ветерок, приносивший, очевидно с Мячинских озер, запах теплой тинистой воды. Все манило на волю, под солнышко, но Владимиру Андреевичу и в голову не пришло, что можно пойти на пляж и искупаться или полежать на песочке, как прежде. Такая мысль теперь показалась бы ему дикой.

В тот первый день вновь установившегося вёдра он опять размечтался и не выдержал, позвонил по телефону в техникум, узнал домашний адрес Наташи Иваненко. Ему хотелось написать ей письмо, но что-то останавливало. К вечеру в тот же день созрело такое настроение, что Владимир Андреевич готов был даже ехать в далекую Кандалакшу.

Он представил себе неказистый городок на берегу Белого моря: ветер пахнет соленой рыбой; гудки сейнеров и карбасов — кажется, так называются рыбацкие суда? — долетают с моря днем и ночью; рыбаки в брезентовых робах пьют пиво у ларьков... Никогда не бывавший севернее Ленинграда, Мережников представлял себе, как идет улочкой Кандалакши по деревянным мосточкам, точно таким, как у него в микрорайоне, а навстречу от колодца

она с ведрами на коромысле... На нем светлый костюм, ветерок с моря шевелит его волосы... А она в легоньком домашнем халатике... «Здравствуй, Наташа. Я приехал сюда из-за тебя... Пойдем погуляем. Есть серьезный разговор...»

Ему так отрадно было думать о ней! И всякий раз, рисуя в воображении эту картину: девушка с полными ведрами на утренней улице идет по деревянным мосточкам, и он, мягко улыбающийся, ей навстречу,— Владимир Андреевич говорил себе: нет, не так уж он несчастлив, если у него есть эта девушка. А она есть, есть! И теперь уже будет всегда.

Наташа одним фактом своего существования на свете мирила его со многим, что он тяжело воспринимал в своей жизни, и Владимир Андреевич уже за одно это испытывал к ней чувство горячей благодарности.

Письма́ он, конечно, не написал и в Кандалакшу, само собой разумеется, не поехал. Даже в минуты готовности написать и ехать ясно понимал, что все это не всерьез, что все это лишь благие намерения, лишь мечта. Просто приятно было думать таким образом, рисовать себе радующие сердце картины. Утешение как-никак. А осознав это, он опять заскучал, затосковал, подолгу просиживал за столом, покручивая колечко на мизинце: полюби мя... полюби мя... полюби мя...

Надо бы отнести перстенек в экспедицию, к археологам. Иванин будет рассматривать и, возможно, воспримет довольно равнодушно, если в первую минуту не увидит надпись: таких колечек у них немало, правда, колотые. А потом заглянет на внутреннюю поверхность, прочитает и что-нибудь обязательно пошутит.

Вчера в Троицком раскопе нашли берестяную грамоту, в которой часть надписи прочитали так: «телепере...» А чуть далее явственно было написано: «Фауст». Итак, в тринадцатом веке кто-то кому-то сообщал о телепередаче под названием «Фауст», о чем Иванин с присущим ему юмором и сообщил по телефону Мережникову. Оказалось: Фауст или Фаст — не такое уж редкое имя у новгородцев, а «телепере» — конец и начало двух различных слов.

Вспомнив об этом, Владимир Андреевич улыбнулся.

Надо бы сдать колечко... А жалко. «Полюби мя...»

32

В печали и бездействии он позвонил в Ленинград Виталию:

— Послушай, приехал бы ты, а? Погуляем, покутим...

— Володя, у тебя вобла вяленая есть?

— Есть.

— Тогда приеду.

— А когда?

— Старик, послезавтра коллегия, восьмого я оппонент на защите диссертации. Тут один олух жаждет стать кандидатом, я должен его утопить, пока он еще слепой... Во! Десятого приеду, точно. Хотя нет... Десятого надо в Таллинн — у тещи операция. Слушай, а чего ты таким минорным тоном?..

— Заскучал что-то,— упавшим голосом сказал Мережников.— Живу один, жена уехала.

— Старик, я позвоню Злате, пусть она тебе подругу подыщет. У нее их много.

— Да пошел ты!

— Ну, гляди... А слушай, Володя, у тебя где монография этого... как его?.. Ну, помнишь, показывал?.. Пришли ее мне. Бандеролью, ага? Хорошо, что я вспомнил! Сегодня вышлешь? Прекрасно. А Злате позвони. Да нет, ничего я ей не скажу, просто привет передай...

Он явно куда-то спешил, и Мережников не без сожаления положил трубку.

Вот человек, прекрасно приспособленный к жизни! Помимо всего прочего, он так легко вступает в контакт с кем бы то ни было!

Весной приехал в Новгород, шли они вдвоем по улице — навстречу девушка, ест яблоко. Посреди пылкого спора Виталий девушке: «Вкусно?» Очень серьезно спросил, даже озабоченно. Та вдруг протянула ему надкушенное яблоко. Виталий невозмутимо взял, откусил, возвратил ей огрызок с полупоклоном, с улыбкой, и продолжал свою пылкую речь, обращенную к Мережникову, увлекая его дальше. Владимир Андреевич остановил друга и негромко сказал, почти ужасаясь:

— Постой! Ты меня удивляешь...

— Чем?

— Ты, такой опытный сердцеед и потаскун, проявляешь равнодушие к красивой девушке. Ведь ты же с ней уже заговорил, достиг определенного взаимопонимания...

— И что?
— Она тебе не понравилась?
— Почему? Очень понравилась.
— А отпустил!
Виталий хладнокровно:
— Она вернется, Володя!
— Ты уверен?
— Странный ты человек.
— Позволь. Ты что, знаешь ее?
— Откуда'
— Почему же говоришь, что вернется?
— Надо быть щедрым, Володя. Отпускай! Они возвращаюся. В другом образе, ничуть не менее прекрасном.
— По-моему, ты кокетничаешь.
— Ничуть. Да что тебя так поразило? Бог с нею, забудь. О чем, бишь, мы с тобой говорили?
То, что было событием для одного, для другого всего лишь повседневность.
Они продолжали свой путь. Вот пришли к дому Мережникова, стали подниматься по лестнице. На втором этаже молодая женщина, жена директора ближней школы, протирала мокрой тряпкой дверь. Сынишка ее в рубашонке и в трусиках топтался возле. Виталий ему серьезно, даже строго:
— Замерз?
— Не-а.
— Я же вижу: замерз.
Женщина (Мережников столько раз проходил мимо нее, не здороваясь, не решаясь поздороваться, ибо незнаком с нею!), улыбаясь сказала:
— Ничего. Ему полезно. А то из дому не выгонишь.
Любо смотреть, как весело и доброжелательно разговаривает Виталий с женщиной. Как они смотрят друг на друга... Вот она уже засмеялась, засмущалась, польщенная и обрадованная. А Виталий, как ни в чем не бывало, поднимается по лестнице дальше. Вот так он всегда — просто, непринужденно заговорит с кем угодно — это дарование в человеке, талант, не иначе.

33

В субботний день Владимир Андреевич прилег на диван почитать и задремал. Его разбудил настойчивый стук.

Спросонок подумалось, что это вернулась из деревни Любовь Ивановна и давно колотится в дверь, а он уснул крепко, не слышит. Однако как-то странно стучали: два-три раздельных удара и тишина; потом опять два-три удара громких и снова пауза. Он поспешно встал с дивана, пошел к двери и здесь понял, что стук доносился из соседней квартиры. Стучали молотком, довольно сильно, так что в его прихожей со стены осыпалась побелка. Владимир Андреевич постоял, хмурясь, с опаской взирая на стену: «Дырку просадят! Или трещины пойдут в штукатурке». Вернулся в комнату, сел на диван, потирая ладонями лицо.

Зря, наверно, он разоспался среди дня, но уж очень тихо было в квартире. Владимир Андреевич с неодобрением прислушивался к стуку: скоро ли соседка уймется. А та не унималась.

Рассерженный, надел шлепанцы, вышел на лестничную площадку и позвонил в соседнюю дверь. Она открылась тотчас, и соседка предстала перед ним с лицом несколько испуганным и вопрошающим. Секунды три или четыре он смотрел на нее молча, перебирая слова, как клавиши, от самых грозных к более миролюбивым. Она была непричесана, в халатике, застегнутом не на все пуговицы, и одну руку держала на груди, должно быть, потому, что халат был ей не по росту и чересчур распахивался сверху.

— Соседка, гвоздь свой заколачиваете мне прямо вот сюда,— Мережников показал себе на темя, и та согласно кивнула, не меняя испуганного выражения лица.

— Вешалка не держится,— тихо сказала она, оправдываясь.— Никак не могу...

Все-таки до чего же она некрасива! Впрочем, в ее тихом голосе, в робком взгляде, в этом домашнем будничном халатике было что-то детски трогательное, и Владимир Андреевич сменил гнев на милость.

— Ладно,— сказал он, вздохнув,— давайте помогу.

И переступил порог.

Все в ее квартире было так же, как и у Мережниковых: те же щелястые полы, тот же накат листиками на штукатуренных стенах. Только что не было книг да родословного древа Рюриковичей.

Владимир Андреевич довольно долго возился с вешалкой, и точно так же, как и у нее, у него ничего не получалось. Соседка подавала ему гвозди один за другим, он пробовал вколотить их, но стена была твердока-

менной — монолитная панель из бетона. Он, досадуя, ругнулся и пошутил и опять ругнулся, а она стояла рядом, придерживая вешалку, сочувствуя шуткам его и досаде. Она несколько осмелела и разговаривала с ним совсем не робким голосом, который Мережников уже не находил неприятным. Да и во всем облике этой маленькой женщины было что-то такое, что он разговаривал с нею охотно, дружелюбно, дивясь: «Поди ж ты! Вот и некрасивая, а что-то в ней есть привлекательное. Чудноватенькая она».

Наконец злополучный гвоздь был вбит, и Владимир Андреевич собрался уходить. Но едва открыл дверь, как тотчас вешалка упала снова: вывалился из стены второй гвоздь.

Они засмеялись оба разом, глядя друг на друга, и он заметил ямочки у нее на щеках и странный, мягкий и теплый, блеск ее глаз.

Опять Мережников крепко стучал в стену — небось в родной квартире штукатурка обвалилась,— опять соседка один за другим подавала гвозди, а он портил их, приговаривая:

— Не пройдет и суток, как мы с вами эту вешалку укрепим!

— Вас жена уже хватилась,— поддразнила она.— Куда это, говорит, муж делся!

— Куда там! Небось и не вспомнит ни разу.

— Красивая у вас жена, Владимир Андреевич,— сказала она, вздохнув.

— Постойте-ка, а откуда вы знаете, как меня зовут? — удивился он с той же наивностью, с какой на пляже удивилась Галя.

— Почтальонка бросила письмо ваше в мой ящик. Я на конверте прочитала.

— Ясно, соседка. Давайте еще гвоздь. А вас как зовут?

— Фая.

— Фая... Тогда я Володя. Я ведь хоть и старый, но не очень. Мне тридцать пять.

— А мне двадцать два.

— По этому случаю давайте новый гвоздь, этот согнулся. А лучше сразу пару.

— Красивая у вас жена,— настойчиво повторила Фая и опять вздохнула.

Он развеселился:

— Ну, а я плох, что ли?

— Красивая и строгая,— продолжала соседка свое.— Я ее побаиваюсь даже, как встречу.

— Почему?

— Не знаю. Так взглянет, так взглянет!..

Фая покачала головой.

«Это моя Люба может,— усмехнулся он.— Она и на меня так взглянет, так взглянет!..»

Наконец вешалка укреплена. Они остановились в коридорчике, глядя друг на друга: она — ростом ему по плечо, бледная при свете неяркой электрической лампочки, худенькая; а он рядом с нею казался и крупным, и плечистым.

— С вас причитается, соседка,— пошутил он, чувствуя себя как никогда уверенным и сильным.

— Что ж... Только я все равно стучать буду. Опять вам вот сюда,— она показала на темя.— Мне еще коврик прибить надо.

Владимир Андреевич весело махнул рукой:

— Эх, давайте и коврик заодно.

Они вступили в комнату, и он вспомнил:

— Да, а малыш ваш где?

— В садике,— удивилась она.— Где ж ему быть! Скоро надо идти за ним... А коврик, вот он... Над кроватью надо повесить. Становитесь коленями прямо вот сюда, на одеяло.

Это была та самая кровать.

Мережников вспомнил свои давние субботние переживания и испытующе глянул на Фаю. Неужели это она была? А та поняла его по-своему.

— Да не бойтесь! Не испачкаете. Я на нее старенькое покрывало накинула. Можно даже ногами становиться.

Он снова вздохнул, словно превозмогая себя.

— Ну, что ж. Коврик так коврик.

Сбросил шлепанцы, встал коленями на кровать.

— Держите тот край, соседка.

Она встала рядом с ним. Руки ее в рукавах халата были тонки, девически нежна шея. Несмотря на почти неженскую хрупкость, соседка его была женщина, и он в эту минуту как-то особенно почувствовал это. Фая что-то говорила, а он от прихлынувшего вдруг волнения молчал.

На этот раз с работой они справились быстро, прибили коврик.

— Такое дело,— сказал он, волнуясь.

И вдруг неловко, но сильно привлек ее к себе.

— Не надо! — вскрикнула она, забилась было, глядя на него расширившимися глазами.— Не надо, Владимир Андре...

Она сидела на кровати, свесив босые ноги, и плакала неутешно и в то же время как-то легко. Такие слезы как дождь после грозы. Он ходил по комнате и сконфуженно уговаривал:

— Ну, будет тебе! Чего ты?

— Какие же вы все! — выговаривала она.— Какие же вы все!

Он искоса поглядывал на нее, и странно, не чувствовал в себе от этих упреков досады или угрызений совести. Наоборот, словно тихий бес вселился в него и расправлял свои крылышки; было радостно и легко. Ее маленькие ноги, которые раньше вызывали столько неприязни, теперь вовсе не казались ему некрасивыми, и ничего, кроме благодарного чувства к этой маленькой женщине, не испытывал сейчас Мережников. Он видел ее тонкую шею и девические плечи, на которых едва держался халат — они тоже нравились ему. «Что ж ты плачешь теперь? — думал он с веселым укором.— Словно я тебя силой взял! Что ж ты не заплакала сразу, когда я тебя обнял?»

— Ну, хватит реветь, Фая,— он присел с нею рядом.— В конце концов, мы с тобой взрослые люди.

— Зачем вам это? Зачем? — говорила она, уклоняясь от его рук и улыбаясь сквозь слезы.— У вас красивая жена, вы с нею такая пара! Вы же, по-моему, так понимаете друг друга! Почему вы все не дорожите этим? Пожалуйста, не говорите, будто я вам нравлюсь или еще что. Надоело! Все вранье, только сами себя унижаете.

— Ты мне нравишься,— искренне сказал он.— Очень нравишься.

Что-то переменилось в ее лице, и глаза глядели на него доверчивей.

— Так я вам и поверила!

Он взял ее голову в ладони, поцеловал некрасивые брови, некрасивый рот.

— Ты была замужем?

— Нет. Я родила Антона, потому что одной плохо. А замуж я, наверно, не выйду.

– А кто отец Антона? Он бывает у тебя?

— Нет. Он далеко и даже не знает ничего. Он монтажник на линиях электропередачи. Ездит по стране...

— У тебя кто-нибудь был после него?

— Был,— простодушно сказала она.— Совсем недавно, с месяц. И тоже семейный, как вы. Говорил, что любит...

— А потом разлюбил,— закончил Владимир Андреевич.— Ну и ладно. И бог с ним.

— Потом уехал... Сказал, что его посылают в загранкомандировку в Монголию. На три года.

— Жалеешь о нем?

Это было уже похоже на ревность.

— Я недавно видела его на улице... и поняла, что он все врал. И про Монголию, и про то, что любит... Зачем это? Мне от него ничего не надо было. Я его пожалела: ему жена плохая досталась. Говорил, что у меня он отогревается душой...

Последние слова она произнесла почти шепотом. А подумав, добавила:

— Выдает ему на пиво по двадцать две копейки.

— Это он тебе говорил?

— Да.

— Какая ты дура! Веришь всему! — произнес Владимир Андреевич с досадой.— Извини меня,— тотчас добавил он и поцеловал ее и снова жадно обнял за плечи.

34

Он ходил по комнатам своей пустой квартиры, то присаживаясь, то опять вставая и прислушиваясь, что делается за стеной.

Услышал, как хлопнула дверь, и некоторое время спустя увидел, как Фая идет от дома по пустырю, по деревянным мосточкам. Потом она показалась опять, на этот раз уже с малышом, неказистая, неумело одетая. Владимир Андреевич со странным чувством, которое не мог бы назвать словом, следил за ней из окна. Она вскинула голову, увидела его и тотчас опустила взгляд.

Он опять стал ходить, вздыхая, из угла в угол своего кабинета, но вздыхал притворно, никак не мог в самом себе заглушить торжествующую струну укором совести. Опять-таки вовсе не тягостное чувство испытывал он, вспоминая происшедшее. Напротив, по-прежнему была

непонятная легкость, и улыбка сама собой всходила на лицо. Он слушал, как Фая с малышом поднимаются по лестнице, как она отперла дверь, что-то наставительно говоря сыну. И долго малыш топотал по комнате, гремел игрушками и кричал. Лишь поздно вечером он угомонился.

Владимир Андреевич разобрал свою постель, включил ночник и лег с книгой. Однако читать не мог, лежал и смотрел в потолок, следил, как пробегают по нему отсветы фар от проезжающих по улице автомашин. За стеной легонько прошлепали босые ноги, едва слышно скрипнула кровать. Одеяло уже не шуршало о стену. «Коврик»,— подумал Мережников с глупой улыбкой. Затаил дыхание и напряг слух: не плачет ли соседка? Нет, не слыхать. Он снова и снова перебирал все, что произошло у них днем, и лежал с широко раскрытыми глазами. Потом поднялся на локте, негромко позвал:

— Фая!

— Да,— тихо и озадаченно отозвалась она за стеной.

— Я сейчас приду к тебе.

В ответ молчание.

Владимир Андреевич встал, оделся, легонько стукнул в стену:

— Я иду. Отопри.

На лестничной площадке было ярко освещено. Он толкнулся в дверь — заперто. С сильно бьющимся сердцем запаниковал: «Да что она? Неужели не пустит?» Звонить не стал: не разбудить бы малыша. «Будьте отважным полководцем... Мы, женщины, любим смелых...» Легонько постучал костяшками пальцев — и дверь открылась.

В темноте коридора стояла Фая в том же стареньком халатике, поспешно наброшенном, незастегнутом. Он шагнул, поймал ее в объятия и поднял на руки — как она оказалась легка! — тут же в коридорчике целовал в плечо, в маленькие груди и, осторожно ступая, понес в комнату. А она обнимала его за шею и, счастливо задыхаясь, целовала его в лоб, в ухо, в щеку и лепетала:

— Что ты делаешь, Володя! Какой ты... Заденем за что-нибудь и упадем. Я с тобой и разговаривать-то не хотела. Сказала себе: и не посмотрю на него... Между нами ничего не может быть и не должно быть. А ты позвал, и я не смогла. Ты верно говоришь: какая я дура!..

35

Был конец июля. Владимир Андреевич со дня на день ждал жену: скоро вступительные экзамены, ей их принимать. Наконец пришла от нее телеграмма, в которой Любовь Ивановна просила, чтоб он позвонил в деканат: она приедет накануне сессии, пусть не тревожатся.

Соседка Фая была весьма озабочена.

— Владимир Андреевич,— говорила она,— надо убраться в вашей квартире. Давайте я все перестираю, вымою посуду, перемою все и перетру. А то как же! Явится супруга, а у вас пыль в углах и посуда немытая небось. Вы не стесняйтесь, мне это ничего не стоит. Я проворная, быстро все сделаю.

Он уже не удивлялся подобым предложениям: успел привыкнуть. Эта маленькая женщина сокрушала привычные ему понятия своей неукротимой преданностью и самоотверженностью.

Стоило Мережникову появиться в ее тесной квартирке, и он попадал как бы в другой мир, ласковый, теплый, в котором Фая была вездесуща, как дух: он постоянно чувствовал на себе заботливый взгляд, все ее хлопоты в эти минуты имели своей целью сделать его пребывание здесь удобнее, приятнее; голос маленькой хозяйки был удивительно ласкового тембра — куда девалась прежняя, раздражающая Мережникова манера говорить врастяжку, в нос! «У тебя серебряное горлышко»,— говорил он снисходительно, и она сияла, счастливая, изумленная тем, что голос нравился ему и что он нашел для похвалы такие волшебные слова.

Владимир Андреевич чувствовал свою вину от того, что не может любить ее и не может ответить ей той же самоотверженностью, с какой она относилась к нему, и старался быть ласковым.

За день до приезда жены он явился к соседке с бутылкой коньяка и с бутылкой шампанского, со множеством кульков и кулечков, которые едва донес в охапке. Он и раньше всегда приносил что-нибудь вкусное, так что нынче Фая даже шумно возмутилась:

— Ну зачем вы, Владимир Андреевич! У меня и так всего много, нам с вами не съесть.

Ей доставляло явное удовольствие произносить эти слова — «мы с вами», «нам», «у нас» — она часто их употребляла.

Он с улыбкой следил, как она проворно хлопочет, бегая из комнаты в кухню и обратно, и размышлял: вот, существуют две женщины в Фае — одна ученически почтительная, всегда величающая его на «вы» и по имени-отчеству, признающая безоговорочно его превосходство и старшинство, уверяющая, что она его «недостойна»; а другая — равноправная, говорящая ему «ты» и «Володя», вольная, даже озорная. И когда Фая была в одном качестве — только соседкой! — не верилось, что она может быть в другом — любовницей!

Одним движением она накинула скатерть, разгладила складки, положила ему на колени чистое полотенце, и тотчас перед ним на столе стали появляться один за другим плоды ее кухонных изобретений.

Она умела печь воздушное пирожное, которое он любил, потом еще нечто, вроде зефира, непонятно из чего и как приготовленное; а помимо этого, самодельное печенье с орехами, сладкие гренки, многоэтажный торт хитрой архитектуры.

Так бывало всегда, когда она ждала его прихода. Ждала и сегодня.

— Ешьте,— говорила Фая и больше всего боялась, что он откажется.— Мне вас нечем угощать, Владимир Андреевич. Я умею только сладкое делать, а вот чтобы мясо всяко приготовить — не могу. То есть мочь могу, а — не люблю.

Она вместе с ним выпила рюмку коньяку и теперь сидела румяная, улыбающаяся и все-таки некрасивая.

— Как вы думаете, Любовь Ивановна завтра может приехать?

— Нет. Только в воскресенье, как и обещала.

Тщетно он ловил в ее словах о Любови Ивановне что-нибудь, кроме искреннего уважения, даже почитания. Соседка ни разу не позволила себе сказать о его жене что-нибудь пренебрежительное или неприязненное.

«Я ей не соперница»,— обронила она однажды.

— Тогда давайте я у вас завтра наведу чистоту, Владимир Андреевич.

— Давай. Наведи.

— Я хитрая! Думаете, почему я напрашиваюсь на это? Мне очень хочется побывать у вас в квартире, посмотреть, как вы живете.

Он рассеянно улыбался и налил себе и ей в маленькие рюмочки.

— Теперь вот чего...— озабоченно продолжала Фая.— Вы со мной не здоровайтесь при жене. Да и при соседях тоже... А то Любовь Ивановна скажет: почему здороваетесь? Значит, познакомились! Заподозрит.

— Заподозрит,— согласился Владимир Андреевич.

Он со всем нынче соглашался, думая, по обыкновению, о чем-то своем. На этот раз его размышления не были отвлеченными. Ему хотелось в каких-то деликатных выражениях сказать Фае, что цель его нынешнего прихода — попрощаться с нею, сказать, что никогда не будет у них того, что было, сказать и тем самым определить на будущее их отношения, чтоб они не тяготили его.

— А почему ты не огорчаешься? — спросил он вдруг.— Сказала бы: жалко расставаться. А тебе, значит, не жалко?

— Разве мы расстаемся? — возразила она.— Вы будете всегда рядом, за стенкой. Мы с вами даже спать будем почти что на одной постели, только между нами — стена.

Фая засмеялась.

«Двоеженец»,— подумал о себе Мережников.

— Но вот уж не посидим так, а? Да и не пообниматься будет, верно?

— Да уж так! — отозвалась она, все еще смеясь.— Что ж... И без этого живут.

— Ты бесчувственная,— сказал он, испытывая удовлетворение от ее слов.— Бессердечная и равнодушная ко мне.

Не надо ей говорить о прощании, она все понимает как следует: ничего в будущем не ждет от него и ни на что не рассчитывает.

— Знаете, чего мне жалко,— сказала Фая и сразу погрустнела.— Жалко, что не будет у нас таких разговоров.

— Каких? — спросил он, припоминая.

— Ну как же! Вот вы тогда про Верхуславу рассказывали, которую восьми лет выдали замуж!.. Провожали ее родители с мамками и няньками до самой границы княжества, как с нею отец с матерью прощались — у меня прямо перед глазами стоит... А еще про перевозчицу с реки Великой, которая киевской княгиней стала. Какая женщина была! И как хорошо сыну Святославу завещала...

— Заповедав сыну погребсти с землею равно, а могилы

не сыпати, ни тризн творити, ни годины деяти,— тихонько проговорил он.

— И про девушку с Редятиной улицы. Как это?.. Была она великолепна и светозарна...

— Велелепна и велеозарна...

Фая замолчала, и на некоторое время разговор у них прервался.

— А теперь ничего не будет,— голос ее дрогнул.— Не знаю, как это все... как это все... Я ж говорю: стена между нами.

Она смахнула вдруг выступившие слезы, поспешно встала и отвернулась.

— Простите, Владимир Андреевич, это я так...

36

Любовь Ивановна приехала, как и обещала, в воскресенье.

— А Джуля? — спросил он, едва только распахнул перед ней дверь.

— Джуля осталась у бабушки с дедушкой. Разве они ее отпустят! Раза два заводили со мной разговор о том, чтобы она у них и в школу ходила.

Он пожал плечами: мол, еще чего! Вольно же им болтать глупости!

— Не рад,— насмешливо заметила Любовь Ивановна, бегло посмотрев на мужа.

— Нет, почему же. Рад,— возразил муж очень спокойно.

— Не рад,— как-то удовлетворенно повторила она. Скинула плащ-пыльник, постояла в прихожей, поправляя волосы.

— Ехала сюда, думаю: а не остановиться ли в гостинице! — призналась она, вздохнув.— Что-то так было тяжело на душе!

Он молчал.

— А ты с таким же чувством ждал тут меня? О, господи! Жили-жили двое супругов и дожили.

Прошлась по комнатам квартиры и была удивлена чистотой и порядком в ней.

— Смотри-ка, и даже пол вымыт. Володя, это ты сам? Или... Или у тебя была тут приходящая женщина?

— Приходила женщина,— подтвердил Мережников.

Если б он стал отпираться, жена еще больше насторожилась бы.

— Паутины в углах нет,— удовлетворенно говорила Любовь Ивановна, обходя комнаты.— Пыль на телевизоре вытерта и даже бумажки на полу не валяются. Удивительно! Как это тебе удалось? Поделись опытом.

За месяц отпуска она немного пополнела, от нее веяло спокойствием и уверенностью зрелой женщины. На лицо лег ровный загар, сквозь загар пробивается румянец — жена его словно овеяна была чудотворным ветром, посвежела, исчезло постоянное выражение озабоченности и в глазах, и во всем облике. «С кем она там могла встречаться? — пришло запоздалое опасение.— Может быть, тоже...»

— А ты думала, все тут без тебя обросло пылью и грязью? — довольно холодно отозвался он.

— Был такой грех. Ехала — горевала: дел, думаю, дома накопилось! Пол мыть, уборка всякая...

Любовь Ивановна прошла на кухню и удивилась еще больше.

— Да-а,— протянула она и опять пошутила:— Теперь я вижу, что тебе кто-то помогал. Что ж, этого следовало ожидать. Природа не терпит пустоты. Верно, Володя?

— Верно,— подтвердил он скучным голосом.— Есть хочешь?

— А у тебя даже имеется что поесть?

Он выложил на стол то, что нашлось в холодильнике, жена следила за ним испытующим ироническим взглядом.

— Так кто же у тебя все-таки хозяйничал здесь? Кто-то умелый, опытный в кухонных делах. Не знаю, как в остальных.— Она засмеялась невесело, неохотно и принялась за еду.— М-да. Ну ладно, это меня не касается. Так, что ли? Раз я покинула мужа, уехала от него... Свято место не бывает пусто.

Муж, не говоря ни слова, вышел из кухни.

— Может, она и впредь согласится приходить? — громко сказала жена ему вслед.— А? Владимир Андреевич? Передай ей, что для меня это желательно.

Он не ответил и тем самым, по-видимому, допустил промашку: оборванный на полуслове разговор — то ли в шутку, то ли всерьез — как бы повис в воздухе, и на

весь день у них с женой осталось ощущение происшедшей ссоры.

Все-таки она что-то заподозрила.

37

Наконец ожила комнатушка по соседству с бабьим царством. Хозяин ее при виде Мережникова тотчас встал, обрадованный, оживленный. После короткого разговора Григорий Павлович вытащил откуда-то из-под стола шахматную доску и стал расставлять фигуры, приговаривая:

— С этой работой и про шахматы-то забудешь! Не так ли, Владимир Андреевич?

Мережников был рад ему. Обычно они играли одну партию, потому что на вторую у Григория Павловича, по его словам, не хватало пыху. Игра, как всегда, сопровождалась у них примерно таким диалогом:

— Ну, е-два е-четыре... Ты хоть тренировался тут, Володя?

— А как же, ваше степенство! Только этим и занят был.

— Что это? Ферзевый гамбит... Ну, я так в сугубом малолетстве играл. Еще будучи без штанов.

— Вот откуда у тебя привычка проигрывать!

— В исключительных случаях. Токмо из благотворительных побуждений.

Они поглядывали друг на друга этакими приятельскими глазами, почти влюбленно. Часовников-Сушко был нынче что-то очень уж весел.

— Этот ход твой все равно что капитуляция, Владимир свет Андреевич,— он даже светился радостью.

— Сие есть вариант защиты Мережникова. Вошел в анналы шахматной истории.

— А я по-прежнему по системе Станиславского...

Часовников явно помолодел за время отпуска. Небось может и две партии сыграть.

— Совсем ты растренировался, Павлович,— съязвил Мережников, забирая коня противника.— Чем ты тут занимаешься, выйдя из отпуска? Лапти плетешь?

— Я — архивариус! Бумажный шелкопряд я, макулатурная моль, книжный червь,— плотоядно выговаривал Григорий Павлович и забрал ладью, которая стояла в своем уголочке и никому не мешала.

— Что-то больно уж самовлюбленно, ваше степенство. Уж прямо-таки манифестация любви к самому себе. Этакие титулы!

— И пешечку эту я заберу, заберу...

— Ради бога!.. Мы же не в пешечки играем. Шах!

— Шах — это во все времена было уважаемо...

Противник Мережникова задумался. Что-то ему нынче мешало сосредоточиться. На что-то он мысленно отвлекался.

— Причешись, Григорь Павлович. Учил я тебя, учил, как надо играть, и все без толку.

— А мы лошадью... А?! Как? Ничего?

Теперь задумался Мережников, речь держал его противник:

— Это тебе не книжки листать. Тут думать надо, понял? Ты вот статейку-то накропал в паршивый научный журналишко, а каков резонанс будет, не подумал. А следовало бы.

— Ага! Прочитал все-таки!

— А как же. Подождем, что скажут твои оппоненты. Не думаю, что они оставят тебя безнаказанным. Ты и там не с той фигуры ходишь.

— Я отступаю, ваше степенство.

— То-то, юноша. Не ходи босиком. Это тебе не с бабами языком трепать,— кивнул Григорий Павлович на соседнюю комнату.— Тут думать надо...

Он все-таки проиграл, но, проиграв, отнюдь не расстроился, что обычно с ним бывало. Некое размышление не отпускало его. Даже перестал отвечать на подтрунивания Мережникова.

— Тут видишь какое дело,— начал Григорий Павлович, расставляя фигуры для новой партии.— Гостил я у дочери, в сквер ходил с внуком... И познакомился с одним человеком, тоже дедом. Он с внучкой, я с внуком. Разговорились. Вот какая история. Живет он один в двухкомнатной. Дети имеют свои гнезда, иногда в виде особой милости дадут ему внучку на часок-другой поиграть. А так один и один. Рассказывает... Представь себе, ему уж шестьдесят восемь, как и мне, и познакомился он с женщиной. Она чуть помоложе, но уже пенсионерка. Такая очень... не знаю, как обрисовать. Он мне ее показывал,— поспешно объяснил Григорий Павлович.— Такая... очень интеллигентная, ростом средняя, в меру полная, а главное — спокойная, добродушная, я бы сказал,

женщина. Преподавала всю жизнь в музыкальном училище. Сын у нее — кандидат наук, докторскую пишет. Две дочери: одна — кондитером в Киеве, другая учительница в сельской школе на Рязанщине. И вот, понимаешь, познакомился он с ней...

Часовников-Сушко осторожно захехекал и опять поглядел на Мережникова. Он вообще то и дело поглядывал испытующе: как Владимир Андреевич воспринимает его рассказ.

— Все это они гуляли, гуляли... беседовали, значит. И что ты думаешь? Этот мой приятель спрашивает меня: а что, мол, если они поженятся? Они уж договорились пожениться, да он как-то...— Рука Григория Павловича вздрагивала, когда он делал обыкновенную рокировку в самой безопасной позиции.— Совестно ему, понимаешь? Все-таки годы — шестьдесят восемь. Как и мне. Мало ли что люди подумают! А они не абы для чего, а чтоб не в одиночестве, понимаешь? Двое стариков, детей вырастили, живут от них отдельно... Так вот он ко мне и обратился: посоветуй, мол. А что ему сказать? Вот ты, Владимир Андреевич, как об этом думаешь? Если бы у тебя он спросил, как ты посоветовал бы, а?

— Женщина хорошая? — спросил Мережников, очень серьезно глядя на Часовникова-Сушко.

— Очень славная! Просто редкая женщина. Но дело не в ней. Понимаешь, какое это впечатление произведет на его... знакомых. Смеяться будут. Старик — и вдруг жениться надумал! Чудно, верно? Он сомневается.

— А она не сомневается?

— Она — нет. Она говорит: то, что наше — это наше. И оно никого не касается.

Мережников движением ладони нарушил шахматную позицию и встал, очень взволнованный.

— Григорий Павлович! — сказал он торжественно.— Не сомневайтесь. Это действительно никого не касается. Смеяться над этим могут лишь подлые и крайне недалекие, примитивные люди. Я вас горячо поздравляю: вы счастливый человек. И дай вам бог всего, чего желают молодоженам: любви, согласия...

— Погоди-погоди,— охваченный смятением, лепетал Часовников-Сушко Григорий Павлович.— Почему ты обо мне?..

— О тебе, о тебе. Передай этой милой женщине, что ты ее не сто́ишь.

— Не стóю,— вдруг покорно согласился тот.

— Она умница: не оглядывается ни на кого. И правильно! И ты не оглядывайся на нас, на толпу. То, что вы поженитесь, прекрасно! Тебе выпал счастливый билет, Павлович! Не упусти. И все, между прочим, правильно вас поймут, я уверен!

Часовников-Сушко отвернулся к окну, переждал паузу, потом подошел к Мережникову и церемонно пожал руку:

— Спасибо, Володя... Знаешь, она очень любит Моцарта, Мендельсона, Римского-Корсакова... А это же мои любимые люди. А она мне открыла нашего Скрябина... Прекрасная женщина, поверь мне! Я так ей благодарен!

Мережников обнял наивно-счастливого старичка с хрупкой мальчишеской фигурой, который был в эту минуту таким близким ему.

38

Недели две Любовь Ивановна была занята вступительными экзаменами в институте. Недели две муж и жена виделись лишь поздно вечером; они обменивались двумя-тремя вежливыми фразами, как мирные соседи, и расходились по разным комнатам, а рано утром жена уходила в институт, когда муж еще спал.

Мережниковы по-прежнему жили розно, как и в предыдущий месяц, когда Любовь Ивановна была в деревне. Своя квартира была для них местом, где оба чувствовали особую тяжесть, которая угнетала их.

В эти дни Владимир Андреевич все чаще и чаще обращался мыслями к той выдуманной им истории, которая всегда была отрадна ему; только теперь в парковой аллее к нему неизменно подходила Наташа Иваненко, светловолосая, тоненькая, синеглазая. Именно она говорила те, знакомые ему слова.

Однажды все это Мережникову приснилось именно так, как всегда рисовалось в воображении: он увидел зеленую листву древесных крон и кустов бузины во рву, и белые стволы парковых берез, и красную стену кремля за рвом — да, это то самое место возле Княжой башни! И вот вышла из-за берез Наташа, приблизилась к нему, стала говорить... душа его тотчас озарилась, пере-

полнилась радостью, взмыла жаворонком под небо и плыла, плыла по неведомым волнам.

Он увидел себя и Наташу на берегу озера, где они, взявшись за руки, торжественно произносили какие-то необыкновенные слова; говорили громко, в полный голос, обращаясь и к озеру, и к небу, и друг к другу... Было в их мире гулко, солнечно, счастливо... Он надевал ей на палец снятое со своей руки стеклянное колечко с надписью «Полюби мя»...

Владимир Андреевич проснулся среди ночи, потрясенный сном, остро сожалея, что не может вспомнить, какие же слова вот только что произносил он, обращаясь к девушке и ко всему белому свету,— это были какие-то необыкновенно значительные, высокие слова. Но вспомнить ни того, что говорила Наташа, ни того, что говорил сам, он, увы, не мог и ощущал это, как великую потерю.

«Это ведь мы... обручились,— радостно думал сонный Мережников, весь еще во власти только что пережитого видения.— Ведь мы отныне... вместе. Теперь она невеста моя». И погружался в дрему, уверенный, что снова увидит Наташу и все продолжится или, по крайней мере, повторится.

Сон не отпускал его и утром, и, шагая на работу, Владимир Андреевич взволнованно лелеял в воображении эту картину: они с Наташей на берегу Ильменя, где-то за Юрьевым монастырем, там простор, безлюдье, вольный ветер с озера, молодые рябинки с красными гроздьями ягод...

Именно здесь, перед ильменским лоном, на виду у сосен Перунова мольбища, Спас-Нередицы и глав Георгиевского собора в Юрьеве, именно на этом столь одушевленном историей месте, до́лжно приносить им клятву любви и верности. Именно здесь.

— Ты, небо, и ты, земля, будьте свидетелями! Вот я беру эту девушку в жены себе... Я обещаю любить ее всеми силами души и сделать все мыслимое и немыслимое, чтоб она была счастлива. Сердце мое отныне бьется для нее. Наши судьбы пусть будут нераздельными. Да исполнится!..

— Ты, небо, и ты, земля! Я люблю его и буду ему верной женой. Его жизнь и моя жизнь пусть будут неразделимы. Каждое биение моего сердца — для него, каждое мое дыхание — для него. Я не оставлю его в

минуту слабости или скорби, я укреплю его в радости и торжестве. Да исполнится!..

Две половинки боба,
друг с другом плотно-плотно
заключенные в одну оболочку,—
суть зерно вечной жизни.
Разъединенные — мертвы,
соединенные рождают чудо,
которое взламывает камень,
чтобы поднять к вечному небу
и выпестовать в лучах вечного солнца
две половинки боба,
друг с другом плотно-плотно
заключенные в одну оболочку,—
суть зерно вечной жизни...

39

Чертить и рисовать, колдовать с акварельными красками, тушью, гуашью, пастелью было давно любимым занятием Мережникова. Когда-то он мечтал стать художником и ныне, пожалуй, мог даже называть себя таковым, хотя никогда не нарисовал ни одной картины.

Владимир Андреевич часами просиживал, например, над красочно оформленным «послойным» планом города, выполненным на листах прозрачной кальки, так что при наложении под одним просвечивал другой, под ним следующий: двенадцать листов один на одном, двенадцать веков истории Новгорода. И на каждом листе тушью и красками — улицы с их названиями, усадьбы с фамилиями их владельцев, монастыри с именами настоятелей, родовые боярские владения, торги, кладбища, мосты, колодцы, дороги...

Точное направление улиц, местоположение тех или иных дворов он выверял по летописям, по различным актам, письмам и так далее, ну и по результатам ежегодных археологических раскопок тоже. Доказанное, точное — красной тушью, красной праздничной краской; предполагаемое, установленное лишь косвенно — розовой; и те, что из области чистой фантазии — зеленой, голубой, коричневой. Там, где могли, уместились на кальке церковки, жилые домики, сараи, пристани с лодками или теплоходами величиной со спичку, конные и пешие и едущие в автобусах, дымы из волоковых окон и заводских труб.

Жена Любовь Ивановна, бывало, усмехалась снисходительно:

— Тебе все игрушки! Видно, до старости...

Игрушки, да. С ними он отдыхал душою, они помогали его мыслям, будили его воображение.

Мережникова интересовали соотношения древних боярских родов Новгорода — Мишиничей, Борецких, Твердиславичей, Малышевичей, а также купеческих, ремесленных семейств, уклад их повседневной жизни. Кто-то за кого-то выдавал замуж дочь, кто-то женил сына, кто-то крестил соседского младенца или был на свадьбе посаженым отцом. Разглядывая карты города тринадцатого, четырнадцатого веков, он старался рассмотреть, какими улицами ходили за водой и с бельем к Волхову, где встречали заморские корабли и купеческие обозы, откуда возили дрова, строительный лес, куда выгоняли пасти стадо, где каждодневно пересекались пути горожан из враждующих кланов и семей и каковы отличия в одежде, облике жителей Неревского, Плотницкого или Славенского концов.

Такие у него «игрушки», и быть им теперь до старости.

Несколько лет назад он увлекся изучением старославянского письма и сам взялся переписывать «Повесть временных лет». Зачем? Да просто так. Опять-таки для приятного занятия в часы отдыха. Его подтолкнуло к этой работе то, что однажды однокашник по университету Слава Фирсановский привез ему из Пскова большую вязку старинной, уже пожелтевшей и оттого как бы еще более облагороженной бумаги с водяными знаками в виде совиной головы. Бумага, неведомо где добытая, пришлась как раз в пору увлечения Мережникова кириллицей — старославянским уставным письмом. Владимиру Андреевичу доставляло великое наслаждение выписывать эти прямые, торжественные буквы, ровно, нетолкотно стоящие одна к одной. А когда Слава положил перед ним эту стопу плотной, как пергамент, бумаги, Мережникова прежде всего осенило: «А что, если...»

Он сам выстрогал дубовые дощечки для переплета будущей рукописной книги, сам обтянул их кожей (сколько хлопот было с этой кожей, пока доставал!), а вот бронзовые наугольники и серебряную титульную пластину и гравировку на ней — это пришлось заказывать

местному умельцу прежде всего потому, что ни бронзы, ни серебра Мережников не имел. Впрочем, эскизы для умельца Владимир Андреевич выполнял сам и строго потребовал их точного исполнения.

Хлопоты с переплетом шли независимо от переписки, а писал он неторопливо, страницу за страницей: «По мнозехъ же время нехъ сели суть словени по Дунаеви, где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска. И от тех словенъ разидошася по земле и прозвашася имены своими, где седше на котором месте... Словени же седоша около озера Илмеря, и прозвашася своимъ имянемъ, и сделаша градъ, и нарекоша Новъгородъ».

Иногда он отступался от этой работы на неделю, на месяц, потом, словно вспомнив о ней, принимался снова.

Библейская история, изложенная в повести, не интересовала его — он писал только о Древней Руси.

В тот день, когда он полон был своим «вещим» сном, не лежала у него душа к серьезной работе, и он снова взялся за переписку: то было место, которое часто возвращало к себе его мысли:

«В си же времена бысть знаменье на западъ, звъзда превелика, лучъ имущи акы кровавы, въсходящи с вечера по заходъ солнечнъмъ, и пребысть за 7 дний. Се же пъроявляше не на добро, посемь бо быша усобицъ многыи и нашествие поганыхъ на Русьскую землю, си бо звъзда бъ акы кровава, проявляющи крови пролитье...»

Начиналось великое русское междоусобье.

40

Владимир Андреевич, вернувшись с работы, застал жену дома. Вступительные экзамены в институте кончились, теперь она решила заняться и домашними делами. Любовь Ивановна, должно быть, по этой причине была оживлена, даже напевала что-то, пока он мыл руки в ванне, и заговорила с мужем ласково. Он сел ужинать, а она, хлопоча тут же, на кухне, обронила как бы между прочим:

— Приходили двое слесарей, починили нашу газовую колонку.

Муж кивнул:

— Хорошо. А то она дребезжала как-то подозрительно.

— Вот именно, дребезжала,— удовлетворенно сказала жена.— Что интересно, явились ко мне эти ангелы-хранители и говорят: у вас колонка дребезжит, ремонтировать будем. Я подумала, ты их вызвал. Вот, говорю, какой у меня муж стал хозяйственный, о газовой колонке заботится, специалистов вызвал. А они мне: ваш муж тут ни при чем, благодарите соседку — это она нас послала.

В наступившей тишине особенно отчетливо было слышно осторожное звяканье ложки о тарелку да из-под неплотно завернутого крана тяжело шлепались в раковину капли воды.

— Такая, понимаешь, осведомленная соседка,— не выдержав, произнесла Любовь Ивановна, и он, скользнув взглядом, заметил на ее лице злую усмешку.— Знает, в каком состоянии кухонное оборудование у Мережниковых. Откуда бы это?

Она смотрела на мужа выжидательно, в то время как он боялся поднять на нее глаза. Владимир Андреевич старался не показать вспыхнувшего волнения, следил, чтоб ложка в его руке не вздрагивала; он продолжал молча и неторопливо есть. Пауза явно затянулась.

Любовь Ивановна сняла фартук, бросила его на стол, рядом с его тарелкой, и вышла из кухни.

Он отложил ложку, посидел в одиночестве, взвешивая происшедшее. Это нельзя было оставить просто так: жена может пойти за объяснениями к Фае. Это почему-то очень испугало Владимира Андреевича.

Когда он пошел в переднюю комнату, жена стояла возле окна, прислонившись лицом к стеклу. Ему показалось, что она плачет.

— Да, соседка была у нас,— хмурясь, сказал он.— Случайно разговорились на лестнице, она узнала, что тебя давно уже нет, и вызвалась убраться в квартире. Вернее, не так: это я ее попросил. Что тут особенного! Я же тебе сказал тогда!

Любовь Ивановна не отозвалась, только повела плечами, словно ей было холодно. Нет, она не плакала и, судя по всему, даже не собиралась плакать. Выражение непонятного для него злого торжества не покидало ее лица.

— Вспомни,— продолжал муж,— когда ты приехала, то сразу заметила, что кто-то у нас прибрался, кто-то тут мне помогал. Ты спросила у меня, и я тебе ответил: да, приходила женщина. Что плохого?

Говоря это, он встал с нею рядом. Любовь Ивановна покусывала губы, и глаза у нее странно блестели.

— Я и не думал этого скрывать. Ведь ты не спросила, кто тогда был. Да и какая разница — соседка или кто другой! Не мне же мыть пол и вытирать пыль!

Чем больше Владимир Андреевич оправдывался, тем неуверенней был его тон, тем неприятнее становился и самому себе.

— Отойди,— неприязненно приказала жена.

Видя, что муж не тронулся с места, она резко повернулась и ушла от него в другую комнату.

41

Балин вернулся из отпуска, и все хозяйственные дела, которые Мережников терпеть не мог, сразу отступили. Теперь уже не надо расстраиваться из-за того, что уборщица увольняется и надо искать другую, что вахтерша со второго этажа заболела и нужна замена ей и что в полуподвале необходимо менять батареи отопления именно сейчас, пока не наступил отопительный сезон.

Владимир Андреевич обычно терялся от этих повседневных неурядиц и забот, которым не было конца: они неизменно ставили его в тупик. Напротив, Балин в таких делах был уверенным человеком, настоящим директором. Мережников не мог без искреннего уважения наблюдать, как он неторопливо и основательно решал все эти вопросы, столь существенные в жизнедеятельности их учреждения.

С возвращением Балина Владимир Андреевич получил наконец желанную свободу действий. Теперь бы и заняться настоящим делом, чего от него, собственно, и ждали, но вяжущая леность и странное безразличие овладели им. То, что нужно было исполнить еще вчера, он оставлял на завтра, на послезавтра, на потом... Мережников никак не мог сосредоточиться мыслями на одном: домашняя неурядица бередила, беспокоила его.

Обычно он досадовал, когда звали куда-нибудь выступать, а тут охотно согласился, едва только на это намекнули: съездил с лекцией и на химкомбинат, и на электровакуумный завод, и к летчикам в подгородний поселочек. Потом, словно спасаясь от навязчивых мыс-

лей и стремясь развеяться, зачастил к Гречаниновым, чья мастерская располагалась неподалеку в полуподвале Лихудова корпуса кремля.

Супруги Гречаниновы вот уже много лет заняты восстановлением фресок церкви Спаса-на-Ковалеве. Церковь в войну была разрушена до основания, а два десятилетия спустя оббитую во время артиллерийских обстрелов штукатурку с остатками фресок Гречаниновы собрали и вот уже лет четырнадцать или шестнадцать по своей особой методике подбирают кусочек к кусочку, а кусочков этих — сотни тысяч!..

Летом им помогают студенты из МГУ, приходят и местные доброхоты, вроде Наташи Орловой, у которой «умные ручки» по утверждению Галины Борисовны Гречаниновой. Приезжают даже из других городов — помочь в работе, подышать древностью, пообщаться с хорошими людьми.

Сам Алексей Петрович чем-то неуловимо похож на Иванина, даже внешне — оба они примерно одного возраста, оба успели поседеть, оба неторопливы, даже тяжеловаты в походке. Гречанинов общителен, любознателен во всем и ко всему, ревниво и настороженно встречает всякий интерес к его фрескам.

С появлением Мережникова Гречаниновы ставили на радиолу пластинку, и в полуподвале Лихудова корпуса звучал Шопен. Хозяева мастерской считали Владимира Андреевича поклонником Шопена, чего он не отрицал, равно как и подтвердить не хотел, ибо не то чтобы равнодушен был к музыке, а как-то... не его это была стихия!

Алексей Петрович крайне озабочен: где хранить восстановленные с таким трудом фрески? В построенной заново церкви Спаса-на-Ковалеве нельзя: сыро да и, чего доброго, растащат всё. А иного помещения нет. Пока что все находится здесь, в Лихудовом корпусе.

Мережников разговаривал с Гречаниновыми, между тем как тоска гнездилась в его душе и не давала покою. Он кивал согласно словам Алексея Петровича, а сам то и дело сбивался мыслями на свое...

Раза два наведывался он и в бывший Знаменский монастырь, где располагается база новгородской археологической экспедиции: не нашли ли чего новенького, да и Иванина там легче было застать. Сходил к знакомому художнику в Колмово, посидел в его мастерской

часа два, толкуя о Босхе и Брейгеле, о Петрове-Водкине и о движении света на картинах мастеров Возрождения.

Кстати, подвернулось и еще одно дело.

Новгородский драмтеатр еще весной объявил через областную газету, что желает приобрести старинную мебель для своего реквизита. Тогда же из Малой Вишеры пришло письмо: есть зеркало и шкаф и два креслица — все будто бы девятнадцатого века. Но привезти эти вещи было не на чем, и купля-продажа затянулась. Владелица старинной утвари прислала еще одно письмо, грозя сжечь этот хлам, который надоел ей, как она выразилась, до смерти.

Наконец машину нашли, директор театра пригласил Мережникова, и тот согласился тотчас. Дорога до Малой Вишеры не ближняя, но он радовался этой поездке, хотя и пришлось сидеть в кузове.

И зеркало, и шкаф, и креслица никакой особой ценности не составляли — заурядная работа, к тому же все это требовало основательной реставрации. Однако директор театра мебель приобрел, ибо хозяйка за ценой не стояла, отдавала чуть ли не даром.

И вот когда уже все погрузили, шофер, зашедший случайно во двор, обнаружил возле нашести куриные гнезда, которые имели в качестве перекрытий... подшивки газет и книги.

— Да валялись на чердаке,— сказала с неохотой хозяйка.— Церковные какие-то. Кому они нужны! Я неверующая. А зимой у меня во дворе холодно, так курицы любят прятаться в эти клетухи, там тепло.

Мережников извлек из-под птичьего помета и всякой трухи три тома Четьи-Минеи издания конца прошлого века, книжки «Отечественных записок» времени Салтыкова-Щедрина, а среди прочего — письма на французском языке, заключенные в альбомный переплет, пронумерованные, прошнурованные и уже погрызенные мышами.

Хозяйка все это отдала охотно, как совершенно ненужное, только заставила гостей соорудить во дворе дощатые клетушки для кур, так, как ей хотелось, что и было немедленно исполнено Мережниковым в содружестве с водителем автомашины и директором драмтеатра.

На обратном пути Владимир Андреевич сидел в кузове в дырявом креслице столетней давности и листал «Оте-

чественные записки», дивясь счастливому случаю. Он подумал раскаянно, что такие удачи случались бы гораздо чаще, проявляй он чуть больше старания в поисках.

Вот, например, в селе под Демянском живет старуха, у которой полсундука каких-то старых книг. Учительница, писавшая ему оттуда, утверждает, что видела у нее рукописную Библию на греческом языке.

В деревушечке из семи домов, на реке Ловати, живет восьмидесятитрехлетний старик, у которого знакомый художник, поклонник Петрова-Водкина и Питера Брейгеля, видел церковные книги, оценить которые было ему не под силу, несколько рукописей — их хозяин не разрешил даже полистать — и комплект журнала «Русская старина» за 1872 год с чьими-то пометками на страницах. Почерк показался художнику знакомым, принадлежал кому-то из писателей прошлого века, но чей именно это почерк, художник не мог вот так сразу определить. Хорошо бы взять с собой образчик или сфотографировать, но старик суров, ни книг, ни журналов не отдаст и не продаст, да и фотосъемку вряд ли позволит.

А если все-таки попробовать уговорить?

Надо бы съездить и в Демянский, и в Холмский районы, но Мережников на протяжении вот уже нескольких месяцев не мог выкроить из круга своих забот несколько свободных дней. Может, и выкроил бы, да что греха таить: не любил он ездить! Терпеть не мог вокзалы с их вечной сутолокой и беспокойством из-за билетов, гостиницы с неизбежными неудобствами, тесноту поездов и рейсовых автобусов. Вдали от дома Владимир Андреевич чувствовал себя оторванным от некоей важной основы, на которую опирался весь уклад его жизни; в командировках у него обычно оказывалось много свободного времени, особенно по вечерам; вечера томили и тяготили его.

Идеальный, по убеждению Мережникова, образ жизни — в кабинете, заваленном книгами и рукописями, за письменным столом, на котором среди старых фолиантов и бумаг будет остывающий чай в стакане и сухарик на блюдце... Но никак не в суете улиц или чопорной упорядоченности больших и малых заседаний!

«Закончу дни свои маленьким старичком-архивариусом в тесненькой комнатушке, заставленной папками бумаг»,— думал он.

Что ж, это не такой уж плохой конец. Кое-что он еще успеет сделать до той поры.

Напишет книги... Протрет запотелое от забвения оконце во время Всеславово... Разыщет, спасет кое-какие старые книги...

«Эх, надо бы ездить,— вздыхал Мережников, возвращаясь из Малой Вишеры.— Пропадет ведь! Старушки-то смертны, дай им бог здоровья! Смертны, увы, и многострадальные книги. Ими покрывают кринки с молоком, ими обклеивают стены под обои, ими утепляют курятники...»

Мережников с радостью почувствовал, что эта поездка словно стряхнула с него бремя подступивших к нему невзгод; он словно встрепенулся душой, снова ощутил вкус к работе и уже спешил погрузиться в нее.

42

Однажды, еще до случая с газовой колонкой, идя вечером по улице, он в задумчивости разминулся с маленькой женщиной, очень похожей на Фаю. Спохватившись, что прошел мимо нее вот этак безмолвно, не поздоровавшись, Мережников не испытал раскаяния. Хотя от последнего разговора с соседкой прошло всего недели две, не больше, он так счастливо забыл о ней, что воспоминания не задевали его, не разбивали размеренного тока мыслей. Она так безболезненно отстранилась, отошла в некую тень, что словно бы ее и не было вовсе.

А ведь некогда, меряя шагами свою комнату, он был уверен, что это неожиданное и никоим образом не предвиденное любовное приключение будет преследовать его долго. Думалось, что Фая будет служить живым укором его совести, лишь только он увидит свою, столь некрасивую соседку из окна — «Боже мой! на кого польстился!», или услышит за стеной ее невнятный и потому неприятный голос, или встретит нечаянно — «О чем нам говорить! Мы такие разные люди!» И вдруг ощутил теперь, что отодвинул случившееся, как сон, мимоходом подивившись его странности и неправдоподобности.

«Ладно,— подумал он, вздохнув.— Может, так оно и надо, а? Не я это выдумал. В конце концов ей было хорошо со мной... Да и мне с нею тоже! Чего уж там!.. Ну и славно. А теперь забудем. Ладно!»

Он опять углубился в чтение, опять во время коротких отдыхов рисовал чинные буковки на плотной бумаге с водяными знаками в виде совиной головы, опять разбирал развал монастырского архива, сданного некогда ему по весу — столько-то килограммов.

«Вдова Каптелиница, Галахтионовская жена горончариха приходит мытися в торговую лазню...»

Его почему-то смешила эта фраза, вычитанная неизвестно где и неизвестно когда. Просто вдруг всплыла в памяти, и воображение подсказывало: белотелая вдова с тяжелым венцом кос на голове и стеклянными сережками в ушах поставила шаечку на лавку, пошевелила кованой кочергой горящие поленья в печке, зачерпнула ковшом в котле, плеснула на раскаленные камни... А в этой самой торговой лазне сумеречно, грязный снег виден в окне, колючий ветер шуршит в соломенной крыше. А некто, тоскующий о ней, пишет скрипучим пером: «Вдова Каптелиница...»

43

Стойкое убеждение издавна сложилось и не покидало Мережникова: он воспринимал годы, века, тысячелетия не как временные категории, а как категории пространственные; существовала в нем некая совмещенность этих понятий. Никто из людей в пространстве истории не умирал, хотя Мережников отнюдь не отвергал факты их смерти. Все живут, имея начало и конец жизни, как имеет река исток и устье, а течет, течет... Разница лишь в том или ином отдалении жизнетечений от нынешнего дня. Эти жизнетечения отслоились от тленного человеческого естества, были сами по себе, составляя в совокупности огромный, прямо-таки необозримый мир, границы которого теряются в тумане забвения.

Дотлевает в земле последний серебряный гвоздь с подковы Мономахова коня, но по-прежнему охотится на тура в пущах по реке Десне мужественный и мудрый Владимир Всеволодович, русский князь и русский писатель... Не однажды возносился в небо с восходящими потоками воздуха пепел неукротимого протопопа Аввакума, но горит вечное пламя в порубе, из которого слышно доныне его последнее пастырское благословение... Еще едут купцы в Тмутаракань, хотя их уже уби-

ли и ограбили, а они поют и плывут мимо подступающих к самой воде лесных дебрей по дивной реке Дон... В Суроже на площади продают полуголых девушек с необыкновенно шелковистыми легкими волосами, с глазами цвета весеннего неба, с кожей белой, как благородный мрамор,— а внуки и правнуки их уже смуглы и кареглазы и уже толкуют не по-русски в Нубии, Исфагане, Калабрии, Эритрее... Уносит в штормовое море, в безвозвратность безымянных русобородых мореходов с Двины, и вон они обживают ледяной берег Гренландии, а потомки их уже плывут в долбленых лодках мимо болотистых берегов земли, названной много веков спустя именем римской богини, покровительницы всего растущего и цветущего...

Пространство истории наполнено движением, звоном и многоголосьем, дымом пожарищ, взблесками мечей и тугим ветром вселенских катастроф, запечатленным в крике страданием и торжеством, бессонными токами человеческой мысли и озарениями духа. Пространство истории живо; могучее дыхание его толкает ныне живущих в спины — вперед! да сбудется то, что сбудется!

«Сознают ли мои современники,— размышлял Мережников,— исторический смысл своего существования?..»

Сознают ли они, что, прошивая пространство времени, наступая жизнями своими на небытие, отвоевывают у пустоты все новые и новые пространства, заполняя их? Вот Слава Фирсановский с Виталием... Вот Наташа в своей холодной Кандалакше... Старичок Часовников... Вера Станиславовна вкупе со своими женщинами и Балин... Вот несмышленая дочка его Джуля и разумница жена... Вот сам он...

«Нет, не сознаем. Просто живем, как трава. Да и сознавал ли кто когда-нибудь? Мономах? Гюрята? Нестор-летописец? Разве что летописцы, да...»

Вынырнув из глубин древности, как бы из самого себя, со странной улыбкой, с отрешенным взглядом Мережников вставал из-за стола и некоторое время прохаживался, потирая лицо рукой. Если такое случалось в служебном кабинете, он, чтоб развлечься, отправлялся по коридору длинного здания, выходил на улицу и вскоре появлялся в том помещении, которое служило ему комнатой отдыха.

— Здравствуйте, ваши величества! Что нового в подвластном вам царстве-государстве?..

Женщины были неизменно рады ему, тотчас открывалась дверь за стеллажами, и Григорий Павлович, улыбаясь, ожидал гостя. А гость любил бывать здесь.

44

Соседку Фаю после долгого перерыва он встретил однажды на лестнице — она шла с какой-то женщиной и не поздоровалась с Мережниковым, только глянула коротко и, как ему показалось, безразлично. На другой день Владимир Андреевич увидел ее в ближнем от дома гастрономе и, немного задетый ее невниманием, подошел:

— Здравствуй, соседка.

Она ответила сдержанно:

— Здравствуйте, Владимир Андреевич.

Фая была с сынишкой, и Мережников улыбнулся малышу, пощекотал ему голую шею — тот засмеялся.

— Что-то давно не видно было тебя, Фаина, и не слышно.

— Ездила к маме.

— Далеко?

— По Мсте на теплоходе час пути.

Они разговаривали хорошо, как двое приветливых соседей. Она оглянулась настороженно туда, где были кассы и стояли люди. «Заботится, чтоб жена меня не увидела»,— усмехнулся он.

— Почему ты не спросишь, отремонтировали мне газовую колонку или нет?

Она молча и с удивлением смотрела на него.

— Но ведь ты послала нам эти двух слесарей,— напомнил Владимир Андреевич.— Сказала: идите к соседям, у них колонка неисправна.

Она опять его не понимала. Его даже рассердил ее недоуменный взгляд.

— Но у тебя, по крайней мере, были газовщики?..

— Нет. Я же говорю: к маме ездила.

— Погоди,— Мережников слегка опешил,— то есть как не были?

— В прошлом году только,— сказала Фая, вдруг испугавшись чего-то.

— А-а, ну я так и думал,— непонятно произнес он, тотчас сообразив, в чем дело.

Владимир Андреевич вспомнил в эту минуту очень ясно, как Любовь Ивановна стояла у окна, покусывая губы. Ему тогда показалось, что она сдерживает слезы, но это было не что иное, как злое ликование. Он попался на удочку, которую она так ловко забросила. «Ай да Люба! — промелькнуло сейчас в его голове.— Как говорится, пардон, не ожидал».

Они с Фаей пошли по магазину рядом, продолжая разговаривать о том, о сем.

«А и глуп же я!»— мимолетно подумал Мережников.

— Ну, как жилось у мамы? — спрашивал он, не зная, о чем говорить со своей соседкой.— Хорошо отдохнула?

— Даже отлично, Владимир Андреевич. А вы тут как жили?

— Я лучше всех,— ответил он рассеянно.

«Почему, почему Люба решила меня так разыграть? — не покидала его тревога.— Значит, подозревает... Подозревает и носит это в себе. И молчит! Так-так».

Мережников с соседкой вышли из магазина, ничего не купив, и здесь Фая остановилась, сказала, что дальше им идти вместе не следует.

— Это почему же? — удивился он.

— Нельзя, и все.

— А-а, конспирация!

Он засмеялся, однако не без удовлетворения отметил про себя разумную предусмотрительность Фаи.

— Ну, что ж, до свидания. Идите вы, я постою.

«Не спросила ведь прямо...— все более досадуя, думал он, пока Фая удалялась.— Затеяла этот глупый розыгрыш с газовщиками... Почему же ее подозрение легло именно на соседку? Чтоб убрать в квартире, ко мне могла прийти и другая женщина! Странно...»

— Владимир Андреевич!

Фая остановила мальчика и вернулась.

— Владимир Андреевич,— проговорила она, задыхаясь то ли от волнения, то ли от быстрой ходьбы.— Мне от вас ничего не надо, не подумайте... Прежнего не будет, это я знаю. Но я вас люблю. Я вас очень люблю, Владимир Андреевич! Без памяти люблю... Прям как дура...

Не дожидаясь, что он скажет в ответ, она вернулась к сынишке, схватила его за руку, и они торопливо пошли прочь.

«Ну вот,— сконфуженно подумал Мережников, оглядываясь зачем-то на магазин.— Подфартило, как выражались в старину».

Фая никогда не говорила ему о своей любви даже в минуты их близости, когда в забывчивости она называла его «ты», «Володя». А что он может ей теперь ответить? Ничего. Слава богу, что она и не ждет ничего. Хотя и то надо признать: не ждала бы, так не сказала бы сейчас.

И снова у него заскребло на сердце в предчувствии: нет, эта история не закончилась. Она еще будет иметь продолжение, и, увы, ее дальнейшее течение уже не зависит от его желаний. Предчувствие подсказывало ему: события постепенно выходят у него из-под контроля.

«Надо поговорить с Любой... Попытать ее осторожненько... А впрочем, ничего не надо,— отмахнулся он.— Пусть все идет, как идет».

45

Перед началом учебного года Любовь Ивановна съездила в деревню, привезла от родителей дочку.

Вернувшись с работы, Владимир Андреевич увидел обеих на кухне, где Любовь Ивановна кормила Джулю сладостями и вкусностями, которые удалось достать в ближайшей домовой кухне и в магазине.

Джуля рассказывала, как бабушка учила ее доить корову, как в кусте крыжовника синичка выводила птенцов, которых можно было подкармливать червячками; о том, что Борька Сапелкин умеет свистеть в четыре пальца, а она только в два; о том, что под камнем возле пожарного сарая живет змея со змеенышами, и там непременно есть клад, она его стережет.

В этот вечер Владимир Андреевич почти не отпускал от себя дочку. Она вырывалась, тянулась то к матери, то просто побегать по комнатам, а ему хотелось, чтоб Джуля сидела у него на коленях, что доставляло ему неизъяснимую радость: такая она была тепленькая и весомая, такая живая, каждой своей жилочкой деятельная, и такая родная, своя...

На другой день, не желая с нею расставаться, он взял Джулю с собой на работу.

Все, кто бы ни встретился им на пути на улице ли,

в коридоре ли родного учреждения, останавливались, каждый выражал свое восхищение его дочерью. На неизменный вопрос: «Как тебя зовут?» — девочка отвечала с большим достоинством: «Джульетта Мережникова». В эти минуты она очень походила на мать: строгая, серьезная, красивая; и он гордился ею.

Папа с дочерью зашли в бабье царство.

— Ах! — первой воскликнула Людмила Романовна.— Это ваша дочь, Владимир Андреевич? — Вышла из-за своего стола, присела перед нею на корточки.— Какая прелесть! Что за глазки! И кудрявая. Надо же, до чего славная девчушка! Как тебя зовут?

Но на этот раз Джуля своего имени назвать не захотела. Она только строго и даже как бы свысока посмотрела на присевшую перед нею женщину и отступила на два шага и отвернулась.

— Ах, как я люблю детей! — продолжала восторгаться Людмила Романовна.— Готова усыновить или удочерить кого-нибудь. У меня есть подруга на Урале, ей трудно живется. Я ей говорю: отдай мне свою дочку, я воспитаю. Обещала подумать. Может, отдаст, а? Я воспитала бы хорошо. У меня с детьми всегда отличный контакт, Владимир Андреевич, а с вашей девочкой мы еще не привыкли друг к другу. Ты к нам будешь заходить? — спрашивала она Джулю.

— Да,— сказала та.

— Ну вот и хорошо! Вот и славно! — ворковала Людмила Романовна, то и дело оглядываясь на Мережникова.— Мы с тобой быстро найдем общий язык.

Как всегда, так и теперь, она была неизменно энергична и весела. Валентина верно сказала однажды при Владимире Андреевиче:

— Романовна-то наша, как тесто на дрожжах, так вся и ходит! Расцвела — откуда что берется!

— Как наступит сорок пять, баба ягодка опять,— заметила Вера Станиславовна довольно неприязненно.

Этот краткий разговор происходил, естественно, в отсутствие Людмилы Романовны, и при этом женщины хитро поглядывали на него. Мережников отнюдь не польщен был такими намеками, но постарался тогда не показать своей досады и вообще в их присутствии стал держаться строже.

У них были основания подтрунивать над ним. Едва только он переступал порог, как сразу попадал в зону

притяжения Людмилы Романовны: она первой заговаривала с ним, настойчиво приглашала сесть неподалеку от себя и слушала заинтересованней всех, о чем бы он ни говорил. При этом она отнюдь не была назойливой, напротив — радушной, приветливой; Владимир Андреевич отдавал должное тому такту, с каким она вступала в любой разговор. Эта женщина знала себе цену и умела вести себя достойно.

Однажды он застал ее одну, и Людмила Романовна, не мешкая, перешла на доверительный тон.

— Ну, как поживает ваша девушка? Та, что очаровала вас своим голубым купальником. Рассказывайте!

— Увы, она меня не любит! — отшутился Мережников и так же шутливо прочитал:

Утешься, друг: она дитя.
Твое унынье безрассудно:
Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское — шутя.

Надо было изгладить из памяти Людмилы Романовны тот нежелательный приступ его откровенности, и он с самым серьезным видом заявил ей, что девушка с именем Наташа — лишь плод его воображения, в действительности, мол, таковой не существует; он-де выдумал ее затем, чтоб испытать, как отнесется к подобной истории его собеседница, в чем и просит нынче извинения.

Она не приняла его версии.

— Я вижу, вы разочаровались,— несколько печально сказала Людмила Романовна.— А впрочем, это нетрудно было предвидеть. Ах, Владимир Андреевич! Вы умный, образованный, душевно богатый человек, и вдруг — простенькая, глупенькая девочка... Нет, это не для вас. И все-таки мне жаль, что ваше увлечение так ничем и кончилось. Искренне жаль, поверьте.

Ее непритворная печаль была приятна ему. Мережников слушал молча и внимательно и потом не раз с благодарным чувством вспоминал этот разговор.

Впрочем, не всегда беседы с нею удовлетворяли его.

— Милый Владимир Андреевич,— заявила она в другой раз, когда он так же застал ее одну,— жизнь без любви, как кушанье без соли,— пресно, скучно! А вы особенно нуждаетесь в женской ласке, как никто другой.

Я вас так понимаю! Вы же в этом отношении совсем беспризорный мужчина, или бесхозный, как теперь говорят. Вам нужна не любовница, нет! Вам необходима женщина-мать. Такая, знаете ли, заботливая, нежная, хлопотливая, любующаяся вами, преданная вам... Да, да!

Чем увлеченней она говорила в этом духе, тем сильнее раздражался Мережников. Что за афоризмы, вроде «жизнь без любви — как кушанье без соли»! Что за пошлые рассуждения! Ладно бы на отвлеченную тему, а то о нем, о нем! Да еще в таком жалостливом тоне: вам-де нужна женщина-мать...

Он еле сдерживался от резкого замечания. Тут вошла Валентина, и разговор, принявший для него нежелательное направление, пресекся. Мережников боялся его продолжения и в последние дни избегал заглядывать в бабье царство.

Нынче зашел, не опасаясь,— это потому, что был с Джулей.

— Вера Станиславовна,— требовательно сказал он,— не слышу от вас восхищенных слов.

Та с самым серьезным выражением лица смотрела на его дочь и молчала. А Джуля из всех женщин выбрала в собеседницы именно ее:

— Что это у вас?

— Фломастер.

— Разве бывает такой фломастер?

И пустилась в дальнейшие расспросы.

Вера Станиславовна приласкала ее, и девочка доверчиво прижалась к ней.

— Папа-то, папа-то тает,— заметила Тоня.

— Еще бы! Дочь-то, ишь, какая красавица! — Вера Станиславовна поцеловала девочку, чем заслужила еще большее Джулино расположение.

Когда вышли, Владимир Андреевич спросил у дочери:

— Тебе не понравилась эта женщина, вот которая присаживалась перед тобой на корточки?

— Нет.

— Почему?

— Она притворяется.

Джуля чутко уловила фальшь в поведении Людмилы Романовны. Эту фальшь чувствовал и Владимир Андреевич, она раздражала его.

— Купи мне фломастер такой, как у Веры Станиславовны.

— Обязательно куплю. И куплю и достану, чего хочешь.

В приливе непонятной нежности он сказал:

— Ты помни, Джуля, я буду рядом с тобой всегда, что бы ни случилось. Ты это очень хорошо запомни: у тебя есть папа и мама, есть и всегда будут, что бы ни произошло. Запомнишь?

— Да,— кратко сказала обычно не скупая на слова дочь.

46

В этот день он мысленно поселил Наташу Иваненко в общежитии. Она, конечно же, приехала из своей Кандалакши и уже небось ходит по улицам Новгорода, и будет навещать тесную «Пончиковую» возле кинотеатра «Октябрь», куда он сам теперь любил заглядывать. Вечером отправится с девчатами на Веселую горку, где танцплощадка и по вечерам играет оркестр и куда Мережников ни разу не показывался.

Владимир Андреевич часто представлял себе, как встретит ее нечаянно на улице. Он ждал этой встречи со дня на день и все нетерпеливей. Вот-вот она выйдет из-за дома на перекрестке, покажется на той стороне улицы; сойдет с автобуса на остановке и столкнется с ним, идущим по тротуару. Встреча эта непременно произойдет, надо быть к ней готовым.

Мережников так часто обдумывал свой предстоящий разговор с Наташей Иваненко, что он запечатлелся в его памяти, подобно тому, у Княжой башни.

— Здравствуй, Наташа!.. Очень рад тебя видеть. Ну, какие новости в Кандалакше?.. Правда ли, что ветер с Белого моря пахнет рыбой? И неужели там на улицах деревянные мосточки, как в моем микрорайоне? Ты, конечно, ходила за водой с коромыслом? Догадываюсь. Ты удивительно похорошела за эти два месяца... Мне так хотелось написать тебе письмо!.. Нет, не решился. Ведь мы с тобой даже не знакомы! То есть я тебя знаю, а ты меня— нет. Надо исправить эту несообразность, Наташа!..

Он видел ее смущенную улыбку в ответ и теплый блеск глаз и слышал ее голос...

И вот так, разговаривая, они пошли бы куда-нибудь... По набережной от моста до Ярославова Двори-

ща — это если бы он встретил ее на Торговой стороне... Или вокруг кремля — это если бы он встретил ее здесь, на Софийской стороне. Пусть даже просто гуляли бы по улице, в толпе...

— Это такая проблема, Наташа,— как докричаться до человека, который рядом с тобой! Поверь, это очень непросто: быть услышанным человеком, стоящим рядом, живущим рядом, быть им правильно понятым. Вот, я слышу его дыхание, могу взять за руку, разговаривать с ним, и все-таки он бесконечно далеко. Несчастья, исковерканные судьбы, великие и малые конфликты среди людей — почти все это из-за недоразумения по причине явного, вопиющего непонимания. Сын не разумеет отца, жена мужа, сосед соседа — отсюда все несчастья. Ах, как это непросто — понять человека!..

— Вот и мы с тобой тоже... Вроде бы я говорю, ты слушаешь — чего же еще! А нет... Тютчев сказал: мысль изреченная есть ложь. То есть она искажена в слове говорящего и она искажена второй раз — через восприятие слушающего. Видишь, какая это несовершенная коммуникация — человеческая речь! Чаще всего не связующая, а наоборот — разобщающая. Песня есть блатная: «Граждане, послушайте меня...» Тот же крик души: граждане, послушайте! А граждане слушать не хотят. И не понимают, зачем это нужно. И идут все мимо, мимо... Понимаешь? Отсюда болезнь века — одиночество в толпе людей...

— Вся мировая литература посвящена тому, чтобы установить надежную связь между двумя мирами, то есть между двумя людьми. Ведь каждый человек — это мир, он — как солнечная система среди прочих в нашей Галактике, он — как наша Галактика во Вселенной. Каким образом наладить связь между ними, что практически означает — от звезды до звезды? Кричать? Не скоро докричимся...

— И философия, и искусство, и религия, и литература — все служат одной цели. Тысячи лет лучшие умы человечества бьются над проблемой: как сделать, чтоб человек не искаженно, а истинно понимал человека. И тысячи лет не могут добиться этого. Люди по-прежнему общаются друг с другом самым примитивным, самым топорным способом — при помощи слова. Хотя само по себе это великое средство — слово. Тем не менее самый совершенный и самый красивый из всех существующих

языков, которым мы с тобой владеем,— русский! — не способен полностью удовлетворить нас. Так, Наташа?

— Как в космической связи от звезды до звезды: радиоволны слишком медлительны, световые волны тоже — нужны новые коммуникации, что-то принципиально иное. А пока этого «чего-то» нет, вот и мятутся наши души, каждая в своем одиночестве. Моя, в частности... Да и твоя! Разве нет?..

— Мне кажется, принципиально новое средство взаимопонимания между людьми найдено, и давно уже,— тысячи лет назад, но мы до сих пор не можем освоить его, не умеем пользоваться им, может быть, из-за несовершенства человеческой души. Я имею в виду любовь. Ведь это то взаимопонимание, когда не требуется никакого посредства — ни речи, ни письменности. Двое людей чувствуют близость друг друга, даже будучи разделенными стенами или пространством. Они знают, когда с любимым человеком случается несчастье, хотя бы в этот миг они находились в разных концах света. Их взаимное понимание мгновенно во времени и безошибочно. Конечно, это чудо...

— Люди, которые понимают друг друга таким чудесным образом,— счастливейшие люди на земле. Их мало, избранных; к сожалению, очень мало. Мы так неумелы и несовершенны в общении! Мы хотим и не можем взаимопроникнуться Любовью, а все так жаждем ее, так тянемся к ней и обжигаем крылья, как бабочки на огне...

Все это он ей говорил, а она слушала молча, и он ловил на себе ее удивленный и просветляющийся взгляд.

47

— Я намерена сегодня нанести визит нашей соседке,— как бы между прочим обронила вдруг Любовь Ивановна.— Ты пойдешь со мной, Джуля?

Семья Мережниковых ужинала, на этот раз все вместе. Разговор шел как бы через Джулю; отец спрашивал о чем-нибудь дочь, адресуясь между тем к своей жене, мать же говорила дочери: скажи своему отцу то-то... А прямо друг к другу супруги избегали обращаться. Фраза о соседке была первой фразой, адресованной Любовью Ивановной непосредственно мужу, хотя и ее она, словно спохватившись, обернула к дочери.

— С какой целью? — осведомился Владимир Андреевич нарочито безразличным тоном, якобы только затем, чтобы поддержать разговор.

— Начались занятия, очень много стало работы,— спокойно объяснила жена.— Некогда и убраться в квартире, не говоря уж о том, чтобы готовить обеды и ужины. Дочь стала первоклассницей, приходит из школы — ее кормить надо. Да еще бегать по магазинам! Не успеть мне.

Любовь Ивановна говорила это размышляюще и неторопливо, словно наслаждаясь производимым впечатлением.

— Хочу спросить у нашей соседки, не согласится ли она выполнять за меня сии обязанности на правах домработницы. Поскольку однажды уже выполняла,— не удержавшись, добавила она и усмехнулась.— Не знаю уж, на каких правах.

Жена не в первый раз позволяла себе подобные намеки, на которые Владимир Андреевич обычно никак не отзывался. Отрицать и оправдываться было глупо, но и не подтверждать же! На этот раз муж только пожал плечами.

Он ожидал этого и ранее. Владимир Андреевич понимал: отвратить Любовь Ивановну от возникшего намерения теперь уже не удастся, оно созрело явно не сегодня. Если бы он вздумал уговаривать, это лишь укрепило бы ее в принятом решении. Дело здесь вовсе не в том, что Любовь Ивановна действительно хочет заиметь домработницу...

— Кстати, как ее величать, Владимир Андреевич?— осведомилась Любовь Ивановна.

— Ее зовут Фая,— твердо сказал Мережников, и жена с видимым удовлетворением кивнула.

— Тебя что-то беспокоит? — осведомился он.

— Меня беспокоит, что в квартире не убрано, что обед готовить некому. Только это, больше ничего.

— Слава богу,— отозвался он ровным голосом.

Разговор не вызвал никаких подозрений со стороны Джули, а между тем напряжение резко возросло, каждую минуту можно было ждать срыва.

После ужина Любовь Ивановна отправилась для переговоров, взяв с собой и дочь. Ясно, что Джуля нужна ей была затем, чтобы придать обычность неожиданному визиту — так понял Владимир Андреевич. Ни-

чего особенного, мол, не происходит, просто соседка зашла к соседке, и девочка с нею — дело привычное.

Любовь Ивановна не волновалась, но придала своему лицу холодный и деловой вид, что, собственно, и было признаком ее волнения. Владимир Андреевич слышал, как она позвонила, и как Фая открыла им, и как, переговорив коротко у открытой двери, гостьи вошли в Фаину квартиру.

Владимир Андреевич поспешил в свой кабинет и здесь прислушался: он различал голоса жены и Фаи, но не мог разобрать слов. Разговор, судя по всему, шел довольно ровный, вежливый, спокойный; сначала о вещах посторонних, потом, должно быть, перешли к главному. Фая сказала довольно явственно:

— Нет, я в две смены.

Видимо, Любовь Ивановна расспрашивала о ее работе.

Вдруг засмеялась Джуля — это она, должно быть, играла с мальчиком соседки.

А женщины по-прежнему разговаривали очень мирно и благожелательно, словно подобные беседы случались у них каждый день. Мережников, признаться, ждал каких-то возбужденных фраз, резких слов, но ничто не нарушило ровного течения беседы за стеной. И уж во всяком случае он не ожидал, что разговор этот будет длиться так долго. Казалось бы, о чем тут толковать? Гостья спросит: не согласны ли, мол? Хозяйка, конечно, ответит: нет. И все. А вот сидят, толкуют... О чем?

«Зря я все-таки вовремя не подготовил Фаю,— подумал Владимир Андреевич, чутко вслушиваясь в звуки за стеной.— Хотя бы тогда в магазине, надо было предупредить... Моя Люба хитра, может и разыграть соседку, как разыграла в тот раз меня...»

Любовь Ивановна вернулась с потаенно-странной улыбкой. Во взгляде, в выражении лица было что-то опять-таки от злого торжества, как в тот день, когда он признался, что Фая была у них в квартире. Видно, какие-то предположения Любови Ивановны явно подтвердились и на этот раз. Но какие? Мережников в напряжении ждал, что скажет жена. А та ушла на кухню, молча мыла посуду и, должно быть, размышляла.

— Она не желает! — наконец объявила Любовь Ивановна мужу.— Иди ты, Володя, тебе она уступит.

Взгляд ее при этом был нехорош: и презрителен, и ироничен.

— Нет! — решительно сказала она через некоторое время.— Даже если бы эта женщина и согласилась стать нашей домработницей, теперь я не согласна. Ох, рассмотрела я ее как следует: она так нехороша собой, что не годится даже в качестве прислуги. Чтоб каждый день маячила передо мной такая уродина — надо ангельским терпением обладать, чтоб сносить ее.

— Откуда в тебе столько злости! — не выдержал муж.— Почему ты так... Неужели тебе не стыдно!

— Ах, оказывается, это мне должно быть стыдно!— Любовь Ивановна смотрела на него, качая головой.— Оказывается, мне.

— Ты говоришь о ней в таком издевательском тоне. Что она тебе сделала плохого? — Мережников не понимал озлобления жены. Ведь Любовь Ивановна знала лишь то, что Фая убиралась в их квартире, но и только! — Да, она некрасива. Почему ты ее за это презираешь? Мало ли некрасивых людей! Ну и что?

— Действительно, ну и что! — подхватила жена.— Я слышала, что уродство женщин некоторые мужчины воспринимают весьма своеобразно: оно их возбуждает. Должно быть, ты из их числа,— заключила она.

— Замолчи,— не попросил, приказал он.

— А я говорю: не смей...— так же тихо и побледнев, выговорила Любовь Ивановна.— Не смей ее защищать! Она низкая женщина. Да, я знаю, что говорю. Она именно низкая женщина. Подозреваю, что и ты ей под стать! Подозреваю, да!

Только теперь они оба заметили Джулю; девочка вышла из соседней комнаты и внимательно смотрела на родителей, переводя взгляд с одного на другого.

Любовь Ивановна дернула ее за руку и увела. Владимир Андреевич бесцельно листал книгу вздрагивающей рукой.

48

Вахтерша, спустив по носу очки, читала книгу. Она подняла голову и выжидательно посмотрела на вошедшего: представительный мужчина, интеллигентный, хорошо одетый. Не начальство ли какое?

— Вам кого?

— В вашем общежитии проживает Иваненко Наташа? Это со старшего курса.

— Знаю такую. Проживает.

— Вызовите ее, пожалуйста.

Нет, начальство не просит, оно требует и приказывает. И не какую-нибудь Наташу, а сразу коменданта. Кто же этот?

— Отец ей, что ли?

Владимир Андреевич замешкался, но всего лишь на секунду, не более.

— Нет.

Вахтерша чутко уловила паузу, после которой он ответил, и, кажется, заподозрила что-то. Во всяком случае сочла необходимым задать еще один вопрос:

— А вы по какому делу к ней?

— Да зачем вам знать-то? — вежливо осведомился Владимир Андреевич и тотчас подумал: «Ну вот, не успел появиться и уже законфликтовал. И как это у меня получается!» Ссора с кем бы то ни было в общежитии никак не входила в его планы.

Вахтерша, поворчав, крикнула кому-то в коридор, чтоб позвали «Иваненкову». Мережников отвернулся от нее и перевел дух.

Пока что все шло неплохо. Он взял верный тон — независимый, уверенный. Вот так же надо разговаривать и с Наташей. В конце концов, кто она такая? Не велика барыня. И нечего тут волноваться.

Девичья фигура показалась в коридоре, и Мережников тотчас узнал Наташу по походке, мягкой, неспешной. Ему стоило большого труда, чтобы в эту первую минуту не выдать разом усилившегося волнения. Сейчас, когда Наташа вышла из сумрачного коридора в освещенное пространство тесного вестибюля, она показалась Мережникову вовсе не такой привлекательной, какой была на пляже или рисовалась в его воображении. В дешевеньком, домашнего вида платьице она выглядела худенькой, лишенной начисто живости, почему-то озабоченной. У Мережникова сердце упало, он несколько увял, воодушевление покинуло его.

Наташа скользнула по нему безразличным взглядом, спросила у вахтерши:

— Ты звала, теть Марусь?

— А вот человек тебя спрашивает.

«Глупо началось, пусть глупо и продолжается»,— подумал Владимир Андреевич с непонятным к себе самому ожесточением.

— Здравствуй, Наташа,— он решительно шагнул к ней.

Постигшее Мережникова разочарование сделало его несколько более спокойным, он уже хорошо владел собой.

— Здравствуйте,— ответила она с плохо скрытым недоумением.

— Это я просил тебя вызвать,— он легонько взял ее за локоть, увлекая чуть в сторону, прочь от заинтересованной вахтерши.

— Ты помнишь меня, Наташа? — спросил он, понижая голос.— Или нет? Конечно, наше знакомство было таким кратким! Да и не знакомство вовсе, а так, всего один разговор. Но для меня он... много значил... Помнишь, в июне, когда ты сдавала экзамены?..

Она тотчас отстранилась, освобождая локоть, сделала это бессознательно. И странно, как раз в эту минуту она опять нравилась ему, словно его душа расцвела ей навстречу. Мережников почувствовал, как снова прихлынуло волнение, и улыбнулся напряженной улыбкой. «Дурак!.. Клоун!.. Душевноконтуженый!»

— Да,— сказала она нерешительно,— я вас помню. А что вам нужно?

Тут он затруднялся ответить сразу, замешкался.

— В общем... Как тебе сказать... Прежде всего поговорить с тобой. Очень важный разговор, важный для нас обоих... Понимаешь?

И опять та же улыбка. «Жалкий идиот!.. Дефективный».

— О чем поговорить?

Она хмурила брови, силясь понять.

Мережников снова замялся.

Что у нее за способность ставить вопросы вот так, в лоб! Пора бы уже и догадаться кое о чем, не маленькая.

— Наташа, ты все узнаешь чуть-чуть позже,— говорил он с легкой досадой и оглянулся на тетю Марусю. Та, к счастью, была занята телефонным разговором.— Но нам надо... лучше бы выйти. Разговор очень важный, настолько, что... ну, никак нельзя здесь. Я прошу тебя, оденься, мы выйдем на четверть часа на улицу. Просто вот тут в сквере постоим... И я все тебе объясню.

— Мы можем пойти в красный уголок,— предложила Наташа.

— Нет,— мягко отверг он.— Лучше на улицу.

— Не знаю... Я так занята,— сказала она в растерянности.— Там утюг нагрелся...

— Господи, что она говорит! — воскликнул он, улыбнувшись, потому что досада, невольно выказанная им, была здесь неуместна.— Какой-то утюг... когда речь идет о человеческой судьбе. Пойми, я не пришел бы из-за пустяка, это очень важно! Ну, что ты на меня смотришь? Как будто чего-то боишься. Вот тоже мне! Ну, возьми с собой Галю. Только, ради бога, пусть она держится в стороне. Предупреди ее, что она не должна слушать наш разговор.

Он говорил это с такой умоляющей и убеждающей интонацией, так горячо, что она наконец поняла: речь пойдет о чем-то серьезном, не пустом. Хотя все это довольно странно...

— Хорошо. Я сейчас,— согласилась она, словно сразу оттаяв.

Какое у нее милое лицо!.. И как хороши небрежно заколотые на затылке волосы!.. И платьице ей очень к лицу.

— Так я подожду на улице, Наташа,— обрадованно заторопился он.

Девушка кивнула.

— Только ты побыстрей, ладно? — это он уже почти дружески сказал.

Наташа ничего не ответила, она уходила в коридор.

Владимир Андреевич вышел и глубоко вдохнул холодный влажный ветер, разом опахнувший его разгоряченное лицо.

«Кажется, ничего, все идет нормально»,— говорил он сам себе.

Довольный и деятельный, он ходил взад-вперед неподалеку от подъезда под шелестящими на ветру молодыми кленами и липами. Временами накрапывал дождь, однако сквозь просветы в облаках то и дело выглядывало солнце, и тогда мир преображался: блестел мокрый асфальт, загорались золотом деревья, и сам воздух наполнялся холодным осенним сиянием.

«Сначала о том, о сем,— в который раз выстраивал Мережников будущий разговор.— И лучше увести бы отсюда, подальше от любопытных глаз, на набережную, например. Или в парк... Впрочем, это далеко отсюда. А если бы можно в какое-нибудь уютное, теплое кафе!..

Может, в то, что возле моста? Занять столик в углу и, не торопясь, все обговорить».

Ожидание не тяготило его. По крайней мере он имел время собраться с мыслями и поуспокоиться.

Дождь совсем перестал. С деревьев на тротуар в прозрачные мелкие лужи падали крупные капли, вспухая пузырями,— это к хорошей погоде, а значит, к добру.

«В водах от дождя встают гворове... Постой, откуда это? Не помню... Дождь падал крупный, акы воловье око... Это Владимир Мономах... Что-то не идет Наташа. Елма же и сами видет дуждевные капле и водные гворы, акы клобучьце бывающе... Вот она! Идет!.. Ну, ни пуха, ни пера».

49

У него сжалось и гулко забилось сердце, когда он увидел ее, сходящую по ступенькам подъезда: так она простенько была одета и столько милого было в этой простоте. Он вдруг ощутил почти родственное чувство к ней, какое бывает к людям, с которыми давно и крепко сжился. «Нет, я не зря ее выбрал... Это провидение».

Владимир Андреевич сделал шаг и два ей навстречу, и они пошли рядом. Он что-то спросил у нее про общежитие и потом никак не мог вспомнить, что именно: то ли о том, нравится ли ей оно, то ли о том, хорошо ли она устроилась, когда приехала. И что ответила ему на это Наташа, он потом тоже не мог припомнить. Мережников все время держал в памяти ту, заготовленную заранее и продуманную много раз речь о самом главном и боялся ее потерять, построить разговор иначе, и тогда выйдет неудачно, поэтому говоря одно, думал все о том, о том.

Он нарочно оттягивал время; ему хотелось, чтобы самая ответственная часть разговора произошла в более укромном месте, а не здесь, когда их могут видеть из окон и даже, возможно, слышать. Поэтому спросил еще, почему она поступила именно в кооперативный техникум да еще приехала в Новгород вон откуда — из Кандалакши! Разве так уж у нее сильно желание стать... кстати, кем?

— У меня здесь сестра живет,— объяснила Ната-

ша.— Но вы что-то хотели мне сообщить,— без обиняков напомнила она.

— Да...

Он оглянулся на общежитие — они уже отошли от него на приличное расстояние и вообще были одни в эту минуту.

— Наташа, я думал, что это объяснение...— собираясь с духом, заговорил Владимир Андреевич,— что этот разговор состоится у нас раньше. Во всяком случае, я готов был к нему давно. Разговор непростой и... и ты, пожалуйста, не прерывай меня, пока я все объясню.

Говоря все это, Мережников то и дело оглядывался на Наташу, ловя выражение ее лица. Она была не слишком озабочена, с улыбкой поглядывала вокруг и не ожидала ничего из ряда вон выходящего, хотя в общем все это странно было для нее. В то же время Наташа могла видеть, как он ужасно, катастрофически волнуется.

— Что бы я ни сказал, не прерывай, ладно? Выслушай, я тебя очень прошу!

У Мережникова билось в голове из всей этой горячей речи только одно: «Надо сказать: выходи за меня замуж. Надо сказать это, а дальше будет проще...»

— Я тогда на пляже подошел не случайно,— выговорил он.— Я долго искал повода, чтоб подойти. И вообще все это... и сегодня тоже... Не случайно.

Наташа бросила на него быстрый взгляд и вдруг стремительно покраснела.

«Поняла,— сообразил Мережников.— Ну и слава богу!»

Девушка отступила с тротуара на шаг в сторону и побрела под деревьями, по усыпанной желтыми листьями траве, опустив голову и глубже засунув руки в карманы пальто, словно ей стало холодно.

— Наташа, дело в том, что у меня сейчас житейская катастрофа: разваливается семья. Может быть, я в этом виноват, а может, и нет, но это так. Мы с женой... мы расстаемся. Можно считать, уже расстались. И вот... У меня нет возможности ухаживать за тобой. Нет возможности, понимаешь, Наташа? — заторопился он.— Хотя, разумеется, я этого и хотел бы. Но, увы... если я тебя приглашу куда-то, в кино или просто гулять — ты сразу скажешь: зачем это? для чего? Вот как сегодня.

Девушка нахмурилась и остановилась, словно натолкнувшись на препятствие.

— Короче говоря, Наташа, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Поэтому и пришел.

— Я?!

Она поглядела на него с опаской, как на сумасшедшего.

— Женой?!

Она засмеялась, потом неожиданно оборвала смех и опять нахмурилась.

— Зачем вы такое говорите-то? — выговорила она почти гневно.

— Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж,— повторил он уже твердо и уверенно.— Потому что ты мне очень нравишься. Очень, Наташа.

Девушка, не сводя с него взгляда, пошла назад, загребая ногами листву. Она как будто опасалась, что вот сейчас ее собеседник сделает еще что-то такое, отчего будет и стыдно, и страшно. Судя по всему, она раскаивалась, что вышла к нему.

— Ты погоди! — заторопился он.— Наташа! Я не все сказал.

— И не надо! Господи, глупость какая!..

— Но я же не все сказал, Наташа! — с отчаянием повторил Мережников.— Ты обещала дать мне возможность высказаться!

Отчаяние его было столь искренно и открыто, что девушка приостановилась, проговорив:

— А ни к чему все это высказывать.

Он понял, что ему позволено говорить дальше, и снова заторопился:

— Я знал, что ты не захочешь слушать. Поверь, я знал. А как же иначе! Мне тридцать пять лет, а тебе восемнадцать. И есть еще много-много причин. Но... не уходи. В конце концов ты ничем не рискуешь. Я уложусь в десять минут, выслушай меня. Умоляю, Наташа!

— Не знаю, зачем это,— она независимо дернула плечом и оглянулась по сторонам.

Однако любопытство в ней возобладало, она стояла и старательно почекивала ногой палые листья. Скорей всего ей было и смешно, и досадно, и удивительно. Странная улыбка не сходила с ее губ — улыбка, готовая смениться выражением рассерженности или возмущения. Наташа иногда пытливо взглядывала на него и тотчас отводила глаза; она словно ждала, что вот-вот он скажет, что пошутил, и готова была посмеяться вместе с ним этому

розыгрышу. Но собеседник ее отнюдь не расположен был к шуткам.

— Наташа, семейная жизнь не всегда складывается у людей,— говорил он с жаром, убеждающе.— У меня жена хорошая, отличная женщина, но... мы не любим друг друга! Мы поддерживаем более или менее хорошие отношения, чтоб сохранить, так сказать, необходимые приличия. Но так не может продолжаться все время! И не должно! Тем более что я встретил тебя. Твоей вины в том, что у меня разваливается семья, нет! Не подумай! Все началось гораздо раньше. И даже если б я никогда не узнал тебя, мы с женой все равно разошлись бы.

Она глянула на него недружелюбно. Мережников словно споткнулся.

— Почему ты так на меня посмотрела? — растерянно спросил он.— Не осуждай поспешно, Наташа.

— И вы решили бросить жену и жениться на... на мне?

— Да.

— Для этого вы пришли на городской пляж и выбрали. Так, да?

Такого прямого разговора он от Наташи не ожидал и потому растерялся. В эту минуту она показалась ему гораздо старше своих восемнадцати, гораздо взрослее. И у нее, должно быть, твердый характер — это тоже было неожиданным для Мережникова.

— Почему же именно меня? — продолжала она.— Там было много других... Гораздо лучше.

— Нет,— только и смог сказать Мережников и покачал головой.

— Или вы подходите вот так ко всем?

Разговор шел у них теперь тихо, но от этого как бы возросло его напряжение.

— У тебя что, есть парень, которого ты любишь, да? — спросил Мережников.

— При чем тут это? — девушка вдруг улыбнулась своей милой, светлой улыбкой.— Нет у меня никакого парня.

— Хорошо, значит, будет. И вот подумай: ты выйдешь за него замуж. Разве с ним ты будешь счастливей, чем со мной?..

— Извините,— сказала Наташа, отступая.— Я вспомнила, что мне пора. Извините,— повторила она,— меня ждут.

Она повернулась и быстро зашагала к общежитию.

Владимир Андреевич проводил ее взглядом и тяжело сел на скамью, усыпанную мокрой листвой; сел чуть ли не со стоном, как глубоко старый и больной человек.

50

«Не понимаю... не понимаю...» — повторял он. Мысли его шли вразброд, путались, он не мог направить их в одно русло, выстроить в более или менее связную логическую цепь.

В полной растерянности поднялся со скамьи и побрел не зная куда. Пересек одну улицу, вторую, вышел к Волхову и остановился тут. Слева, от моста, доносился непрерывный гул и рокот моторов; волны чуть слышно плескались о плиты набережной; сюда же прибивало реденькое ледяное крошево — Мережников, глядя и слушая, ничего не видел и не слышал.

«Да ведь я даже не сказал ей, кто я такой! Даже имени не назвал! — вдруг словно пламенем вспыхнула и обожгла его мысль. Она высветилась в общем хаосе, и тотчас все обрело ясность и стройность.— О, кретин! Она не знает, кто я такой, что за человек, откуда взялся. Вдруг, здрасьте-пожалуйста, является некий тип с улицы и предлагает ни много ни мало, а замуж. С бухты-барахты, очертя голову, и так далее».

Вот она, разгадка всего. Он, конечно же, показался ей обыкновенным сумасшедшим, и только. Странно, что она еще слушала его. Могла бы после первой же фразы повернуться и уйти, и на прощанье покрутить пальцем у виска — он того достоин.

«Так на что же ты обижаешься, дорогой мой? — пылко говорил себе Мережников.— Чем ты обескуражен? Ты еще многого добился: все-таки она тебя выслушала, искренне принимая за нормального человека. Она сильно ошибалась! Ей встретился уникальный экземпляр дурака! А то, что разговаривала она вот так решительно, да и отвернулась от тебя,— это говорит о том лишь, что ты не ошибся: она прекрасная девушка! А раз так, отступать тем более глупо».

Мережников сразу повеселел и приободрился: положение его совсем не безнадежно. Разумеется, глупо было бы предполагать, что Наташа могла вот так сразу

согласиться стать его женой. Если бы она согласилась, он сейчас стоял бы и так же твердил в недоумении: «Не понимаю, как она могла». Нет, то, что случилось, не совсем плохо, оно естественно и закономерно. Не все еще потеряно, не все! Разговор, конечно, вышел дурацкий, но ведь в этих делах кто бывал умен? Тут любой мудрец глупеет самым позорным образом, и примеров тому в истории не счесть. Да покраснеет половина человечества, вспомнив свое любовное объяснение! А вторая половина пусть горит со стыда.

И все-таки жаль, что он так несчастливо построил разговор, хотя вроде бы заранее его обдумал. Он так волновался! Почти не владел собой... А надо было держать себя в руках, и все, глядишь, получилось бы иначе.

У Владимира Андреевича возникло горячее желание вернуться сейчас же к общежитию, попытаться вызвать Наташу снова и поговорить еще раз. Он был так нетерпелив, что едва удержал себя от этого шага: нельзя, надо дать Наташе опомниться. Для нее это тоже нелегкое испытание: является незнакомый ей человек, предлагает выйти замуж...

Надо дать ей время обдумать все. Теперь она, вольно ли, невольно ли, а призадумается. Так, так! Особенно, когда он даст ей понять, что вовсе не намерен отступить, а он это сделает непременно и немедля.

«Я напишу ей письмо! — решил Мережников.— Да, я напишу ей и все объясню, обстоятельно и толково. Думаю, что на бумаге у меня получится гораздо лучше, нежели непослушным языком».

Перебирая шаг за шагом весь их разговор, он все с большей радостью думал о Наташе. Нет, он не обманулся: она хороша собой, она умница, она строга и прекрасно воспитана. Удивительно, какие девушки могут оказаться в заполярной Кандалакше и в торговом училище! Девушки, достойные самой возвышенной судьбы. Их пращурицы становились киевскими великими княгинями, королевами в европейских столицах, воительницами за веру и правду; они несли в себе проявления великого духа и глубинное течение мысли, постигавшей первооснову... И Наташа из них, да! Он в ней не ошибся. Она может и не совершить ничего и сойти в могилу безвестно, а между тем ей по плечу большая судьба. Лишь бы она это понимала!

51

В тот же день Владимир Андреевич написал письмо Наташе Иваненко; правда, не решился сразу же отправить его. Наутро прочитал, долго размышлял над ним, что-то изымал и добавлял, потом переписал заново и теперь уже без колебаний бросил в почтовый ящик, для чего не поленился сходить на Торговую сторону, на Главный почтамт. Так вернее: завтра уж точно оно будет в руках Наташи. Может быть, даже сегодня?

Он как бы начал разговор с нею с самого начала, только на этот раз построил его более разумно. Прежде всего написал кое-что о себе — кто он и откуда. Нечто вроде краткой биографии, какие пишут перед поездкой за границу. Затем изложил предысторию своего «брачного предложения», с каким приходил к ней, а потом уж осторожно и, насколько это ему удалось, убедительно просил девушку не спешить со своим «нет», поразмыслить разумно.

Ну хорошо,— рассуждал в письме Владимир Андреевич,— сейчас у нее нет ни жениха, ни просто парня, с которым она была бы в дружбе. Но вот встретит она такового... Чтобы стать достойным ее любви, этот молодой человек должен быть личностью с большим напряжением духовной своей сути. Наташа полагает, что он таковым и будет? Дай бог! Чаще всего, однако, обманываются, разочаровываются...

«Учти, что большого выбора у тебя никогда не будет. Вероятней всего ты выскочишь за первого, который предложит тебе пожениться. Так, Наташа! Не обольщайся на этот счет! Природа позаботилась и наградила девушек достаточным легкомыслием, чтоб они не просто выходили замуж, а именно выскакивали. Не сердись, что я так шучу. Ты выйдешь за кого-то замуж потому, что он, видите ли, ровня тебе по возрасту... а я нет. Не знаю, как объяснить тебе, но все во мне протестует против этого!..»

Сначала, возможно, ей будет казаться, что любит мужа, а потом станет замечать, что он некрасиво ест, храпит по ночам, что у него жирные волосы, или еще что-нибудь неприятное и даже отвратительное: то пьян, то тупоумен, то злобен... Вот это написать бы ей, так разве такое напишешь! Ему необходимо сохранить доброжелательность даже к тому неведомому и грядущему ее жени-

ху, который ничем не заслужил ее любви, но уже имеет на нее право, право молодости, а он, Мережников, его не имеет.

Если сама она не слепа, как большинство, и несет в себе большой душевный заряд, большую нравственную силу, то опамятуется и даже ужаснется своему замужеству, но будет уже поздно. Отсюда — на выбор: или остаться одинокой, или жить чужими друг другу. Обычная история!

И чем же будет заполнена такая жизнь? Лет пять-шесть ждать квартиры, а все эти годы свекровь или хозяйка частной комнаты будет тыкать ее носом: не так положила, не туда села... А когда получат наконец желанную квартиру — месяц за месяцем копить на полированный гардероб, на сервиз столовой посуды, на меховой воротник к пальто... В праздник — непременно пьянка с неизбежными последствиями...

Так год за годом.

«Зачем тебе эта жизнь, Наташа? Разве ты не достойна лучшего? Со мной ты не будешь преследуема страхом: хватит или не хватит денег до получки. Постоянная забота о насущном куске хлеба или, напротив, о лишнем куске унижает человека, он рожден совсем не для того. Человек — категория духовная, а не биологическая... Со мной ты не унизишься до обывательского честолюбия, не потеряешься в суете. Я наполню твою жизнь высоким смыслом. Ты будешь счастлива со мной, Наташа. Если бы не был в этом уверен, то не предлагал бы стать моей женой...»

Подобного письма не писал он за всю свою жизнь никогда и никому и за всю свою жизнь не испытал при писании такого глубокого, тревожно-радостного чувства.

52

В эти дни литературному музею в Старой Руссе «дали единицу», то есть учредили пост директора. Мережников сам в свое время писал об этом ходатайство в Москву; правда, пошло оно туда не с его подписью, но — не все ли равно, главное — чтоб у музея был директор.

Всем, в том числе и Владимиру Андреевичу, было ясно, что пост этот, если его учредят, должен занять не кто иной, как Валентин Иванович Сахаров. Это человек, влюбленный в Достоевского, и, еще когда ни о каком

музее речи не шло, везде — и в Новгороде, и в Москве, и в Ленинграде — знали: есть одержимый человек, из породы подвижников, который все события великого романа «Братья Карамазовы» зримо и убедительно «привязал» к улицам и домам Старой Руссы. Валентин Иванович может провести с гостями целую экскурсию по памятным литературным местам родного города, объясняя: «В этом доме жила Грушенька...», «Через этот мосточек ходил Алеша...», «Вот гостиница, в ресторане которой сидел Митя...»

Достоевский был в изъяснениях Сахарова живым человеком, который отлучился ненадолго и вот-вот, каждую минуту может появиться. Речь Валентина Ивановича была пересыпана фразами, вроде: «Федор Михайлович сказал...», «Мнение Федора Михайловича таково...», «А теперь заглянем в кабинет Федора Михайловича...» Ради этой экскурсии приезжали сюда, в районный город, и писатели, и ученые, и общественные деятели.

Подвижники, подобные Сахарову, встречаются редко, но сколь хорошо, что они есть! Роль их в культурном движении чрезвычайна. Старой Руссе просто повезло, что один из ее жителей оказался таким человеком, так считал Мережников.

Валентин Иванович добился «выселения» музыкальной школы из двухэтажного дома, который некогда принадлежал Достоевскому; он неустанно сражался за то, чтоб весь прилегающий квартал оставался нетронутым, сохраняя общий дух «того» времени, чем весьма досадил не только властям, но и окрестным жителям: ни дом свой им не переделать, ни сарая в огородах построить; чуть что — тотчас Сахаров идет в горсовет жаловаться.

Валентин Иванович неутомим в поисках всяческих вещей — и подлинно принадлежавших писателю, и столь же подлинно относимых к «той» эпохе; он столь же неукротим в своих усилиях сосредоточить все это в одном доме, которому должно было стать музеем. Так продолжалось не год, не два, а десятилетия. Короче говоря, заслуги Сахарова в создании и становлении дома-музея, который в нынешнем году открывал свои двери именно как музей Достоевского, неоспоримы, очевидны. Однако директором назначили не Сахарова.

— Вы не объясните мне почему? — спросил Мережников у Балина.

Пусть назначение директора открывающегося музея не

было делом Балина и их учреждения, но он, Балин, был причастен к этому.

— Чего тут объяснять! Ты знаешь не хуже меня,— отозвался Алексей Викторович.

— Но ведь это несправедливо! — Мережников, только что давший себе слово не горячиться, все-таки загорячился.— Человек почти двадцать лет собирал материалы, бескорыстно, безвозмездно служил делу... вел переписку, хлопотал... Не будь его — нынче на месте музея ничего и не было бы!

— Этого никто и не оспаривает,— ровным голосом ответил Балин.— Но литературный музей — государственное учреждение, а не частная лавочка. Любой служащий есть государственный служащий, и к нему должно быть именно такое отношение. А твой друг никак не может этого понять, и с единственным своим сотрудником обращается, как со своим работником. По крайней мере так было до сих пор.

— Но всякое государственное учреждение должно нести в себе творческую созидательную силу! Оно должно иметь основанием своим и содержанием живую работу мысли и сердца...

— Как ты сказал? — заинтересованно спросил Балин, которому, видно, понравился непривычный блок слов.

— Оставьте! — с досадой ответил Мережников.— Мы говорим о Валентине Ивановиче, а не о словесных формулировках. Не всем нравится его характер, но творческий импульс в том деле — его! А теперь, выходит, человека отстранили, он оказался лишний. Я же знаю — сказали, что он уже в преклонном возрасте... и что может отправляться к чертовой матери на пенсию.

— Ну, не так уж...— прежним ровным и спокойным голосом возразил Балин, которому нравилось, что его зам горячится.— Он останется научным сотрудником, каковым и был.

— Сахаров — научный сотрудник при директоре? Рядовой служащий в созданном им же музее! Представить себе не могу! Он должен быть хозяином там. Хозяином, понимаете? А теперь он уйдет, не станет работать! Мы потеряем нужного человека, тогда как должны были сохранить любой ценой.

— Его сохранят. Правда, не любой ценой — это было бы слишком. Директором ему не бывать. Для такого поста он не годится.

— Почему?

— Да потому что неуправляем. Потому что не подчиняется никому и ничему!

Балин отвечал уверенно, словно по бумаге читал. Или усвоил чье-то мнение? Похоже на то.

— У него неплохие связи с писателями, литературоведами,— знаем, знаем! — он считает себя на этом основании всесильным, совершенно ни от кого не зависимым. А я еще раз скажу: музей — государственное учреждение, а не частное владение кого-либо.

Любопытная Зоя, заинтересованная разговором своего шефа с Мережниковым, вошла, положила какую-то бумажку и удалилась, скользнув по лицам обоих простодушно-веселым взглядом.

— Ты послушай, что он толкует во время экскурсий! — насмешливо сказал Балин.— Ведь почтенный Валентин Иванович не придерживается никаких научных методических разработок, рекомендательных установок!

— Слушал. Хорошо говорит.

— Тогда ты не уловил главного. «Карамазовых», равно как и их автора, можно трактовать и так, и этак. Да, да! Можно найти высказывания, которые будут работать против нас. Мало ли что он там написал! Что тебе объяснять — ты же понимаешь! А Валентин Иванович... Ха! Показывает во время лекций портрет попа и толкует, что вот-де этот поп был другом писателя.

— Ну и что?

— Вот именно: ну и что? Зачем про попа? Не хватало еще про господа бога...

— А чем вам бог-то не угодил? — начал уже откровенно задираться Мережников.

Балин не принял этого, оставил без внимания.

— Не понимаю. Иногда, рассказывая, он плачет...— Алексей Викторович пренебрежительно усмехнулся.

— Не может сдержаться.

— А я про что говорю! Не может сдержаться. Каков директор, а? Это экскурсанты должны плакать, а не Валентин Иванович. А так он плачет, а слушающим что делать прикажешь? Тоже заплакать?

— Послушайте, Алексей Викторович,— более спокойно начал Мережников.— Вы поймите: он талантливый человек. Это главное. И как всякий талант он немножко не укладывается в привычные рамочки. Это, так сказать, издержки таланта, которые окупаются сторицей.

— Не надо издержек,— прервал его Балин.— Пусть он

будет научным сотрудником. И все хорошо. Мы с ним поговорим, утешим. И вы со своей стороны успокойте друга...

Разговаривать с Алексеем Викторовичем бесполезно. Он уже воспринял установку, как собственное глубочайшее убеждение. И будет стоять — не поворотишь.

Расстроенный Мережников, покинув директорский кабинет, зашел к себе и долго ходил из угла в угол, не в силах заняться чем-либо.

53

— А вот моя улица,— сказала Людмила Романовна.— Ой, как у нас темно! После светлого-то проспекта — и в темноту! Вчера горел вон там фонарь, а нынче, глядите-ка, и он потух. Я надеюсь, вы меня проводите, Владимир Андреевич.

Она не спросила это, она — пожелала.

— Собственно...— заговорил он и нерешительно остановился, всем своим видом давая понять, что у него есть важное и неотложное дело.

— Как?! Неужели вы отпустите свою даму в такую темень? Мало ли что со мною может произойти! Неужели вы намерены бросить меня на произвол судьбы?

Она уже негодовала напористо, бурно, хотя и улыбалась при этом.

— Как можно бросить! — тотчас сказал он.— Непременно провожу, даже почту за честь.

— Ну разумеется! Вы рыцарь при любых обстоятельствах. Не правда ли?

— Рыцарь, рыцарь,— сказал он, неохотно смеясь.— Как вы могли в этом усомниться!

— Благодарю, я никогда в вас не сомневалась.

На город падал снег. Он ложился на мокрые тротуары, хлопьями лежал на листве, еще не облетевшей с деревьев.

Свернули в улицу, которая вовсе не была освещена фонарями, но окна многоэтажных домов по обе стороны светились, и в свете их так же, как и на главном проспекте, было видно, как все осыпаются и осыпаются с деревьев белые лепестки снежных цветов. «Мадам, уже падают листья...» — звучало в душе Мережникова некогда слышанное.

— Ну, как ваш диалог с Балиным? — спросила она.

— Какой диалог?

— А о Валентине Ивановиче. Знаете, я тоже возмущена: он, по рассказам знающих людей, интереснейший человек, и вдруг с ним так... Мы хотим его пригласить к нам, нечто вроде лекции о Достоевском или беседы — это было бы нам очень интересно. Однако каков Балин, а?!

— Ай да Зоя Павловна! — усмехнулся вдруг Мережников.— То-то она все заглядывала в кабинет, пока мы разговаривали.

— Ну, вы на нее не серди́тесь,— засмеялась Людмила Романовна.— Все это не бог весть какие тайны. Так что с Валентином Ивановичем?

— Пока не знаю. Вчера приезжал из Ленинграда профессор, автор книг о Достоевском, и писатель Борис Горбушин. Борис — родом откуда-то с той стороны, из-за Старой Руссы. Так что оба они — люди заинтересованные, потому и приехали. Мы вместе ходили к секретарю обкома, говорили о Сахарове.

— И что?

— Конкретного пока ничего. В музее новый директор...

— Кстати, очень милая женщина,— вставила Людмила Романовна.— Она бывшая учительница, умна, мила, хороша собой.

— Ну вот. Не снимать же ее с работы! Надо искать иной выход, чтоб никого не обидеть, чтоб все были довольны. Самое лучшее — создать должность хранителя музея, как в Михайловском. Пусть директор занимается хозяйственными делами, а хранитель ведет научную работу и руководит экскурсионной. Это было бы самое разумное, к такому решению и в обкоме склоняются.

— Ну вот видите! Не зря вы хлопочете. Что-нибудь придумают для Валентина Ивановича достойное. Какой вы молодец, что заступаетесь за него!

Борис Горбушин с профессором, Глебом Ивановичем, вчера вечером были в гостях у Мережникова. Гости такие разные! — один еще молод, высок ростом, с неторопливой и негромкой речью — это Борис, другой — уже глубоко пожилой, говорящий живо и охотно, привычный ко вниманию и интересу. Глеб Иванович немного рассеян, за

ним необходимо постоянно ухаживать: вилку ему подай, салфеточку подложи, тарелочку подвинь — так он, видно, привык. Владимир Андреевич сам собирал на стол: Любови Ивановны не было дома, она пришла позднее.

— А может быть, поедем, а? — то и дело прерывая разговор, уговаривал профессор писателя.

— Да Глеб Иванович! — говорил тот, снисходительно улыбаясь.— Куда мы поедем, ночь на дворе!

— А мы потихоньку...

— Если бы ты знал, с каким трудом я уговорил его поехать! — объяснял Горбушин Мережникову.— Он же обсиделся дома! Для него поход на соседнюю улицу — уже путешествие.

— Я привык к дому,— мягко улыбаясь, подтвердил Глеб Иванович.

— И только одно подействовало: я, знаешь, этак потихоньку, деликатно нажал на честолюбие. Говорю: только вашим авторитетом, профессор, можно помочь Сахарову.

— Не сочиняй,— тотчас возразил Глеб Иванович.— Надо как-то помочь Валентину Ивановичу — это меня заставило поехать. Но мы свое дело сделали, и теперь можно домой. Ждут меня там, понимаешь?

— Глеб Иванович,— укоризненно уговаривал Борис с той же ласково-укоризненной улыбкой,— я обещал доставить тебя жене в целости и сохранности завтра к полудню. Она отпустила его под расписку,— со смехом сказал он Мережникову.— Не беспокойся, Глеб Иванович, я это исполню. Мы поедем завтра.

Борис когда-то учился у профессора, и отношения у них, должно быть, с тех пор самые дружеские.

— Если бы не ты, я б не поехал,— вздохнул тот.— Ты пойми, она там беспокоится...

Он явно соскучился по своей супруге, тревожился, и тревога эта — трогательно-наивна, что-то в ней детское и прекрасное.

— А мы сейчас ей позвоним, доложимся, успокоим...

«Нет, моя Люба беспокоиться обо мне не стала бы, и ждать меня столь нетерпеливо — тоже,— то был итог размышлений, которые владели им, когда возвращался домой, проводив гостей.— Она не заварит для меня чаю, не укутает пледом, не станет греть валенки у батареи парового отопления... Она и старушкой — на кафедру и — вещать...»

Глубокое беспокойство не отпускало Мережникова нынче весь день, он не находил себе места.

Ответа от Наташи Иваненко он, разумеется, не получил. Дни шли один за другим, и теперь Владимир Андреевич не знал, как поступить дальше. Явиться снова в общежитие? Не хватало решимости. Написать еще одно письмо? Но о чем? И как? Ведь он все объяснил... Может, что-то не так объяснил? Может быть, он чего-то не понимает и выразился неразумно, прямолинейно?

После работы идти домой не хотелось. Он отправился в Кремлевский парк и долго бродил там, размышляя. Вот если бы она ему ответила! Хоть что-нибудь. Хоть очень коротко...

Дошел до универмага, а когда возвращался оттуда улицей Горького, встретил Людмилу Романовну. Она его остановила, заговорила, под руку взяла.

«Мадам, уже падают листья...»

— Ах! Что за вечер сегодня! И этот снежок, и тепло...

От ее веселого настроения кое-что и ему передалось. Он становился поживее.

— Почему вы грустны, дорогой Владимир Андреевич? — спрашивала она.— Этак пушкинский Сальери говорит: «Ты, Моцарт, верно, чем-нибудь расстроен? Молчишь и хмуришься». А тот отвечает: «Признаться, мой Реквием меня тревожит». А вас что тревожит, милый вы мой?

И опять Владимиру Андреевичу, как это с ним бывало не однажды, вдруг захотелось поделиться тем, что было неотступно в его душе, чем бы он ни занимался; захотелось рассказать, как он ходил в общежитие, как написал письмо... Он знал, что именно эта женщина может развеять его назойливые думы.

— У вас тоже Реквием? — спрашивала она.— Говорят, вы пишете еще одну книгу.

— Летопись,— усмехнулся он невесело.— Бысть осень дождлива вельми, не дало солнцу просияти и до заговенья Филипова за две недели... Тое же осени состоялось собранье партийно-хозяйственного актива, приняты повышенные обязательства. И бысть энтузиазм велик на людех, мужи и жены шли на луга и пожни не бе бо их где уняти...

Она засмеялась, прижимая его руку:

— Как это у вас славно получается!..

— Помните, я вам рассказывал о девушке? — решился он.

— Разумеется! А разве роман развивается? Пора бы уж вам и соскучиться.

— Очень даже забавно развивается: я сделал ей предложение. Как это раньше говорилось: предложил руку и сердце.

Сказал вроде бы в шутку и насторожился: что она ответит?

— Хорошенькая забава! Весьма серьезное дело. Я надеюсь, она поступила разумно?

— Да. Она не захотела даже выслушать до конца.

— Так я и знала! — Людмила Романовна опять засмеялась.— На что еще может рассчитывать мужчина вашего склада!

— Вы хотели сказать: возраста? Я постарше ее чуть ли не на двадцать лет.

— При чем тут лета! Вы очень молодой человек, почти мальчик, отсюда и все ваши глупости.

С минуту она шла, напевая и размышляя о чем-то, потом в раздумье сказала:

— А что, может быть, вам действительно надо сделать предложение какой-нибудь девчонке? Вы на ней женитесь, поживете годик, убедитесь, что она непроходимая дура, которая быстро превратится в обыкновенную бабу, способную только к деторождению и ни к чему более,— вот тогда полюбите настоящую женщину. А пока что вы просто не созрели для серьезного чувства.

— Вы не поверили, что я сделал предложение по всей форме и получил отказ? — нетерпеливо спросил Владимир Андреевич, не услышавший от нее того, что желал услышать.

— Нет. Хотя... Вполне возможный вариант,— она пытливо оглянулась на него.— Ну-ка, попробуйте передать эту трогательную историю поподробней.

И Мережников поведал ей все, как было, только, разумеется, не назвал имени Наташи и не сказал, где она учится и в каком месте состоялось их решающее объяснение — никаких конкретных фактов. А все, изложенное в письме, передал так, как если бы сказал Наташе во время встречи.

— Вы неправильно поступили,— выслушав его, ответила Людмила Романовна с огорчением.— Вы не понимаете психологии женщины. Независимо от того, сколько ей

лет — пятнадцать или пятьдесят — мы все сестры. Евины дочки, как вы однажды справедливо выразились. Ведь нам что нужно прежде всего? Нам необходимо восхищение нашей красотой, умиление нашими добродетелями, умом, образованностью, вкусом и так далее. А вы что? Вы действовали, извините меня, очень грубо, очень примитивно и самонадеянно. Сразу начали говорить о своих семейных неурядицах — это никому не интересно! Потом стали раскрывать перед ней материальные выгоды — фи! Я не ожидала от вас... Вы поступили просто неумно. Как же так можно!

Она заметила, что он самолюбиво насупился.

— И напрасно обижаетесь! Я искренне хочу вам добра. Мне самой досадно, что вы, такой хороший человек,— человек редкой души! — и метали бисер... Перед кем? Боже мой! Кто она? Что она? Обыкновенная курочка и, судя по всему, серенькая. Извините меня, если это оскорбляет ваши нежные чувства. Я, признаюсь, очень довольна, что вам щелкнули по носу. Так вам и надо, это на пользу.

Она вопросительно посмотрела на него: не лишку ли хватила, не оскорбился ли он? Владимир Андреевич поймал ее взгляд, с натугой улыбнулся:

— Продолжайте. Я смиренно слушаю.

— Если вы действительно имели такое объяснение с этой девчушкой, а я подозреваю, что вы это просто выдумали... да-да! Меня не так-то легко обмануть. Но если такового поступка с вашей стороны еще не было, то, я готова поручиться, вы обдумываете этот вариант. И, возможно, что-нибудь предпримете. Так вот вам мой совет: напирайте на то, что вы ее любите... Безумно! С первого взгляда. И вы без нее жить не можете. Вы только о ней и думаете с раннего утра и до позднего вечера. Вы похудели, побледнели и вообще скоро умрете, если она не ответит на ваше чувство взаимностью. Вы не можете без нее жить, потому что она необыкновенна, светозарна, единственное явление в природе во все времена. Одним словом, штучная работа, а никак не массовое производство.

Она рассмеялась, довольная собой.

И Мережников несколько повеселел. В самом деле, неплохо это у нее получилось.

— Все-таки как вы мне нравитесь! — сказала Людмила Романовна без обиняков.— Где мои шестнадцать лет! Я бы вас заворожила.

— Ну да! Нужен я вам!

— Заворожила бы, закружила и увлекла! О-о, мы, женщины, это умеем, даже в самом юном возрасте. Вам, мужчинам, только кажется, будто вы выбираете себе подруг, а на самом деле мы хитро создаем вам, мужикам, иллюзию свободы выбора. Вот именно, только иллюзию.

Они развеселились оба, и шли, смеясь громко, и говорили оба в полный голос.

— И невинность изобразим, и смущение, и смятение, и бог знает что еще. О, я покрутила вашим братом во время óно! Ради меня какие только подвиги не совершались! Уж поверьте.

— А наш брат вашим? Разве не повелевал?

— Всяко бывало, дорогой мой. Я не о себе конкретно, а вообще. Однако мы уже пришли.— Она придержала его, и они остановились.— Мой подъезд. А мои окна — вот эти, на третьем этаже. Видите, они темны. Что ж, мне всегда так нравится с вами разговаривать, а сегодня особенно! Я не могу вас отпустить. Мы зайдем ко мне, и я напою вас чаем.

— Нет,— сказал Владимир Андреевич.— Уже вечер. Мне пора.

— У вас такая строгая жена и вы ее боитесь?

— При чем тут жена!

— О, я знаю!.. Много слышала о ней. Вы скажете Любови Ивановне, что зашли в библиотеку. Или в кино. Про меня не говорите, имени моего не называйте, ибо ни одна жена такого не простит. Ишь, гуляет с женщиной! Да еще вечером! Скажете, что просто встретили приятеля и побеседовали с ним. Может же такое быть! А теперь мы зайдем ко мне и посидим, как добрые друзья, за чашкой чая. Поболтаем, пошутим. Ну же, Владимир Андреевич!

— Нет,— сказал он мягко, но настойчиво высвободил руку.— В другой раз. Давайте отложим это мероприятие.

— Ах, какой вы!.. Ну, хорошо, до завтра. Не далее, как до завтра. Я кончаю работу в шесть, как и вы. Мы встречаемся у памятника Тысячелетию России и идем ко мне пить чай. Договорились? Смотрите же, вы обещали!

54

— Владимир Андреевич? — голос в телефонной трубке был девичий, взволнованный, он заставил его сердце больно трепыхнуться.

— Да,— отвечал Мережников столь же напряженно. В кабинет его кто-то заглянул в эту минуту, и он замахал рукой: погодите, мол, не входите.

— Простите меня, пожалуйста, но я должна сказать... Я не могу больше.

«Наташа!» — опахнула его догадка.

— Вчера мама заметила. Говорит: почему не спишь? Почему глаза заплаканные? Почему только о нем думаешь?..

«Какая мама? — недоумение отразилось на лице Мережникова.— У нее сестра... Может, приехала?»

— ...А я не могу иначе. Я понимаю, что это глупо: мне, девушке, звонить вам, женатому человеку.

— А в чем дело? — спросил он, все еще недоумевая: «Кто это?»

— В общем так...— в голосе ее он явно услышал короткое рыдание.— Я хочу вас видеть. Мне очень нужно с вами встретиться.

— Пожалуйста...— сказал он растерянно.

— Я вам все объясню при встрече. Все-все! Я не могу больше. Я вас люблю, Владимир Андреевич.

«Да что это!.. Да не она вроде?..»

— А кто говорит?

— Я все объясню, потом... Так вы придете, Владимир Андреевич? Я буду ждать вас.

— Где? — машинально выговорил он.

— Приходите под арку кремля... Со стороны Волхова.

— Ах, под арку! — вскричал Мережников.— Конечно! Разумеется! Сейчас побегу. Здравствуйте, Вера Станиславовна! Как поживаете?

Короткое рыдание в телефонной трубке повторилось, и он услышал, как там, в бабьем царстве, хохочут взахлеб женщины и как смеется сама она.

— Прекрасное театрализованное представление,— продолжал он как можно непринужденней, чтоб скрыть досаду.— В вас пропадает талантливая актриса. Немедленно бросайте свою контору и переходите в театр.

— Ой, господи! — выговорила Вера Станиславовна.—

Извините, Владимир Андреевич, у нас тут производственная пятиминутка. Вот в первый раз меня постигла неудача. Дело не в моих способностях, а в доверчивости телефонных любовников. Но мы теперь поняли, что вы неподдающийся. Вы не из тех, которые.

— Неправда,— возразил он.— Я — как все.

— Напрасно вы так плохо о нем думаете! — явственно услышал он голос Людмилы Романовны.— Владимир Андреевич — человек сугубо романтического склада и вполне может поддаться.

«Уж не разболтала ли она? — вдруг подумал он, напрягая слух.— Да нет, Руслановна не выдаст. Не должна бы...»

В бабьем царстве разговаривали весело, вперебой.

— Вы допустили тактическую ошибку, Вера Станиславовна,— он тоже смеялся.— Вы не там назначили мне свидание. Вот если бы какое-то другое место, более романтическое: в укромной аллее парка, напротив Княжой башни, например,— то я попался бы на эту удочку очень просто.

— Нет, с вами невозможно,— возразила Вера Станиславовна.— Больше я не буду вас искушать. Это бесполезно.

— Он просто сухарь! — слышно было, заявила Тоня.

— Скажите гражданке Митрофановой, что она заблуждается. Я, как все смертные, подвержен. Ей-богу, подвержен. Попробуйте еще раз, Вера Станиславовна. Со второго захода вас ждет удача, особенно если опять застанете меня врасплох.

Они еще поговорили о том, о сем, весело смеясь. Потом Владимир Андреевич положил трубку и минуты две сидел неподвижно с сокрушенным видом, чувствуя, как все еще сильно бьется сердце. «И ты, гусь!» — сказал он себе и укоризненно покачал головой.

55

— Негодяй! — с холодным бешенством выговорила жена, едва переступив порог родной квартиры.— Негодяй и потаскун! Дворовый кобель.

Владимир Андреевич, мгновенно облитый жаром, смотрел на нее. Он никогда не видел Любовь Ивановну в таком гневе. Обычно уравновешенная и рассудительная, се-

годня она почти не владела собой. Но почему! Что она узнала?

— Ты бы хоть девчонок-то не трогал!

«Ах, вон ты о ком!» — он перевел дыхание, но душевное напряжение не отпустило, не отступило — напротив!

— Взрослый человек! — патетически продолжала она.— Отец семейства! А девчонка-то еще несовершеннолетняя. Ей только вчера исполнилось восемнадцать. Она еще глупа, но ты-то, ты-то! Тебе уже под сорок, а ты ее совращаешь.
— Да, совращаешь! — повторила она после паузы.

Владимир Андреевич продолжал сидеть на диване, делал вид, что читает книгу. Любовь Ивановна, не снимая пальто, встала перед ним — олицетворение гнева, презрения и полного морального превосходства.

— Я говорю, хоть девчонок-то оставил бы в покое! Ты ей в отцы годишься! Да-да, у тебя при желании дочь могла быть такого возраста. Найди себе для этих дел скучающую разведенную бабу, видавшую виды,— вот ей ты будешь пара. А то — девчонка, почти школьница! Боже мой! С кем я жила!

Она бросила пальто на стул и опять встала перед ним, очевидно испытывая некое удовлетворение оттого, что он не может поднять на нее глаз. Вдруг она засмеялась и, тотчас оборвав смех, выговорила с силой и торжеством:

— Как это глупо с твоей стороны! Как это по-дурацки! Глупее некуда.

Вспомнив о дочери, Любовь Ивановна закрыла дверь в детскую комнату и продолжала с прежним негодованием:

— В какое положение ты ставишь меня, если уж не дорожишь своей репутацией! Об этом ты подумал? Я — преподаватель, воспитатель, наставник юношества! — и имею распутного мужа!

Как это у нее получалось — она с такой выразительностью выговаривала слова «распутный», «по-дурацки», «совращаешь», что у Владимира Андреевича вздрагивало что-то в груди, и он усилием удерживался от того, чтоб не поморщиться, как от боли.

Вне себя от негодования Любовь Ивановна рывком схватила со стула пальто и вышла.

«Откуда она узнала? — торопливо соображал он.— Откуда?»

Ему очень важно было выяснить это. Одно дело, ес-

ли сама Наташа... каким-то фантастическим способом встретилась с его женой и все рассказала ей. И совсем другое дело, если слух дошел помимо ее, Наташиной, воли и, может быть, даже вопреки ее желанию.

Жена снова предстала перед Мережниковым, снова уперла в него гневный взгляд, скрестила руки на груди. «Верховный судия»,— усмехнулся Владимир Андреевич. Любовь Ивановна поймала эту усмешку.

— Ты круглый дурак, и ничего иного сказать о тебе не могу,— жестко изрекла она.— Будь ты поумней, догадался бы, что наш город не так уж велик, у нас ничего не скроешь. Здесь все на виду! К тому же тебя знают как облупленного.

— Уймись,— сказал он, нахмурившись.

— Ты вчера только выступал как лектор, как ученый, на тебя взирали с уважением. А нынче ты пристаешь на улице к девчонке с самыми гнусными намерениями. Чего ты добиваешься? На что надеешься? Что никто ничего не узнает? Ты оказался человеком очень недалекого ума.

— Отдохни,— сказал он уже с бо́льшим нажимом.

Но Любовь Ивановну трудно было остановить. Она продолжала обличительную речь с тем же пылом и жаром. Муж отмалчивался.

— Что, небось сейчас тебя занимает вопрос, откуда жене все известно? — издевательски спросила она.— Боже мой! Да сестра этой девчонки замужем за Лилиным братом! Счастливое совпадение, не правда ли?

Кто такая Лиля, Мережников не знал, но спрашивать не стал.

— Лиля позвонила мне в институт и все рассказала. Судя по всему, удивлению ее нет предела. Да и торжеству небось! Оно и понятно! Ну, как же, у Мережниковой муж пристает на улице ко всем проходящим мимо девушкам! Бегает за ними без стыда и совести, позабыв о собственных летах и о семье.

Любовь Ивановна ходила по комнате возбужденная, размашистыми шагами. Сегодня она была на себя не похожа — нервная, гневная, беспощадная.

— Я никогда не попадала в более унизительную ситуацию, чем сегодня. Никогда! — повторила она.

«А откуда стало известно этой сестре? — озадаченно подумал Владимир Андреевич.— Наташа сказала?»

— Письмецо накатал...— с уничтожающей насмешкой

выговорила Любовь Ивановна.— Расписал прелести грядущей совместной жизни. О, господи! Никогда не думала, что мой муж так глуп! На что ты рас-счи-ты-вал? На что?! Так она тебе и поверила! Сейчас вот и отдастся в твое полное и безраздельное владение?

— Письмо? — спросил он, как бы недоумевая.

— Я надеюсь, ты не станешь делать вид, будто не писал ей, а? К сожалению, этого ценного документа я еще не видела, но сестра этой девчонки, которую ты совращаешь, обещала мне завтра его показать.

Владимир Андреевич встал и пошел в другую комнату. Жена следовала за ним по пятам.

— Что, забеспокоился? Молчишь? Неужели тебе не стыдно! Впрочем, что я! Тебе никогда не бывает стыдно, какую бы низость ты ни совершил.

Последнее она произнесла с крайним ожесточением, особенно упирая на «низость».

— Меня одно только интересует: неужели ты даже не покраснеешь, когда сей образец твоего эпистолярного творчества будет, так сказать, обнародован?

— Я люблю ее! — сказал Владимир Андреевич, резко обернувшись, и от этих слов ему сразу стало легче. Он повторил эти счастливо найденные им слова:— Я люблю ее.

— Что? — чуть не по буквам выговорила жена и с изумлением уставилась на него.

— Я люблю ее,— сказал муж еще раз, чувствуя, что именно в этом его оправдание и перед женой, и перед сестрой Наташи, и перед самой Наташей. Да и перед собой тоже!

— Кого? — Любовь Ивановна была явно растеряна.

— Эту девушку. Люблю. Всеми силами души. Ты можешь издеваться... Все вы можете... А она будет моей женой. И я все мыслимое и немыслимое сделаю, чтоб она была счастлива. Вот так.

— Джуля! — позвала Любовь Ивановна.— Иди-ка сюда.

Мережников нахмурился и отошел к окну. Тягостное молчание повисло в комнате. Джуля выбежала из детской комнаты и остановилась, с любопытством смотрела то на мать, то на отца.

— Ну-ка, милый папа, повтори, что ты сейчас мне сказал,— требовательно попросила Любовь Ивановна.— Повтори для дочери, пусть и она услышит.

Владимир Андреевич, ни на кого не глядя, деревянными шагами прошел мимо посторонившейся жены в прихожую, молча оделся и вышел на улицу.

56

«Все человечьство, вси плакааху, вси вздыхаху, и вси взывааху: увыи!»...

В Кремлевском парке работницы в желтых куртках сгребали опавшую листву. Ее было так много, что хлопот им хватит не на один день. С утра поднялся большой ветер, да и сейчас он еще шумел в парке и вот отряхнул, совершенно оголил деревья. Листва лежала сплошным ковром: под березами — золотая, солнечная; под кленами — огненная, багряная; под дубами — опять золотая.

Владимир Андреевич бродил между деревьями, заложив руки за спину, иногда останавливался, словно бы разглядывая что-то под ногами, или смотрел вверх, на небо.

Со стороны поглядеть на него — беззаботный, гуляющий человек любуется кремлем и опавшими листьями, наслаждается тишиной и свежим ветерком с Ильменя; судя по тому, как он медлителен в движениях, как часто останавливается, закладывает руки за спину и смотрит вверх, на шпили кремлевских башен, дух его безмятежен, настроение радужно, думы светлы.

«Вот и наступил мой судный день,— хмуро усмехаясь, говорил себе Мережников.— Сколько веревочке ни виться... Как все нехорошо! А главное, унизительно. Мелко все, пошло... Недостойно».

Листва шуршала под ногами — откуда-то наносило дымком, очевидно, ее жгли. Ветер налетал порывами, и был он упруг и влажен, и потому казался полным силы и жизни.

«Осень,— вздыхал Мережников.— Октябрь... Какой она крик подняла! Разве я так кричал бы, полюби она кого-нибудь? Нет. Ради бога! Люби. Открыто и честно... Сейчас начнется обычная новгородская осень: сумрачно, сыро, слякотно...»

На схеме, которую составили археологи, площадь, занимаемая Новгородом, раскрашена была в разные цвета в зависимости от толщины имеющегося культурного слоя. Наиболее насыщенный коричневый цвет — там, где он не менее шести метров. Чуть попрозрачней — до четырех.

А в местах, где самый жиденький коричневый — там около двух метров всяческого житейского праха. Мережников гулял по густо насыщенному коричневому; под его ногами была толща земли, заключающая в себе тысячелетие: щепа древних новостроек, подметки сапог, костяные гребни, берестяные грамоты, бревна уличных настилов, битые горшки и обглоданные кости из этих горшков, остатки неведомо чего, золотая пыль ювелирных мастерских и заморская пыль с купеческих кафтанов...

Мережников усмехнулся: сколько здесь отшумело семейных событий вроде того, что произошло у них с Любовью Ивановной сегодня. Да и еще более громких! От сознания этого стало как-то даже легче. Своя беда-кручина отодвинулась, он уже мог как бы созерцать ее со стороны, даже с некой высоты.

Земля под ним вздыхала, плакала, стонала, гомонила на разные голоса. Какие бури в ней улеглись! Какие страсти успокоились!

«Все уляжется,— вздохнул Владимир Андреевич, успокаивая сам себя, и старался отвлечься мыслями от тягостных событий.— И я — как все, и я вместе со всеми. Вот осень какая чудесная...»

Рядом с ним, звучно щелкнув, упало что-то. Он оглянулся — желудь, телесно-гладкий, словно бы шелковистый на ощупь, и холодный, свежий, полновесный. Без шапочки. Мережников подошел к молодому дубу, слегка тряхнул его, и слышно стало, как, звучно щелкая, попадали вокруг желуди. Он поднял несколько, покатал их на ладони, любуясь. В шапочке только один, зато он — само совершенство: крупный, тяжелый и тоже удивительно холодный. Это был не мертвый, а живой холод желудевого ядра, затаившего в себе жизненную силу, как упругость невидимой пружины.

Владимир Андреевич положил в карман того, в шапочке, огляделся, и взгляд его был задумчив и мягок. Перед ним была Княжая башня кремля, освещенная низким солнцем. Тени деревьев легли через ров до самой кремлевской стены.

«Ничего,— уже довольно бодро думал он.— Время — лучший советчик и целитель. И для меня, и для Наташи. А то, что нынче... То должно было случиться уже давно».

Он опять тряхнул дубок — и снова тяжелыми градинами западали желуди. «Акы воловье око...» Один упал

на край листа, перевернув его, накрылся им. «Ах ты плут!» — сказал Владимир Андреевич и вяло улыбнулся. Заглянул под лист — лежит. Он оставил его там, зато подобрал рядом толстенького, полосатенького, похожего на маленького дикого кабанчика, и тоже зачем-то положил в карман.

В нем не было уже прежнего ожесточения и озлобленности, зато пришло знакомое, как боль, чувство одиночества и гнетущей тоски. Словно спасаясь от них, он прибавил шагу и очутился на центральной аллее парка и увидел перед собой Екатерининскую горку. Мережников свернул в сторону от аллеи, миновал разросшиеся кусты, пересек улицу и очутился у изгороди с металлической сеткой — вот он, Троицкий раскоп...

Эта часть древнего города — Людин конец. Вот здесь Черницына и Добрыня улицы, тут же Редятина и Пробойная. Огромная яма раскопа — земля выбрана до самого дна, до «материка», глубже уже глина. Изъятая на участке работы бревенчатая мостовая, накат на накате, уходит в бок ямы, под асфальт нынешней Пролетарской улицы, спускаясь к Волхову. Что по ней возили? Дрова? Заморские товары? Торчат из боков раскопа спиленные полугнилые бревна— должно быть, остатки дворовых строений всех веков, и тут же щепа, черепки, прах неведомо чего; земля черна — перегнойная, густая, животворящая земля.

Археологи покинули раскоп месяц назад. А летом и по весне здесь так оживленно, такое напряженное кипение работы!

Мережников вспомнил, как пришел однажды сюда с дочкой: все были заняты кропотливо и серьезно делом, никто не отлынивал, не слонялся просто так. А работали здесь школьники, должно быть, целый класс: девочки перебирали, разминали, перетряхивали руками землю, мальчишки-подростки управлялись с носилками, таскали землю вверх, куда подъезжал самосвал, чтобы отвезти ее на городские скверы. Посреди раскопа стоял стол, возле которого распоряжались две девушки,— здесь предварительный осмотр кожаных подметок, пуговиц и, если крупно повезет, берестяных грамот. Что-то нынче за лето не много их нашли.

— Я тоже хочу быть археологом,— сказала вдруг Джуля и насупилась.

— Воля ваша, Джульетта Владимировна,— отозвался отец беззаботно. Тогда он был еще беззаботен!

Стоял жаркий день начала июня. Солнце пекло. Носильщики древней новгородской земли были раздеты до пояса, уже успели подзагореть; девчонки изнывали от жары, не решаясь раздеться, а между ними ходила павой археологиня в наилегчайшем купальнике — две узенькие полоски материи, только и всего.

Мережников с Джулей присели на краю раскопа на корточки, и папа объяснял дочери, почему в том колодце, сруб которого лопаточками бережно обкапывали школьники, нет теперь воды. Девушка в купальнике подошла и, глядя снизу вверх на Мережникова, сказала смело:

— А к нам посторонним нельзя. Выйдите, пожалуйста, за ограду.

Она при этом улыбалась и, хоть стояла перед ним почти совершенно обнаженная, ничуть не смущалась.

— Мне можно,— возразил Мережников.

— Почему это?

— Я личный друг Иванина,— тоже улыбаясь, объяснил он ей.

— Как много друзей у Иванина! Мне кажется, вы подаете дурной пример для прочих прохожих.

— Вы не имеете права! — вдруг сказала Джуля, грозно сдвинув брови.

Это дочь оскорбилась за отца, которого, как она поняла, попросту гонят отсюда. Девушка счастливо засмеялась и так, смеясь, отошла, стала рассказывать что-то подруге, кивая на Мережникова.

— Распустили вас,— добродушно ворчал Владимир Андреевич, ведя дочку к выходу.— Попробовала бы ты показаться в таком-то виде на Черницыной улице в одиннадцатом веке!..

Подъехал нарядный автобус, из него высыпали удивленно восклицающие иностранцы («англичане»,— определил Мережников), столпились у изгороди. Долговязый турист с тяжелым фотоаппаратом бросил в раскоп горсть жевательных резинок в пестрой упаковке. Школьники, побуждаемые, должно быть, патриотическим чувством, и глазом не повели на резинки, одна из семиклассниц пренебрежительно наступила на резинку ногой...

Мережников улыбнулся, вспомнив об этом. Сейчас раскоп был пуст, заброшен, и желтая лужа с плавающим мусором стояла посреди него.

57

Два дня Мережниковы не разговаривали.

Владимир Андреевич мучился неизвестностью: как там Наташа? Что с его письмом? Неужели оно ходит по рукам любопытствующих?

Эти думы угнетали его.

На третий день вечером, когда Джуля легла спать и уже уснула, Любовь Ивановна пришла к мужу, в его кабинет. Владимир Андреевич был занят тем, что старался заставить себя работать. В другое время она не стала бы его отрывать от дела, но тут подсела к столу, пренебрежительно сдвинув, переложив книги и рукописи со стула на пол.

— Владимир Андреевич,— сказала она ровным и благожелательным голосом.— Давай потолкуем спокойно. Я признаю, что погорячилась в тот раз. И... поступила неумно. Прости, ради бога. Очень уж меня возмутило это, да и больно уж неожиданно. Свалилось на голову разом, вот я и... Ты это должен понять и быть снисходительным.

— Дальше что? — спросил он, зная, что это только вступление, а главное сейчас последует.

— Мы должны серьезно обсудить создавшуюся ситуацию.— При слове «серьезно» веселые огоньки мелькнули в красивых глазах Любови Ивановны.— Ты немного начудил, да к тому же наговорил мне бог знает что.

Он пожал плечами.

— Я не могу всерьез принять твои уверения, будто ты... любишь эту девушку.

— Люблю,— ровным голосом произнес муж.

— Но ведь это так глупо! Я не верю этому, Владимир Андреевич! Не могу верить. Ты из упрямства все это говоришь. Но даже если...— она усмехнулась.— Ты у меня романтик и в житейских вопросах, извини, несколько глуповат. Даже если и полюбил — что ж! — мог бы и не таиться от меня, мог бы даже посоветоваться. Я очень хорошо к тебе отношусь — ты это знаешь — очень хорошо! И совсем не рассердилась бы на твое признание. Напротив!

— Люба, давай прекратим это. Ты у меня спросила, я тебе честно ответил. Вопрос исчерпан.

Она неожиданно засмеялась.

— Володя, я никогда не видела тебя таким. Извини.

Он тоже улыбнулся, улыбкой скрывая вспыхнувшую досаду.

Любовь Ивановна легко провела по глазам, смахивая выступившие от смеха слезы.

— Никогда бы не подумала,— выговорила она,— что у нас возможен такой разговор: мой муж утверждает, что полюбил другую. У меня есть соперница. И кто?! Девчонка... Будущая продавщица в магазине. Ситуация просто анекдотическая. Еще раз извини.

И снова засмеялась и тотчас подосадовала на себя:

— Да что это я нынче! Должно быть, к слезам...

Немного успокоившись, спросила:

— Что ж, она красивей меня? Лучше сложена? Умнее? Володя, ответь.

Он молчал, делая вид, что рассматривает лежащую перед ним рукопись.

— Значит, не хочешь со мной жить,— с непонятным выражением сказала Любовь Ивановна и вздохнула то ли в притворной, то ли в искренней печали.

На брак обдуманный я руку ей подам,—

начала вдруг она.

И в храме встану рядом с нею,
Невинной, преданной, быть может, лучшим снам,
И назову ее моею.

Мережников оглянулся на жену и задержал взгляд.

И весть к тебе придет, но не завидуй нам...—

медленно произнесла Любовь Ивановна, и запнулась, и попросила глазами: «Подскажи!»

Обмена тайных дум...—

подсказал он.

— Вот именно!

И она дочитала «Элегию» Баратынского, столь любимую Мережниковым, до конца.

— У тебя прекрасная память на стихи! — оживился Владимир Андреевич.— Вот не знал!

— А ты обо мне многого не знаешь, Володя. Живешь рядом, а не знаешь. Как это ты в письме написал... Человек до человека докричаться не может. Поистине так.

Он снова стал рассматривать рукопись.

— Мне очень нравится конец этой элегии,— грустно сказала Любовь Ивановна.— «И не вступай, молю, в напрасный суд со мною». Это ко мне обращено, так

надо понимать. Не буду я с тобой в напрасный суд вступать, не буду. Как это пишется в романах: я покоряюсь судьбе. Любитесь, женитесь, будьте счастливы — бог с вами!

Хоть она и печальна была, но ироническая нота явственно звучала в ее голосе.

— Хочешь, расскажу тебе об этой девушке? Хочешь?

— Не говори о ней плохо,— попросил муж.— Она ни в чем не виновата.

— Я понимаю так: ты увлекся ситуацией. Тебя закружило, ты ослеплен. Не красотой, конечно, этой девчонки, а так, собственной выдумкой, Володя, она хорошая девушка, я не оспариваю, но ведь она... убогенькая!

На лице Любови Ивановны отразилась жалостливая гримаса.

— Я же тебя просил...— глуховато сказал муж.

Любовь Ивановна словно не слышала.

— Ты же у меня мужчина... в зрелом возрасте. Я понимаю твое увлечение и не осуждаю даже, хотя это в общем-то и свинство по отношению ко мне, твоей жене. Да и вообще, когда телесное берет верх над духовным — это недостойно человека. Ну да ладно! Так ты бы уж и выбрал себе объектом полнокровную, полноценную... полновесную, черт возьми! А Наташа — ты этого не знаешь — очень больной человек. Да, да!

Муж молча смотрел на жену и ничего не отвечал, только глаза его зажглись недобрым огнем.

— Ты не заметил, Володя, она ножки немного приволакивает? Не заметил?

— Нет! — сказал он довольно резко.

— Я ее никогда не видела, но вот знаю, что на пляже она была всегда в этаком закрытом купальнике. Так ведь? Не трусики с лифчиком, а купальник, наполовину закрывающий спину.

Владимир Андреевич молчал, но насторожился и слушал внимательно. Жена, должно быть, знала такое, чего он не знал и о чем, возможно, не подозревал.

— Дело в том, что девушка в раннем детстве неудачно упала и повредила позвоночник. Ей делали операцию, и не одну. Года два она лежала в гипсе. Ты представь, что это такое. Потом ее возили по разным знаменитостям, начиная от московских профессоров до бабок-знахарок в северных деревнях. Лет пять она могла передвигаться только с костылями, еще лет пять — с

палочкой. Сейчас, к восемнадцати годам, она немного выправилась, обходится без посторонней помощи, учится в техникуме наравне со всеми. Это второй только год она ходит, как все.

Мережников уже не делал вид, будто занят важной работой, он смотрел на жену.

— Вся семья никак не нарадуется, глядя на нее. Наташина сестра Варвара, та, что здесь живет, не спускает с нее глаз. Брат приезжает из Тернополя поглядеть, как ходит младшая сестренка. Мать с отцом каждый день письма пишут, тревожатся, беспокоятся...

То, что Владимир Андреевич смотрит на нее, не отводит взгляда, сердило Любовь Ивановну.

— Наташа у них младшенькая, да убогенькая, потому самая любимая,— продолжала она.— И вот — представь себе — появляется тридцатипятилетний семейный человек, этакий здоровый упитанный мужик, который начинает преследовать...

— Я не преследовал ее! — всколыхнулся весь, возмутился Владимир Андреевич.

— Так говорит сестра. И ты представляешь ее негодование? Она сама мать, у нее двое детей. Она говорила мне нынче: Любовь Ивановна, удивляюсь вашему спокойствию. Своего бы, говорит, мужа я растерзала за такое. И то сказать: ладно бы за бабой какой-нибудь! А тут девчонка... на которую они дышать-то боятся!

Владимир Андреевич резко встал и вышел из кабинета. Жена сопровождала его, ровным голосом говоря ему в спину:

— Она говорит: я над сестрой Наташкой столько слез пролила, в ней половина моей жизни. Возили ее в Крым каждое лето, подкапливая на это целый год деньжонок. Чтоб только она могла на песочке погреться, на южном солнышке, потому что это вроде полезно...

Владимир Андреевич пришел на кухню, сел за стол. Любовь Ивановна села напротив.

— Я люблю ее! — бросил он жене в лицо.

— Если бы так, я была бы утешена,— вздохнула Любовь Ивановна.— Боюсь, что ты лжешь и мне, и себе, и ей тоже. Лжешь! — произнесла она более громко и тут же, спохватившись, сдержала себя, замолчала.

Муж пожал плечами и невидяще уставился в окно. Он сейчас ясно понял, что жена говорит правду: Наташа действительно шагала тогда по песочку неуве-

ренно и ложилась очень осторожно. Да и потом, когда шла с Галей по парковой дорожке, по мосту, что-то было своеобразное в ее походке, он это всегда отмечал. Она как-то по-особенному мягко ступала, что он — надо же, какой идиот! — воспринимал, как некую девическую грацию. А ведь это в ней жила постоянная боязнь боли! Да-да, она боялась резких движений, отсюда эта завораживающая, крадущаяся осторожность в жестах, в походке.

— Я не знал,— сказал он упавшим голосом и поднял взгляд на жену.— Я не знал, Люба.

Теперь, когда в его голосе прозвучало прямое обращение к ней, как призыв к сочувствию, Любовью Ивановной владело уже другое настроение. Она была сердита, даже обозлена, и не захотела продолжать разговор. Не отвечая мужу, встала и с достоинством удалилась, видимо посчитав свою миссию выполненной.

58

После того как Мережников узнал о серьезном недуге Наташи, она как бы приблизилась к нему, стала понятней и объяснимей, весь облик ее обозначился четче. Теперь она была как никогда своя... близкая ему... родная. Ее несчастье становилось уже его несчастьем, ее страдание было Мережникову как свое собственное, а избавление так желанно, так страстно призываемо — равно как для себя. По крайней мере так Владимиру Андреевичу казалось, и он сам дивился этому новому в себе чувству.

Теперь у него было четкое понимание своей роли, своих задач, и он видел и то, и другое в ином, уже облагороженном свете, а это само по себе освободило его от гнетущего чувства вины, от сознания предосудительности своих поступков. Мережников сразу успокоился, стал деятелен и сосредоточен.

На другой день в назначенное им самим время Владимир Андреевич вышел из своего служебного кабинета, неторопливо пошел парком в сторону моста через Волхов.

«Я буду ее любить и беречь,— еще и еще раз успокоенно думал он по пути.— Буду очень ухаживать за нею. Наташа окрепнет совершенно, выздоровеет — так

должно быть, ведь она столько перестрадала! Она заслужила преданность кого угодно и мою тоже. Если не выздоровеет насовсем — что ж, я все равно ее люблю и уж, разумеется, никогда не оставлю».

Теперь он особенно любил ее, и сознание этого, пришедшее как избавление, принесло необыкновенную легкость его душе, как от свободного полета.

В парке возле недостроенного фонтана он постоял немного, напевая неведомо откуда всплывшую в памяти песенку и осматривая все, что тут было нагорожено. Должно быть, только накануне сюда привезли и сгрузили бронзовые огромные статуи Садко с гуслями и танцующей морской царевны. Царевна еще не танцевала — она лежала, поверженная на спину, стыдливо отвернув голову и беспомощно раскинув руки, а босой Садко сидел, тоже отвернувшись, не в силах превозмочь свою тяжелую неподвижность и обратиться лицом к опрокинутой навзничь дочери водяного ильменского царя.

«Ничего,— искренне сочувствуя, утешил их Мережников,— скоро вас поставят рядом и вы будете вместе. Тогда ты станешь танцевать, а он тебе сыграет на своих гуслях...»

На откинутую руку царевны, в обращенную вверх ладонь какой-то шутник положил монетку.

Возле универмага, где цветочный базарчик, он долго ходил вдоль длинного прилавка, выбирал, составлял букет. В эту пору, когда уже начинались холодные утренники,— того и гляди подморозит — владельцы окраинных огородов и дачных участков спешили продать цветы, пока не обожгло их дыханием приближающейся зимы, и потому базарчик был шумен, многолюден.

Букет из гладиолусов, махрово-красных, огненных, алых, снежно-белых, Владимир Андреевич бережно и аккуратно закутал в прозрачную бумагу, расправляя складочки, и с этим огромным свертком, напоминавшим спеленатого младенца, отправился по мосту на Торговую сторону.

Сегодня Мережников ни в чем не сомневался, не испытывал никаких колебаний — все было ясно впереди, потому и напевал он. А еще тому радовался, что поверил: надежды его не напрасны, Наташа согласится стать его женой. Почему-то вдруг очень поверил в это.

Над средним пролетом моста Владимир Андреевич остановился, вспоминая тот день, когда впервые увидел

Наташу; долго глядел на пустынный пляж, испытывая от этого и радость, и нежность; по пляжу бегали мальчишки; парочка сидела в обнимку у самой воды на скамье; буксир с баржей приближался от Юрьева монастыря — все радовало его сегодня, на что бы он ни смотрел!

«Зачем ей учиться в этом техникуме? — размышлял он, шагая дальше.— Зачем ей вообще какая-то специальность, если она будет моей женой? Я в состоянии обеспечить нашу совместную жизнь. Договор на книгу заключен, еще одна рукопись одобрена, гонорар за журнальную публикацию нетронут. Бросим все: я — свою работу, она — училище. И уедем на юг, снимем комнату будем ходить на пляж и лежать на солнышке. На юге еще тепло, бархатный сезон... Пожалуй, лучше всего к Сухуми, в Новый Афон — там теплее, чем в Крыму... Буду покупать своей юной жене дыни, виноград, абрикосы... Она станет веселой, счастливой и здоровенькой... Так, Наташа, так!»

Море нежности плескалось в душе Мережникова. Он любил сейчас и этот прозрачный день с высоким льдисто-холодноватым небом, и незнакомых людей, попадавшихся ему навстречу, и город, так ясно, так празднично высвеченный осенним солнцем — весь мир! Такое у него было настроение.

В знакомом вестибюле вахтерши не оказалось, на столе лежали только очки да вязанье из серых толстых ниток.

Владимир Андреевич постоял, переминаясь с ноги на ногу, положил цветы на подоконник и стал ждать, не появится ли кто. Где-то играла музыка, за стенкой разговаривали; кто-то бежал, должно быть, по лестнице с этажа на этаж; послышался громкий смех, хлопнула дверь. Немного погодя показались две девушки и, не взглянув на него, вышли на улицу. Остановить их он почему-то не решился. И вообще, придя сюда, он немного не то чтобы оробел, но чувствовал себя неловко, потому и хмурился.

Зазвонил телефон на столе, но Мережникову не хотелось, чтобы пришла та вахтерша; телефон, слава богу, скоро затих.

Наконец послышался рядом в коридоре говор, опять

хлопанье двери и показалась толстая девица в домашнем халате. Владимир Андреевич попросил ее позвать Наташу Иваненко.

— Галина! — громко крикнула та куда-то в коридор.

— Ау! — отозвались оттуда.

— Где Наташка? Человек спрашивает.

«Чего орешь!» — чуть не сказал ей раздосадованный Мережников и нахмурился еще больше: все шло немножко не так, как он представлял, шагая сюда.

Показалась Галя и бесцеремонно уставилась на него. Владимир Андреевич вежливо поздоровался с нею.

— А Наташи нет,— сказала та нелюбезно, не ответив на его «здравствуйте», и смотрела на необычного гостя взглядом, в котором были и острое любопытство, и враждебность.

Такая встреча настораживала: что-то она знала, эта Наташина подруга. Но ведь не спросишь, что же именно!

— А где она?

— Не знаю. К сестре небось ушла, к Варваре.

Толстуха тоже не уходила, что-то ее удерживало. Неужели и она тоже в курсе всех событий?

Мережников поколебался секунду, не более, потом взял с подоконника свой букет, твердо сказал Гале:

— Передай это ей. Скажи: я еще приду.

— Ее сегодня не будет весь день.

— Хорошо, значит, я приду завтра.

Галя состроила полунасмешливую, полураздосадованную гримасу, приняла букет, переглянулась с толстухой. Обе не сказали при этом ни слова.

Мережников вышел.

59

И этот, и следующий день Владимир Андреевич провел в ожидании. Сидел ли, ходил ли, разговаривал ли — мыслями он все время был не на своей, Софийской, а на противоположной Торговой стороне. Он то и дело представлял себе, как и что происходит «там»: вот Наташа вернулась от сестры... Галя передает ей цветы и говорит, что приходил... Как Галя называет его? «Твой кавалер»? «Тот мужчина»? Разумеется, что-нибудь ироническое. С ужимочками и гримасами. Какая она не-

красивая и вульгарная! И в манерах, и в говоре. Почему она так враждебна к нему, Мережникову? Что он ей сделал плохого, этой Гале? Как это нехорошо, что все время между ним и Наташей стоят посторонние люди. И как их много! Стоят стеной... и жена, и Варвара, и эти подруги. И еще кто-то невидимый и неслышимый ему.

«Теперь вы все посторонние! — говорил им Мережников с торжеством и тут же гневно вопрошал: — Зачем вы вмешиваетесь? Зачем это вам? Разве у вас есть какие-то права? Отойдите...»

Самое важное — это как воспримет Наташа сообщение Гали о том, что он снова приходил. Это ее встревожит? Или ей станет досадно? А может быть, наоборот, обрадуется? Нет, вряд ли...

«Да почему «нет», черт возьми! Почему ты себя так низко ценишь! — взрывался кто-то в его душе.— Держись с достоинством! Уважай себя».

Легко сказать: уважай себя. А вот Наташа не подает никаких вестей. Должна же она ему позвонить! Или даже зайти. Ведь он сообщил ей и адрес, и телефон свой. Пусть придет, хотя бы затем, чтобы сказать какие-то очень приятные для него слова. Пусть даже и вовсе неприятные, лишь бы не пропадала там вовсе, лишь бы как-нибудь отозвалась...

«А если вместо Наташи явится сестра?»

И такая мысль не раз беспокоила его.

«Устроит тарарам... Вот так сижу в кабинете, открывается дверь, и входит женщина: вы товарищ Мережников?»

И действительно, осторожно постучав, в кабинет его заглянула незнакомая молодая женщина, спросила:

— Простите, вы Мережников Владимир Андреевич?

Он утвердительно кивнул, и лицу тотчас жарко стало: женщина показалась ему очень похожей на Наташу — «Варвара!». Гостья, немного смущаясь,— «Вы разрешите?»— вынула из сумки нечто, завернутое в лоскут старенькой материи и в целлофан, стала разворачивать, приговаривая:

— Меня послали к вам... Археологи уже уехали, сезон у них кончился... Те, что копали на Пролетарской улице. А мне тамошние жители посоветовали: идите, говорят, к Мережникову, это верней всего. К тому же, мол, он тут недалеко, рядом.

И перед Мережниковым выкатился на стол свиток бересты, залепленный внутри еще сырой грязью.

— Мы не разворачивали ее, боялись испортить,— извиняющимся голосом говорила женщина.— Там что-то написано. Да и видно, что бересточка жухлая от старости. Как бы не повредить!.. А мы копали колодец... Брат копал... У себя в деревне...

Такое случалось и ранее, раза два или три: Мережникову приносили бересту с некими знаками, приносили с полным убеждением, что это именно древняя грамота, а оказывалась или грубая подделка, на которую поддавался тот, кто приносил, или просто старая береста со случайными царапинами. А нынче одного взгляда на эту жалкую трубочку было достаточно Мережникову, чтобы понять, что́ именно ему принесли: на бересте, даже если не разворачивать ее, уже виднелся край надписи — знакомое начертание угловатых букв. Владимир Андреевич насчитал восемь строчек и, еще не намереваясь прочесть, явственно увидел в начале третьей строки слова «гусль богодвижимая...»

«Гусль богодвижимая»!.. Прекрасно!»

Вздрагивающими руками он придержал этот свиток, не отрывая от него взгляда и вместе с тем боясь и дышать на него. Владимир Андреевич не успел даже поблагодарить женщину, а та, подождав немного, незаметно вышла.

Мережников, спохватившись, догнал ее на лестнице, заговорил прямо-таки возмущенно:

— Что же это вы заторопились! Погодите, так нельзя...

Она смутилась:

— Я думала... все, больше не нужна.

Когда вернулись в его кабинет, Мережников приступил к расспросам. Он нарисовал примерный план колодца, и женщина отметила на нем то место, где лежал найденный свиток бересты. И где тот колодец был относительно дома. И где тот дом... Женщина приехала из-за Шимска, из села на реке Шелони...

«Боже мой! — чуть не простонал Мережников.— Да это же сенсация! Гром и молния с ясного неба! Берестяная грамота не в самом городе, а в селе, чуть ли не в сотне километров от Новгорода! Да это же... слов нет, вот что это такое!»

— Вы не думайте, там больше ничего не было,—

успокаивала женщина Мережникова, видя его волнение. — Мы все внимательно осмотрели, каждую щепочку. Только это, больше ничего. И брат глядел, и учитель приходил.

Очевидно, жительница старинного села на Шелони опасалась, что придут археологи и разберут с таким трудом сделанный сруб колодца или, чего доброго, просто запретят пользоваться им, впредь до особого распоряжения.

Сколько же раз за минувшие века меняли бревна этого сруба и сколько выпало счастливых обстоятельств, чтобы свиток бересты сохранился до сегодня! Есть все-таки на свете некая высшая справедливость!

Владимир Андреевич все записал: и полное имя женщины и ее брата — «Какие молодцы! Да им премию надо! Сохранили, привезли...», и когда была найдена береста, и где именно — «Надо разузнать, чье это владение! Кого-то из новгородских бояр...»

Он горячо поблагодарил свою посетительницу и был очень неловок в этом, даже перепутал что-то, произнося благодарные слова, так что женщина вдруг рассмеялась.

Наконец Мережников отпустил ее и погрузился в блаженное созерцание берестяного свитка, лежавшего перед ним на столе.

«Ах, молодцы! Они не стали его разворачивать. Ах, молодцы! — восторгался он.— Даже в целлофан завернуть догадались. Небось учитель подсказал. Честь и слава учителю! Как его фамилия? Ах, не спросил! Ничего, потом выясню».

Эта грамота была явно не делового свойства. Автор ее — поэт! Только поэт может найти такое определение, такое слово — богодвижимая! Певучее, торжественное, пространственное, исполненное высокого смысла... Какой эпитет утратился в русском языке! Прекрасное слово.

Мережников снова взял бересту в руки. Наружный виток ее чуть жив, почти утрачен, истлел, но сердцевина была нетронута: из черной грязи торчал покоробленный, но твердый край бересты телесно-молочного цвета. «Гусль богодвижимая» — на самом конце берестяной ленты, свернутой довольно плотно, а далее — вытлевший проем, вид которого причинял Мережникову почти физическую боль: какое там слово выпало?

«Надо позвонить в Москву Иванину. И Славе тоже,— подумал он, потом остановил себя.— Нет, подожди...»

— Гусль богодвижимая,— произнес он вслух и радостно засмеялся.

60

От восторженного разглядывания находки его оторвал телефонный звонок.

— Владимир Андреевич? — услышал он в трубке чей-то знакомый голос.

— Да.

— Мне очень нужно с вами встретиться.

— Ну, Вера Станиславовна! Это неоригинально!— возмутился он, раздосадованный тем, что его, шутки ради, отрывают от дела столь приятного.

— Владимир Андреевич,— поспешно произнес тот же голос,— это я, Фая.

«Какая еще Фая?.. Ах, ну да!»

— Здравствуй, Фая. А я тебя принял за другую. Тут некоторые дамы веселятся иногда за мой счет. Не всегда к месту, честно говоря.

— Мне нужно вас видеть, Владимир Андреевич. Нужно сказать что-то важное... для нас обоих.

Он нахмурился.

— Что-нибудь случилось?

— Не по телефону бы, Владимир Андреевич...

Ну вот. На свидание зовут. Этого еще только не хватало! Зачем это она!

— Что, у тебя опять была Любовь Ивановна?— догадался он.

— У меня не была... Но мы с нею вчера случайно встретились, разговаривали.

Любовь Ивановна мужу своему об этой встрече ничего не говорила... Странно.

— Она опять агитирует тебя в домработницы?

— Да я не об этом хотела, Владимир Андреевич. Тут другое...

Голос Фаи звучал и тревожно, и радостно — очень взволнованно.

— У меня мама приехала, Владимир Андреевич. И вот... мне надо поговорить с вами.

«Ну, появление мамы — это не причина для свида-

ний!» — так решил Мережников. Он нетерпеливо посматривал на берестяной свиток, который надо было, не мешкая, «определить к месту».

— Извини, Фая, сейчас я занят и не могу...

— Но мне очень нужно! — просила и настаивала та, и это было в общем-то на нее непохоже.— Хотя бы на пару минут... Просто сказать вам несколько слов.. А по телефону нельзя. Может, вы, Владимир Андреевич, выйдете сейчас в парк? Я буду ждать вас на скамейке.

Что еще за прихоти! Судя по ее интонации — ничего особенно тревожного не произошло: уж больно явственна радостная, даже торжествующая нота в голосе соседки. С чего бы это? И с какой стати ей вдруг занетерпелось встретиться с ним? Он вовсе не расположен каким-либо образом развивать свои отношения с нею! Кажется, раньше она это понимала, почему же теперь...

Он уже хотел как-то упрекнуть Фаю, но в это время появилась секретарша и возгласила от порога:

— Вас директор вызывает!

Выражение Зоиного лица было таково, словно она только что услышала нечто очень забавное и вот теперь едва сдерживает смех. Но Мережникова удивило совсем другое. Положив трубку с коротким «извините», он посмотрел на Зою вопросительно: не «просит прийти», а «вызывает» — это что-то новенькое. Балин никогда такого не позволял себе. Если нужно было что-то от заместителя, сам придет, еще и извинится за беспокойство. А тут «вызывает». Ни больше, ни меньше. Вот поди ж ты! А секретарша не добавила к сказанному ничего, повернулась и ушла, да еще как-то непонятно фыркнула. Это задело Мережникова.

Он состроил недоуменную гримасу, поднял трубку, набрал директорский номер:

— Алексей Викторович, я вам нужен?

— Да. Зайдите.

Вот так, коротко и сухо.

— Что-нибудь срочное и важное?

— А это как рассудить.

И Балин первый положил трубку.

Что-то не слишком любезно. Черти его там разбирают! Небось позвонили ему из обкома, высказали недовольство по какому-нибудь поводу, вот он и занервничал.

«Покоробится...— подумал Мережников озабоченно.— Размочить срочно и — под стекло. Только тогда все прочее».

Он принес чайник и стал греть воду, а пока вода грелась, озабоченно ходил из угла в угол кабинета, иногда трогая бок чайника, который, казалось, все еще оставался холодным.

«Загорелось у него: вызывает, видите ли. Подождешь. Есть дела поважнее...»

«Гусль богодвижимая» еще пела в его душе.

Наконец чайник чуть-чуть зашумел. Мережников налил теплой воды в большую стеклянную банку, пополоскал в ней рукой: не горяча ли — и осторожно опустил туда свиток бересты. Постоял, глядя, как сразу замутнела вода, и муть оседала на дно, и вывалился из берестяной трубочки кусок черной земли. Присел на корточки, рассматривая банку на свет, улыбаясь, пришептывая:

— Ах ты умница... Ах ты...

Он испытывал к этому жалкому свитку, заключавшему нечто сокрушительно важное, нежное чувство, как к живому существу.

Налюбовавшись таким образом, отправился к Балину; от двери однако бросил сожалеющий взгляд на свое сокровище,— жаль расставаться! — а выйдя, старательно, на два оборота ключа запер кабинет.

Шагая с рассеянным видом по коридору, Мережников вдруг поймал на себе заинтересованный, пристальный взгляд одной из сотрудниц. Это рассердило его: он не музейный экспонат, чтоб так его разглядывать.

Дверь в приемную была открыта; возле нее стояли две женщины, разговаривали оживленно вперебой. Увидев заместителя директора, обе замолчали и так, молча, пропустили его, а обрывок фразы, долетевший перед тем до Владимира Андреевича, как бы повис в воздухе:

—...на партийном собрании будто бы...

61

Директор встретил Мережникова с неожиданной официальной вежливостью; этакая дипломатическая церемонность проснулась вдруг в Балине.

— Садитесь, Владимир Андреевич.

Мережников отплатил ему за любезность — ответил с полупоклоном:

— Благодарю вас, Алексей Викторович.

«Ты не знаешь, что мне принесли, и я тебе не скажу. Ты этого не достоин»,— глазами сказал он Балину.

А тот ему возразил примерно так:

«Ты не знаешь, какие козыри у меня в руках. Ну и не петушись».

— Тут такое дело...— как бы нехотя начал Балин.— Поступило письмо.

Он остановился и посмотрел на своего заместителя довольно пристально, выждал прямо-таки возмутительную паузу, которая обозлила Владимира Андреевича; он еле сдержался от резкого замечания: чего тянуть! как будто дел нет! Ну, письмо. Дальше-то что?

— Вы не догадываетесь, о чем оно? — спросил Балин.

— Я предпочел бы строить догадки в другом месте и по другому поводу,— отозвался Мережников довольно сухо.

— Я тоже предпочел бы,— ровным голосом невозмутимо сказал Балин.— Но письмо это — об аморальном поведении...

— Моем? — тотчас спросил Владимир Андреевич, уверенный, что сейчас директор откинется на стуле и заговорит совсем иным тоном: «Ну, что ты!»,— и тогда можно будет иронически улыбнуться или сказать что-нибудь сердитое. Но директор неожиданно подтвердил, все так же с непривычным ему «вы»:

— Да, именно о вашем.

И вот тут холодным ветерком обдало Мережникова. Он понял, что Балин неспроста столь любезно его встретил и неспроста так уверен в себе в этом разговоре. Да и «вызвал», опять же, а не «попросил прийти».

— Письмо поступило в обком партии,— не торопясь, продолжал директор.— Оттуда передали мне с резолюцией: разобраться на месте, доложить.

— Анонимка? — спросил Мережников почти безразличным тоном.

— Нет, почему же... Подпись есть, вот она.

Балин пошевелил листами бумаги, что лежали перед ним, но Мережникову их не предложил для ознакомления, даже как будто боялся, как бы тот не взял их, потому придавливал ладонями. Листы из школьной тетради в клеточку, исписаны крупным почерком...

«Кто это писал? Не о том ли Фая звонила? Чем-то

она была все-таки очень взволнована... Или эта самая Варвара? А может, сама Наташа? Нет!.. Моя жена? Да нет же! Люба не способна на такое. И не может быть, чтоб Наташа! Тогда кто?»

Он даже на Галю, грешным делом, подумал, и на Людмилу Романовну тоже, и на Веру Станиславовну — не устроила ли очередной розыгрыш? — мысленно перебрал всех, и это в течение нескольких секунд, пока Балин молчал, должно быть, составляя в уме следующую фразу.

«Итак, кто?»

— Пишет женщина, и суть ее жалобы вот в чем. Она утверждает, что вы, дорогой Владимир Андреевич, пристаете к ее младшей сестре...

Вот теперь все ясно: Варвара! Никак не успокоится.

— ...которая всего несколько дней назад была несовершеннолетней. Замуж предлагаете, и все такое.

Балин принадлежал к тому типу людей, которые могут твердо и непреклонно смотреть в глаза собеседнику. И, говоря все это, он не отводил взгляда от лица своего заместителя, а выносить это было нелегко, потому что позиция у директора была прямо-таки подавляющая. Балин сознавал это, потому так неспешно, словно смакуя, вел разговор.

— Так ли, нет ли, я не знаю,— продолжал он вроде бы скучным, равнодушным голосом,— но вы поймите меня, Владимир Андреевич, правильно: поступил сигнал, мне велено разобраться. Я, как и вы,— лицо подчиненное. Подумал-подумал и вот прежде всего пригласил вас, чтобы обсудить по-товарищески, по-дружески. Если окажется клеветой, мы выразим женщине свое возмущение, о чем и доложим в обком. А если подтвердится, то опять-таки выразим наше возмущение, но уже вам, дорогой Владимир Андреевич. Так обстоит дело.

Все что угодно мог предполагать Мережников, но только не такое течение событий! Речка, что текла, скрытая от посторонних глаз или почти скрытая, взломала лед и теперь разливается...

— Так как же у вас это вышло, Владимир Андреевич? — директор нажал на голос.— Тут написано: осаждаете девчонку... не даете ей проходу... Предлагаете замуж... Так или не так?

Мережников молчал. Каждая фраза, произнесенная Балиным, была ему оскорбительна. Его уличали в без-

нравственности! И кто!.. Надо же такому случиться!..

— С цветами прихо́дите в общежитие,— Алексей Викторович коротко хмыкнул в смехе.— На виду у всех якобы. Компрометируете девушку. Нехорошо, если так. А?

Владимир Андреевич сидел, погруженный в глубокое-глубокое размышление; он не слышал всего, что говорил Балин, но тут живо возразил:

— С цветами все-таки лучше, чем с газетой, свернутой в трубочку. Так ведь?

Балин сделал вид, что не понял, о чем речь. А может, он и в самом деле не понял? Но в любом случае это не доставило утешения Мережникову: все равно силы слишком неравны. Да и не до того ему было, чтоб препираться с директором родного учреждения. Сегодня ему было не до того.

— Что ж...— в раздумье сказал Балин.— Видимо, придется собирать партийное собрание, разбирать персональное дело. Будем принимать меры.

— Партсобрание?! — протянул изумленно Владимир Андреевич и встрепенулся весь.

Вот теперь они смотрели друг на друга.

— А как бы вы думали?

— Так я же беспартийный!

— А это не важно. Парторганизация имеет право рассматривать любые вопросы, в том числе и персональное дело беспартийного товарища. Вы у нас заместитель директора культурно-просветительного, а точнее, идеологического учреждения. Идеологического! Ясна ситуация?

Мережников опустил взгляд.

Письмо в обком — это ягодки после цветочков, принесенных им в общежитие. Все бы ладно, только какую роль сыграла тут Наташа,— вот что заботило сейчас его больше всего. Похоже на то, что она содействовала...

— Эта женщина уже мне звонила,— продолжал нажимать Балин.— Я имею в виду ту, что написала жалобу. Она заявила, что непременно сама будет присутствовать на партсобрании.

— При чем тут Варвара? Пусть Наташа...

Владимир Андреевич сбился с голоса и замолчал. Не нужно было вслух произносить имен. Надо же, сорвалось с языка. Ничего не нужно говорить — всякое с Балиным только усугубляет дело, вернее, способствует огласке, а это ни к чему.

— Наташа — это кто? Та девушка? — уточнил оживившийся Алексей Викторович.

«Но я не собираюсь ничего скрывать! — словно оправдывая себя за «болтливость», мысленно воскликнул Владимир Андреевич.— Теперь пусть знают все, весь белый свет!»

— Она что, еще в техникуме учится? Как ее, кстати, фамилия-то?

— Вы меня изволите допрашивать? — овладев собой, осведомился Мережников.

— Да нет! — весело возразил Балин.— Я ж не следователь. Просто мне поручили разобраться, вот и...

Мережников рассеянно посмотрел в окно.

«Я люблю ее! При чем тут партсобрание. За любовь не судят. Впрочем, этот готов судить... А-а, ну да, ведь это ему на руку!»

— Значит, правда,— в раздумье неспешно сказал директор.— А я, признаться, поначалу не поверил.— И перешел на грубоватый тон.— Как это получилось у тебя? Ведь мы же с тобой столько знакомы! А? Владимир Андреевич? Никогда б не подумал! Серьезный, семейный человек — и вдруг девчонка! Я понимаю, что в письме много лишнего: замуж, то да се... Чепуха какая. Но главное-то остается!..

Алексей Викторович замолчал и снова уставился на своего заместителя.

— Ты что, влюбился, что ли? В девчонку-то?

Мережников встретил его взгляд, сказал твердо:

— Я напишу вам заявление.

— Какое? Что ты тут ни при чем? Я — не я, и лошадь не моя. Да?

Короткий покровительственный смешок прокатился в горле Балина, а ладонь непроизвольно погладила исписанный лист бумаги в клеточку: куда, мол, денешься! Тут все запечатлено — не вырубишь топором.

Но опять-таки Мережникову было не до него. Ход мыслей одного явно не совпадал с движением мыслей другого.

— Я увольняюсь, Алексей Викторович,— с прежней твердостью и решительностью сказал Мережников.

— Да брось. Не паникуй,— сразу умиротворяясь, ответствовал Балин.— Чего заспешил? Не горит.

Мережников, словно окончательно очнувшись, взял с директорского стола лист чистой бумаги, стал писать. Балин следил за ним весьма благожелательно.

— Черт его знает! — сказал он, сочувственно вздохнув.— Какая-то каша заварилась. Может, тебе и впрямь уйти с работы да и уехать из города с глаз долой. На время, а? Пожалуй, это разумно. Мне, конечно, трудно судить...

В тоне его голоса уже проскальзывало этакое начальственное великодушие. Он принял лист, протянутый Мережниковым, выдвинул ящик стола, достал из него папочку, положил заявление в нее, потом папочку — в ящик и неторопливо задвинул.

— Погоди,— сказал он вставшему Мережникову.— Вот чего: не пори горячку... Я посоветуюсь. Позвоню по начальству и постараюсь тебе помочь. Чтоб не волынить с увольнением. А этой бабе скажу что-нибудь... В общем, ее я беру на себя. Слышишь? Чтоб не рыпалась больше никуда и не писала никаких бумаг. Вот только девчонку придется оставить в покое.

— Да иди ты! — бросил Мережников с неожиданной грубостью.

— Оставь, оставь ее. Зачем она тебе? Или мало баб, скучающих и одиноких?..

Последние слова Балин говорил уже в спину уходящему Мережникову.

62

Вернувшись в свой кабинет, Владимир Андреевич некоторое время стоял перед столом задумавшись. Потом оделся, вышел на улицу и только тут вспомнил о бересте. Вернулся, осторожно поставил банку в сейф, пренебрежительно отодвинув в сторону стопку каких-то документов.

«Вот она, гусль богодвижимая! Вот где радость!»

Однако не было радости. Другое, гораздо более сильное чувство оттеснило ее и заполняло теперь Мережникова.

«Придете, благочестия любители и целомудрия рачители, чистоте же убо и премудрости взыскатели...»

Он аккуратно запер сейф и вышел на улицу.

«Я должен с нею поговорить,— твердил Владимир Андреевич сам себе.— Ну, должен же я с нею встретиться!»

Парковой аллеей, мимо фонтана с Садко, мимо Ве-

селой горки, мимо детской карусели, по мосту Мережников шагал торопливо и решительно. Теперь ему было не до высокого и холодного неба, не до прохожих и проезжих, не до пустынного пляжа, остававшегося справа и видного отсюда, с моста, как бы с птичьего полета.

«Как же это случилось, Наташа? — спрашивал он дорóгой.— Почему наше с тобой — и только наше!— становится всеобщей потехой, предметом любопытства посторонних людей? Это недостойно нас, Наташа!»

Он поймал себя на том, что чуть ли не вслух произносит эти фразы. Поднял воротник, спрятал подбородок за отворот пальто, чтоб никто не услышал, если в рассеянности что-то и скажет вслух.

«Разве я сделал тебе что-то плохое, Наташа? — продолжал он.— Разве я переступил грань приличия? Разве был назойлив или груб? Что тебя обидело? У меня не было тех скверных намерений, которые мне нынче приписывают. Неужели ты поняла меня, как они? Я был, по-моему, честен с тобой. Разве нет? Во всяком случае откровенен. Я не хитрил, не изворачивался, не лгал... Я шел с открытым лицом и говорил не шепотом, а в полный голос. Зачем же ты так, Наташа? Как же это все получилось?»

Да полно, она ли это должна подойти к нему у Княжой башни! Может быть, он ошибся... Может быть, он обратился не по адресу, и она совсем не та, кем должна быть.

Неужели он поторопился? Поспешил открыться, поспешил с потайным заветным словом, в котором так обнажено и так уязвимо движение его души...

Мережников сел на скамью в скверике перед зданием кооперативного техникума, решив сидеть здесь до тех пор, пока не покажется Наташа. Зайти в само здание он не решился: надо поберечь и девушку — вдруг он и в самом деле ее компрометирует!

«Я! Компрометирую!» — вместе с тем возмущался он.

Откуда-то с озера, что ли, залетал порывами холодный, промозглый ветер. Минут через двадцать Мережников почувствовал, что уже продрог, однако запахнулся плотней и продолжал сидеть. Решимость его отнюдь не поколебалась.

В парадные двери техникума выходили и входили,

и поодиночке, и компаниями девушки, но Наташи среди них не было. Он сразу узнал бы ее — нет, она не появлялась.

Так просидел он и час, и больше, и уже начал сознавать, что выбрал отнюдь не самый лучший способ встретить Наташу, что все это сидение довольно глупо и надо что-то предпринять более решительное. Вдруг увидел, как в пальто, накинутом на плечи, выбежала Галя и направилась к нему через дорогу. Он сразу понял, что она бежит именно к нему, а не куда-нибудь.

— Здравствуйте,— выговорила Галя, запыхавшись.— Вы Наташу ждете?

Он молчал.

— Наташа уехала. Ее нет.

— Опять в Кандалакшу? — спросил он после паузы.

— Мне не велено говорить, куда именно.

— Не говори. Я все равно найду.

— Наташка перевелась в другой техникум и уехала насовсем. Так распорядилась Варвара. Это ее сестра.

Владимир Андреевич молчал. Молчала и Галя, ожидая, не спросит ли он что-нибудь. Он спросил:

— Почему же она уехала так спешно?

— А вы не догадываетесь?

В Гале как будто боролись два чувства: неприязнь к нему и в то же время некое благожелательное любопытство.

— Погоди,— сказал ей Владимир Андреевич, видя, что Галя хочет уйти.— Я у Наташи спросить хотел... Она получила мое письмо? Дошло оно до нее? Ты ведь знаешь.

— Знаю. Да, она получила.

— А почему письмо оказалось у сестры?

— А что, у вас неприятности, да? — вызывающе спросила Галя.— Письмо я Варваре передала. Отобрала у Наташки и передала.

— Ясно.

— И когда вы в тот раз приходили в общежитие, Наташа была в комнате. Мы с нею дружим, и я не могла допустить... Вы ведь женаты!

— Правильно, ты молодец. Но что делать, если я ее люблю, Галя!

— А вам это нельзя.

Девушка смутилась и стала смотреть в сторону.

— Я не хотел сделать ничего плохого ей,— тихо и очень убедительно сказал Владимир Андреевич.

— А все равно получилось плохо. Она очень переживала. Особенно когда узнала, что Варвара написала заявление... куда-то там. Она плакала... и вообще.

— Та-ак... Это правда, что она уехала?

— Нет. Сегодня уедет или завтра. Вы ее не ищите, она у сестры.— Галя помялась и сказала тихо: — Поедет к брату в Тернополь. Будет учиться в таком же техникуме, как наш.

— Спасибо, Галя.

Вздохнув, он поднялся.

— А цветы я Наташке передала,— торопливо добавила она,— но тут пришла Варвара и увидела их. Она сразу догадалась, от кого они. Велела выбросить, а Наташка не позволила. С этого все и началось.

Ветер налетал порывами, девушка неловко куталась в накинутое пальто.

— До свидания, Галя. Беги, а то простудишься.

Он дошел уже до людного перекрестка, когда она догнала его, схватила за рукав, спросила строго и требовательно:

— А вы, правда, ее любите?

— Да,— сказал он.

— Она тоже говорит, что, наверное, вы совсем неплохой человек; может быть, даже и впрямь любите. Только я все равно не верю. Хотя...— Галя засмеялась,— если б со мной так, то поверила бы.

И побежала назад, придерживая полы пальто руками.

63

Во всем этом разговоре с Галей было два радостных момента, которые очень ободрили Мережникова и направили строй его мыслей в несколько ином направлении. Первый: Наташа воспротивилась тому, чтобы выбросить цветы, и даже, видимо, рассорилась из-за этого с сестрой. Второй: она ему верит. Может быть, не насовсем, но верит! И это великолепно. Она — умница.

«А я еще отчаивался! — укорил себя Владимир Андреевич.— Как это малодушно! Дошел даже до того, что стал сомневаться и упрекать...»

Волна благодарности и нежности к Наташе подступила к его сердцу. Нет, он не ошибся в ней! Это она... И только она!

Сегодня уезжает... Что ж, может быть, это и неплохо. Напротив, даже хорошо! Наташа вырвется из среды, которая так враждебна к нему, Мережникову, и которая диктует ей свою волю, навязывает свое, не считаясь с ее желаниями.

«Тернополь... Тернополь... Должно быть, хороший город. Это же южная Украина! Там еще лето небось. Надо позвонить в Киев. Пусть ребята похлопочут о двух путевках на Карпаты, как год назад хлопотали о моем переводе в свою столицу. Горы — это тоже приемлемый вариант. А я сегодня позвоню в Тернополь о гостинице... Пока поживу, как путешествующий...»

Опять радостная мелодия зазвучала в его душе; по мосту он шагал на Софийскую сторону, весело оглядываясь окрест.

Идти к себе ему не хотелось, и он от самого подъезда родного учреждения повернул прочь, пересек площадь и зашел в бабье царство.

— Здравствуйте, ваши высочества! Как вы тут?

Мережников был весел и настроился поболтать с женщинами о чем-нибудь, развеяться немного. А где и развеяться, как не здесь! Но что-то изменилось в бабьем царстве, словно сам воздух стал холодней, словно от стен и шкафов повеяло чужим, чужим...

На этот раз только Людмила Романовна была рада ему; разговаривая с кем-то по телефону, улыбнулась, закивала головой и рукой замахала: садитесь, мол. Вера Станиславовна с Валентиной посмотрели на гостя довольно отчужденно, а Тоня отвернулась и то ли чихнула легонько, то ли хихикнула.

«Надо же! Неужели и сюда слушок приполз! — подивился Мережников.— Так скоро!»

— Придете, благочестия любители, и целомудрия рачители, чисто те же убо и премудрости взыскатели,— проговорил он и довольно бесцеремонно уселся на стул, потом вызывающе спросил, обращаясь ко всем сразу:— Ну, как поживаем? Что-то вид у вас кислый.

— У вас кислее,— заметила Тоня не без ехидства.

— Ну нет, я не сказал бы,— уверенно возразил Владимир Андреевич.— Более того: я полон радости, оптимизма и всего такого вот... самого бодрого!

Он почему-то очень обозлился в эту минуту: «Сидите тут, как мышки — ушки настороже! Ловите каждый шорох».

Людмила Романовна положила трубку и со словами «Я сейчас вернусь» ушла: куда-то ее срочно позвали. Проходя мимо Мережникова, она то ли ласково, то ли ободряюще коснулась его плеча.

— Говорят, вы женитесь, Владимир Андреевич,— сказала Вера Станиславовна в наступившей тишине.— Уж правда ли, нет ли...

Валентина с Тоней переглянулись. Слова Веры Станиславовны были поняты ими как сигнал к началу всеобщего наступления — это Мережников понял чуть позже.

— Правда,— подтвердил он.— А что?

— Ишь, как нынче хорошо: женился на одной, надоела — бросил, завел другую...

— Что ж с одной-то жить! — рассудила Валентина.— Одно и то же каждый день приедается.

— Да ведь Любовь Ивановна Мережникова, по-моему, не из тех, кто приедается. Красивая, образованная, обходительная — чего же еще надо?

— Откуда вам знать-то, Вера Станиславовна! — якобы защищала гостя Валентина.— Может, мало обходила, может, чем и не угодила. Бывает! А к тому же и то рассудить: если деликатесами-то человека кормить каждый день, ему ведь и черненького хлебца захочется...

Тоня слушала их восторженно, едва сдерживаясь, чтоб не расхохотаться взахлеб. Она только изредка попискивала от сдавленного смеха.

Мережников слушал все это довольно ошалело. Такой откровенно враждебной атаки он в бабьем царстве не ожидал.

— Да вам-то что! — обескураженно возразил Владимир Андреевич.— Не на вас же я женюсь! Ваше дело постороннее.

— Куда нам! — это Вера Станиславовна довольно спокойно сказала.— Вам надо молоденькую... Со школьной скамьи.

— Оно и понятно,— грубовато вторила Валентина.— Кто-то любит говядинку, а кому-то подавай телятинку.

— Вы у нас девочек любите, Владимир Андреевич.

— Я и вас тоже люблю,— возразил он, надеясь на миролюбивый исход разговора.

— Где уж нам! — Вера Станиславовна вздохнула.—

Что-то мы от вас ни писем, ни цветов не получали.

— Ишь, чего захотела! — фыркнула Валентина.— Вот Владимир Андреевич за вашей дочкой поухаживал бы. Сколько ей? Пятнадцать? Ну, значит, ему в самый раз...

— Да вы с цепи, что ли, сорвались! — не выдержав, гневно бросил Мережников.— Что вы на человека кидаетесь, не разобравшись?

— Эх, Владимир Андреевич! — вздохнула Вера Станиславовна.— Что тут разбираться, коли все ясно! Не ожидали мы от вас таких подвигов. Чего угодно, только не этого. Взрослый человек, солидный, с ученым званием, при должности, депутат... Пошутить можно, а зачем же всерьез-то! Ведь я теперь от вас свою Надюшку стеречь должна!

— А я сестренку младшую,— добавила Тоня, самая незлобивая из всех. Вот уж зря он ее величал «Хитровановной»! Ей-богу зря.

— А ведь вы — отец семейства. У вас у самого дочь растет,— заметила Вера Станиславовна.— Вот она подрастет, и какой-нибудь... будет к ней приставать. Как это вам понравится?

Потом Валентина добавила свое суждение. Потом снова Вера Станиславовна... Мережников только переводил взгляд с одной на другую и не мог найти ни необходимых доводов, ни необходимой паузы в их обличительных речах.

— Та-ак... Ну ладно, поговорили...— сказал он и резко встал и направился к двери.— Хорошего помаленьку.

— Да уж идите-ка,— сказала тем же неприязненно-назидательным тоном Вера Станиславовна.— Бог подаст, а мы люди бедные.

Валентина тоже напутствовала его, но слов ее Владимир Андреевич не разобрал. Он хотел что-то сказать им в ответ, но только махнул рукой и вышел вон, вне себя от сознания своего бессилия и какой-то огромной несправедливости, которую творили с ним и которую он, как видно, все-таки заслужил.

На главной площади кремля его поджидало еще одно испытание: возле памятника Тысячелетию России, опираясь на его ограду, стояли и увлеченно беседовали двое — Часовников-Сушко, в пальто и шляпе, интеллигентный, строгий, и с ним моложавая женщина, оде-

тая по осеннему времени в зимнюю шубу; женщина была румяна от холодного ветерка, от меховой одежды и увлекательной беседы, во время которой ее спутник, весьма склонный к пылким речам, призывающе взмахивал рукой вверх, где ангел с крестом венчал памятник-колокол, осеняя божественным покровительством тысячелетнюю Россию. Пожалуй, про спутницу Григория Павловича можно сказать, как о совсем молодой особе,— что она хороша собой. Во всяком случае так мимолетно подумал Мережников.

Григорий Павлович заметил его издали и, судя по всему, что-то сказал своей спутнице о нем; а та стала вдруг озабоченной и строгой, в ответ что-то выговорила своему спутнику — это был краткий диалог единомышленников, которые быстро пришли к общему согласному мнению.

Не заметить их было нельзя, и Мережников подошел, вежливо поздоровался. Григорий Павлович, вопреки его ожиданию, со своей подругой знакомить его не стал; на лице потомка то ли тульских, то ли брянских дворян отражалось душевное напряжение, которое Владимир Андреевич поначалу неверно истолковал: волнуется, мол, старик молодожен, неловко ему. Когда поздоровались, Часовников сказал негромко, но достаточно твердо:

— Не одобряю, Владимир Андреевич,— и покачал головой, поджимая губы.— Не могу одобрить последних событий в вашей жизни. Извините, не приемлю.

И женщина смотрела на Мережникова строго, как учительница на проштрафившегося ученика, которому теперь непременно надо снизить оценку за поведение.

Владимир Андреевич не вдруг понял, что говорит ему приятный человек Часовников, столь радушно, столь радостно встречавший его всегда. А потом его озарило: ах, и этот все о том же! Он, должно быть, вместе со своей новой женой уже побывал в бабьем царстве, а уж там их обоих «просветили» — просветили именно в том духе, в каком только что ополчились на самого Мережникова.

— Будьте счастливы, ваше степенство,— резковато сказал он и энергично тряхнул руку Григорию Павловичу, потом настойчиво повторил: — Будьте счастливы! Да, да! И слушайте почаще музыку — музыка смягчает нравы. Понимаете?

— Нет,— честно признался несколько озадаченный Часовников.

— И прекрасно! Тем действенней влияние высокого искусства. А мне позвольте проститься с вами. И надолго. Возможно, мы уже не сыграем с вами ни одной партии и даже не увидимся никогда. Считайте, что вы меня заматовали. Я увольняюсь и уезжаю. Да-да! Вы же, однако, вспоминайте иногда наши партии. И не спешите рокироваться, ваше степенство, ни в ту, ни в другую сторону... Еще раз пожелаю: будьте тут без меня тихо и безмятежно счастливы!

Он говорил это как бранился, говорил в сильнейшем волнении, потому Часовников был несколько растерян и не знал, что ответить. А когда необходимые слова наконец пришли к нему, Владимир Андреевич уже удалялся...

64

Холодно было под осенним небом, неуютно, одиноко, и тоска опять подступила к сердцу Мережникова; хотелось, как в детстве, заплакать, просто так, от великой грусти и собственной беспомощности.

Он поднял воротник пальто, поеживаясь, втянул голову в плечи, глубоко засунул руки в карманы — и брел так, огибая кремлевскую стену по внутренней асфальтовой дорожке, старательно оглядывался по сторонам, словно ища, на что бы отвлечься.

«Лучше всего лететь самолетом завтра же. Поселиться в гостинице и встречать на вокзале все поезда с севера, а в аэропорту все самолеты из Киева и Ленинграда — не так-то их там много, и тех, и других! Она едва ступит на перрон или сойдет с трапа самолета, а я к ней: «Здравствуй, Наташа. Я тебя тут давно жду...»

Двое мальчишек пробирались по верху кремлевской стены, прячась между зубцами ее...

Из ресторана «Детинец», что занимает церковку и Покровскую башню, выбежала молодая женщина в белом халате, высыпала что-то из ведра в контейнер с мусором, поставила ведро и, поправляя волосы, улыбалась...

Из окон музыкального училища доносились неумелые, но сильные и чрезвычайно бравурные аккорды на

фортепьяно, а в лад ему нежное пиликанье скрипки...

Все живут, все чем-то увлечены, все радуются и полнокровно воспринимают жизнь — так и должно быть. Из-за чего же он — не больной, не старый, не убогий — почему же он мается? Из-за чего страдает? Из-за собственной глупости. Разве нет? Так, так! Ведь вот не стал бы Виталий городить огород, как это делает он, Мережников! Смешно даже представить себе, чтоб Виталий пошел в общежитие... послал письмо...

«Ну, что ж,— хмурился Владимир Андреевич, самолюбиво поджимая губы.— Каждый, как умеет...»

Белые ледяные пузыри на асфальте звучно лопались под ногами. Вот уже третий день, как вечерами стало заметно подмораживать, а нынче морозец и вовсе отстаивался крепкий.

У Вечного огня стойко перетерпливали мороз мальчики с карабинами — стояли неподвижно, в строгости, по-взрослому; и, как обычно, несколько досужих зрителей ждали, когда будет смена караула...

«Не попасться бы опять на глаза высоконравственному старичку Часовникову. Небось показывает достопримечательности жене. Славная вроде бы женщина».

Молодожены ушли, не видно. У них медовый месяц.

На площади туристы сгрудились вокруг экскурсовода, голос которого разносило слабым ветерком: «Тринадцатого века... одиннадцатого века... Мстиславе Великом...»

Под въездной аркой кремлевской стены шаги отдавались гулко, как под сводами храма... На скатах древнего рва белыми подпалинами стлался по траве иней...

«Главное — это встретить ее. А потом все устроится как-нибудь. Можно даже пожить в Тернополе, если там не дождливо. Слякоть и сырость надоели мне и в Новгороде. А лучше все-таки к морю».

Из всех приморских городов, виденных когда-либо Мережниковым, его больше других привлекал Судак, хотя был он там всего лишь однажды, да и то недолго, с неделю — отдыхал «дикарем». Есть в этом городишке местечко под названием Уютное — на горе, возле крепости, построенной еще отважными генуэзцами. Тут, в частном доме, у старика со старухой жил Владимир Андреевич целый месяц. Дом примечателен был тем, что оброс всяческими пристройками, каждая из которых являла собой творение прихотливой фантазии хозяина, не желавшего возводить нечто капитальное. Все эти заку-

точки, в каких, например, хозяйственные колхозники-новгородцы держат кур или овец, хитроумный судакский домовладелец приспособил под жилье для таких вот озябших северян, как Мережников. Тут были верандочки, терраски, сарайчики, клетушечки, отгороженные навесы и прочее.

Владимир Андреевич занимал веранду, а чтоб не подселили соседа, платил за две койки.

Ветер с моря парусил занавески на его веранде, лампочка под потолком была маленькая, светила еле-еле и при сильном ветре мигала. Мережников против таких обстоятельств не протестовал, они ему нравились. Старик хозяин, бородатый дедок Антон Алексеевич, испытывал большое любопытство к смирному постояльцу, который не пил вина, не курил и не водил к себе женщин. Наконец хозяин не выдержал, явился с дипломатическими расспросами.

— А вы, Владимир Андреевич, должно быть, большой начальник?

Выяснив в итоге довольно продолжительного разговора, что Мережников — кандидат наук, Антон Алексеевич уважительно протянул:

— А-а, ну, кандидаты — это большие люди!

Мережникова рассмешила не сама фраза, а тон, каким она была произнесена, и выражение лица хозяина дома.

Вот можно опять к Антону Алексеевичу на его веранду. А впрочем, у него есть отличная жилая комната — с ковром посредине, с телевизором, с диваном — ее хозяин бережет для особо состоятельных квартирантов. Вот в ней и поселиться бы! И гулять опять вдоль крепостной стены, смотреть оттуда, с высоты, на море, на Судак — древний Сурож.

В Суроже на площади продавали некогда полуголых девушек с необыкновенно шелковистыми, нежными волосами, с глазами цвета весеннего неба, с кожей белой, как благородный мрамор... Вот по этим площадям и гулять с Наташей! Любоваться, как играет ветер ее легкими шелковистыми волосами, и цветом ее синих, как весеннее небо, глаз.

С другой стороны бухты гора поднимается платформой и обрывается круто к морю. Что за вид оттуда! Море плещется далеко-далеко внизу... Вот бы туда сводить Наташу! И посидеть там, болтая о том и о сем.

Можно поехать и куда потеплее — в Новый Афон. Мережников там не бывал, но у него есть адрес: в Новом Афоне у Славы Фирсановского близкая родня, и Слава сказал, что можно приезжать в любое время, всегда примут.

Во всех этих городках сейчас на базарах продают дыни, виноград, груши, кислое вино в бочках... Будет чем порадовать Наташу!

В штормовые дни они вдвоем будут ходить вдоль берега и слушать, как перекатывают волны валы галечника...

65

— Как славно, что я вас увидела! — говорила Людмила Романовна.— Смотрю, что это за мужчина бродит в одиночестве по парку? И далеко было, а сердце подсказало: это он. И я пошла к вам, как на огонек, как на звездочку. А теперь вы мой пленник, и я напою вас давно обещанным чаем. Видите, мы уже пришли.

Ее приглашение было ему на этот раз кстати: домой идти не хотелось, а на улице он уже набродился и основательно продрог.

— У меня есть заветная бутылочка марочного коньяку. Я вас уже обещала напоить чаем с коньяком, а теперь должна исполнить. Не правда ли?

Она тихонько подтолкнула его к подъезду.

— Какой из меня гость! — слабо упирался Мережников.— Я нынче в расстроенных чувствах. Все меня обижают, все обличают и упрекают...

— Не обращайте вы внимания на эти глупости! Мало ли что плели вам эти бабы! Они совсем не добрые, как это раньше вам могло показаться. Какие они царицы! Так себе, клухи домашние. Я о них даже и разговаривать не хочу. Слышите? Забудьте о них.

Перед своей дверью она вынула из сумочки ключ, сунула его в замочную скважину поспешно, нетерпеливо, как будто боясь, что гость может повернуться и уйти именно в этот последний момент.

В квартире у нее было чистенько и прибранно — это сразу отметил Мережников, едва они вошли. Только на тумбочке перед трюмо в некотором беспорядке лежали расчески и шпильки, стояли баночки и флакончики разных

форм и цветов. Пахло застоявшимся ароматом духов, но сквозь этот аромат ему, человеку некурящему, почудилось, что пахнет и папиросным дымом.

— Посидите пока в одиночестве. Вот вам журнал мод, полюбуйтесь на красивых женщин, а я вас на минутку покину.

С этими словами она ушла в соседнюю комнату, а гость сел на диване, с любопытством оглядываясь. «А что, у нее неплохо,— подумал он.— По крайней мере тепло-то как... И уютно!»

Очень скоро Людмила Романовна вышла — в нарядном богатом халате, небрежно запахнутом; пояс завязан на боку большим бантом; складки на груди — двумя большими звездами; воротник прихотливо огибает полную белую шею. Просторные рукава послушно соскользнули вниз, обнажая руки, когда она подняла их, чтобы поправить перед зеркалом прическу,— локти округлые, истинно женские, с ямочками.

Она прошла на кухню, мимоходом улыбнулась ему. Владимир Андреевич проводил ее взглядом, потер ладонью лоб, пригладил волосы.

— Знаете что,— сказала она, появляясь оттуда,— мы с вами, пожалуй, не будем садиться за стол, лучше на диване — я люблю сидеть на мягком.

Мережников согласно кивнул. В эту минуту и Балин с письмом, и продуваемый холодным ветром сквер перед торговым техникумом, и бабье царство с враждебными ему женщинами, и Часовников со своей моложавой женой отодвинулись куда-то.

Людмила Романовна приставила рядом журнальный столик, покрыла его вышитым льняным рушником, достала из буфета две фарфоровые расписные чашки на таких же красивых блюдцах, сахарницу, бутылку с коньяком и две хрустальные рюмочки — все это расставила и села рядом с ним, оживленная, улыбающаяся. Небрежным жестом, будто в рассеянности, она провела ладонями по халату, разгоняя складки, и теперь Владимир Андреевич боялся опустить глаза: в полах халата отчетливо вырисовывались ее полные ноги.

— Так о чем мы с вами столь прекрасно говорили на улице? — обратилась она к нему.

— О любви,— напомнил он, улыбаясь.— Вы рассказывали про хирурга, которого очень любили, а я спросил, почему же вы с ним не поженились.

— Ну, замуж выходить,— сказала она размышляюще.— Конечно, я могла бы выйти за него замуж — только зачем? Посудите сами: к чему это замужество? Лишние осложнения, и только. И мне, и ему. У нас и мысли такой не возникало. У него была жена и две девочки. Ради бога! Пусть он будет примерным семьянином. Разве это мешало нам?

Она засмеялась и торопливо добавила:

— Впрочем, это ведь было очень давно.

— Вы были с ним счастливы? — уточнил он.

— Да. И, надеюсь, он тоже. И также надеюсь, вы меня не ревнуете?

По лестнице кто-то протопал, и коротко брякнул над дверью звонок. Хозяйка досадливо нахмурилась, легко поднялась и прошла в прихожую. Дверь открылась, послышался бубнящий мужской голос:

— А я это... иду мимо и вспомнил. Вам не нужно кафельной плитки?

— Ах, дядя Вася! — отвечала Людмила Романовна с веселой досадой.— Вы что, забыли, что предлагали мне вашу плитку на той неделе?

— А я это иду мимо... Плитка-то дешевая. Да можно и задаром вовсе...

— Ай-яй-яй, дядь Вася. Пить надо меньше!

— Я могу... вы не верите?.. За просто так, от чистого сердца.

— Ничего не надо, идите с богом,— все более досадуя, сказала Людмила Романовна.— У меня гости сидят, а вы тут...

— Ну, я завтра зайду-ду-ду... бу-бу-бу...

Дверь хлопнула. И хмурящаяся и улыбающаяся Людмила Романовна вышла к Мережникову, разводя руками:

— Вот видите: поклонник... Зовут дядь Вася, скоро на пенсию пойдет, уж внуки небось, а туда же... Ведает всеми канализационными трубами в нашем квартале. Представляете? Большой начальник!

Она засмеялась, потом со словами: «Ой! Чайник-то кипит!» — поспешила на кухню.

Людмила Романовна принесла два чайника, большой и маленький, поставила большой на пол, на газеты, он еще пошумливал; а маленький, с алыми розочками на боках,— к чашкам.

— Ну вот,— сказала она и повела плечами — так

ей было хорошо.— Что же, я думаю, мы с вами по наперсточку одолеем сначала?

Она разлила коньяк, подняла свою рюмочку, оттопырила пухлый мизинец с красным ноготком.

— Ну, дорогой мой,— сказала задушевно,— на брудершафт.

Осторожно, боясь расплескать из рюмочек, они встали оба, зацепились руками, выпили, глядя при этом друг на друга.

— Мир, дружба,— сказала она.— Теперь мы на «ты».

Они сели рядом. Закусывали конфетами с лимоном и улыбались оба.

— А ведь у нас с вами, Владимир Андреевич... как бы это сказать... есть еще одна связующая нас нить.

Он посмотрел на нее вопросительно.

— У меня в Новгороде есть сестра, зовут ее Злата... Редкое имя, не правда ли?

— Злата Максимовна?! — не без удивления воскликнул Мережников.

— Вот именно. Сестра она мне двоюродная, но мы очень дружим. Однако она все скрытничала, а вот недавно открылась. И вы мне не сказали, что знакомы с нею!

— У нас телефонное знакомство.

— Ну, мы его превратим в личное и непосредственное. Ваш друг Виталий собирается приехать в Новгород. И очень скоро.

— Когда?

Людмила Романовна лукаво посмотрела на него:

— Ну, это зависит... от состояния печени мужа моей сестры. Когда он уедет в санаторий, тогда и следует ожидать Виталия.

Они засмеялись оба. Людмила Романовна доверительно положила свою теплую ладонь на его руку:

— Вот приедет ваш друг, и мы вчетвером соберемся здесь у меня... Договорились?

«А я же уеду в Тернополь!» — чуть не признался Владимир Андреевич, но сдержался. Не хотелось ему именно теперь заводить разговор о Наташе ли, о том ли, что с нею связано. Наташа явно не умещалась сейчас в его душе, отступила куда-то...

Людмила Романовна опять налила в рюмочки, и опять выпили — «За тех, кого нет здесь!»

— Ох, какая я пьяница! Голова кружится,— сказала

она и с нежной заботой заглянула ему в глаза.— Вам хорошо со мной?

Он не кривил душой:

— Да. Очень. Я как-то отогрелся! Распустился, совершенно. А то ведь прямо закоченел! И душой, и телом. А теперь оттаял.

— Ну вот, это главное. Чтоб вам было хорошо. Тогда и мне будет хорошо.

Она стала наливать чай. Носик чайника позванивал о край чашки.

— Видите? — сказала она и загнула широкий рукав, чтоб не мешал.— Рука уже дрожит, как у настоящего алкоголика. Допились мы с вами, нечего сказать!

Он взял ее за локоть обеими руками:

— Придержать надо.

Кожа ее была шелковиста, особенным женским теплом была наполнена эта рука.

Хозяйка поблагодарила его взглядом, а поставив чайник, погрозила пальцем и сказала, слегка покраснев:

— Владимир Андреевич!.. Что это у вас в глазах появилось? Ай-яй-яй!

Она сидела на диване, чуть откинувшись на спинку его: полы халата разошлись, но она то ли не замечала этого, то ли не хотела замечать. Оглядываясь на нее, Мережников видел бретельку лифа на голом плече, розовевшем в свободном распахе халата, видел и почти физически ощущал глубокую тень между большими холмами грудей, и ему становилось тесно дышать. Он спешил прихлебнуть чай, чтобы не пересыхало во рту.

Владимир Андреевич то и дело ловил улыбчивый взгляд хозяйки, который дразнил и ободрял. Она понимала что-то, чего не понимал он, и это его смущало.

66

«Ну что же,— подумал гость, отставляя пустую чашку.— Пора и честь знать».

Он вздохнул, представив, как выйдет сейчас на улицу... как придет домой...

— Вы еще не видели мою библиотеку! — живо сказала раскрасневшаяся Людмила Романовна.— Пойдемте, я вам покажу.

Он послушно встал вслед за нею, огляделся.

— Это не здесь, в соседней комнате. Идемте. Библиотека моя, правда, небольшая, но вполне достойна хорошего книжного шкафа. А шкафа нет, поэтому я книги держу в спальне... Ой, господи, как я опьянела! Вы не замечаете, что у меня заплетается язык?

— Нет. Но это оттого, что я тоже с головокружением,— сказал Владимир Андреевич, непонятно отчего все более и более волнуясь.

Что-то было в ее голосе такое, что передалось и ему.

— Здесь у меня не убрано,— проговорила она, когда они вошли в спальню,— так что вы не судите строго. Гостя не ждали.

Спальней была небольшая комнатка, широкая кровать занимала в ней добрую треть, и она действительно была не убрана, а вернее сказать, просто разобрана и еще не смята: подушки лежали аккуратно, край атласного одеяла отвернут, на козырьке — сложенное покрывало. Рядом с кроватью — старый диван с круглыми валиками-подлокотниками, столик со швейной машинкой и полки с книгами — вот, пожалуй, и все, что успел он заметить в спальне.

— Я ведь не собираю большую библиотеку,— говорила между тем Людмила Романовна, дыша при этом так, словно они не из комнаты в комнату перешли, а поднялись этажа на три выше.— Но здесь мои любимые авторы.

А он никак не мог заставить себя рассматривать книги, просто провел по ним пальцами, говоря:

— Да-да... А что это? Учебник по хирургии. Подарок?

Только сейчас, бросив случайный взгляд, он заметил на ногах у нее остроносые, расшитые шлепанцы, какие видел в сувенирном киоске.

— Какие у вас туфли! — сказал Владимир Андреевич непроизвольно.

— Вам нравятся?

— Да.

— А я? — спросила она негромко.

Разговор принял вдруг такое направление, что Мережников никак не мог справиться с сердцебиением.

Какое-то время, продолжительность которого трудно было осознать, они стояли друг перед другом молча.

Она подняла руки, положила ему на плечи — широкие рукава скользнули вниз, обнажая их до локтей.

— А я? — повторила она.

— Вы тоже,— произнес Мережников севшим голосом.

— Ты,— поправила она.— Ты.

— Да, ты.

— Вот так...

Он вышел на улицу. То ли снежинки, то ли звездочки инея, крутясь, медленно падали откуда-то, то ли с темного неба, то ли с деревьев.

«Мадам, уже падают листья...»

Он оглянулся на фасад дома, из которого вышел, и тотчас нашел ее окно. Как раз в эту минуту тень проплыла по шторе — видно было, как женщина там, в комнате, приостановилась, подняла руки к голове, потом медленно провела ими вдоль тела, должно быть, расправляя складки халата, и исчезла.

Мережников постоял, не двигаясь с места. У него был вид ошеломленного человека, который силится и не может понять, что же произошло... и как это могло произойти...

67

На липовой аллее, ведущей к железнодорожному вокзалу, стали попадаться прохожие, здесь было и посветлее, и повеселее, но, пройдя железнодорожные пути, Мережников опять попал в безлюдье и тишину. Только дощатые мосточки поскрипывали под ногами. Огни микрорайона светили впереди, и два-три из них были огнями его собственной квартиры, но они не манили Мережникова, не влекли.

Была в нем пустыня, большая, гулкая, холодная. Ничто в ней не произрастало, и не светили над нею ни солнце, ни луна, не мерцали звезды. Душно было, мертво, нехорошо.

— Владимир Андреевич!

Он обернулся, вздрогнув.

— А?

Перед ним стояла Фая, радостная, улыбающаяся.

— Вы так задумались...— она засмеялась.— Я уж третий раз вас окликаю, а вы не слышите.

— Да,— сказал он неопределенно.— Гуляю вот... Задумался.

— А я вас давно жду. Мама пришла, говорит: была у соседки, а хозяина еще дома нету,— оживленно говорила Фая.— Она у меня чудная такая, мама, то есть очень общительная. Познакомилась с вашей женой нынче утром возле мусорной машины, и Любовь Ивановна пригласила ее к себе посидеть. Мама вернулась, все рассказывала... А я вот узнала, что вас нет, и вышла, дежурю.

Он смотрел на ее раскрасневшееся, улыбающееся лицо и тоже невольно улыбнулся. Как она далека была от его треволнений! Как далека и потому легка ему. Мережников даже обрадовался Фае.

— Ты звонила мне,— вспомнил он.— Что-то надо было сказать?

— Ну вот я и хотела предупредить вас, что мама познакомилась с Любовью Ивановной.

— Ну, так хорошо! — сказал он почти весело.— Ради бога! Это их дело. При чем тут мы с тобой?

— Хорошо-то хорошо, только я боюсь... Любовь Ивановна такая хитрая!

— Хитрая? — переспросил Мережников.

— Да,— Фая, смутившись, засмеялась.— Она все время так ведет разговор...

Мережников и Фая брели уже по той улице, на которой был их дом. Владимир Андреевич остановился: пора бы и попрощаться с соседкой.

— Я уверена, она и маму расспрашивала, потихоньку, незаметно. А мама у меня такая простодушная, она все разболтает,— весело говорила та.

— Постой,— насторожился Мережников.— Разве ты своей матери что-то рассказала обо мне... и о нас с тобой?

— Да нет, господи! — опять смутилась Фая.— Конечно, нет. Я вас никогда... Но мама знает другое,— тут Фая замялась, потом осторожно, тихо выговорила: — Она знает, что я... беременна.

В наступившей за этой фразой паузе Мережникова будто ударило электрическим током.

— Ты беременна? — спросил он потрясенно.

— Да. Но вы не беспокойтесь, Владимир Андреевич! Я как раз и хотела вам сказать, чтоб вы не беспокоились.

— Погоди... Почему я должен беспокоиться? Разве...

Впервые за время разговора Фая встревожилась, видя потрясенное лицо Мережникова.

— Разве это... от меня?

— Да,— очень тихо сказала Фая.— От кого же еще! Но я никому... никому не скажу, чей это ребенок.

— Но, постой! — с жаром сказал он и — замолчал.

Оглянулся — они стояли на автобусной остановке.

— Присядем,— предложил он и сел на холодную, запорошенную снежком банкетку.

Фая тоже села. Мережников молчал, замер, словно перетерпливая сердечный приступ.

— Да что вы, Владимир Андреевич! — горячо заговорила она.— Вы не подумайте... Я очень счастлива, что у меня будет ребенок. Я его выращу, воспитаю, и никто никогда не узнает — вот клянусь вам! Отцом-матерью клянусь.

— А ты намерена родить? — быстро спросил он, подняв голову.

— Конечно.

— Но ведь это невозможно! — с тихим изумлением проговорил Мережников.

— Почему же...— Фая очень мило улыбнулась.— Я от нелюбимого Антошку рощу, а от вас-то... Поймите, я очень счастлива, Владимир Андреевич. Мне и мама говорит: не вздумай чего-нибудь — вырастим! Еще как вырастим, Владимир Андреевич! Поверьте, я действительно очень-очень рада...

Она продолжала говорить торопливо, то и дело повторяясь, и голос ее отдалялся от Мережникова, отдалялся... Он уже не слышал его.

«Эта женщина будет матерью моего ребенка,— думал он, глядя на нее. И снова повторил про себя:— Эта женщина будет матерью моего сына... или дочери... У нее будет ребенок от меня».

— Я хотела вас предупредить...— доносилось до него.— Если Любовь Ивановна что-нибудь подумает... я ей ни-ни, не признаюсь! Хоть режь меня. Я лучше на себя наговорю что-нибудь. Не тревожьтесь, Владимир Андреевич...

Этакая почти материнская заботливость к нему проснулась в Фае. Соседка его утешала: ты, мол, мальчик, нашалил, набедокурил, но не плачь, все образуется.

Он встал.

— Уже поздно, Фая. Спокойной ночи.

— Да, надо идти. Мама, наверно, дивится: куда это я на ночь глядя ушла. Утро вечера мудреней, Владимир Андреевич!

Она засмеялась.

«Эта женщина... И мой ребенок за стеной... Будет играть с жестяными игрушками...»

Он повернулся и пошел в противоположную от дома сторону.

— Куда же вы, Владимир Андреевич?! — донеслось до него.

Он обернулся. Махнул рукой:

— Прогуляюсь... Не беспокойся обо мне, Фая... Дальше я пойду один, добавил он сам себе.

68

У него словно бы выключилось сознание. Мережников перестал воспринимать внешний мир, углубившись в беспорядочное размышление. Опомнился уже далеко от дома, когда увидел перед собой въездную арку в кремль. Здесь он огляделся с недоумением: «А как же я здесь очутился? И зачем сюда пришел?»

И не мог вспомнить, где, в каком месте пересек железную дорогу, какой улицей шел, встречал ли кого на пути,— словно его перенесло по воздуху.

Он растерянно потрогал замок, которым была заперта металлическая решетка, перегородившая въездную арку — и тут не везет! Раньше он и не знал, что кремль запирается на ночь. Может быть, знал, но как-то это его не касалось. А именно сегодня ему необходимо было попасть в кремль: там тишина и безлюдье, можно без конца ходить по асфальтовой дорожке вдоль стены и думать, думать... Однако вот как попасть туда?

Мережников прислонился спиной к решетчатой дверце, не пустившей его в кремль.

Тихо и безжизненно было в ночном городе. Морозным ветерком сдувало иней с деревьев, и легкие, как пушинки, иголочки его взблескивали в свете ближнего фонаря. А у дальних — вокруг каждого радужная коронка ореолом стояла.

Все-таки до чего же тихо и безлюдно! Казалось, не было сейчас окрест ни единого человека — люди покинули город, оставив его, Мережникова, одного.

Острое до боли чувство одиночества, как чувство вселенского холода, заставило его вздрогнуть. Замаячившая вдалеке, возле Дома Советов, фигура одинокого прохожего, была отрадна ему.

Владимир Андреевич пошел прочь и бездумно свернул в парковую аллею возле рва. Хруст ледяных пузырей под ногами отдавался от молчаливой стены кремля. «Вместо живой лужи, в которой отражались и солнце, и небо, и люди, остается только мертвый слепой пузырь»,— подумал он, и эта мысль, всплывая среди других, показалась поразительной.

Он шел по той самой дорожке мимо Покровской, Спасской, Княжой башен, на которой столько раз встречал девушку с ясными синими глазами и длинной русой косой. Она подходила к нему, и свет ее глаз был завораживающе ласков, и голос ее звучал лишь для него. Она говорила: «Не прерывай меня, пока я не скажу всего...» И он не прерывал. Она говорила: «Вы самый необыкновенный человек на свете». И он с этим соглашался.

Вот здесь она подходила, именно здесь...

«Я вас люблю и хочу посвятить вам всю свою будущую жизнь».

Он нежно и благодарно целовал ее, и они вместе шли к Волхову.

Вот пляж, на котором она лежала под солнцем, и вставала, и шла к воде, чуть загребая горячий речной песок босыми ногами. Да, это была она. Он обещал ей, что наполнит ее жизнь высоким смыслом. Обещал, а ведь не имел ни права, ни оснований обещать что-либо, не имел... И не лета его, не Любовь Ивановна тому причиной — просто он оказался невысокого роста. *Маленький*.

«Прощай!..»

Мережников поежился, как от холода или болезненного озноба, и поднял воротник пальто. Стоять на месте он не мог из-за сугубой душевной сумятицы, да и морозец подгонял.

Возле ямы Троицкого раскопа он остановился и снова вспомнил тот жаркий июньский день... и девушку-археологиню, ходившую павой... и дочку свою Джулю, строптиво и обидчиво восставшую за честь и достоинство отца... и нарядный автобус с восклицающими возбужденно иностранцами.

Владимир Андреевич спустился вниз — вода, наполовину заполнившая раскоп, накрепко схвачена была ледком, а тот уже припорошен инеем. Здесь когда-то проходила Черницына улица. Потому Черницына, что неподалеку располагался девичий Варварин монастырь. Та Варвара строго и неукоснительно блюла добродетели черниц от покушений мирских людей. То были Антон-котельник, Гаврила-щитник, Яков Храбрый-гвоздочник, Семейка — Сысоев сын... Чуть чего — Варвара, в сознании Мережникова удивительно похожая на Веру Станиславовну, писала берестяную грамоту об аморальном поведении того или иного прихожанина посаднику, вроде Мирошки Нездинича или Юрия Онцифоровича, а то и попу, что кланялся Олисею Гречину об иконе деисусного чина — пусть поп наложит епитимью на провинившегося. Так ему и надо. Не блуди.

К Варваре уходили девицы, сбросив с пальца перстенек с заветным «Полюби мя», в горести и сокрушении сердца: и ты постыл и кольцо постыло!

«А Филатко обнищав сошел безвестно...»

И уж не было раскопа — Владимир Андреевич стоял на льду Волхова, разъявшего Новгород на две половины.

Вселенская ночь властвовала окрест. За рекой, мимо Ярославова Дворища, промчалась, посвечивая фарами, легковая автомашина — должно быть, «скорая помощь». Не одному ему плохо в эту ночь...

В задумчивости Мережников побрел от берега — под ногами легонько треснуло, хрустнуло, но твердь была надежна, он это чувствовал. Где-то впереди, на самой середине Волхова, в невидимой отсюда промоине легонько хлюпала вода о закрайку — мороз схватывал ее и никак не мог укротить. Но весь обширный залив Мячино и обширное прибрежье возле кремлевского пляжа были накрепко закованы льдом. Узкая полоса черной воды тянулась от бывшего некогда Великого моста к новому, бетонному.

«Тое же осени снесе вода и снег и лед в Волхов, и бысть велика вельми и вышибе пятинадесять городень Великаго мосту...» Вот так: вышибло эти самые городени, и рухнул мост... А кто виновен? Стихия? Нет — строитель! Надо было возводить мост, несокрушимый, вечный...»

Владимир Андреевич прошел уже половину расстояния до острова, и лед держал. Раза два гулко, словно гром по туче, пробежала трещина из-под ног и замерла вдали, возле Воскресенской слободки. Из-под ног выскочило что-то и заскользило по льду, удаляясь, и затихло

тоже далеко: должно быть, осколок льда, брошенный мальчишками днем.

Владимир Андреевич невольно прислушивался к этим звукам, досадливо хмурился. Этот внешний мир отвлекал его от размышлений. Он шагал и шагал; под ногами ровная гладь, не споткнешься, а боковым зрением ловил справа близкий край острова, что отделял Мячино от Волхова. Так и шел, одинокий темный человек в ночи.

Он не мог стоять или сидеть — это было бы ожидание чего-то. А ждать теперь было нечего, и Мережников шагал, почти не глядя, куда идет, и не сознавая, зачем идет именно в эту сторону. В эту ли, в другую ли — не все ли равно!

Никогда он не чувствовал в себе такой сильной тоски. Бывало, он грустил, а думал, что тоскует... К нему приходила печаль, а ему казалось, что это и есть тоска. Ему было горько, а он говорил себе: тоскливо! И вот теперь пришла настоящая тоска, и присутствие ее в нем было как боль страшной раны, от которой никуда не деться. Она вытеснила из него все; и о чем бы он сейчас ни думал, то казалось ему лишним, ненужным,— осталась одна только эта боль, словно тяжелый камень лежал в его груди и давил, давил...

Он очнулся, когда на него стала надвигаться громада бетонной опоры, возвышающаяся из воды. Лед здесь потрескивал сильней, пришлось податься ближе к берегу. Мережников сделал это чисто механически, не сознавая опасности.

Как миновал Юрьев монастырь, Владимир Андреевич опять-таки не заметил — снова перенесло его по воздуху в одно мгновение. Только что был у мостовых опор, а теперь оглянулся — монастырь непривычно громоздился в отдалении слева на берегу, а правее горели огни города, который казался отсюда маленьким и далеким, а сам он стоял на льду озера, зыбком, как волна.

«Странно,— подумал Мережников, дивясь новому ощущению.— Я никогда не был здесь... Никогда отсюда не видел города. Он как будто уже чужой...»

И поразился тому, как отодвинулась его прежняя жизнь со всем своим привычным укладом, со всеми заботами и печалями.

«А береста? — запоздало спохватился он, увлекаемый, плененный непривычным чувством.— Я же так и не прочел... Гусль богодвижимая...»

Ему подумалось, что то было послание ему оттуда, из вековой дали, где живет безымянный для него Олельков племянник, что увез Ириньицу за Галич, за горы; где пробирается Замятня, сын новгородского купца Некраса, к верховьям реки Вым; где перевозит странников и нищих через реку Великую юная псковитянка; где плывут на стругах купцы по Дону, плывут и поют... Оттуда, из вековой дали, некто, верно и преданно любящий его, прислал ему стеклянное колечко с заклинанием — вот оно, на пальце!

Тишина царила окрест — полная, всеобъемлющая тишина. Только неясный шум доносился непонятно откуда, то ли от мигающего электрическими огнями города, то ли от мерцающих звезд, то ли это озеро дышало...

Владимир Андреевич долго стоял так, глядя на город, на монастырь... «И постави церковь святаго Василиа на холме, идеже стоял Перун и прочии их демонстии кумиры»,— это здесь, вот оно, слева, Перуново мольбище.

А вправо плоско темнел берег. «Нередица где-то здесь»,— машинально подумал Мережников. Нередицы не было видно.

«Филатко обнищав сошел безвестно...»

Он повернулся спиной к городу: озерная даль безмолвствовала и дышала ему в лицо холодом. Слабый, почти незримый свет плеснулся в небе и потух. Мережников смотрел туда, где и в ясный день не видать противоположного берега. Темное лоно озера, закованного молодым льдом, смыкалось с небом, как будто прямо со льда начинались звезды, яркие и крупные в эту морозную ночь.

«Сими звездами несмыслеными звездословцы предвозвещают доброденьство и злоденьство, некими же и долготу жития поведают».

Словно подчиняясь некоему могучему велению, Владимир Андреевич пошел туда, в эту неверную темноту и даль. Непонятный восторг охватывал его душу, постепенно нарастая. Изредка оглядываясь назад, он видел, что город отодвигается стремительно, словно проваливаясь куда-то, и наоборот, звезды приближались, крупнели, раздвигались, давая ему пространство для полета.

Снова слабый свет плеснулся из края в край неба и потух. Колючим воздухом пахнуло в лицо, холодя щеки. Шум и шорох роящихся звезд стал слышнее, ближе, и кто-то легонько ударил по струнам...

1979

ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ ПОЛЯ

Повесть-исповедь

Я наивен. Это с рождения. Тут ничего не поделаешь. От наивности не вылечишься, как от глупости, и ее невозможно приобрести ни за какие деньги, если, конечно,— представим невероятное! — появится в ней нужда. Наивность подобна таланту: или она есть, или ее нет.

Согласитесь, однако, что не такой уж это большой недостаток — быть наивным, иначе, пожалуй, я в нем не сознался бы. Напротив, наивность в некоторой степени даже достоинство, поскольку она суть сестра и верная спутница веры, надежды и любви.

Утверждаю, что наивна любовь к женщине, равно как, скажем, и к своим детям или к своему делу, к вещам, например, к книгам; наивна надежда на то, что сбудутся твои мечты; наивна и вера, что завтра опять взойдет солнце, наступит новый день.

Говорю все это затем, чтобы можно было в дальнейшем загородиться доверчивым признанием в наивности, как щитом, потому что речь пойдет о самом сокровенном для меня, самом дорогом и задушевном, и тут я уязвим, с какой стороны ни глянь. Мне же совершенно необходимо высказаться, есть такая потребность, понимаете?

Речь пойдет о моей родной деревне, о моей родной стороне. Моя любовь к ней влечет за собой страдание, как всякая любовь, она же и волшебное врачующее средство, источник силы, мера таланта... она часть души моей, причем настолько существенная, что если исчезнет вдруг — умру и я.

Это так. Однако проку-то что от моего благородного чувства для той российской деревни, которую я называю своею? Немного проку. Живу я довольно далеко от нее, и желание послужить ей, сделать совершенно необходимое благо помогает моему Ремневу, как петушиное пенье рассвету. Увы, так, ни более и ни менее. Вот тут-то я и уязвим для упрека или насмешки.

Однако кто бы и что бы ни говорил, а одно полез-

ное дело я для своей деревни все-таки сделал, и сознание этого меня хоть и немного, а согревает: я поселил в Ремневе дружное трудолюбивое семейство... дачников. Пожалуй, их можно назвать дачниками, этих представителей семейного клана Дмитриевых-Рожковых-Власовых, хотя неплохо бы и подыскать другое слово.

«Подумаешь, важная услуга! — может сказать кто-нибудь.— Мало ли горожан нежится по деревням... да толку чуть!»

А это как посмотреть. Одно дело, когда в полузаброшенном деревенском доме поселится дачник тихий, который покрасит наличники, слегка подправит похилившееся крылечко, посадит в огороде цветы и вкушает прелести сельской жизни, собирая грибы да ягоды в окрестных лесах; и совсем иная картина, когда владельцем покинутого жилья — а сколько таких ныне по деревням! — становится истинный хозяин, охочий до работы, жадный до преобразований, полный азарта ко всяческого рода свершениям не только в своем собственном частном владении, но и вокруг.

Именно таких хозяев поселил я в Ремневе — словно камень-валун вворотил в фундамент пошатнувшегося строения под самый нужный угол, отчего все оно приободрилось, обрело устойчивость и крепость. Думаю, что именно так, и мне приятно так думать.

Впрочем, спешу оговориться: я не ожидал, что эти истинные горожане, столичные жители, не умевшие в поле отличить пшеницу от жита, а на огородной грядке укроп от морковки, так азартно возьмутся за огородничество и садоводство, станут разводить пчел, кур, кроликов и даже держать поросенка.

Они меня удивили. Тем больше мое удовлетворение! Хотя, признаюсь, оказанная мною помощь в покупке ими деревенского дома была невелика, а главное, бессознательна, являла собой обычную любезность, не более. А вот, поди ж ты, как обернулось! Именно потому, что «мои» дачники показали себя рачительными, трудолюбивыми хозяевами, и побуждает меня приписывать себе заслугу их поселения в Ремневе.

Нынешним летом, когда я в очередной раз побывал у них, ко мне подошла четырехлетняя Светочка Рожкова, самый младший представитель этого семейства, подошла, чтобы показать стеклянную банку, в которой на липовых листочках жила-поживала гусеница; и вот на глазах изумленной девчушки происходило чудо: прожорливая гусеница

превращалась в бабочку. У бабочки-бражника еще не отросли полностью крылья, и он не мог летать, но уже угадывалось, какое это будет сильное и красивое создание природы. Метаморфоза, происходившая день за днем на глазах у маленькой москвички, совершенно зачаровывала ее.

С тем же интересом и увлечением слежу я за метаморфозой, происходящей с этой семьей: десять лет ездили они на лоно природы туристами, а теперь вот превращаются из горожан в сельских жителей, ибо дом не пустует и летом, и зимой.

Деревня моя занимает ныне ту же площадь, что и лет сорок назад, когда было в ней вчетверо больше домов и впятеро-вшестеро больше народу, нежели сейчас. Помимо того, что возле каждого дома имелся огород, сенокосная полоса-усадьба за ним, палисадник перед фасадом, было еще в деревне десятка два сараев, риги, амбары, крытые тока, конюшня, коровник, свинарник, телятник, кузница, три колодца, объездная дорога-околица — единый хозяйственный организм, который ныне разрушен и обломки которого можно еще видеть. Теперь вся эта площадь земли являет собой картину полного запустения. Если раньше каждая усадьба, закоулок старательно выкашивались, то теперь это делать уже некому; жилая площадь деревни заросла и продолжает зарастать ивняком, тополиной молодью, вишенником да из года в год высокой будылястой растительностью, вроде лопухов, лебеды, иван-чая и прочего. Если раньше сосед хвастал перед соседом новой соломенной или драночной крышей, свежими колышками изгороди, покрашенными наличниками, просто подметенной к празднику лужайкой, то теперь сосед не видит соседа: между их владениями или дикие заросли, или широченные прогалы, так что и не докричишься. Вид у деревни такой — словно после великого разорительного нашествия вражеских полчищ.

Тут надо уточнить, что расположена родина моя не за дальними далями, не за дремучими лесными дебрями — затеряна она в середине России, под боком, можно сказать, у самой столицы; и в давнюю пору, и теперь ездят мои земляки в Москву за гостинцами и товарами хозяйственного назначения; случается, выходят замуж за москвичей и женятся на московских невестах. Итак, деревня совсем близко от Москвы и вместе с тем она именно затеряна.

И вот на этой наполовину одичавшей площади земли, именуемой еще Ремневом, в этой почти совсем обезлюдев-

шей деревне, в полуразвалившемся доме поселяются новые хозяева, хоть и не коренные сельские жители, хоть и горожане, однако же... Обкашивается вокруг дома трава запустения, выкорчевывается ненужное, сажается необходимое, сносится старое, ветхое и воздвигается новое... Как тут не порадоваться мне, помнящему Ремнево со множеством горестных проблем послевоенного лихолетья, но все-таки обихоженным, многолюдным, обжитым и конечно же бесконечно прекрасным.

То, что дорого, не может быть некрасивым.

И хорошо, думаю я ныне, что именно Москва в облике моих дачников явилась в Ремнево, а не какой-нибудь другой город. К Москве, как к солнцу, всегда тяготела моя деревня; столица светила каждой ремневской душе, и свет этот пробуждал встречное теплое чувство.

Не утерплю, вспомню хотя бы главную радость моего детства — московскую булку: раз в год мать съездит, бывало, в Москву, привезет батон, восхитительно белый и восхитительно пахнущий, хранит его в сундуке завернутым в чистый рушник; и вот за какие-то мои заслуги или просто из материнского милосердия достанет его оттуда, отрежет тонкий ломоток, посыплет сахарным песочком скупо-скупо, будто солью из солонки... Когда заслуг у меня долго не было, а соблазн становился непреодолим, я исхитрялся отпереть висячий замок сундука гвоздем, с замиранием сердца и душевным трепетом добывал початый батон. Помню скрип этой зачерствелой булки под ножом, остаток батона уже был покрыт белой паутинкой плесени. До сих пор мерещится мне и запах, и вкус этого зачерствелого московского гостинца.

Все дороги из Ремнева ведут в столицу: в одну сторону — Калязин, а за ним Москва; в другую — Загорск и опять Москва; в третью — Скнятин, Кимры и Москва, Москва. Вроде бы на бойком месте родина моя и ездят сюда ныне многие, но это не отражается благотворно на облике ее. Явятся, будто бабочки на цветок, вкусят нектар удовольствий и улетят, никто не приложит своего труда. Говорю не о мелочах — выкосить лужок или построить собачью будку, говорю о большом — о жилых домах, о дорогах, о городских удобствах, которые в иных местах составляют повседневность; говорю с наивной верой, что кто-то должен прийти и совершить чудо, она заслужила этого, моя родина. Она такая маленькая в моем огромном отечестве, неужели некому взять ее под крыло?

Я здесь частый гость и сыновний долг свой по отношению к ней стараюсь исполнять в меру сил. Вина моя в том лишь, что я, скажем, не строитель, и не пахарь, и не облеченный властью человек. Однако же спешу с оправданием: не всем же здесь пахать да строить терема, кто-то должен и торжественные гимны слагать в честь пахарей да строителей, преобразователей лика земли. А если гимны неуместны, то хоть бы просто заносить на бумагу деяния худые и добрые, вести что-то вроде летописи — потомкам для размышления и назидания. Значит, величина моего долга — в море способностей как летописца. Тем и утешаюсь.

А мое нынешнее главенствующее чувство — его не определишь одним словом — это и бессилие, и яростная надежда, и обида; а радость... радость бывает пока что лишь от малого: вот поселились в Ремневе молодые, деловитые дачники. Пусть не коренные сельские жители, но авось войдут в круг сельских забот, прикипят сердцем к этой земле и полюбят ее. Раз уж выдраны с корнем произраставшие здесь испокон веку крестьянские роды, то, может, посторонние люди пустят в нашу почву свои душевные корни и утвердятся.

Может, пустят, может, приживутся. Я заглядываю им в глаза, вслушиваюсь в их голоса, ловлю настроение, чтобы угадать судьбу моей деревни.

Чудес не бывает, наивно ждать их. А вдруг?

Лет пять или шесть назад было; приехал я на родину и, как обычно, поселился в палаточке на берегу Нерли. Родни у меня по окрестным деревням много, но никого не хочется обременять своей персоной, да и самого себя стеснять тоже не хочется: в палатке ты сам себе хозяин. Где ни сел, куда ни пошел, что ни сделал — все ладно. Здесь, в лесу под названием Божий Дом, сосны и ели подступают к Нерли, к самому береговому обрыву; на другой стороне реки тоже лес и кусты; место может показаться и диким, во всяком случае, сидя в своей городской квартире, как представишь лесную-то жизнь, то тебе, изнеженному всяческими городскими удобствами, станет даже и страшновато: в лесу разбойники, лешие, волки. Выбравшись из спасительной ячейки-квартиры, чувствуешь себя улиткой, покинувшей свою раковину: уязвим со всех сторон хотя бы силами природных стихий — и дождей, и ветров.

Но вот приедешь сюда, оглядишься — боже мой, как хорошо! — и смешны станут нелепые страхи. Лес — дом родной, и ты в нем вольный житель, полноправный хозяин наравне со зверьми и птицами. Чу́дное, прекрасное состояние души подогревается еще и сознанием того, что вокруг Божьего Дома в небольшом, правда, отдалении, в километре или двух-трех, деревни: за первым полем — Спасское, где я учился в начальной школе; за вторым — Хонино, оттуда родом моя мать; за третьим — мое родное Ремнево — оттуда мой отец и где волею судеб приложились мое детство, и отрочество, и юность.

И вот в очередной раз приехал я сюда, забрал в Спасском у знакомых с чердака свою палаточку и всю туристическую амуницию, оставленную там с прошлого года, приволок все это в Божий Дом и зажил — кум королю.

Травянистая лужайка в окружении высоченных елей и сосен — тут место моей палатке; рядом привольный речной плес и заводи с кувшинками; сухой смолистый дух из чащи или влажный прохладный с Нерли, смех зяблика и теньканье пеночки, плеск рыбы по утрам чуть ли не у изголовья...

Надо ли говорить, что прелести эти желанны не одному мне, и потому я тут недолго прожил в одиночестве. На другой же день почти рядом со мной, то есть на приличном расстоянии, однако же поблизости, остановились «Жигули», из них вышел мужчина лет сорока, за ним мальчик лет двенадцати. За полчаса, не более, они как-то очень неторопливо и сноровисто раскинули палатку, надули резиновую лодку, расставили по плесу рыболовную снасть — кружки́, к этому времени у них уже и чайник вскипел, сели они чай пить, поглядывая на кружки́ в бинокль. Все это делали привычно, умело, как боевое подразделение: заняло позицию, установило наблюдение, овладело обстановкой. К вечеру отец и сын выловили в Нерли здоровенную щуку, а наутро так же сноровисто собрали, сдули, сложили амуницию и отбыли, не оставив после себя решительно никаких следов: ни кострища, ни обрывков да осколков, ни рубленого или ломаного. Даже, можно сказать, траву не помяли — травка тут жесткая, живо выпрямилась.

«Это типичные представители изнеженного туризма,— решил я.— Цель их — отдохновение души, лелеяние тела и больше ничего».

Что ж, ладно хоть не напакостили. Обычно же бывало,

что я смиренно убирал за уехавшими банки-склянки и прочий мусор; все-таки Божий Дом — священное место.

Тем же утром в некотором отдалении от меня, только с другой стороны, поселились сразу два семейства: четверо взрослых и пятеро детишек возрастом не менее пяти и не более десяти лет. Они поставили три палатки бок о бок и принялись за благоустройство собственного быта, за дела более солидные и достойные, нежели ловля щук на кружки́: я услышал стук топора и звон пилы. Двое крепких мужчин — один постарше, покряжистее, другой помоложе, этак поспортивнее — работали умело, сноровисто. Они соорудили кухню из колышков и полиэтиленовой пленки, сколотили один большой обеденный стол, скамейки вокруг него. Чуть погодя, стук топоров послышался и от реки — приехавшие вбивали в речное дно сваи, сооружали мостки — это для купания, полосканья белья и мытья посуды. Их жены хлопотали в кухоньке тоже очень согласно и привычно. Ребятишки шныряли в кустах, ревизуя ягоды и грибы.

Вещей эта компания привезла много. Среди самого необходимого, помимо палаток, одежды, спальных мешков, было у них множество всякой посуды, несколько примусов, трехлитровые бидончики для молока, канистры с керосином, эмалированные ведра для солений. Как они все это довезли? Ну, мужики крепкие, плечистые и, судя по всему, привычные и к физической работе, и к таким вот путешествиям. Не интеллигентики вроде меня. Мы познакомились: тот, что помладше, со спортивной фигурой и с застенчивой, мягкой улыбкой — Леша; тот, что постарше, поплечистее, с голосом грозно-добродушным, с сократовской лысиной во всю голову — Юрий Михалыч.

На другой день к нам из Соломидина явилась компания мальчишек, и мы решили устроить футбольный матч «сборная города Москвы — сборная деревни Соломидино». Я, как местный патриот, защищал честь соломидинской команды.

О, это получилась славная игра! Приятно вспомнить. Леша был вратарем, а Михалыч центром нападения, я же и в воротах соломидинских стоял, и в поле бегал. Ну один гол москвичи зажулили, а то еще как посмотреть, чья команда сильнее. Надо учесть, что совокупный вес нашей сборной явно уступал ихней килограммов на сто, так что весовые категории разные, а это немаловажно не только в боксе, но и в футболе. Когда Юрий Ми-

халыч шел с мячом на мои ворота, легковесные защитники отскакивали от него, как волны от гранитного утеса. Мы проиграли, но два гола, точно помню, забил я. Без них моя жизнь, клянусь, была бы неполна, если учесть то великое торжество, которое я при этом испытал.

У моих новых знакомых царил быт коммунальной городской квартиры. Леша с Юрием Михалычем, как выяснилось, когда-то жили в доме барачного типа на окраине Москвы, а потом женились, разъехались, получили каждый по квартире. Прежнее житье свое они вспоминали теперь с нежностью и на полном серьезе утверждали, что проживание в тесноте и коммунальном неудобстве воспитывает в людях дружелюбие, добропорядочность, приветливость, отзывчивость и многие другие прекрасные качества, которые при раздельном проживании в удобствах постепенно утрачиваются.

— Представь себе, не знаем, как зовут соседей по лестничной площадке,— жаловались оба в один голос.— День рождения придет — в гости не зовем. Стыд и срам! Трешницу перед получкой неудобно у таких соседей занять — чего хорошего! Каждый заперся в своей квартире, как в платяном шкафу, и смотрит телевизор. До соседей никому нет дела. Хоть помри — никто не спохватится, не постучит в дверь.

Теперь на лоне природы они вкушали прелести коммунального житья, утоляя ностальгическое чувство. Две семьи совместно готовили еду, разом садились за стол, согласно мыли посуду, дружно шли купаться, взрослые и дети азартно играли во что-нибудь, а вечерами непременно усаживались все вокруг костра. Тут и я к ним присоединялся — погреться у этого семейного очага, послушать дельные речи, узнать что-нибудь новенькое. Разговор у нас шел неторопливый, в высшей степени дружелюбный. Вспоминали, в частности, прошлое лето, всяческие происшествия, вернее, свои злоключения, что выпали в разное время на нашу туристическую долю.

— Нанял я «москвичок»,— рассказывал Леша,— погрузили кое-как все, едва утолкались сами, едем. Едва миновали Загорск — дождь пошел, а потом и ливень. Ну, пока по асфальту катишь — ничего. А грейдер начался — он как намыленный. Раз забуксовали — вылезли, два забуксовали — слава богу, выбрались...

— Шофер наш запаниковал,— подхватывала Лешина жена Вера.— И вперед ехать страшно ему, и назад возв-

ращаться боится: не пришлось бы где-нибудь одному куковать.

— Наконец возле какой-то деревни черт понес нас в объезд. Да ведь там иначе и вовсе не проехать, на деревенской-то улице и трактора буксуют. В общем, сели мы намертво. А дождь хлещет! Молнии сверкают. Стоим посреди лужи, вода желтая, глинистая, она все прибывает, заливает нас снизу, ноги уже в воде. Как быть? Дело к ночи, ребятишки пищат... Пошел я под дождем в ближний дом, стучусь, а мне не открывают: боятся, вид мой не внушает им доверия. Пошел в другой, достучался, прошусь хоть обогреться — дети ж с нами все-таки! — пустили. Ночь просидели кое-как.

— А «Москвич»? — поинтересовался Юрий Михалыч.— Так в луже и стоял? Или унесло водой?

— Выволокли его трактором, и похромал он назад. Утром — что делать? Стал я ловить попутную, проклиная все на свете: возвращаться в Москву несолоно хлебавши не хочется. Поймал, доехали только до поселка Нерль. Потом опять ловил, чтоб дальше ехать, добрались до Поречья. Ну, а тут уж рядом. Выпросил тележку ручную, четырехколесную, сложили на нее свое барахло, впряглись, потащили. Опять дождь пошел. На нас люди из окошек смотрят, как на дураков последних.

Детишки Леши и Веры повизгивали от этих воспоминаний: почему-то довольны как раз тем, что попали тогда в такую передрягу.

— Явились сюда, в лес — мы одни, страшновато. Надо палатку ставить, а на мокрую-то землю каково! Костра опять же не разведешь... а дождик сыплет и сыплет.

— Ну, зато потом...— улыбалась Вера.— Такая погодка наступила! Грибы пошли... Тут и Михалыч приехал.

— А я в Гурзуфе отдыхал с Татьяной, дикарями. Детей оставили в Москве... Ну что? Утром встанем — на море. Лежишь. Перевернешься — опять лежишь. Рядом чужие тела, голые, как в бане. Даже противно. Нет, если б одни молоденькие девушки лежали, я ничего, не против, а то ведь черт знает что... И податься некуда. Дороговизна опять же... За койку платили по два с полтиной за ночь. На двоих — пятерка. Это только переночевать, а питаться как? Завтракать — очередь. Обедать — опять очередь, еще длинней... Пробовали всухомятку — тьфу! Неделю вытерпели и драпанули оттуда: ничего не надо — ни синего моря, ни южного солнца, ни этой са-

мой экзотики — хотим на Нерль. Детей сгребли — и сюда, к вам. А тут такая благодать!

— Ну, не всегда была благодать,— хмыкнула Таня.— А потом опять дожди задавили.

Дальше они, перебивая друг друга:

— А выбирались-то как! Жутко вспомнить.

— Уезжали — закаялись: чтоб еще раз сюда приехали? Да ни за что!

— А потом зима пришла, едим грибочки солененькие, чай с вареньицем черничным попиваем, всякие происшествия вспоминаем. Все плохое куда-то улетучилось из памяти, осталось одно хорошее. Весна пришла — только и разговору в семье: скоро ли на Нерль? Ребятишки ни о чем другом слышать не хотят.

Я смотрел на них растроганно: этим людям уже полюбилась моя родина — значит, они мне братья. Жаль только: уедут — и тоже никакого следа. Мосточки, ими сооруженные, снесет половодьем, столы и скамьи и вот эти сиденьица у костра рыбаки сожгут, и все, будто и не было здесь этих хороших людей. Что строили, что нет... А ведь мужики деловитые, мастеровитые, могли бы поставить что-нибудь капитальное для своего и общего блага.

Вера с Таней укладывали детей спать, а мы, трое мужчин, сидели еще некоторое время, обсуждая кое-какие насущные вопросы общественного устройства в нашей стране. Чаще всего явления так называемой социальной несправедливости.

— Почему это дети актеров да дипломатов становятся актерами или дипломатами? — возмущался смирный и застенчивый Леша.— А нашим туда не пробиться. Разве это правильно? Они что, графы? Князья? Ну почему так?

Вишь, старшему Лешиному сыну не более десяти лет от роду, но отец уже озабочен возможными препонами на его пути.

Юрий Михалыч удручен другим: постоянной нехваткой денег, из-за чего его семья вынуждена отказываться от вещей первой необходимости. Не то чтобы совсем он в бедности, нет, но все время чувствует, как ограничены его материальные возможности, и это обижает, унижает его.

— Я ж не лодырь! Не пью, не курю, работаю честно... Почему же не в состоянии купить, скажем, автомашину, хотя бы самую... или дачку величиной с собачью конуру? Почему?

Я утешал моих собеседников, говоря, что вот и мои дети в писатели да дипломаты не выходят, и автомашины у меня нет, и дачи тоже, и ковров с хрусталями я не завел.

— Что ж так? — веселея, спрашивали они.

— Да вот... как-то так живу, без роскошеств.

— Зажимают, что ли?

Как им объяснить? Долго объяснять.

— А мы-то думали: раз писатель — значит, миллионер. Говорят, что вот... поэт-песенник-то... у него на сберкнижке пять миллионов.

Я никакой информацией на этот счет не обладал и потому отвечал бодро:

— О том ли забота, мужики! Есть вещи подороже денег.

— А о чем? Какие?

— Вот написать бы такую книгу, чтоб, к примеру, вы оставили свою Москву и поселились здесь, на моей родине. Ведь вам нравится все это: и река, и леса, и поля да луга. Срубите себе по избе, разобьете огороды... Леша будет дояром, Юра — пастухом, а я пойду к вам в подручные. Ну, как вам мой план?

— Мы согласны, начальник! — отвечал Юрий Михалыч, подражая кому-то.— Обеспечь только фронт работ: стройматериалы, транспорт, малую механизацию. Татьяну назначим ответственной за ягоды и грибы, Веру — за соленья и варенья...

Так вот и отшучивались. А какие тут могут быть шутки, коли вон деревня-то моя умирает, и я стою у ее изголовья, считаю пульс, слушаю затихающее дыхание и ничем не могу помочь...

Прибыло еще одно туристическое подразделение: подъехала новенькая, сияющая автомашина марки «Жигули».

«Пчелки или бабочки?» — загадал я.

Из «Жигулей» вылез хмурый человек заспанного вида, за ним молодая женщина и красавица девочка лет семи или восьми. Они посовещались, оглядываясь кругом. Хмурый человек оживился, стал невероятно деятелен и неукротимо распорядителен.

Скоро неподалеку выросла палатка такая, каких я до сих пор не видывал — то был полотняный шатер явно импортного происхождения, с навесом, который образовывал подобие веранды. На солнечной луговине для просушки

и проветривания расстелили новые соседи спальные мешки и надувные матрацы столь ярких расцветок, словно это были полотна вызывающе-дерзких художников. Под навесом расставили складные стульчики и столик, на столике появился стеклянный кувшин с каким-то красивым напитком и стаканы — не простые граненые стаканы, а опять-таки художественно исполненные.

«Все ясно,— сказал я себе.— Эти птички перелетные, они гнезд не вьют».

И потерял к ним интерес.

А вечером к моим соседям в гости пришла из Соломидина учительница Мария Степановна. Проходя мимо, она поздоровалась со мной, и это, я заметил, удивило моего хмурого соседа. Он о чем-то спросил Марию Степановну и, заинтересованный, направился ко мне.

Застал он меня за приготовлением ухи из двух или трех плотвичек да подлещика, куда я «для навару» положил несколько сыроежек и ягодки с куста ирги. Должно быть, более из сострадания к моему животу, нежели из интереса к моей личности Виктор Васильевич пригласил меня на ужин.

Что ж, ужинать — не дрова пилить, отчего не пойти. Всякое общение с незнакомым человеком полезно для постижения жизни и просто развлечения ради. Впрочем, зачем ханжествовать, у желудка свои понятия о пользе ужинов.

Боже мой, сколько же мои новые соседи навезли всяческих яств! Кажется, они собирались пировать изо дня в день целый месяц. Тут были рыбные и мясные продукты в копченом, вяленом и соленом виде, баночки с крабами, сыры разных сортов и даже кетовая икра. Судя по всему, мой новый сосед и его жена принадлежали к тому слою населения (точнее, к очень тонкой прослойке), уровень потребления которого гораздо выше, чем у простых смертных. Я деликатненько поинтересовался их профессиями, оказалось, оба они медики: она — медсестра, он — врач-стоматолог.

Ну, я и раньше наслышан был, что стоматологи живут побогаче, нежели, скажем, мы, писатели; теперь же я имел полную возможность удостовериться в этом.

Мы с Виктором Васильевичем подружились, однако не за той вечерней трапезой, а позднее, за шахматной доской: оказалось, оба любим эту игру, не имея, как это часто водится, к ней никаких способностей. За шахматами

мы и беседовали о том о сем. Вернее, Виктор Васильевич рассуждал на разные темы вслух, а я его слушал.

— Бывают, знаете, такие профессии,— говорил он, — без которых не обойтись человеку. Польза от них очевидна, однако же... тому, кто занят этим полезным делом, как бы неловко за него. Вы согласны со мной?

Соглашаться мне было рано, я пожал неопределенно плечами: смотря что он имеет в виду конкретно.

— Кому-то достаточно сказать, что вот, мол, он артист или летчик, председатель райпотребсоюза или директор автомагазина — и уважение окружающих обеспечено. Ну, а если я в основном специализируюсь на пластмассовых зубах, то... что же тут плохого! Ведь я хороший специалист. Сам лечу зубы, сам делаю протезы, сам ставлю их. Где вы еще такого найдете? Много таких?

Ему явно хотелось похвалить себя за умение, и в то же время что-то его задевало, чего я не мог понять.

— Вообще-то я всем поперек, — говорил он с обидой. — Вот недавно проснулся ночью и стал думать... С господом богом я в каких отношениях? Ну, там есть он или нету — дело десятое. Вдруг есть! Так вот... Родится человек беззубым и умирает беззубым — значит, так богу угодно! А я ему вопперек: вставляю людям зубы. Теперь ОБХСС взять... Ну, тут и вовсе... Еще с богом можно поладить, а с этими как? И им я поперек. А что я плохого сделал? Кому мешаю? За что меня все ограничивают, притесняют?

Хоть и жаловался Виктор Васильевич, но вид имел довольный и все приставал ко мне с главным вопросом:

— Послушайте, а почему вы не купите автомобиль? Ведь это так здорово... «Жигули», например. Я вот только что сменил: старенький продал, а этот купил. Может, у вас денег нет? Хотите, я вам дам в долг пять тысяч? Под расписку, конечно. Мне это ничего не стоит — дать пять тысяч вам в долг. Вам никак нельзя без машины!

В общем, что говорить, он был доволен жизнью. Но когда жаловался на притеснения, я ему сочувствовал: в самом деле, разве он что-то предосудительное делает? Нет. Только хорошее: избавляет людей от лишних страданий, неудобств, в конечном итоге прибавляет, а не укорачивает жизненный срок. Что может быть благороднее! И это ли не свидетельство в его пользу! Так что баночную селедочку в горчичном соусе и икру он вполне заслужил.

Но и это все не мои, не мои, не мои проблемы!

А известно ли уважаемому стоматологу, что вон там, за тремя полями и двумя лесами, есть деревушка Ремнево, смертельно больная, в состоянии, близком к коматозному, и ей необходима срочная реанимация? Кто там-то будет вставлять выпавшие дома с красного да черного посада? Где тот врач-исцелитель?

Нет, не туристические хлопоты и заботы владели мною во все дни проживания на берегу Нерли. Вечером, ложась спать, я прикидывал так и этак, что же можно сделать для моей родины, чтоб не плошала так. И приходил к неизбежному выводу, к какому пришли два генерала у Салтыкова-Щедрина, угодившие на необитаемый остров: а нельзя ли как-нибудь поселить в Ремневе крепких, деловитых мужиков? Вот если бы поселить, с семьями, разумеется, то ведь совсем другое дело! Значит, так: рыболова, что щуку поймал на кружки́... он рыболов так себе, случайно, не фанатик, и видно, что распорядительный, дельный человек — вот его на командную должность. Лешу с Юрием Михалычем на основную производительную работу: в плотники, в дояры, в механизаторы — там нужны крепкие руки и плечи. Ну, а стоматолог пусть открывает в Ремневе клинику... Да если б только эти четыре семейства в мое Ремнево — ого! — они уже не дали бы зазябнуть деревеньке.

Мечты, мечты...

Наивные люди чаще прочих бывают счастливы: до того, как неизбежное разочарование постигает их, они успевают порадоваться несбыточному. Я тоже, случалось, бывал счастлив в своей палатке, вообразив картину полного благоденствия родной деревни.

Мечты мои переходили в сладкие сны: я видел, как Леша с Юрой строили новый дом, оба в рубахах распоясками и с топорами в руках, похаживали по новому срубу — бодрый стук раздавался в деревне. А рядом стояло уже готовое строение, вроде терема с расписными окошками; возле него на лавочке сидели в рядок беззубые ремневские, спасские, хонинские, соломидинские жители, а в окошке виден был Виктор Васильевич в белом халате да еще выглядывала зубастая усмешливая старушка, которую он только что осчастливил. На веранде же этого дома сидели и благодушно переговаривались со стоматологом работники ОБХСС, охраняя и поощряя его работу.

Радость моя не была, однако, всецелой — трезвая мысль теснила ее без всяких церемоний. Наступало утро, то самое, которое мудренее вечера.

Проснувшись поутру и послушав пеночку и зяблика да плеск окуньков, гоняющих мелочишку-плотву, я выбирался из палатки, делал разминку на росистом лугу, умывался с берега, брился, окуная намыленную кисточку прямо в реку. Потом разводил костер.

Палаточные жители тоже просыпались. Вон семилетняя красавица Дашенька пошла умываться; вон пятилетняя умница Наденька, дочь Юрия Михалыча, разговаривает с рыбками. А в «коммунальной кухне» уже шумит примус, в палатке стоматолога включили магнитофон (японский!), полилась утренняя бодрая музыка; у того берега что-то тяжко бултыхает... нет, не рыба, то рыбак забрасывает подкормку для лещей.

Напившись чаю, я отправлялся в очередной дальний поход, каковые совершал каждый день: за три поля и два леса. Сначала Божьим Домом — сухие веточки всхрустывали под ногами, шум ветра неясными волнами прокатывался по вершинам сосен и елей, дятел стучал, комарики попискивали; потом перебирался через низину, где дождевыми потоками проточило несколько ручеин, и шагал опушкой; тут сквозь траву проглядывали маслята — они подождут моего возвращения, на обратном пути я их соберу. И вот выходил на проселок, разъезженный и шинами, и гусеницами тракторов, прямо передо мной за полем — Спасское, столица колхоза и сельсовета; тут магазин, который питает меня; тут школа, в которой учился не только я, но и мои родители, и деды с бабками; и церковь, в которой они крестились, венчались, исповедались в грехах.

Прохожу Спасское насквозь, отмечая глазами: ишь, новый дом строят, отделение почты открылось... Есть, есть некоторое обновление, но, боже мой, как медленно оно происходит!

Десять лет назад я написал повесть «Слово о моей Нерли», поставил себе задачей сделать как бы фотографию текущего дня моей родной стороны, чтоб сравнить ее с прошлым, отдаленным лет на двадцать — тридцать: вот так было, и так стало. Признаюсь, я стремился к тому, чтоб сравнение вышло в пользу дня нынешнего, и в определен-

ной степени преуспел. У меня имелись к тому основания: ведь уровень бедности, до которого опустились многие и многие здешние семьи в послевоенные годы, был уровнем нищеты. А к середине-то семидесятых, что ж, по крайней мере люди сыты, обуты-одеты, работать стало легче, можно и еще кое-что отметить в этом плане.

Но вот прошло десятилетие — десятилетие! — к середине восьмидесятых годов что изменилось в Спасском? Во всей моей родной стороне?

А немногое.

В Ремневе и Хонине и вовсе ничего. Разве что разорение этих деревень продолжалось естественным путем: умирали люди, ветшали строения.

В Спасском пободрее: вот появилось несколько производственных построек, асфальт довели наконец от шоссе Калязин — Нерль до этого села и даже на километр дальше, до Плуткова; стал, смотрите-ка, ходить рейсовый автобус, правда, не по строгому расписанию, а если только ему вздумается; несколько домов-коттеджей выстроились в короткую улицу, но улица эта так гола, так неустроенна...

И все.

Если дело и дальше пойдет такими темпами, мне до конца моей жизни не увидеть родную сторону в благополучии. Даже в относительном. Ну построят еще два-три скотных двора; ну заменят старый дом новым, трактор устаревшей марки — на более усовершенствованный... И это все?

Я шел, качая головой: за десять лет три километра асфальта! За следующее десятилетие опять столько? А нет дорог — нет многого, что и перечислять долго, без чего жить невесело. Соображаю: наверно, потому нет дорог на моей родине, что вбухали денежки в ту магистраль, что от Байкала до Амура. Она должна была начать работать несколько лет назад, но, уже построенная, ржавеет теперь, поскольку никак не найдут ей полезного применения. Только что построенная, она уже нуждается в капитальном ремонте, поскольку каждая вещь любит, чтоб ею пользовались, а без того она быстро приходит в негодность.

Неведомо, когда понадобится эта славная магистраль. На те б деньги в Центральной России понастроить дорог — капитал уже оправдал бы себя и вернулся в государственный кошелек как раз за то время, пока он

вморожен в вечную мерзлоту от Байкала до Амура.

Но вот, пожалуй, одно несомненное благо нынешнего лета — перестали водкой торговать в сельском магазине. В прежние годы зайдешь, бывало, в магазин, и пока тебе вешают кило сахарного песку да кило пряников, за это же время успевают продать несколько бутылок водки: дело скорое — ни вешать, ни в бумагу завертывать. Порядок был такой: за хлебом пришел — становись в очередь, за водкой — бери без очереди. Пьяный валяется — ему почет и уважение: вишь, какой баловник! А на трезвенника смотрели подозрительно: ненормальный какой-то.

Так было. Теперь иначе в том смысле, что водки в магазине нет. Лучше стало? Да, разумеется, лучше! Но не совсем.

Вот на моих глазах два блага — рейсовый автобус и запрет на спиртное — соединившись, отражают некую несуразную реальность. На автобусной остановке среди ожидающих стоит женщина гораздо пожилая, если не сказать старая, стоит и ругательски ругается, не ленивый автобус бранит, а кого-то:

— Как же! Пришли вдвоем, просили-умоляли: мы тебе завтра же привезем, вон Колька в Калязин едет с утра. Пронюхали, паразиты, что у меня бутылка красного. Я им не давала, да ведь привязались! Ну и поверила: думаю, все равно же завтра привезут. А они ни завтра, ни послезавтра. Теперь глядят бесстыжими глазами и знай твердят: отдадим, отдадим. А мне ж картошку сажать надо. Кто мне без бутылки огород вспашет? А ведь картошка-то не ждет.

Вот в чем дело: механизаторы ныне за вспашку огорода берут не деньгами, а только вином. А где его взять? Вот разве что в Калязин ехать... по асфальтовой дороге на рейсовом автобусе.

— В Калязине-то всего один магазин винный, там очередь выстраивается с двенадцати часов, а то и раньше, ждут до двух... когда магазин откроется. По четыре часа стоят! Как я на больных-то ногах? Тьфу ты!..

Тут мимо трактор колесный ехал — женщина остановила его, и в распахнутую дверку:

— Бесстыжи твои глаза! Ты мне что, старухе, обещал-то? Что же ты, паразитская твоя морда, а?

У парня, верно, глаза бесстыжи: ухмылялся, дудел что-то нечленораздельное, кажется: «Отдадим, отдадим...»

— Иди теперь, паши мой огород! Что же я, заступом буду копать в мои-то годы?!

Но трактор уехал, и старая женщина осталась ждать автобуса.

— Так мне и надо, дуре! Зачем поверила?! Будьте вы прокляты, пьяницы, алкаши несчастные!

Она выражалась и покрепче, и мне понятно ее негодование. Вот разговоришься с любым из механизаторов, человек как человек, покажется и разумным, и совестливым, и сам же пьянство осудит, а оплату своего внеурочного труда натурой, то есть водкой (сколько огородов, столько бутылок водки), все-таки берет, подобно тому, как в древности князь брал урочную дань со своих подданных. Ведь «подданные» означает находящиеся «под данью». Для князей-механизаторов в основном это старушки, вроде той, что стояла на автобусной остановке, чтоб уехать в Калязин за бутылкой, которая лично ей совсем ни к чему.

Вот вечная тема для невеселого размышления: как уживается в человеке разум и безумие, бесстыдство и благородство...

Если забраться на колокольню Спасской церкви... Впрочем, кто же позволит? Церковь-то действующая, а священника или сторожиху поди-ка уговори. Но если все-таки взобраться да посмотреть в сторону Калязина, увидишь прежде всего, конечно, само Спасское, оно будет внизу; справа за полями и Божьим Домом — деревня Соломидино и в отдалении — шоссе Калязин — Нерль — Загорск; слева — речка Ира, заросшая кустами по всему течению, а за Ирой и опять-таки за полем будет деревня Плутково; там, где русло Иры поворачивает направо к истоку ее, будет деревня Хонино, а почти у самого истока — Ремнево, оно прямо передо мной. До моей деревни от Спасского всегда считалось два с половиной километра — надеюсь, и теперь не стало больше? — полем, потом опушкой леса Малое Родионово и опять полем, и уж дальше — вот она, деревенька моя, в купах ветел и тополей.

Я достаточно ясно изобразил? Значит, попробуем представить еще раз: Нерль у меня, стоящего на Спасской колокольне, за спиной; она и впадающая в нее Ира — две водные артерии — вместе с шоссе образуют неровный

треугольник, по периметру которого расположились деревни Спасское, Поречье, Соломидино, Берегово, Хонино... и мое Ремнево. Вот вся эта треугольная площадь с прилегающими землями и есть то, что я зову «моя родная сторона». На ней три довольно больших лесных массива и перелески помельче, проселки и асфальтовая дорога, холмы и пруды, косогоры и низины, камни-валуны в человеческий рост...

Иногда представляю себе, как птицы по весне возвращаются сюда, пролетая тысячи и тысячи километров; летят день, летят неделю, две... и вот наконец завидят впереди довольно широкую извилистую ленту воды — Нерль. За нею, на берегу, колокольня Спасской церкви, а вокруг крыши домов, за селом поле, леса Малое и Большое Родионово, опять поле и за ним деревни — все такое знакомое!

А вот уже не увидишь ни с колокольни, ни с птичьего полета того заболоченного озерца, из которого Ира брала свое начало — роскошного болотца-озерца, заросшего тростником, укрывавшим цапель и уток с их выводками, кстати, в этот водоем заходила рыба с Нерли нереститься... Да что там болото, о нем ли главная печаль! Не увидишь ни с колокольни, ни с птичьего полета и деревень Овсяниково, Селятино, Пряжино, Задорожье. Их нет. Они теперь только в памяти тех, кто знал их и ныне жив. Мы умрем, и деревни исчезнут насовсем, без следа.

Четыре деревни растаяли, как льдины, выброшенные весенним половодьем на берег, — вода ушла, и солнце безжалостно растопило их. Точно так же истаивают ныне Хонино и Ремнево — это то, что постоянно ранит меня и с чем мне никогда не примириться. Это то, отчего горечь в моем радостном восприятии родины. Четыре деревни истаивают в нашей памяти — точно так же исчезнет потом и Ремнево в случае его безвременной кончины. Я не могу, не могу оставаться безучастным!

О каждой полосе распаханной здесь земли, о каждой лужайке, поляне, опушке я могу рассказывать, что на ней было не только со мною. Тут объяснение моей привязанности к родине: это часть меня самого, отними ее, что останется? Потому и сказано было мною вначале: если исчезнет — умру и я. Не ради красивой фразы сказано, нет.

Моя жизнь отпечаталась здесь, как фигура распятого

на плащанице; события ее спроецированы на каждый пригорок, на каждую тропку, на луг, на пруд... стоит только проявить, как на фотопластинке, и она проступит отчетливо, будто в яви. А если жизнь каждого из живших воскресить подобным образом? Это возможно, очень возможно, надо только потрудиться. Ради этого стоит потрудиться! И тогда каждая пядь земли здешней будет одушевлена, одухотворена; следовательно, нога впервые вступающего на нее непременно, даже если это праздный турист, станет ногой созидателя, а не разорителя... Я верю в это. Мы должны знать свои корни и корни своего рода, своей нации, только тогда возможна осознанная и безусловная любовь к родине.

Один цветок дает представление о луге, один колосок — о поле, один человек — о всем народе. Разве не так? Значит, не следует пренебрегать ничем ради торжества человеческой памяти.

Итак, я хочу, чтоб не истаяло мое Ремнево, и то, каким оно было давно, и то, каким бытует ныне. Пока же я мечтаю о сущей малости: чтоб в нынешней деревне, уже сегодня, сейчас, расчистились луговинки от крапивы да лопухов, чтоб выстлалась дорога посреди улицы, чтоб колодцы зажелтели новыми срубами, палисадники — новыми оградками, чтоб рядом с нынешними старенькими домами вставали новые...

Иду в Ремнево... нет, сначала в Хонино, так мне сподручнее.

Через Спасское, мимо погоста, потом через то место, которое испокон веку зовется Садом, к впадающей в Нерль речке по имени Ира. Иногда эту речку считают ручьем — и тогда называют: Ир. «Я пошел на Ир... Мост через Ир».

Ир подперт водой Нерли, а сама Нерль полноводна благодаря Угличскому водохранилищу на Волге, так что в устье своем представляет собой глубокий и обширный залив, зато далее русло прихотливо вьется по низине. Тут можно, между прочим, угадать остатки старой плотины, бывшие карьеры: некогда работал кирпичный заводик, сооруженный затем лишь, чтоб делать кирпич для строившейся Спасской церкви. Это было лет двести назад, не ранее. Глину, песок копали здесь, дрова для обжигальных печей, надо полагать, возили из Родионова или Божьего Дома. Так что церковь выросла подобно дереву, берущему для собственного строительства, для стремления ввысь,

материал из родной земли. Мраморов да гранитов у нас нет, но и из обыкновенной глины и песка можно сооружать строения, которые простоят века, как церковь Спасская.

Идешь по дороге травянистой, не накатанной вдоль Ира — он шумит внизу, спрятанный разросшимися кустами. Слева за ручьем — поле, подымающееся к Плуткову; справа остаются перелесочки, вид которых почему-то очень радует меня. Какое разнотравье, какие ароматы!.. И непременный плач куликов...

Вот тут, пожалуй, остановлюсь, чтоб не пускаться в многословье — переживания мои самого прекрасного свойства, но это мое, и, полагаю, оно неразделимо.

Итак, еще один поворот Ира, и передо мной Хонино.

Дети мои иногда просят бабушку:

— Расскажи, как ты в деревне жила, когда маленькой была.

Она им:

— Да что там... Вот, бывало, соберемся да и побежим к речке...

Дальше рассказ не идет: ведь за этим «И побежим к речке!» столько всего! А как растолковать городским внукам? Правнукам же, которые, надо полагать, скоро появятся, тем более не объяснишь: горожане будут потомственные, без корешков в почве, как грибы на асфальте.

Хонино всегда трогает меня своей старческой беспомощностью. Домишки пожилые все, а то и дряхлые вовсе, сараи да дворы порушенные. Деревня доживает, дышит на ладан... И такая тишина тут, такая тишина! Как на кладбище.

Прохожу деревней — ни души. У крайнего к Ремневу дома останавливаюсь и сажусь на лавочке напротив окон. Хозяйка выходит, дальняя моя родственница, Августа Ивановна. Я ее по старой памяти зову «тетя Гутя».

— Да чего уж,— говорит она, отвечая на мои вопросы,— зимой-то остается нас в деревне девять человек, худых и добрых. Да ведь только счет, что девять! Кабы здоровые, а то двое увечных, один совсем старенький — Алексей Иваныч Горохов, сосед мой; он уж с постели не встает — ему небось девяносто. Остальные вроде меня, а мне-то уж восьмой десяток, я с четырнадцатого году. Туточка соседка приходит: Гутюшка, помоги, говорит, отца

поднять. Повела его, вишь, на улицу, пусть, мол, свежим воздухом подышит, на солнышке погреется, а он с крыльца ступил да и повалился, никак не встанет. Одной-то не поднять, Лексей Иваныч грузный. Пошла просить по деревне: придите, бабоньки, на помощь. А мы говорим: ну, как сами-то повалимся, нас-то кто поднимать будет?

Она смеется, и я смеюсь, а, собственно, что ж тут смешного? Жалость одна.

Корова у Августы Ивановны до сих пор на дворе, хотя лето давно наступило: в Хонине всего и коров-то две или три, пастуха к такому стаду не наймешь.

— Пасли бы как-нибудь сами, да боимся: выпустишь их со двора, а потом как во двор загнать? И не сумеем.

— Тогда, может быть, выводить на лужок да и на привязи держать? — советую я.

— Юра, милый, как я ее на веревке-то выведу? Где ж мне, старухе, удержать корову? Ить она разве станет одна ходить? Ей к товаркам захочется, она ить к быку... Вот и держу во дворе, сеном кормлю.

— Зачем же сеном? — опять удивился я, наивный человек.— Вон же травы сколько!

— Ну да! Нынче ей травы дашь, она завтра и сено есть не станет и вон со двора запросится.

Пригорюнилась Августа Ивановна, сидит, смотрит грустно.

Вот такие проблемы.

— Живу одна в доме-то. Другие все по парочке: там мать с дочерью, тут дочь с отцом, а я одна... Моя Валентина наведается из Калязина в выходные дни или Юрка приедет из Василева, да разве зимой-то наездишься! Дороги нету...

Валентина и Юрка — ее дети. У дочери уж свои внуки есть, у сына семья, следовательно, и свои заботы. Так что Августа Ивановна одна, как ни кинь.

— Зимой-то соберемся, бывало, посидеть у Раи Гороховой... вот что напротив меня жила... а теперь нету Раи.

— Уехала?

— Умерла. Да какая смерть-то ей легкая выпала! Вечером сидели у нее, разговаривали. Она, правду сказать, в последние дни прибаливала: давление, вишь. А тут говорит: что-то мне, бабы, нынче хорошо, полегче стало, голова не болит. Я, пожалуй, посижу завтра дома, никуда не пойду.

Ну, разошлись мы, она за нами дверь заперла. Я взялась управляться по хозяйству, корову подоила, попоила, а сама все посматриваю в окно: что-то у Раи во всех окнах свет горит? Уж не гости ли приехали? Да нет, откуда гостям быть, я б услышала. Горит и горит свет. Спать я ложилась уж поздно, опять посмотрела: горит! Во всех окнах. И так что-то мне беспокойно, так не по себе. Не станет Рая попусту электричество жечь. С постели встану, посмотрю — нет, не гаснет. Не спится мне, и все тут. Промаялась допоздна, а идти-то к ней боюсь. Уж в три часа ночи опять посмотрела — да что смотреть-то, умерла Рая. Оделась я, пошла к соседям, стучусь: Рая-то умерла. А они мне: что ты выдумываешь-то? Вечером сидела, разговаривала. Мало ли что разговаривала!.. Ну, собрались все вместе, заглянули в окна-те: сидит Рая на диване, голова вот так опущена... умерла. Дверь-ту взломали, вошли... Она нас, видать, проводила да принесла охапку дров — дрова возле печки лежат. Бросила охапку, да тут, знать, с ней плохо сделалось. Отошла, села вот так на диван, да и жива не была. Вот кака смерть-та легкая. Така-та смерть, как награда...

Слушаю, и у меня перед глазами: возле Спасского в Саду старые березы стоят, высоченные, раскидистые, с кряжистыми стволами; несколько лет назад таких берез можно было насчитать с десяток, теперь осталось только пять. Одна из этих старых берез упала совсем недавно, лежала теперь на луговине с обломанными, иссохшими сучьями. Оглянулся на ее товарок: долго ли простоят? Вот так же, одна за другой, упадут и они. Почему-то очень хочется, чтоб продержались подольше, хоть и с ними красота невелика — стоят, наполовину высохшие, уродливые от старости. Но без них совсем пусто и голо будет в Саду, без них просто не будет Сада.

И Хонино — тот же Сад...

В ту пору, когда каждая из окрестных деревень была отдельным колхозом,— это, значит, в тридцатые да сороковые годы — Хонино и Ремнево составляли в паре один колхоз: имени Первого Мая. Они почему-то всегда были этак вместе, охотно роднились семьями, охотно гостились, ходили на гулянья. Две эти деревни — как две сестры.

Конечно, лучшая пора на моей родной стороне — это когда жили люди единоличными хозяйствами.

— При единоличном-то хозяйстве мы маленько забогатели,— вспоминает мать моя, и лицо у нее при этом непременно разглаживается, светлеет.— После революции-то землички прибавилось, при нэпе в городе можно стало кой-чего купить... Да, забогатели маленько.

На эту пору пришлось ее девичество, она сумела наработать хорошее приданое: постель, одежу-обужу на все времена года, кое-что из хозяйственного скарба. Тут бы и идти в гору крестьянству, так нет, наступила пора коллективизации, и все пошло с горы. Крепких хозяев раскулачили, а от их разорения подразорились и те, что жили беднее: маломощные хоть коллективно, хоть единолично — все равно маломощные. Однако тридцатые годы — этот период колхозной жизни отмечен в Хонине и Ремневе относительным достатком — худо-бедно, а на хлеб хватало, по миру не ходили. И даже в военное лихолетье как-то сводили концы с концами. Но потом наступил год пятидесятый, колхоз слили с другими, и от этого слияния колхозное разоренье сильно усугубилось...

Ну ладно, речь сейчас не о том. Да и ничего нового я не скажу, все уже сказано: как везде, так и у нас. Наша беда — общая, наше лихолетье — общее для всех. Хотя оно постоянно в моей памяти, куда б я ни шел здесь.

Итак, иду в Ремнево.

В детстве моем и гора эта — небольшое возвышение, через которую перехлестнула дорога, была выше, и низина под горою кишела волками и кикиморами, а расстояние между Хонином и Ремневом было больше. Вот, бывало, гощу я, семилетний парнишка, у бабушки в Хонине, и наступает день, когда пора возвращаться домой. С замиранием сердца выхожу в путь, будто в путешествие за три моря. В горку эту поднимаюсь — для собственного успокоения все оглядываюсь, все оглядываюсь на Хонино, где бабушкин дом и где сама она стоит у колодца, смотрит мне вслед. Потом как припущу с горы да через эту страшную низину, где пруд Бурачок, невероятно глубокий (в нем-то и водилась всякая нечисть, вроде водяных, болотных чертей и прочего), мимо кустов, за которыми подстерегают одиноких путников волки, бегу изо всех сил, так что дух захватывает, и с каждой минутой бега все уверенней, все радостней становлюсь: Ремнево-то вот оно, все ближе и ближе. И вот уже я замедляю бег, с торжеством оглядываюсь на кусты в низине, на Бурачок: накося, выкуси.

Что, думали на труса нарвались? Не боюсь я вас нисколько.

Между Хонином и Ремневом — не более километра. В низинке под горой когда-то, говорят, лесок стоял — так себе лесишко, одно название, и в нем, моя мать вспоминает, из года в год родилось рыжиков видимо-невидимо.

— В Белоусово-то, бывало, пойдем, а там рыжики, да все стаями, стаями.

Каждая частица окрестной земли носит свое имя. Вот та низинка с рыжиками — это Белоусово. А другая низинка, что идет к самому Ремневу и подступает к его околице,— Забаня. Должно быть, раньше была и баня, но на моей памяти в наших деревнях бань не было, мылись в обыкновенных русских печах. И я тоже этак мылся лет до восемнадцати, пока не уехал в город.

Но я отвлекся. Речь идет о том, что деревни эти стоят почти рядом. Вечерами или утрами у нас, в Ремневе, были ясно различимы голоса громко разговаривающих хонинских жителей и все их хлопоты: вот черпают воду из колодца, вот загоняют во двор овец, а вот кто-то с гармонью вышел на улицу... Витька, что ли, Воронин? И точно так же, можно не сомневаться, происходившее у нас, в Ремневе, слышно было хонинским.

Мы с тобой, подружка Нюшка,
Принапудрились мукой,—

запевали в Ремневе.

А что за леший за такой,
Да нас не любит никакой! —

подхватывали в Хонине.

Тут мои родовые корни. Более глубокие уходят в Панютино, Дуброво, Микулкино, Лучкино. На переплетении родственных корешков, пронизавших мою землю, я и возник, как гриб на грибнице; на них опираясь, и смотрю на мир.

И еще надо отметить: по этой дороге через Забаню да Белоусово ходит к своей хонинской ухажерке ремневский парень — они-то двое и решили мою судьбу, быть мне на свете или не быть. Если состоится их свадьба, то мне быть. А если не сложится у них, если заспорят да поссорятся, то витать мне некоей эфирной частицей где-то в небытии, надеясь неведомо на что. Но сваты прошли по этой дороге, потом в свой черед провезли при-

даное, потом отправились жених с невестой к венцу в Спасскую церковь, и в итоге всего этого бегал мальчик по этой дороге, замирая от страха, а теперь шагаю я. Вот что значит для меня дорога между Хонином и Ремневом...

Но это так, кстати, не очень существенно.

Входя в Ремнево, замедляю шаг.

Вот тут, с краю, на красном посаде стоял невидненький домик, жил в нем дядя Симеон с сыновьями и дочерьми. Домик под соломенной крышей, вместо палисадника кусты крыжовника.

Далее через большой прогал — наш дом, довольно высокий, бравый, с березами в палисаднике. В Троицын день я обязательно наряжал его; утыкивал зелеными веточками и наличники, и крыльцо — такой был обычай.

Вот удивительно: лет тридцать прошло, как сгорел этот дом (не у нас, у других хозяев, которым мать продала его), а у меня в памяти каждое окошко, каждая половица.

Дальше дом Шуры, весь какой-то голый и обшарпанный.

Потом опять наш дом, вернее халупка — окошки так низко, что подоконники не выше колена, а до застрехи легко достанешь рукой. Мы жили в нем довольно долго, пока не купили тот, что пободрее да побравее, который потом сгорел.

А напротив, на черном посаде, стояли некогда дома Филипповой Мани, Кустовых...

Где они ныне все, дома эти? Будто вихрем сорвало и унесло. И на их местах теперь только крапива да лопухи...

Вот так и иду по деревне, как по царству теней.

Возвращаюсь из Ремнева, у палаток на берегу бодрые голоса: Юрий Михалыч мастерил детям катамаран с парусом, Леша ему помогал. Их жены утром набрали возле лесного болотца по ведру грибов-солюшек, каждый с двухкопеечную монету, и теперь перебирали их, отваривали, солили. Сосед-стоматолог обрадованно приветствовал меня, и мы тотчас сели сыграть партию в шахматы, поскольку ему не терпелось.

Берег был занят делами обычными, когда в нашу мирную жизнь вторглась целая автоколонна: впереди «Запорожец», за ним грузовик, а следом — «Москвич».

Из «Москвича» выскочил и помчался к реке мальчик лет десяти, помчался стремительно, словно его вдруг подхватило порывом ветра, и с разбегу ласточкой нырнул в воду.

Следом за мальчиком из машины выпрыгнула большая овчарка; она кинулась к нам с рычанием, не предвещавшим ничего хорошего, и мы с Виктором Васильевичем почтительно встали. Тотчас молодая женщина из приехавших побежала нам на выручку, окликая собаку по имени.

— Вы не бойтесь,— сказала она, схватив овчарку за ошейник,— она не кусается. Только не ударьте ее.

Какое там ударить! Я стоял как вкопанный.

Женщина была светловолоса, с румянцем смущения и возбуждения на лице, с приятным голосом.

— Вы не возражаете, если мы поставим палатки рядом с вашими?

— Пожалуйста, пожалуйста,— сказали мы вперебой.

Прибывшие машины стали разворачиваться между стволами сосен и елей поблизости от нас. Стоматолог, как истинный автолюбитель, следил за их маневрами, а я, воспользовавшись этим, аккуратно забрал у своего противника самую бойкую пешечку. Он ужасно расстроился, и мы продолжали играть, оглядываясь на приехавших. И чем далее, тем более они нас удивляли.

Во-первых, из «Запорожца» вылез грузный инвалид, с мужественным лицом, широкоплечий, с развитыми сильными руками; скрипя протезами обеих ног, этот «турист» с трудом отмерил несколько шагов и уселся на стульчике.

Во-вторых, водитель грузовика и водитель «Москвича» стали сбрасывать из кузова на землю доски, рейки, листы фанеры, тюки, ящики, коробки, баки... Зачем это им?

— Дачу хотят строить? — задумчиво предположил Виктор Васильевич.

Я мог только плечами пожать в ответ.

Грузовик вскоре развернулся и уехал, а оставшиеся стали деятельно налаживать свое хозяйство. Слышен был стук топора, треск отдираемой щепы, звон пилы, деловые голоса. Работой были заняты все, включая мальчика и инвалида.

Мы с Виктором Васильевичем увлеклись своей партией и как-то не сразу заметили, что у новых наших соседей откуда-то взялся младенец; молодая женщина села в тени раскидистой ели кормить его грудью. Мы не то что-

бы удивились, а озадачились: грудной ребенок на нашем туристическом берегу? Это как понимать?

Накормив, мать оставила младенца голеньким на расстеленном одеяльце, а сама опять принялась за хлопоты.

— Конечно, туристы бывают разные,— изрек Виктор Васильевич и, спасаясь от моей грозной атаки, объявил мне шах.

— По ночам будем иметь удовольствие слушать, как он плачет? — спросил я, загораживая своего короля от дерзкого нападения.

— И не боятся, что простудится и заболеет? — спросил в свою очередь врач-стоматолог.— Подхватит воспаление легких или что похуже.

Не только мать, но и бабушка не обращали на ребенка никакого внимания. Подбежал было к нему мальчик, пощекотал братца (или сестренку?), но на него тотчас прикрикнули:

— Андрей, отойди от него! А то избалуем... Пусть привыкает к самостоятельности.

Ага, значит, братец. И пока не пищит. Ладно, посмотрим, что будет дальше.

Самый маленький турист только изредка трудолюбиво покряхтывал, ловя голыми ручками свои голые ножки. Не плакал, никого к себе не требовал. Это нас успокаивало. Иногда к младенчику подходила овчарка, обнюхивала и, тоже успокоенная, ложилась неподалеку.

Новые соседи обозначили свои владения веревкой, привязывая ее к стволам деревьев, а это указывало на то, что они знакомы с местными обстоятельствами, знают, что утром и вечером по берегу прогоняют соломидинское стадо. А стадо представляло серьезную опасность всякому туристическому хозяйству: не далее как вчера вечером у Виктора Васильевича овцы опрокинули столик (беда была бы невелика, но на столике стояла початая бутылка «Посольской» водки), а корова подцепила на рога вывешанное сушиться роскошное полотенце.

Основной рабочей силой у наших новых соседей был, конечно, Володя, отец младенца, белоголовый, как его жена (должно быть, они выбрали друг друга по цвету волос), подвижный, проворный. Он действовал стремительно и, я бы сказал, всегда очень жизнерадостно. Видно было, что работа доставляет ему большое удовольствие. Вот, недолго думая, он вколотил в землю высокие стойки, накинул с боков и сверху прозрачную полиэтиленовую плен-

ку — получилась кухня такая же, как у «коммунальных» жителей, только вдвое просторней. Вот застучал топором, и, некоторое время спустя, появились в «кухне» полки, столик...

Работая, он весело переговаривался то с седой женщиной, которая ему явно приходилась тещей, а не матерью, поскольку он называл ее Марией Афанасьевной, то с женой Валей, то с мальчиком Андрюшей.

Это была дружная семья: никто никого не подгонял, не понукал, каждый исполнял свое дело, и даже повеления у них отдавались в этаком благожелательном тоне, ни у кого в голосе ни разу не прозвучало и ноты раздражения или неудовольствия.

— Володя, ну-ка, помоги.

Володя, бросив свое дело, тотчас шел на помощь. Он распаковывал тюки, ставил палатки, надувал резиновые матрацы, тесал и пилил доски, стругал их рубанком и опять брался за топор или пилу.

— Валь, где у нас стамеска?

— Сейчас! — отзывалась жена и приносила мужу нужный инструмент.

Между тем Андрюша, деятельно пыхтя, свалил сухое дерево, обрубил сучья, распилил ствол, перетаскал к палаткам — это, надо полагать, запас дров. Паренек был вездесущ и невероятно исполнителен. Только и слышалось: Андрей, сделай то, принеси это, не забудь о том и о сем; и он делал и приносил без промедления, не забывая ни о чем.

Мне все более и более нравились новые соседи, нравилось наблюдать за ними. Вообще я считаю, самое прекрасное зрелище — это увлеченно, азартно работающие люди. Ни в танце, ни в спортивной игре, ни в какой иной ситуации человек не проявляется так, как во вдохновенном труде. Тут реализуются его лучшие качества.

Мария Афанасьевна с Валей уже хозяйничали в новой кухне: расставляли многочисленные кульки и пакеты, тарелки и кастрюли, всю прочую кухонную утварь — шумовку, поварешку, дуршлаг, решето — разместили, вероятно, в том же порядке, как в городской кухне; звякали ножами, вилками, ложками. У них уже что-то варилось, распространяя вкусный запах. Вот они и за стол уселись — не за праздный стол, а за трапезу, как хорошо поработавшие люди.

Мы тоже покинули шахматную доску и занялись ку-

хонными делами: я стал жарить над костром в сковородке маслят, а стоматолог вскрыл еще одну банку с икрой, демагогически приговаривая:

— Надоело! Вчера икра, сегодня икра...

После обеда Володя, не теряя времени, взялся копать позади палаток заступом, а мы искупались, поговорили на животрепещущие темы государственного и внутрисемейного устройства. За это время Володя выкопал яму такой глубины, что из нее видна была лишь его светловолосая голова.

— Ватерклозет сочиняет,— глубокомысленно и еще более глубокоиронично определил Виктор Васильевич.

Но Володя принялся делать накат из мелких бревешек, а Андрей таскал от обрыва квадратики дерна: значит, намеревались они сверху заложить яму дерном.

— Погреб у них будет, вот что! — сообразили мы.— Ну-у, это не по-туристски.

Мария Афанасьевна с Валей уже носили в это подземелье трехлитровые банки то ли с солеными огурцами, то ли с маринованной капустой, потом спустили с помощью Володи мешок картошки, сотни полторы яиц в магазинной таре...

Эти туристы собирались прожить здесь никак не менее месяца, что свидетельствовало о том, что народ они опытный и грядущие испытания непогодой их не пугают.

Солнце уже скатывалось за лес, когда деятельный Володя сбежал наконец к воде, решив, что пора и искупаться. Во все время, пока он плавал, Валя стояла на берегу с полотенцем и ждала.

Картина эта настолько тронула нас с Виктором Васильевичем, что он даже высказал своей жене поучение:

— Вот какой должна быть верная супруга, идеальная, так сказать. Соображаешь? Если муж рыбак — она должна сидеть рядом и смотреть на поплавок. Ушел в море — должна стоять на берегу и смотреть из-под руки. Если он купается — смиренно ждать с полотенцем в руках.

На что жена ему резонно отвечала, что не всякий муж достоин такой чести.

Тут соседи удивили нас еще раз. Мария Афанасьевна, как оказалось, нагрела к этому времени ведро воды. В большой и довольно грубо сколоченный продолговатый ящик опустили широкий лист полиэтиленовой пленки таким образом, чтоб облегал дно и стенки — в эту самодельную ванну налили речной воды, разбавили ее горя-

чей до нужной температуры, опуская термометр, а для верности Валя пробовала воду локтем.

— Идите смотреть, как мы будем купать Сережу! — благожелательно позвала она нас.

Удивительная женщина, она не сомневалась в том, что это интересно всем — как будет купаться ее сын.

Собрались соседи-туристы со всего берега. Дело в том, что Сережу, которому от роду было не более трех месяцев, не просто купали, Сережа нырял и плавал. Мать, взяв сына под животик и придерживая за ножки, толкала его под воду, отец ловил с другой стороны ванны, поворачивал и отправлял тем же подводным путем назад. Младенчик нырял с распахнутыми широко глазами, всем видом своим выражая удивление и восторг, но отнюдь не протест.

— Что вы делаете! — сказали Вера с Таней и жена стоматолога тоже.— Он у вас захлебнется! Да и простудится, вечер-то сырой.

Родители только улыбались в ответ.

— Сережа у нас курс закаливания прошел,— живо объясняла Валя, и они с мужем продолжали процедуру подводного плавания сына.

Погода, правда, стояла дивная: с утра до вечера сияло солнце, вода в реке была теплой, по ночам можно было спать совершенно раскутавшись, без всякого риска, что озябнешь или что тебя укусит хоть один залетный пискунишко.

Время от времени то тут, то там на нашем берегу поселялись в этот год и еще рыбаки-туристы — они остались в моей памяти безымянными, поскольку к окружающей природе не проявляли любопытства, к нам интереса. Тотчас по приезде они спешили забросить снасть — в основном донные удочки — а забросив, сидели терпеливо, отрешенно, с горячечным блеском в глазах. Разговаривать они могли только о рыбе, о крючках, о наживках и прочем — ничто другое их не интересовало. Посидит, глядишь, сутки-двое да и снимется рыбачок, пересядет на другое место или вовсе уедет.

Примеряя их к своей деревне, я приходил к выводу, что нет, совсем они для нее не годятся: испорченные люди! Их не на что употребить, не к чему приспособить, кроме как к ужению рыбы. Это не муравьи, что каждую соломинку волокут в свой город-дом, и не пчелы, что трудолюбиво несут каждая свой взяток в общие соты. Это — стрекозы, что парят над осокой неведомо зачем;

бабочки, что порхают туда и сюда неведомо с какой целью. Нет, они не годились для моей деревни.

Впрочем, один из них мне все же нравился: он поселился с женой на другом берегу, как раз напротив нас, они и в прошлом году там жили. Он сварщик одного из московских автопредприятий, зовут Виктором Андреичем; жена — Тамара, а вот где работает, не знаю, по призванию же своему это просто очень хозяйственная женщина, хранительница и устроительница дома. Он мужчина рослый, мускулистый, немногословный; она толстуха, проста и благожелательна нравом, каждый день предлагала что-нибудь или мне, или моим соседям: «У нас щука поймалась, а есть не хотим. А вы не желаете?..»

На том берегу они у себя тоже понастроили удобств: и стол, и навес над ним, и лесенку с берегового обрыва к воде, и мосточки-причал. К ним наезжали из Москвы сыновья, невестка с ребенком, зять с приятелем, знакомые сыновей; Тамара с утра до вечера варила, жарила, пекла, чтоб накормить всех. За стол у нее всякий раз садилось едоков до восьми, и все с молодым аппетитом.

Жителей того берега нещадно поедали комары, по причине того, что рядом у них низина. Но они имели и неоспоримое преимущество по сравнению с нами: там не гоняли стадо. Для нас же оно было настоящим бедствием.

Приближение стада мы слышали издали: пастух кричал неладом, матюгался и хлопал кнутом. Выражался он в основном круто и столь громко, что эхо заполошно металось по лесу. Потом жующее и пыхтящее стадо вываливало на наш берег, а за ним выезжал верхом на лошади сам пастух. Лошадка под ним была смирная и обладала истинно ангельским терпением; пастуху желалось лихо гарцевать перед нами, он подбоченивался и принимал молодецкие позы, при этом то понукал ее скакать вперед, то резко останавливал и круто заворачивал туда и сюда без всякой надобности, и хлестал, хлестал коротким кнутом, матюгаясь без всякого смысла, просто так... Это был коренастый человек лет тридцати, с грубым, обветренным лицом и трубным голосом. В любую погоду он был до пояса обнажен и гордился тем, что его «шкура» выносит все: холод, ветер, укусы слепней и царапины сучьев, пока он продирается лесом.

— Здорово! — громогласно говорил «лихой кавалерист» кому-нибудь из туристов, независимо от того, знаком с ним или не знаком. Это означало, что он выясняет, нет ли

у кого спиртного. Если почует, что у кого-то есть запасец, будет вымогать, притесняя стадом, пока не нальют стаканчик. Если спиртного нет — нет и его благоволения: потопчут коровы все вокруг палаток и напакостят. Он и сам один своим видом вызывал желание откупиться от него. Вот гаркнул свое «Здорово!», и эхо так же грубо откликнулось ему из леса — слушать это вдвойне оскорбительно.

Туристы заговаривали с ним поласковей хотя бы затем еще, чтоб перестал он наконец мучить свою конягу. Пастух в ответ на просьбы слезал с лошади, усаживался возле чьей-нибудь палатки и рассказывал всяческие страсти: например, о том, что в прошлом году или позапрошлом соломидинский бык загнал туриста на дерево, а машину его перевернул вверх колесами. Сосед мой, слушая, забавлялся: дело в том, что история эта уже запечатлена в литературе, а именно в моей повести, которую Виктор Васильевич успел прочитать между шахматными сражениями. Пастух же никаких книг, естественно, не читал, рассказывал так, словно это новость из первых рук.

Что касается моей повести, о которой я сейчас упомянул, то, будучи читателем простодушным и непосредственным (а это клад для писателя-беллетриста), стоматолог читал ее, равно как и другие, восхищаясь отнюдь не художественными достоинствами (если, конечно, таковые имеются), а как раз тем, что сидит он на берегу той самой Нерли, о которой речь в книге, которую он держит в руках, а упоминаемые в «Слове о моей Нерли» деревни — тоже перед его глазами. Прочитав о каком-нибудь событии, вроде происшествия с быком, можно услышать о нем где-нибудь и в деревне уже в живом рассказе; а встретив в книге кого-нибудь из жителей, к примеру, тетю Шуру, живущую в крайнем доме деревни Соломидино, можно потом пойти с бидончиком к ней за молоком и там поговорить не только с нею, но и, скажем, с трактористом Лешей Пикулиным, о котором написана повесть «Река забвения»...

Иллюзия того, что все, некогда происходившее и ныне происходящее, уже занесено или заносится летописцем на бумагу, что сам летописец тут же, в палатке на берегу, очень забавляла Виктора Васильевича, хитроумного стоматолога и простодушного читателя.

К лошади пастуха устремлялись ребятишки — забирались по очереди в седло. Красавица Дашенька тоже уселась, отец тотчас японским фотоаппаратом сделал сни-

мок дочери-наездницы и, раздобрясь, налил пастуху стакан «посольской».

— На, на, пей,— приговаривал он то ли насмешливо, то ли презрительно и, когда стакан опустел, налил снова.— Хорошему человеку и дерьма не жалко! Дашка, а ну, принеси дяде закусить. Колбасы давай ему, он колбасу любит. На, на, пей...

После второго стакана пастух клятвенно заверил стоматолога, что впредь стадо и близко не подойдет к его палатке, а сердитого быка он и вовсе за версту не подпустит. После третьего хотел обнять, но стоматолог развернул его, дал дружеского пинка под зад.

— Иди-иди... и больше не приходи. Вот так.

Пастух стал садиться на лошадь, а ему хотелось сделать это лихо. «Тпру!» — говорил он угрожающе, хотя она стояла как вкопанная. Наконец тяжело вспрыгнул животом ей на спину и тотчас свалился вниз головой с другой стороны. Ребятишки хохотали, взрослые усмехались. Пастух поднялся, опять грозно выговорил: «Тпру!» — снова прыгнул и опять перевалился, как куль с зерном, тяжело брякнулся на землю.

— Шею свихнешь,— сказал стоматолог, подходя, и помог ему взобраться.

Утвердившись в седле, пастух выговорил хрипло пару матюгов — это, наверно, для лучшей усидчивости, хлопнул кнутом и погнал стадо прочь. Мы видели, как неподалеку он свалился с лошади снова и на этот раз остался неподвижен. Лошадь смирно отошла пощипать травы, пока хозяин проспится; надо полагать, она привыкла к этому и молила бога об одном лишь, чтоб такое случалось почаще.

Несмотря на наказ не приходить более, пастух появился перед палаткой стоматолога и на другой день поутру, теперь уже с целью опохмелиться.

— Понимаешь, выходит вон там фрайер из палатки,— слышно, рассказывал он,— и с колом на коров. Я ему: ты что, гад! Тут второй вылез, оба мужики здоровые, меня не боятся. Даже и замахнулся один. Тогда я из левого кармана и из правого достаю по ножу: а ну, говорю, подходи... кто у вас тут самый здоровый?.. Сразу испугались... ха-ха...

Рассказывая про столь прискорбный свой подвиг, он гордился собой и чувствовал себя героем. На мой взгляд, такому «герою» нужно бояться прежде всего самого себя, а

иначе недолго до беды. Я сказал ему это, но он не понял и вместо ответа бессмысленно выматерился. И совершенно напрасно он не внял моему предостережению, ибо год или два спустя очередной его подвиг обошелся ему то ли в шесть, то ли в восемь лет тюрьмы.

Откуда взялся этот пастух в Соломидине? Он родом явно не из той деревни, явно пришлый. И как хорошо, что такой человек не появится в Ремневе в пастухах — там стада нет.

Что бы я ни делал: разводил ли костер, играл ли в шахматы, сидел ли у костра за беседой — перед моими глазами было мое печальное Ремнево, заброшенное Хонино...

Я знаю, ныне существование всей планеты непрочно перед лицом атомной ли, экологической ли, иной ли какой катастрофы, потому и упомянул вначале, что наивно верить, будто завтра наступит новый день и взойдет солнце. Я знаю также, по русским землям не то что деревни умирают, а есть целые районы, которые обезлюдели или близки к этому. Можно ли быть к тому равнодушным! Но все-таки больнее всего мне запустение моей родины.

Души умерших предков, что упокоились на Спасском погосте, обитают ныне в воздушном пространстве над этой землей, они сочувствуют, соболезнуют всем здесь живущим; они, должно быть, смущают и меня, повергая в печаль и грусть.

Лежу в палатке, слушаю, как шуршит где-то рядом ежик, как хукает неясыть, смотрю в темноту, не спится. Поток мыслей почти привычен.

Была первая мировая — повыдергала мужиков из окрестных деревень, словно деревья вихрем, или повыбила, как поле градом: на какой колосок упадет градина, того и сломает, тому и смерть. А ветры социальных перемен подули с новой силой: гражданская война, ликвидация кулачества, коллективизация... Волны социальных потрясений накатывали одна за другой — дивно, что еще стоим, что еще есть чему порадоваться.

— Вот братчик-то вернулся из Тамбовской, где он в людях работал,— слышу голос матери своей,— тут как раз заварушка началась: раскулачивание да колхозы. Наша-то семья была не из богатых, но из зажиточных: две коровы держали, да овец, да лошадь. Дедушко Илья помогал в

хозяйстве — он нам родственником как-то доводился, а своего-то ничего не имел. Иной раз и работника со стороны нанимали. Боялись: ну как в кулаки зачислят! А только нас домик не подкачал: если б не был таким плохоньким...

Сейчас от того «домика» остались только нижние венцы. Иду мимо, останавливаюсь возле клетушки этой и всякий раз удивляюсь: как в ней помещалась семья из... скольких человек? Дед Иван Клементьич с женой и дочерью да еще жена его брата, моя бабушка Прасковья Ивановна, с тремя детьми. Итого семеро. Потом Иван Клементьич дочь выдал замуж и сам с женой уехал в Курск, в избе должно бы стать попросторнее, но — старший из детей Прасковьи Ивановны привел жену, дети пошли один за другим, трое. В доме стало уже восемь человек да еще какой-то дедушко Илья, да еще «работника нанимали», который тут же жил. Итого десятеро. А жилой площади в избе — никак не больше пятнадцати метров. Правда, жилая площадь как бы увеличивалась за счет лавок, полатей, голбца, но надо иметь в виду, что по весне в избе поселяли новорожденного теленка или двух, объягнившуюся овцу с ягнятами, а то и замерзающих куриц.

Но именно эта теснота и спасла от раскулачивания: плохонький домишко «не подкачал». Так что никогда не знаешь, где найдешь и где потеряешь.

— Ивана Семеныча Горохова раскулачили потому, что он только-только выстроился. У него было две коровы, как и у нас, а семья большая да работящая: сам с женой, да сын Федюха, да дочки — Нюшка умерла от черной оспы, Танюшка, потом Рая да Надешка. А Нюшка-то померла, у нас тогда черная оспа ходила и многие болели — Николая Шальнова изрябило, Шурку Кириллову тоже. А только что раскулачивать взялись — это похуже оспы вышло. Кулакам до этого большие налоги давали, их еще не угнали, а дома ихние уж занимали. Еще сват-то Михайло Шальнов сзади, в своем же доме живет, а мы в передней, у нас ликбез. В ликбезе занимался с нами Иван Павлыч Крючков, из Спасского ходил. А забирали кулаков втихомолку. Братчик тогда был кем-то в сельсовете, к нему уполномоченный приезжал. Фамилия вроде Бякин, в кожаной тужурке такой. Гороховых забрали ночью и привели к нам; мы спали. Братчик привел их: Ивана Семеныча и Федюху — погреться. Потом и свата Михайла привели. А было холодно на улице-то. Федюха встал к

печи, его трясет... Увезли их к утру, а сваха Оксинья Яфимовна да жена Горохова Ивана поехали следом, в Троицу-Нерль, узнать, как и что. А без них как раз явились выгонять семьи кулацкие. Танюшка Горохова, помню, плачет, сестре своей причитает: «Что же нам делать, Рая, нас же выгоняют!» Все ихнее добро пошло незнамо кому. Носили второпях к дальним родственникам, в дровяные поленницы, в хворост совали. А кто потом оттуда забрал — неведомо. Ну, увезли семьи кулацкие: и баб, и детишек, куда-то далеко угнали, в пески. У свахи Оксиньи девчоночка в дороге-то померла, года четыре ей было, что ли. Через несколько лет некоторые вернулись: сперва приехала Таня, потом ее мать Марья с Раей — они поселились где-то за Лучкином. А Гороховы отец с сыном не вернулись, так в песках и пропали... В Спасском раскулачили Борисовых, в Плуткове лавочника Говяткина. Ну, этих ладно, эти богатеи. А Шальнова-то Михайлу за что? Ить самый работящий мужик был. И вся ихняя семья работящая. Мы, бывало, гуляли когда в девках, вечером-то пойдем на беседу, а Танюшка все сидит, ей все некогда: то шерсть теребит, то еще что. А в Ремневе Васютку Лексева за что? За то, что у него дом под железной крышей. Такой был бойкой удалец... Ничего у него не было, никакого богатства, только этот дом, а его сам же и построил, своими руками. Федора Козлякова в Ремневе раскулачили, справный мужик был — у него один сын, Иван, да еще сестры. Он их рядил да замуж выдавал, каждую с хорошим приданым. Ивану-то Козлякову, кулацкому-то сыну, потом на фронте руку оторвало, он после войны выучился, инженером стал, на «Волге» ездил. Толковый человек при любой власти хорошо живет, а лентяй при любой власти лентяй. Ну, раскулачили, а зимой-то колхозы стали организовывать. В хонинский колхоз взошло восемь домов, и мы, Воронины, тоже вступили. Середняки вступили, а бедняки не хотят. Они уж опосля. На нас смеялись, дразнили: колхозники, мол... Мы да Лексей Иваныч Горохов, он из Красной Армии пришел, да Никифоровы ребята — Петруха и старшие его братья — вот это колхоз наш первый. Наверно, председателем выбрали сначала Ваську Оленина, что-то я плохо помню, вроде его. А Васька этот дурачок дурачком. Он бедняк был, ни кола ни двора — потому его в председатели. А потому и бедняк, что дурачок. А вот поди ж ты!.. На гулянье соберемся, мама, бывало, наказывает: «А вы, девки, почетьте Ваську-то

Оленина, почетьте». Боялись все страсть как. А чего его почетить: заплошистый, говорил невнятно. В войну в подполе отсиживался, чтоб на фронт не послали. Ох, вспоминать неохота!.. Потом выбрали в председатели Петруху Никифорова — это уж как мне замуж выходить, в ту пору. Он все сватал меня, Петруха-то, да я не пошла. Помню, к венцу надо ехать — он лошади не дает, осерчал. Пришлось посылать в Ремнево, к твоему отцу, да уж деверь Михаил приехал за мной...

Не все мать, разумеется, помнит, а что и помнит, как ей рассказать? Событий много, связная цепь их распадается на отдельные звенья, одно теснит другое, никак не нарисуешь целостной картины. Вот и стою я, как кулик на кочке, — под ногами у меня только зыбкая твердь чужих воспоминаний.

После великого разорения первой мировой да гражданской — голодуха. После ликвидации кулачества и коллективизации — голодуха. После второй мировой — опять голодуха.

Суровая у нас история.

Так вот те, что должны были принять отцово да дедово наследство, чтоб умножить его, те, что по роду своему должны были пахать да засевать эту землю, где они ныне?

Лежу я в палатке на берегу Нерли и чувствую себя глубоко виноватым: какой от меня прок? Ладно: меня давайте простим, что отступился от ремесла прадедов. А другие-прочие где? Как они? Что с ними?

Мысленно бреду по Ремневу от дома к дому. Перебираю в памяти своих товарищей, что мне ровесники, или чуть постарше, или чуть помладше. Тот в Москве, этот в Тольятти, один на севере, другой на юге...

В один из своих походов за три-то поля встретил Василия Муравьева — и брат он мне четвероюродный, и росли вместе. Давно, однако, не виделись, стали вспоминать прошлое. Василий, кстати, вспомнил, как «драпанул из колхоза». Нет, не драпанул, ибо это действие короткое, единовременное, а вырывался, выпутывался изо всех сил, словно увязнувший в трясине, долго, с хрипом, с невероятным упорством. А почему так? А потому что была в том настоятельная нужда. Память о том, с каким трудом он уехал отсюда, жива в нем, потому он никогда не вернется. Разве что просто побывать, постоять у могилы матери.

— Я это... знаешь... как ты уехал в Красноярск, что ли? Ну вот, а я-то остался здесь и два года был это... конюхом тут. А лошади у нас какие? Их и оставалось-то всего ничего. А больше податься некуда: разве что в доярки. Председателем тогда был Мухин. Ты его помнишь? Злой как собака, никогда слова по-человечески не скажет, только криком. Добра от него, бывало, не жди. А уехать — паспорта нет. Чтоб паспорт получить, нужна справка от колхоза, а справку такую Мухин разве даст! Вот так... как при крепостном праве. Помог Володя Мокеев. Он же счетоводом был много лет, а когда увольнялся... Мухин его, это, прогнал... ну он и прихватил с собой бланков. Какие там бланки — просто листочки бумаги со штампом и колхозной печатью. Ну вот, он таким образом Кольке Батину помог, племяннику своему. Колька уехал в Москву, женился там, работать стал где-то, не знаю. В общем, если б не Володя, сидеть бы Кольке в колхозе. А меня и научают... Митряха, дядя твой, поди, мол, к Володе, попроси. Ну, я купил бутылку, пошел. Мы с ним посидели, поговорили, он мне и дал один листочек с печатью. Я справку-то сам написал и поехал с нею в Донбасс на шахты. У меня ж там старшие братаны были: Анатолий, тот теперь уже умер, и Николай — в тюрьме сидит, ты, наверно, слышал. Он, Николай-то, свояка своего, знаешь, это... трактором задавил. Пьяный был, поспорил, вот он и... Ну, это потом, а тогда они оба там были, живы-здоровы. Хлопотали мы, хлопотали, кое-как с большими слезами получил я паспорт временный на полгода, поступил на шахту работать. Вагонетки, знаешь, это... откатывал. Ну, целые поезда с углем. Летишь по штреку, как черт, аж грохот стоит. Работа такая — только поворачивайся. Это не конюхом в деревне... А полгода прошло — меня в отдел кадров вызывают: все, срок истек, паспорт недействителен, выметайся. Я туда, я сюда, в областной город приехал, ходил по начальству целый месяц: и в милицию, и в домоуправление, и в профсоюз, и куда только не ходил! Мне говорят: поезжай обратно, откуда приехал. А чего я там не видел, в своей деревне? Опять конюхом? Или в пастухи? И вот, знаешь, это... приперло. Никуда! Другой раз выйдешь от очередного чиновника, спрячешься куда-нибудь — и хоть реви. Да и ревел... А что! Уж большой был парень, а это... в слезы, да. Куда я сколько раз ходил, с кем разговаривал — целый день рассказывать надо. А вот когда ходить некуда стало, мне подсказали: надо, мол, тебе по-

дойти к товарищу Карлину, он один может. Надо, мол, только его в ресторан пригласить. А я сам, это... в ресторане никогда не был. Не знал, с какой стороны в него и заходить. Ну, Колька с Толькой пошли, пригласили. Сидели мы в ресторане целый вечер. Я, это... и заказывать-то ничего не умел. Помню, был какой-то винегрет да еще отбивная из свинины. Ну и водка, конечно. Посидели — я заплатил. Карлин хороший мужик оказался, век его буду помнить. Ты, говорит, парень, больно мне понравился. Деревня, говорит, ты: котлетину в ресторане рукой в тарелке берешь. Ага. Ну ничего, главное, мол, парень хороший. Дам я тебе завтра паспорт, пусть меня с работы снимают, только ты, говорит, с этим паспортом уезжай куда подальше. А то вдруг проверка, то да се, нагорит мне. Ну, я паспорт получил и тотчас уехал. В другой город. Устроился на фабрику швейную, поработал немного, пригляделись там ко мне, директор и говорит: становись завскладом. Парень ты, я вижу, честный, воровать не будешь. А на этой фабрике незадолго передо мной как раз посадили целую шайку ворюг. Они, это... как-то там продукцию сбывали через магазин. Ну, их посадили, лет по семь-восемь дали. И с конфискацией. Директор мне и предлагает: давай на их место. Я дурак был, посоветоваться не с кем, согласился. А там хитрая механика, без поллитры не разберешься: чего списать, чего не списывать... Присылают, понимаешь, на фабрику образцы — это значит, особо хорошо пошитые плащи и костюмы. А отчетность за них — дело тонкое. Ну, на складе вся готовая продукция опять же... У меня сразу полгорода знакомых стало! Потому что от меня зависит, в какой магазин ходовой товар дать, а в какой неходовой. Все торгаши со мной приветливые, лебезят. Я мог любую дефицитную вещь достать. Все хорошо, да только, это... придет какой-нибудь деятель и сразу — шасть к шкафам, где образцы: открывай. Чаще всего с директором нашим приходили. Померяют, коли подходит — унесут. А платить не платят. И не стребуешь: не кто-нибудь этак берет, а большой начальник... Я к директору, говорю, это... как же деньги-то? А он махнет рукой: ладно, спишем. Ну и спишут. А другой явится и один, уже без директора: открывай. Сначала вроде как померить, а оденет и уйдет. Директор меня вызывает: зачем открывал? А как же я, говорю, не открою, если он это... ваш друг и вон какой пост занимает! Выходило, я виноватый. Тут, думаю, если мне,

значит, на складе оставаться, то скоро посадят. Потому как сколько веревочке ни виться... Директор меня не отпускал, квартиру обещал дать, то да се. В общем, ушел я... А пока еще работал, был знаком с директором техникума. Тот тоже приходил плащи мерить. Правда, платил. Он мне говорил: ты в вечернюю школу ходи, девятый и десятый кончишь за зиму и за лето, а потом мы тебя примем. Я и заинтересовался, стал учиться в вечерней. А у меня, знаешь, с литературой плохо, с историей и грамматикой тоже, а с математикой хорошо. Я вот стихи не люблю, а всякие тригонометрические функции — это как-то легко усваиваю. А в техникуме что и нужно-то! Окончил я вечернюю школу, поступил в техникум. Тут как раз ОБХСС начало копаться, к следователю потащили. Даже суд был. Ну, думаю, все, посадят. Там, знаешь, очень уж хитрая механика с отчетностью на этой фабрике. Я до сих пор не разобрался. Что-то списали, а что-то нет. А кто виноват, как не я? Директор мне говорил: помалкивай, выручим. И правда, выручили. Присудили мне выплатить сотни полторы, я с радостью заплатил. Ну вот, техникум я это... окончил с одними пятерками, даже по литературе. Диплом получил с отличием, стал техник-технолог по холодной обработке металлов резанием. Как и ты. Уехал работать. Сначала меня как отличника направили на Северный Кавказ, на завод. Я там проработал месяца три, потом говорю: квартиру обещали — не даете, да и должность определили — токарем на станке. Я как-никак специалист, так и квалификацию потеряю. Ну и ушел оттуда. Уехал в Тольятти, работаю на автозаводе. Вот месяц назад квартиру получил трехкомнатную...

Ночная птица полетела над моей палаткой, посвистывая крыльями, спугнула моего рассказчика. Ничего, другой придет...

— Ну, какие они туристы! — пренебрежительно говорил сосед-стоматолог о моих соседях с другой стороны. — Это дачники. — И добавлял: — Без дачи.

Виктор Васильевич подходил к ним поговорить и между прочим советовал:

— Если вы каждое лето так становитесь, то вам дачу надо строить. Посмотрите, сколько материалу привезли: доски, рейки. И все ведь пропадает зазря. Сколько лет вы так ездите? Во, девять лет! За это время могли бы две дачи соорудить из своего материала.

— Мы согласны, вот здесь, на берегу,— отвечала Мария Афанасьевна то ли в шутку, то ли всерьез. — Да ведь не разрешат.

И другие к ним подходили — Леша, Юрий Михалыч, Таня с Верой — тоже советовали:

— Это все мартышкин труд: каждое лето строить...

— Но ведь и вы строите!

— Мы тоже, — вздыхали они. — Правда, погребов не роем.

— А как же без погреба! Не холодильник же сюда везти!

— Да это-то верно.

А погреб у наших соседей был хорош. Просто зависть брала, когда они доставали из него молочко и пили холодненькое.

Не знаю, от убеждений ли соседей-туристов, в результате ли более ранних размышлений, но пришел ко мне Володя Рожков с такой просьбой:

— Вы ведь здешний... не могли бы проехаться со мной по деревням? Может, где-нибудь найдем дом. А то я местных дорог не знаю.

Отчего не проехаться — это не хуже, чем пешком. Я, разумеется, охотно согласился.

— Желаете избушку на курьих ножках или пятистенник под железной крышей и на кирпичном фундаменте?

— А чтоб недорого, но сердито. Лучше, если покрепче, попросторнее. У нас семья большая.

За крепость я поручиться не мог, за цену тоже, но такие дела решаются практически, мы сели и поехали. Через Спасское... Здесь, я уже знал, домов продажных нету. Плутково мне мало знакомо. Мы свернули возле Иры и покатили потихоньку бережком по травянистой дороге — в Хонино. Я перед каждой низинкой предлагал выйти из машины и попробовать крепость грунта, но Володя только усмехался, и мы благополучно пересекали трудный участок.

— Что вы боитесь, Юрий Васильевич! — весело успокаивал он меня: ему нравилось, что я так забочусь о его машине: не завязла бы. — Я ж шофер, профессионал... не первый год за баранкой. И не только на легковой работал, но и на грузовой. Могу и на кране, и на экскаваторе...

Это был человек не моего склада. Мне вот никогда не владеть автомобилем, даже если б я его купил: совершенно бездарен по части техники — не только

любви, но даже простого влечения, даже снисходительности у меня нет к ней. А Володя Рожков, я уже имел возможность в этом убедиться, в свою машину был влюблен, и не потому, что она своя, а просто потому, что она машина, создание из стали, резины, пластмассы и прочих рукотворных материалов.

В Хонине мы с ним ходили от дома к дому — они не подавали признаков жизни, но некоторые были вроде бы жилыми. Людей удалось отыскать только в одном из огородов: там в амбарушке братья Поляковы, приехавшие из города, приглушенно переговариваясь, будто совершали воровское дело, выгоняли на центрифуге мед. Вопросы купли-продажи домов их мало интересовали, и наше появление они восприняли с досадой: отрывают от интересного, святого дела.

Выручила Августа Ивановна:

— А вон Раин дом пустует. Приценитесь к нему, его рады будут продать.

Ключ от этого дома кто-то нам принес, мы открыли входную дверь, вошли... Ни Володя, ни я не проявили практической сметки, не полезли в подпол осмотреть переводы и нижние венцы, не простукивали стены, не осматривали крышу — помню, заглянули лишь на чердак, и там нас поразило обилие всяческого добра: прялки, скалки, лощила, трепала, ткацкий станок в разобранном виде, полный набор инструментов для валяния валенок, деревянные корыта, ступы, песты...

Дом показался нам неплохим, вполне можно бы и купить, но хозяева неведомо где, а без них какой разговор о купле-продаже! Мы просто приняли к сведению, что он продается.

Тут меня осенило: боже мой, чего это я притащил покупателя Рожкова в Хонино, когда ему прямая дорога в Ремнево! Я имел в виду, что мы поедем и в Ремнево, но надо было с него и начинать. Там моя тетка, жена отцова брата Михаила, дом свой продает. И как это я позабыл-то? Прямо наваждение, да и только. В Ремнево, в Ремнево и только в Ремнево поселить эту семью!

В деревне моей мы сразу направились к Прасковье Даниловне Красавиной. Та вышла, я тотчас к ней, едва поздоровались:

— Теть Пань, ты просила меня покупателя найти твоему дому. Вот я нашел.

— Продать хочу, Юрочка, продать, родимой. Уж корову продала, теперь дом.

Володя тоже без предисловий окинул беглым взглядом ветхий пятистенник:

— Сколько вы хотите... за ваше жилье.

Хозяйка ответила нерешительно:

— Полторы тысячи.

Володя, опять недолго думая, заявил:

— Я согласен.

— Да вы осмотрите дом-то, — сказала озадаченная хозяйка. — Может, что не понравится.

— А чего смотреть! — быстро сказал покупатель. — И так видно.

Да уж конечно, не без изъянов пятистенничек, но ведь и полторы тысячи — разве это деньги по нашим временам?

Осмотр дома привел покупателя да и меня тоже в полный восторг: во-первых, тут оказалось много всяких внутренних помещений — раз пятистенник, значит, разделен стеной на две половины, у каждой, помимо передней, есть сени, за сенями горница, в каждой жилой половине — русская печь.

— Ого, — деловито сказал Володя, оглядываясь, — да тут просторно. Это хорошо. У нас народу много, и каждый претендует на отдельную комнату.

Мы осмотрели и двор, и сенник, и подклеть... Володя только приговаривал:

— О, вот здесь мастерскую столярную сделаю... О, здесь сено будем класть...

— Зачем вам сено, Володя? Разве вы собираетесь держать корову?

— А для запаха, Юрий Васильевич! Аромат-то какой будет по всему дому! Я на сеновале спать буду — это ж моя голубая мечта.

В последнюю очередь мы залезли на чердак и обнаружили там то же богатство, что и в хонинском доме: ткацкий станок («О, половики ткать можно!»), сита и решета, ушаты и лохани, скалки и лощила, сапожные колодки («О, я валенки научусь валять!») и огромную глиняную корчагу, чуть не в человеческий рост. Представляю, какая это была во дни былые ценность, как везли ее на телеге с калязинского базара, обнимали небось всю дорогу, чтоб не раскололась нечаянно от тряски на ухабах. А может, не везли, а просто сделали на месте?

У нас тут по деревням знали всякое ремесло, в том числе и гончарное.

— Прасковья Даниловна, корчага для чего?

— А как же! Лен в ней красили, нитки шерстяные...

— О, мы в ней грибы солить будем!

— Устрой тут музей, Володя, — уговаривал я. — Все эти прялки-скалки почистишь и будешь показывать за деньги, по рублю за погляд. Полторы тысячи посетителей — и дом окупится.

— Заметано! — бодро согласился он.

Всю обратную дорогу Володя Рожков оживленно говорил, говорил: строил планы. Я даже загрустил: ну, почему он покупает дом в Ремневе, а не я. Почему он, а не я, радуется, горит в воодушевлении?

«А потому что у тебя руки — крюки, — укорил я себя. — Не по Сеньке шапка, понял?»

Но в общем-то, я был удовлетворен: в Ремневе поселится новая семья, люди деятельные, трудолюбивые.

Вот так это совершилось.

Из того лета запомнилось еще многое, но я остановлюсь на том, как купили дом в Ремневе дачники-москвичи.

А что из этого получилось — речь далее.

На следующий год на берег Нерли приехали новые люди, каждый из которых был мне по-своему интересен. Эти палаточные жители вполне укладывались в мою классификацию: туристы-бабочки и туристы-муравьи. Одни совершали труд благоустройства, накопления которого, однако, не происходило — сделанное ими сметалось за год усилиями посторонних сил и природной среды. Что касается других, то они пили нектар удовольствий, нежа себя при наименьших затратах энергии.

Меня, разумеется, очень интересовало, понравилось ли в Ремневе Дмитриевым-Власовым-Рожковым, которых я там поселил, но я не спешил навестить их. Кое-какие слухи до меня доходили. Например, о том, как ужаснулись они состоянию дома, когда хозяйка выехала и москвичи мои вступили в домовладение: жилье оказалось гораздо более ветхим, нежели можно было заключить из первого беглого осмотра. Мне рассказывали, как маялись они от бездорожья; как топили русскую печку, а та не давалась им, подобно тому, как норовистая корова не дает молока постороннему человеку.

В общем, я опасался, что лишений у них было больше, нежели обретений, особенно в самом начале. Потому по приезде на берег Нерли следующим летом воздержался от визита к ним, чтоб не слушать упреков: вот, мол, подбил нас на негодное дело.

Но вообще-то мне просто не повезло в то лето: дожди зарядили. Терпел я день в своей палатке, терпел два, терпел три, на четвертый сбежал... и вернулся только через год.

Опять у меня были новые знакомства на берегу, но неожиданно перед моей палаткой появился... стоматолог Виктор Васильевич. Он тотчас закричал:

— Что вы здесь стоите! Собирайте все свои вещички и айда ко мне. Разве не говорили вам, что я купил избу? И недалеко отсюда. Вы слышали когда-нибудь название деревни — Теремец? Знаете такую?

Я знал. Это если ехать от Калязина к Загорску, то, не доезжая поселка Троица-Нерль, чуть-чуть в стороне, слева будет деревня Теремец. Она стоит этак на горе, и гора называется Теремецкой.

Мы поехали смотреть приобретение Виктора Васильевича.

Ну, я прежде всего должен сказать, что есть, конечно, на Руси и красивей деревни, чем Теремец, но не так уж много. Дело не в ней самой, а в том, какой вид открывается из нее во все стороны, а особенно в ту, где Нерль, на поля и леса за нею. Я убежден, что вид этот пленял души русских людей еще в древности, и некогда на этой горе выстроили терем, отчего и возникло название деревни и горы. Теперь уж от терема и следов не осталось, зато деревня стоит, правда, тоже угасающая. Место здесь, что и говорить, насиженное за сотни лет.

Мы долго стояли и любовались.

— Я перестрою чердак, — делился своими планами Виктор Васильевич, счастливый человек, — сделаю с фасада светелочку специально затем, чтоб любоваться этим видом. Выйду вот так, встану... Мне это даже снится: будто сижу в светлице, подо мной кусты роз, а дальше вся земля в цвету...

Зачем он пошел в стоматологи? Ему бы в поэты, в художники, в странники. Человек, имеющий столь романтические представления о красоте, должен ли изобретать пластмассовые зубы, мосты и целиком челюсти? Есть наверняка и более сноровистые люди, ремесло это посиль-

но многим и многим. А вот оценить по достоинству вид из деревни Теремец на Нерль и восхититься им — это уже в наш рациональный век не каждому свойственно.

Купленный стоматологом дом был типичной в наших местах деревенской избой, с горницей, с русской печью, с подклетью, с красным крыльцом и черным ходом... Огород, правда, оказался очень запущенным. Его не возделывали уже несколько лет, поскольку в доме никто не жил. Новый владелец только-только начал выкашивать лопухи да крапиву, сжигал мусор, расчищал от хлама многочисленные помещения крестьянского жилья — подпол, чердак, подклеть, сенник, коровье стойло — и работы ему впереди с одним только огородом непочатый край. Так что он забегал в своих планах несколько вперед.

— Вот здесь я посажу яблони, груши, сливы... — говорил он, разводя руками, — а здесь будут ягодные кусты, клубника... здесь теплица с красными помидорами. Крышу я перекрою и покрашу ее, например, в голубой цвет, как небо, и веранду сделаю вокруг дома, буду по ней прогуливаться... а вот тут навес, и под навесом стол большой — тут будем чаевничать с самоваром...

Планы у него были наполеоновские.

Я вежливо улыбался, расхваливал приобретение, однако делал это, признаюсь, более из любезности и не в силах был погасить досаду на себя: зачем, зачем допустил, что стоматолог поселился не в Ремневе! Тут была явная моя вина: проворонил, упустил ценного человека. Помнится, я его уговаривал в то лето, когда мы только-только познакомились, он в ответ улыбался неопределенно... вот, выходит, я не довел дело до конца: распропагандировал его, но оказалось, в пользу деревни Теремец, а не в пользу Ремнева. Теперь не откроется зубопротезная клиника в моей деревне, где мои земляки могли бы обрести утраченное и столь необходимое, и не надо было бы им прикрывать улыбки ладонями, чтоб скрыть щербатость.

Оттого, что Виктор Васильевич купил дом не в моей деревне, я сразу потерял к нему значительную долю интереса и ныне отступаюсь, приветливо помахав рукой, чтоб не тратить на этого невольного отступника драгоценную площадь моего летописного труда.

Из Теремца я, помню, тотчас отправился в Ремнево.

Нынешним летом я ездил на свою родину дважды: сначала в мае, когда по низинам цвели неисчислимые

купальницы, а по всей Ире и по Нерли неутомимо щелкали соловьи; и в конце июля, когда в Родионове во множестве повыскакивали молоденькие сыроежки-краснушки да будто выпеченные из сдобного теста белые грибы, именуемые, кстати, в наших местах коровиками или коровками.

Эти оба приезда слились теперь в моем сознании в один: ныне мне кажется, что коровочки я собирал под соловьиное пенье, а желтые головки купальниц перемежались в лесу такими же круглыми, будто грецкие орехи, краснушками. И оба моих визита к ремневским москвичам слились в один: и тот, когда вся семья Рожковых-Власовых-Дмитриевых была в сборе, и тот, когда мы долго сидели с Марией Афанасьевной за беседой вдвоем.

Несовместимое совместимо: шел я по Ире, а навстречу двое горожан: мужчина катил тележку с вещами, женщина несла клетку с двумя попугайчиками — один из них изумительно желтый, другой столь же изумительно зеленый.

— Историческое событие! — не утерпев, воскликнул я. — Попугаи на берегу Иры!

Горожане заулыбались навстречу: оба незнакомые мне, значит, появились недавно. А поскольку они шли к Хонину...

— Я догадываюсь, вы дачники из Хонина.

Они подтвердили: да, купили дом... Лица у обоих даже просияли, когда они сказали это.

— Прекрасно! — заявил я. — Прекрасно то, что вы поселились в Хонине!

— Приходите к нам в гости, — приглашала женщина. — У меня такие цветы будут! Рассаду вот везу.

— Зачем вам они? Посмотрите, все вокруг в цвету: черемуха, сирень, ирга, а в низинках да по лугу купальницы, калужницы, одуванчики... И все вам мало?

— Мои цветы особенные, заморские.

Да и птички тоже!

Нынешним летом пять опустевших домов в Хонине уже куплены дачниками, но вид деревни все еще запущенный, одичалый. Может, в следующем году преобразится Хонино? Или его запущенность не трогает новых жителей, приезжающих лишь на лето?

В июле, явившись в Хонино, я спросил у Августы Ивановны:

— Неужели никто в течение лета не косит траву на усадьбах?

Она мне:

— Кому косить-то! Я уж старуха, а остальные, сам знаешь, вроде меня.

— А дачники?

— Они ж не умеют! Или не хотят. Отдыхать приезжают сюда, а не работать. Вон в Ремневе которые у Пани Красавиной купили дом — те такие работящие оказались. Подумай-ко: накосили колхозу пять тонн сена!

Похвала эта пришлась куда как по душе мне. Она ободряла и укрепляла надежды.

— Кто ж у них косил?

— А Мария Афанасьевна сама да и сын с зятем. Уж такая семья трудолюбивая. Вот бы нам таких дачников-то в Хонино...

Моих ремневских москвичей, отличившихся на сенокосе, я застал сидящими за длинным столом с врытыми в землю ножками — такой стол они соорудили возле крыльца под старыми березами. Он рассчитан на большую семью и гостей.

За чаепитием, за беседой я сидел и с любопытством оглядывался: как все переменилось на тихом подворье Прасковьи Даниловны Красавиной!

Дом расположен на черном посаде, то есть задворками к солнцу. Палисадник, загораживая весь фасад, подступал очень близко к дому, оттого передняя стена была всегда затенена и потому сыра — она иструхлявела скорее других, дом с годами медленно оседал на перед.

Новые хозяева палисадник вырубили, оставив только молодые вишенки да красавицу-рябину, сделали новую изгородь — эту работу, между прочим, очень капитально, надежно выполнил Павел Михайлович, человек без обеих ног.

— Я работать люблю, — сказал он без всякого желания похвастать, а просто высказывал обычное суждение, на которое имел неоспоримое право.

Володя, разговаривая со мной, уже за дело взялся: что-то отпиливал, что-то мастерил тут же. И Валя, жена его, тоже хлопотала, отнюдь не прерывая беседы со мною. А что им за чаями рассиживаться: приехали только на выходные, а дел у них мало ли. Андрей увле-

ченно ремонтировал мопед, и даже Сережа со Светой что-то лепили из песка — тоже при деле.

— Когда мы оформили все документы о купле-продаже,— рассказывала Мария Афанасьевна,— хозяйка сказала, что поживет здесь до конца августа. Мы, разумеется, не возражали. Я сразу же переехала сюда, Прасковья Даниловна поселила меня во второй половине, и мы втроем прожили месяц. Володя с Валентиной приезжали, и Толя с женой тоже, но только на выходные. Утром проснусь — Прасковья Даниловна обязательно раньше меня встанет и сразу за веник. А мне совестно: как это я пол не подметаю, а только она. Встанет и сразу в переднюю и из-под лавок, что вдоль стен, быстренько выметет мусор. Я потом сообразила, почему так: когда она уехала, я под лавками не подметала несколько дней, а заглянула — батюшки мои! — там труха насыпалась. Володе показала: посмотри. Он ткнул пальцем в стену — и насквозь, улицу видать. Все бревна гнилые...

Итак, новым хозяевам пришлось взяться за работу: подвесили верхние венцы, вынули рамы...

— Володя сказал: Мария Афанасьевна, смотрите. И пихнул вот так. И весь перед вывалился наружу. Так вы бы посмотрели: ни одного целого бревнышка, одна гниль.

Потом они подводили кирпичный фундамент, ставили новые простенки меж окон... перестраивали все внутри, переоборудовали каждое помещение на свой лад... завозили мебель, всяческую утварь, холодильник, телевизор...

— Много было работы, — румянея всем своим миловидным лицом, призналась Валя. — Очень много. Если б все это могли мы предвидеть, вряд ли решились бы на такую покупку. Но теперь сделано все основное, можно жить, и мы довольны, очень довольны.

— Теперь-то что и говорить! — подтверждала Мария Афанасьевна, пускаясь благодарить меня: это-де я им помог купить дом, и если бы, мол, не я, то ничего у них не вышло бы.

Ну, это не так, но если хвалят люди, то почему бы и не принять похвалу. Не часто бывает.

У моих дачников пока не хватает средств, чтоб преобразить эту избу капитально: скажем, обшить тесом, заменить драночную крышу на шиферную, покрасить

«с головы до пят» и прочее, но все, что в их силах, они действительно уже сделали — дом стоит теперь прочно, смотрит на ремневскую улицу бодро.

Да здравствуют бодрые жилые дома в Ремневе!

Мне приятно видеть сурового немногословного Павла Михайловича, что сидел, положив на столешницу тяжелые, рабочие руки. Мне приятно наблюдать за работой Володи и хлопотами Вали. Мне приятно видеть улыбающееся загорелое лицо Марии Афанасьевны, сохранившей комсомольско-молодежную прическу тридцатых годов, годов ее молодости: белые волосы коротко подстрижены, удерживаются большой гребенкой.

— А я уж тут привыкла, Юрий Васильевич! Что мне теперь Москва! Ведь там как? Утром встала — иди в магазин. Из магазина вернулась — готовь завтрак, убирайся в квартире, потом опять на кухне, обед готовь или ужин, опять иди в магазин... И так каждый день. А ведь я болела! У меня ж гипертония, давление то и дело подскакивало. А здесь, представьте себе, голова у меня уже не болит. И не потому, что воздух чистый — вы вдохните, какой воздух! — но дело не только в нем. А в том, что я тут живу очень активно, много работаю: то в огороде, то кур надо покормить, то кроликов...

— Мария Афанасьевна, а где вы научились косить? Или когда-то раньше в деревне жили?

— В деревне я жила до восьмилетнего возраста и косить, конечно, не успела научиться. Павел Михалыч — тот умел когда-то, но теперь-то не может. А я уж здесь училась, в Ремневе. Да и Володя, и Толя, и Валя. В первый-то год, как здесь поселились, пришел бригадир или кто он, заведующий отделением? Попросил: может, покосите в силос крапиву? Ну, мы согласились. Они и на другое лето к нам: может, покосите вон ту усадьбу, сколько сумеете? Мы опять покосили. В прошлом году сдали колхозу три тонны сена, а нынче пять.

— Нам благодарственное письмо прислали из правления колхоза, — опять румянела и оттого необыкновенно хорошела Валя.

Она принесла это письмо, и я читаю: «Правление колхоза и сельсовет благодарят вас за помощь, оказанную в заготовке кормов...» Пять тонн сена хватит по крайней мере одной колхозной корове на всю зиму. Одна корова будет нынешней зимой прокормлена этой московской семьей.

Если б каждая семья дачников так-то!.. Ферму можно прокормить силами дачников двух деревень, Хонина и Ремнева.

— И я косила, и Володя... А больше всех Толя. Он с рассветом встает — и на луг. А Павел Михалыч отбивал ему косу.

Анатолий Дмитриев окончил музыкальное училище имени Гнесиных, он скрипач, солист ансамбля электромузыкальных инструментов. Я довольно часто вижу его по телевизору: в белом фраке, при галстуке бабочкой.

Улыбаюсь, представив его себе в этом парадном наряде и с косой, а не со скрипкой в руках.

— Тут, знаете, душа моя покойна, — продолжала Мария Афанасьевна. — Ни шума, ни толкотни людской... Птички щебечут, ветерок шумит, листва шелестит — хорошо!

Она говорила это, а к ней из-под стола лезло существо в бело-кудрявой буйной шерсти, неутомимо ласковое, со смышлеными, преданными глазами, с восторженно крутящимся хвостом.

— Кеша, уймись, — говорит Мария Афанасьевна. — Веди себя прилично. Где ты был? Смотрите, Юрий Васильевич, я у него спрашиваю: где ты был? Смотрите, какая у него виноватая морда.

Кешка в ответ действительно отводил глаза и лизал ей руку.

— Я ему запрещаю убегать далеко от дома, и он слушается, но иногда увлечется чем-то и — нет его. Вернется — я отругаю. Он все понимает, вот и чувствует себя виноватым.

Я забыл сказать, что Кеша кинулся на меня с яростным, старательным лаем, когда я подходил к нему, но, минуту спустя, уже обнимал за ногу и передними и задними лапами: ей-богу, впечатление такое, что он вспомнил меня, приходившего в гости в прошлое лето.

Вот и теперь ко мне лез из-под стола, тыкаясь носом в мою ладонь, и ужасно доволен, что я треплю ему уши.

За время моего знакомства с этой семьей младенчик Сережа, занимавшийся в трехмесячном возрасте подводным плаваньем в ванне-ящике на берегу Нерли, стал пятилетним белоголовым мальчиком с ясными синими глазами и губками бантиком. Как и в самом начальном своем возрасте, он отличался теперь тихим нравом: при-

сядет за стол к беседующим взрослым и слушает безмолвно, внимательно, переводя взгляд с одного на другого, и тихо, никому не мешая, удалится.

Столь же благовоспитанна и Светочка, она на год младше. Не знаю, купали ли ее во младенчестве подобно брату, но вот по части физического воспитания они оба меня удивили: отец сделал для детей на старых березах турник и качели и просто протянул канаты, так они оба при мне лазили по ним с исключительной ловкостью, как обезьянки.

— Я им и в московской квартире такого понаделал! — сказал Володя. — Но ведь в квартире совсем не то — ни простору, ни свежего воздуха.

Признаться, я всегда жалею городских детей: где им искупаться? где побегать, поиграть?

Сережа и Света Рожковы повторяют мое собственное детство: их жизненное пространство — целая деревня Ремнево с дорогами, выходящими туда и сюда, луга и лужайки, ручей с прудами и бочагами... Все это, не считая своего сада-огорода, со всеми его достоинствами: тут морковка растет, там ягодка зреет.

Огород мне показывала Мария Афанасьевна: вот теплица, и в ней уже помидорчики растут, вот огурцы посадили, и они очень хорошо принялись, цветут, вот лук, картошка, укропчик, чесночок, цветы такие и цветы сякие... а вот ульи — и ульи приобрели мои дачники! — ими заведует... Валя: она даже на курсах пчеловодов занимается.

— В двух ульях меда было мало, а в остальных, хоть и не много, но уже брали... Два роя сегодня летом поймали!

Кто бы и что бы здесь мне ни показывал, все делалось увлеченно, вдохновенно, просто приятно видеть и слышать.

Володя взялся строить баню. У нее еще нет стен, одни столбы да крыша на них, но уже сложена печка, вмазан котел, сделан лоток для камней, настлан пол... Не знаю, насколько его сооружение соответствует классическому представлению о бане и насколько она будет хороша — это можно выяснить только практическим путем: я приглашен будущим летом попариться.

В задней части огорода в двухэтажном сарайчике живет Андрей, ему теперь уж шестнадцать — юноша. В его комнате на втором этаже собирается ремневская дач-

ная молодежь: потанцевать в этой комнате невозможно, а вот послушать музыку, задушевно поговорить...

Во все время, пока мы ходили по огороду, обсуждая то и это, лохматое существо с человеческим именем Кеша принимало в беседах самое деятельное участие. Шли ли мы к теплице, направлялись ли к строящейся бане, он бежал впереди и заглядывал мне в глаза внимательным, спрашивающим взглядом: «Ну как? Здорово у нас, верно?» Потом и вовсе запрыгал вокруг меня, отбегая то и дело в одну сторону.

— Это он вам кроликов хочет показать и курятник, — сообразила Мария Афанасьевна.

— Ну, валяй, показывай, — разрешил я Кеше.

Он весело побежал вперед.

Курятник сооружен из колышек, из досок и утеплен от зимних холодов соломой. И Кеше, а более всего курицам он пришелся явно по душе. Куриц десятка три, они так и гуляли возле своего соломенного домика, заходя в него для самого главного, интимного дела: сесть на гнездо и сложить яичко. Они насторожились, когда Кешка вбежал, но не испугались его, и он, надо сказать, вел себя пристойно: остановился в дверях, дальше не пошел. Возле каждого гнезда тут стояла курочка в ожидании, когда подруга снесется и освободит желанное место.

— Ну как? — спросил меня Кеша. — Ты где-нибудь видел такое? Чтоб из ничего соорудили курятник и в нем куры неслись даже зимой? Володя сюда — видишь? — провел электричество, установил лампы дневного света... Володя — настоящий хозяин, а ты?

А что тут скажешь? Не станешь же намекать ему, что я-де тоже при своем деле, это не произведет на Кешу никакого впечатления. Авторитет хозяев для него превыше всего.

Рядом с курятником — крольчатник. И его Кеша показал мне с тем же видом превосходства, давая понять, что в гостях-то бывать я мастер, а вот чтоб самому все сделать, соорудить, устроить...

Что правда, то правда.

— Кто ты такой? — вопрошал требовательным взглядом Кеша. — Какая от тебя польза? Кем приходишься этой земле? Так себе, природы праздный соглядатай.

А вот это несправедливо. Тут я согласиться никак

не могу и готов представить доказательства, подтверждающие обратное: не соглядатай, и уж тем более не праздный. Нет и нет.

По мосточку через Ир, сделанному трудолюбивым ветераном Великой Отечественной войны Павлом Михайловичем, по усадьбам, выкошенным скрипачом ансамбля электромузыкальных инструментов Анатолием Дмитриевым, под жужжанье электрорубанка в руках московского шофера Владимира Рожкова удалялся я из Ремнева, как солдат на службу после побывки в родных краях.

Вот один раз я ушел так, в одиночестве, а в другой раз встретил у мосточка через ручей Катерину Рыбину, долгие годы бывшую дояркой при ремневском стаде, а ныне вот пенсионерку. Она черпала воду из ручья, небось для поливки огорода. С нею постоял я, поговорили. Она с интересом и очень дивясь спрашивала, как живется мне в палатке и не страшно ли в лесу-то.

— Грибов там нет ли? — поинтересовалась она. — Хотя рано еще быть грибам.

— Вчера нашел несколько рыжиков.

— Надо же! Ох, у нас тятя, бывало, любил рыжики-то брать. Утром раненько встанет и пойдет в Родионово да и принесет бельевую корзину полную. А солили их прямо сырыми...

Разговор о грибах — роскошный разговор. Я готов вести его каждый день, он повергает меня в прекрасное расположение духа. Но наш разговор с Катериной все-таки свернул на горестную колею, будто упрямая лошадь.

— Ноги болят, — жаловалась Катерина. — Совсем отказываются ходить... Вот корову надумала продавать: тяжело стало ухаживать-то за ней.

— Плохо будет без коровы, — сочувствовал я ей.

— Конечно, плохо! А что поделаешь? Где ж мне для нее сена накосить! Да и живу одна — куда мне столько молока? До базара не доберешься. В прошлом месяце накопила ведро творогу, надумала в Калязине продать, так Кольку Вакуированного просила до Пряжина донести. Ты ить его знаешь, Кольку-то? Так-то он Коннов, а зовут все Вакуированной. Ну вот, он мне помог донести до шоссе, а там садилась на автобус. Господи, сколько мук приняла! Больше не поеду. Пропадай и творог, и сметана.

Разговаривая со мной, она держит полные ведра на коромысле на плечах, и я вспоминаю, что, бывало, бабы по часу этак вот судачат у колодца, а нет бы догадались опустить ведра на землю. Самим потом дивно, что такую тяжесть на плечах держали. Но такова уж женская натура.

— Книги-то пишешь ли, Юра? — спросила Катерина.

— Пишу, — признался я скромно.

— Так подарил бы мне хоть одну. Ить вот корову-то продам, зимой так ли скучно станет! А я б твою книжку и почитала.

— Вот как только напишу новую, Катя, так и пришлю тебе. А прежние все роздал.

— Неуж напишешь новую? — то ли дивилась, то ли не верила она. — Про что же?

— А вот как стоим мы с тобой здесь, у ручья, и толкуем про рыжики, про корову твою...

Она смеется в ответ, и я рад: хоть маленько развеселил женщину. Своя, деревенская...

Катерина всю свою жизнь прожила на одном месте, никуда не уезжая: в отцовом доме родилась и выросла, здесь вот и на закате дней своих.

Итак, я уходил из деревни, а они все оставались: и москвичи, и коренные ремневские жители.

Так что ожидает мою деревню? Долго ли ей быть в нынешнем сиротском облике? Кого ей привечать, а кого отвергать? А мне кого славить, кого хулить?

Вопросов много — ответов что-то не слышно.

...Иду проселком, и веет на меня полузабытый ветерок: должно быть, нынче поутру комбайн скосил ржаное поле, и вот аромат свежей соломы тронул и оживил какой-то глубинный закоулок памяти.

По этой дороге ходил я в Поречскую школу. Слева тянется канава, поросшая осинками, — неужели и сейчас там родятся подосиновички? Раньше родились. Справа — Новый пруд.

Помнится, в то лето, когда Володя Рожков сторговал дом Прасковьи Даниловны, мы с ним наловили в водоемчике возле Божьего Дома карасей. Они были маленькие, один к одному, будто денежки-пятачки: слишком мал был тот водоем и перенаселен, до большого-то размера они не вырастали. Когда мы с Володей брели, ведя самодельный бредешок, сделанный из двух малечниц, карасики эти в суматохе стукались нам в голые ноги, и мне

несколько раз показалось, что я наступал на них голыми ногами, но они увертливо ускользали. Потом мы сели на велосипеды и быстро-быстро помчались сюда, к Новому пруду, куда и выпустили их. Интересно, прижились ли?..

Камень при дороге... Я сажусь на него и сижу долго, опять медленным взглядом обводя поле. И будто ленту воспоминаний прокручиваю перед собой. На этих полосах и клевер скирдовать приходилось, и лен полоть, и картошку копать... Масленицу, помню, жгли: целый день собирали хворост да бросовую льняную тресту, сухие колья да жерди, сложили высокую пирамиду и вот в полночь подожгли. Какой огонь рванул в черноту неба! Как ринулись искры ввысь! То-то мы ликовали... а возле Хонина тоже вспыхнул костер, и возле Задорожья, и возле Пряжина, и возле Селятина — кругом костры. Это означало, что масленица кончилась...

Сижу, и на душе у меня хорошо.

А от Ремнева, вижу, мчится по направлению ко мне Андрей на мопеде. Значит, он его все-таки отремонтировал. Кешка скачет сбоку, скачет азартно, захлебываясь встречным ветром, и, завидев меня, начинает лаять. Лает опять-таки не от злости собачьей, а именно от азарта, от восторга, от упоения жизнью. Они проносятся мимо меня и удаляются к Родионову. Я провожаю их глазами, пока они вовсе не скрываются за кустами, и только теперь замечаю на лице своем странную улыбку.

Я не могу объяснить, что это за улыбка. Она ни для кого не предназначена и просто отражает состояние души моей при виде Андрея, чья юность пришлась на деревню Ремнево, на этот проселок и это поле, при виде Кешки, чья собачья жизнь так счастлива. Наверно, в улыбке моей и грусть, и зависть, и отраженье моей душевной драмы... а драма та в раздвоении мечты и реальности, моего присутствия здесь и в то же время отсутствия.

Есть ли я здесь, нет ли, но вот моя горячая мольба, обращенная неведомо куда и неведомо кому:

> Пусть веют над этой землей ласковые ветра!
> Пусть окропляют ее благодатные летние дожди!
> И пусть сияет над нею незакатное солнце!

1987

НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ

Повесть

Лет десять тому назад... Но, впрочем, надо обозначить нынешний день, соотнеся его с каким-то важным событием, а потом уж отсчитывать — так точнее обозначится время.

Нынче на многое в прошлом мы оглядываемся, и эхо давно случившегося достигает нас, повергая в состояние контузии той или иной степени. Мы побуждаемы к размышлению, жаждем осознать происшедшее ранее, нам хочется привести свои возбужденные мысли в стройную систему, растревоженные чувства в упорядоченное состояние. Вон в газетах печатают политические портреты тех, кто был безвинно казнен, и тех, кто их казнил; в журналах публикуют ранее клейменные и проклятые романы; обнажаются застарелые язвы и выносится точный диагноз былого общественного недуга; невеселыми размышлениями отмечается вторая годовщина Чернобыльской катастрофы...

Вот, пожалуй, упоминанием о Чернобыле и можно сориентировать день нынешний, а уж от него отсчитать десять лет назад. Таким образом я привязываю свое повествование, как глупого теленка к тычку, в землю вбитому.

Итак, со временем все ясно. Теперь о месте действия: дело было в Новгороде, я работал тогда... Титул у меня был пышный, вернее длинный: ответственный секретарь областной писательской организации. Человек на такой должности облечен ответственностью, но, увы, не властью, следовательно, благо, которое он может совершить, имеет весьма ограниченные размеры. Численность организации была очень невелика: пять человек. При таком малом составе должность ответственного секретаря считалась синекурой и была тогда желанна некоторым, исключая разве что смиренного старичка, не претендовавшего решительно ни на что и жившего даже не в Новгороде, а в Боровичах. Каждый из остальных рядовых членов (назову их: Прозаик, Поэт, Драматург) проводил политику столь хитрым образом, чтоб свалить должностное лицо — ответственного секретаря — и самому стать таковым. Иллюзия простоты этой операции подо-

гревалась тем, что один человек по сути составлял четвертую часть нашей организации, а два — ее половину. При нейтралитете третьего двое уже составляли большинство.

Это большинство из двух человек, Прозаик и Поэт, распив бутылку яблочного вина в станционном или гостиничном буфете, являлось в наш писательский офис с самыми решительными намерениями.

Кстати, об офисе. Это была довольно большая комната на нижнем этаже, с двумя окошками, выходящими на грязный неухоженный двор. У нас постоянно воняло канализацией, и наши отчаянные обращения в домоуправление и выше не помогали: нам объясняли, что дом старый, трубы погнили, отремонтировать их невозможно, надо заменять, а замена — это уже капитальный ремонт, который намечен на следующую пятилетку или чуть далее. Восемь лет занимал я свой высокий пост и все восемь лет вкушал канализационные ароматы. Не один, разумеется, а вместе со всеми профессиональными писателями города и нашим литературным активом. Впрочем, с художниками тоже: они соседствовали с нами, их офис был бок о бок с нашим.

Итак, мое оппозиционное большинство являлось ко мне и поднимало любой вопрос, решая его в свою пользу самым простым, так сказать, демократическим путем — открытым голосованием. Процедура эта происходила у нас довольно часто — тут надо учитывать древнюю традицию вечевого новгородского правления, следовательно, неизбывную тягу к ней, генетически заложенную в крови.

Прозаик с Поэтом, требуя денег, ставили правящее лицо, в данном случае меня, в тяжкое положение: ведь они считались только с собственными нуждами, а не с возможностями организации и не с финансовой дисциплиной. Коллеги мои рассуждали на удивление трезво и логично: если есть на счете деньги, значит, они должны быть разделены и не как-нибудь, а на три части: Поэту, Прозаику, Драматургу; старичок в Боровичах не в счет — у него пенсия. А то, что имеющиеся деньги полагается тратить на исполнение какой-либо работы, во внимание не принималось. В том и было коварство их политики: нажать на ответственного секретаря, чтобы он допустил финансовые нарушения, и тогда уж снять его с должности как раз за эти преступления.

Я отказывался нарушать закон, тогда большинство выносило решение о смещении меня с должности: уходи, мол, князь, не надобен еси.

Ну, дело прошлое, и я не стал бы распространяться о кипении наших страстей, не стал бы даже и упоминать о них, если бы они не имели касательства к тому главному, о чем я хочу поведать.

Скажу только, что обком партии неизменно вмешивался в ход писательских дворцовых переворотов, желая примирить непримиримое. Для этого в обкоме имелся подходящий работник — Виктор Иванович Кулепетов, очень милый человек, одаренный к тому же явными дипломатическими способностями: ставши на вершине воздвигнутых нами баррикад, он умел красноречиво воззвать к нашему здравому смыслу, усовестить и усмирить. «Ну, как же вы не понимаете, Юрий Васильевич? Ясно же: незрелые люди!» — говорил он мне доверительно о моих оппозиционерах. И столь же сердечно им обо мне: «Он молодой еще, неопытный...»

Выше Кулепетова был заведующий отделом пропаганды Альберт Мартынович Тэммо, но он редко нисходил с горних высот до нас, а если и случалось такое, то лишь в паре с Кулепетовым. Роли у них распределялись при этом так: Виктор Иванович карал гневными речами, а Альберт Мартынович бодро обещал «ликвидировать проблему» и «решить вопрос».

Ну, а еще выше был секретарь обкома по идеологии — это такой уровень, до которого наш вечевой гвалт достигал лишь в форме отдаленного и неясного шума, в форме сухой информации, лишенной эмоциональной окраски: бузят, мол, авось скоро кончат.

Каждому областному центру до́лжно иметь приличную футбольную команду, пару-тройку генералов в отставке, музыкальный ансамбль или хор народной песни, театр и хотя бы одного олимпийского чемпиона (по гребле, например), ну и писательскую организацию. Когда этот своеобразный «джентльменский набор» у города есть, власти спокойны: они не хуже других. Ну, а чем там, к примеру, писатели заняты, бог ведает. Главное, что они есть, — этого достаточно.

Многого от нас не требовали. А что тут потребуешь! Писательское творчество — тайна. Оно не поддается директивным указаниям, не регламентируется планом, не стимулируется социалистическими обязательствами — это

сознавали в обкоме и рассуждали, наверное, так: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. «Дитя» же — писательская организация — капризничало по самым мелким поводам, возводя сущие пустяки до принципиальных высот. Стены офиса содрогались от бурь и гроз, кипение страстей накаляло их до всех цветов побежалости.

Писательское вече, уступая усилиям дипломатичного Кулепетова, на некоторое время замирало, а потом опять взрывалось страстями, опять мне выносился вотум недоверия, и я слал телеграмму в Москву, в Правление Союза писателей России, информируя о своем очередном смещении с поста. Туда же уходило послание моей оппозиции с подробным изложением моих вин: работу развалил, положенные восемь часов в конторе — офисе не отсиживает, деньги остаются непотраченными, старых не уважает, молодых притесняет. Там иногда реагировали, присылали комиссию, составленную из служилых людей сопредельных с нами земель — из Твери, Пскова, ну и из Москвы тоже; комиссия знакомилась с состоянием дел, констатировала наши достижения и упущения, отметала явную клевету и... я оставался на посту до следующего веча.

Появление посторонних писателей (даже если это была не комиссия, а просто кто-то приезжал по своим делам) я всегда воспринимал, как элемент привходящего благоразумия.

От их приезда наша великая писательская пря приобретала четкие смехотворные очертания, и на душе у меня становилось легче. Новгородцы пошучивали, что-де Москва и Ленинград — это наши пригороды, поскольку Новгород между ними да и древнее их гораздо, а в общем-то мы глубоко чувствовали свое провинциальное ничтожество: и писатели, и художники... наверное, и футболисты тоже.

И вот сидел я однажды в своем офисе... кажется, на этот раз канализация несколько упорядочилась, и миазмы были не так густы, а впрочем, не помню... сидел я, растворилась дверь, и вошел давно знакомый мне лично поэт Антонин Чистяков, а следом за ним человек невысокого росточка, неказисто одетый (под пиджаком поверх рубашки джемперок, под рубашкой свитерок) и очень хмурый, чем-то недовольный. Здороваясь, он небрежно, как бы нехотя, пожал мне руку и сказал весьма невнятно:

— Абрамов.

И тотчас отошел, сел подальше, стал листать газеты, то ли прислушиваясь, о чем мы с Чистяковым говорим, то ли нет.

Антонин Чистяков в свое время стоял, можно сказать, у колыбели нашей славной Новгородской писательской организации. Создана она была одной из последних, я тогда в Новгороде не жил, а вот Антонин был одним из двоих остепененных членством в Союзе писателей, которых можно считать, собственно, коренными новгородцами, а уж к ним потом присоединились еще трое, приехавшие из-за пределов области, состоялся учредительный съезд из пяти человек, таким образом история организации началась. Чистяков рассчитывал, что именно его изберут ответственным секретарем, приняв во внимание организационные заслуги, но этого не произошло. Вскоре он перебрался на жительство в Ленинград, обменяв квартиру; однако же с тех пор не любил Новгород и бывал только в северном краю области, где у него в деревеньке, неподалеку от Боровичей, был свой дом, игравший роль дачи. По-видимому, там у Антонина гостил и Федор Абрамов — вот чем объяснимо их совместное появление в Новгороде.

Мне и ныне трудно понять, что могло подружить этих двух людей: знаменитого прозаика и малоизвестного поэта. Впрочем, то была не дружба — Абрамов держался генералом, а Чистяков смиренно, даже этак боязливо исполнял при нем обязанности адъютанта.

Антонин Чистяков всегда был робким и смирным человеком, неведомо почему. Можно, конечно, эту манеру поведения назвать и скромной, но мне она не нравилась, поэтому я скромность и именую робостью. Антонин не любил возражать кому бы то ни было и если был с чьим-то суждением не согласен, просто отмалчивался; при этом был обидчив и, разумеется, самолюбив, как все поэты. Где-то внутри бушевали в нем протест или возмущение, прорываясь наружу лишь изредка, а вообще-то он всегда был тих. Встретив в Новгороде знакомого ему стихотворца, бывшего офицера, автора множества «барабанных» стихов, коими он заполонил все районные газеты области, Чистяков перед ним становился чуть ли не в стойку «смирно». Потому, видите ли, что когда-то давно, лет двадцать или тридцать назад, служил в армии под началом как раз у этого офицера, который потом уже, уйдя в отставку, принялся писать стихи. Впрочем,

может, и не поэтому, а черт знает почему! Ведь и без той былой военной службы Антонин держался бы почтительно перед нашим стихопеком. Не написав ни одной поэтической строки, отставник преисполнен был важностью и несокрушимого превосходства, имел осанку литературного «мэтра», тогда как Чистяков, автор многих поэтических сборников и журнальных публикаций, помалкивал о своем таланте. Во всяком случае не выпячивал грудь, не пыжился, не изрекал банальности под видом важных откровений.

Абрамов являл в себе иные качества по сравнению с Чистяковым: достоинство свое соблюдал строго, разговаривал прямо и твердо, не подлаживался ни под кого, а заставлял других подлаживаться к себе. Вот потому я недоумевал тогда: что же сблизило их, явившихся в мой офис, очень уж они были непохожи. Но возможно, тут и ответ: потому и сошлись, что разные люди. У одного была потребность взять кого-то под крыло, у другого — нужда в чьем-то покровительстве. Абрамову нравились стихи Чистякова, он даже любил их цитировать; Чистяков почитал в Абрамове талант трезвого реалистического романиста, публициста да и просто хорошего русского мужика, ибо это тоже талант.

Явились гости по делу: скоро съезд писательский, и секретари Правления решили разъехаться по городам и весям России, чтоб поближе узнать проблемы быстротекущей жизни; Федор Абрамов выбрал Новгородчину, поскольку она родственна его архангельской родине.

Я тотчас занялся хлопотами о гостинице, но без всякого успеха: время летнее, самый туристский сезон, а заранее гости меня не известили. Пришлось обратиться за помощью в обком партии, но Кулепетова на месте не оказалось: приболел, лежал в больнице. Я поднялся на уровень выше, позвонил Тэммо: так и так, мол, приехали Федор Абрамов и Антонин Чистяков, им необходимо то-то и то-то. «Поможем! — бодро озаботился тот. — Ждите, позвоню».

Надо сказать, что незадолго перед тем был опубликован очерк Абрамова и Чистякова «Пашня живая и мертвая», и это наделало много шума. Суть очерка: дичает, пустеет, разоряется земля одной из коренных российских областей — Новгородской, а посему судьба ее внушает большие тревоги и опасения. Это было в эпоху, когда бодряческий тон — «Все хорошо, прекрасная маркиза, за исключеньем пустяков!» — процветал; высшим проявлением пар-

тийности и патриотизма было как раз твердить взахлеб: все хорошо, все хорошо! И тут вдруг новгородскому начальству в глаз колют, что и то плохо, и это. Партийные верха нашей области оценили очерк, как явное и злоумышленное очернительство, как намеренное «сгущение красок». Но тут слух прошел, что в верхах еще более высоких очерк не произвел раздражающего воздействия, там не осудили авторов, а потому, хочешь не хочешь, теперь их следовало привечать. Поэтому Тэммо бодро ответил: сейчас, мол, все уладим.

Пока суть да дело, я пригласил гостей к себе домой выпить чаю, благо жил рядом. Пригласил, заведомо сомневаясь, что Абрамов примет приглашение: уж очень сурово он держался. Меня, признаться, задела небрежность, с какой он подал мне руку, называя себя, да и то, как отчужденно сидел, листая газеты. Однако они оба согласились охотно.

В квартире моей Федор Александрович огляделся этаким цепким, хозяйским глазом, ему понравилась некоторая пустынность жилья, отсутствие лишних вещей, вроде ковров и хрусталя. Просвечивала, так сказать, честная бедность. Выяснилось, что и сам я, и жена моя — люди, выросшие в деревне, знакомые и с запахом навоза, и парного молока, что Абрамову было по сердцу. А от моей шутки: «Хорошо-то не жили, и начинать незачем!» гость немного помягчел, утратил официальность, стал разговорчивее.

Я приглядывался к Абрамову и постепенно смирялся с его манерой поведения — этакой не слишком любезной, строгой. Некоторые неудобства общения с ним искупались сторицей: гость мой относился к тому крайне немногочисленному разряду собеседников, для которых процесс думания, размышления естествен и постоянен, как дыхание. И надо ли говорить, что размышления его были не на праздном уровне, а «по делу»; что ни суждение — то дельная мысль, неожиданный ракурс. Таких людей я в своей жизни встречал мало, могу пересчитать на пальцах одной руки.

Разговаривали мы, помнится, о том явлении, которое немало дивило нас: о своей шефской помощи в мелиорации Новгородской области объявила среднеазиатская республика. Соображения пропаганды взяли верх над экономикой; шуму было много, а толку чуть: звонкими лозунгами о дружбе народов прикрывали обыкновенную

бесхозяйственность, ибо это мероприятие обходилось в очень круглую копеечку. Приезжим мелиораторам шла тройная оплата: во-первых, дома, по основному месту работы; во-вторых, им начислялись командировочные и в-третьих, старались побольше заплатить уже здесь, на Новгородчине. Ну это еще не беда — денежные выплаты: был бы прок от них. Но откуда быть проку, если приезжали люди в основном неквалифицированные, из тех, кто и у себя-то дома не нашли дела, их еще учить да учить надо. Таким образом, цена этой «помощи» была непомерно высокой, иначе говоря, разорительной для бедной Новгородчины. Цифры освоенных средств бодро ложились в отчеты, радуя сердца администраторов, и это в то время, когда полным ходом шло запустение и оскудение новгородской земли, когда пашня, на протяжении столетий кормившая поколения русских людей, зарастала, дичала или под натиском бесцеремонной техники становилась мертвой.

О том и писали в своем очерке мои гости, о том и говорили мы, сидя за столом у меня дома, когда позвонил Тэммо и сказал, что нас примет второй секретарь обкома партии Смирнов и там, само собой, «решится вопрос с гостиницей».

Мы отправились.

Та беседа в обкоме была краткой: гости наши обозначили цели своей поездки по области да попросили помочь с гостиницей и транспортом. Смирнов держался сухо, но в ответ на просьбу тотчас распорядился, позвонив заведующему хозяйственным отделом. Фамилию позабыл, не помню. Это был мужчина суровый: если попадется, бывало, навстречу, то на твое почтительное «здравствуйте» он в ответ ни гугу, не снизойдет. Ба! Осипов его фамилия. Вишь ты, всплыло в памяти. Можно бы обойтись и без фамилии, но раз уж вспомнил...

Итак, мы спустились на этаж ниже, я зашел к Осипову спросить о машине, когда ее можно взять, и услышал от него суровое:

— А кто за нее платить будет? Писательская организация?

Бюджет руководимой мною организации таковой затраты позволить себе не мог.

— Простите, — посмел заметить я, — но ведь вам же только что позвонил Смирнов! И это именно он послал меня к вам.

— Позвонил... Но я спрашиваю: кто будет платить за машину? Может быть, вы из своего собственного кармана?

Мой собственный карман и вовсе был некредитоспособен.

Я, озадаченный, вышел. Абрамов с Чистяковым увидели мою расстроенную физиономию: «Что, Юра?» Я им: «Сейчас, сейчас...»

И отправился опять к Смирнову. Второй секретарь обкома в ответ на мою жалобу: «Не дает Осипов машины!» — сделал недоумевающее лицо и отослал меня обратно: мол, распоряжение отдано, повторять нет смысла. Я опять мимо Абрамова и Чистякова — к суровому хозяйственнику. Секретарша к Осипову не пускала: занят. Следовало ждать, когда он освободится. Я ждал его, мои гости — меня.

— Юра, в чем дело? — спросили они.

Я рассказал им.

— Уж это не случайно, Федор Александрович, я их знаю, — обронил Чистяков уныло. — Нам выражают таким образом свое неудовольствие за очерк.

— Ну, что вы! — возразил я. — Сейчас будет машина.

Я не допускал мысли, что руководящие товарищи родной мне области могут играть в такие игры.

— Ладно, обойдемся, — сказал Абрамов, помрачнев. — Ни о чем больше не проси, Юра. Пошли отсюда.

И мы удалились.

Удалились-то удалились, но... за гордыню бог наказывает: лишь с большими трудностями удалось мне выбить гостям комнату, да и то не в гостинице, а в общежитии. Чистяков, впрочем, ушел ночевать к знакомому журналисту, у которого всегда останавливался. А Федор Александрович, как потом признался, не спал всю ночь: в его апартаменте было и шумно, и сквозняк из-под двери в окно...

Приятель Антонина Чистякова, человек добросердечный и простодушный, писателей уважал и знакомством с ними дорожил. На другой день он предложил Абрамову свои услуги, поскольку, будучи инвалидом войны, имел «Запорожец». На этой машине они втроем и уехали в какой-то колхоз, и так ездили несколько раз.

Я чувствовал себя уязвленным и обиженным: все ездят на служебном автотранспорте — директора заводов и председатели колхозов, мелиораторы и милиционеры, совслу-

жащие и партработники и прочие деятели, коим несть числа, — для всех найдется казенная автомашина, и дело каждого уважаемо, неотложно, необходимо; только писатели — сироты. Только их занятие чванные чиновники считают чем-то второстепенным, досадным, следовательно, ненужным и даже вредным. И так легко этим людям пренебречь писателем — ведь от него ничего не зависит: ни размер оклада, ни продвижение по службе. Гораздо важнее понравиться начальству, а дружбу иметь не выгоднее ли с директором какого-нибудь магазина, скажем, обувного или книжного, а не с поэтом да прозаиком? Звание высокое — писатель! — а человек этот бесполезный, поскольку что с него взять? Нечего. Так что удержаться от соблазна поторжествовать над ним очень трудно, вот и тешат свое мелкое тщеславие чиновники вроде этого Осипова...

Такие обиды кипели во мне, все никак не мог успокоиться. Ну, ладно, мол, я не велика шишка. Но Федор Абрамов! Как-никак лауреат Государственной премии, человек, увенчанный лаврами за романы, кои находятся в центре читательского интереса, следовательно, совершенствуют человеческую душу, формируют личность, пробуждают ее добрые силы, иначе говоря, производят самую тонкую, самую ответственную работу...

Что останется на этом свете от Осипова, разъезжающего на черной «Волге»? Да его хоть золотом обсыпь, нечем будет его вспомнить. Это Абрамову надо создать условия наибольшего благоприятствования. Он оставит свои книги, которые станут нашим национальным богатством. Почему же получается наоборот?

«Боже, сделай так, чтоб поставили потом памятник Осипову... или устроили музей Осипова, — молил я,— пусть люди приходят туда, а им экскурсовод показывает: вот стул, на котором сиживал товарищ Осипов... вот его служебный телефон... а вон во дворе стоит его персональная черная «Волга». Пусть люди духовно обогащаются, созерцая эти атрибуты...»

Увы, от моих рассуждений и молений ничего не менялось: Абрамов с Чистяковым ездили на прихрамывающем «Запорожце», грозившем развалиться, едва они съезжали с асфальта на проселок, и ночевали по-прежнему без удобств.

Вечерами, вернувшись из очередной поездки, они приходили ко мне домой, и мы подолгу просиживали, беседуя о

том, что удалось увидеть за день — о пашне живой и мертвой, об угасающих новгородских деревнях, о гиблых дорогах... О том, как «достучаться» до человека, пробудить его совесть, достоинство, любовь к родной земле и родной семье.

За этими беседами я чувствовал себя мобилизованным на святое дело и как бы вознесенным судьбой на иной уровень жизни, отчего все обретало ясность, значимость и высокий смысл; стали видны вдруг земли до Белого моря и Урала, до Кавказа, Карпат и Балтики — я чувствовал уже свою личную ответственность за их судьбу.

В эти вечера наши новгородские писательские деяния представали передо мной в таком свете, что совестно и досадно было, непереносимо совестно и досадно.

А между тем как раз в это время очередная волна недостойной суеты выносила нас на гребень: один из моих коллег — Поэт — обратился в областное КРУ (контрольно-ревизионное управление) с требованием немедленно провести ревизию финансовой деятельности руководителя Новгородской писательской организации, поскольку-де имеются нарушения в особо крупных размерах. Это заявление немало распотешило контролеров-ревизоров; они спросили: какова годовая смета писательской организации? Восемь тысяч рублей, из них половина идет на зарплату руководителя и бухгалтера, а другая половина — на аренду помещения, на командировки, канцелярские расходы, телефонные переговоры и тому подобное. Что же тут можно нарушить в «особо крупных» размерах? А у областного КРУ заботы такие: есть заводы с многомиллионными сметами, не ревизованные уже несколько лет. Поэтому сказали, что оно-де, КРУ, — зверь крупный и охотиться на мелких пташек, вроде писательской организации, не желает. На это Поэт отвечал, что он не потерпит их ротозейства и головотяпства, и у них будут неприятности особо крупные. На это ему было заявлено, что они, ревизоры-контролеры, тоже не чужих отцов дети... В общем, повеселились они там, в КРУ.

Примерно в эти же дни кто-то из доброжелателей сообщил мне, что видел папки с бухгалтерскими документами нашей писательской организации в другом конце города у старушки-машинистки, которая снимала с них копии: ясно, что оппозиция моя вела очередное планомерное наступление.

Я в свою очередь предпринял оборонительный ход: заявил в милицию об исчезновении документов. Приехал милиционер, потребовал открыть сейф, документов там не обнаружил, бухгалтершу увез с собой для объяснений. А то была хитроумная бухгалтерша: она умудрялась тогда работать одновременно в четырех местах. Кроме нашей конторы, еще и у художников, это-то я ей разрешил, а вот что она еще и в некоем спортивном обществе (кажется, «Урожай»), а также... в народном суде — это открылось лишь потом. Таким образом, она получала четыре зарплаты. Возможно, и больше: уйдя, бывало, в отпуск и уже начислив себе отпускные деньги, она на другой же день являлась на работу и просила меня написать приказ о ее отзыве из отпуска: у нее-де квартальный отчет. У художников она поступала точно таким же манером. И того четыре зарплаты за один отпускной месяц в наших двух офисах. Как уж в спортивном обществе и в народном суде, не знаю. Неужели и там еще четыре?

Итак, в среде писателей и художников разразилась сенсация: «Бухгалтершу в милицию замели! Дело шьют!» Ну, разумеется, ее вскоре отпустили, как только записали чистосердечное пояснение, почему документы из сейфа, которыми она ведает, гуляют по городу; однако же неожиданным поворотом событий хитроумная бухгалтерша была обескуражена, а оппозиция моя временно смущена и озадачена.

Такие вот страсти кипели у нас своим чередом.

Как видите, мы в ту пору скучать никому не давали: ни милиции, ни обкому партии, ни контрольно-ревизионному управлению, ни собственному литературному активу.

Однако вот что скажу: ни разу во время моих бесед с Абрамовым и Чистяковым мы не опустились до обсуждения наших склок. Не та была атмосфера.

В то время, признаться, меня заботила больше не оборона от коллег, а нелегко складывавшиеся отношения с Центральным телевидением. Творческое объединение «Экран» задумало поставить многосерийный телефильм по моим деревенским повестям и уже заключило со мной договор, и сценарий я уже написал, но... в решающий момент, когда я приехал туда, дамочка из «Экрана», столь же хитроумная, как и моя бухгалтерша, отвела меня в сторонку и тихонько сказала: «Вы хотите все деньги один заработать... у вас должен быть соавтор, понимаете?»

Мне очень хотелось, чтоб вышел на телевидении фильм о моей деревне, столь любимой мною (это глубокая боль и все-таки в то же время и гордость моя!), но на соавтора я не согласился: «Я не умею работать с кем-то!» На это хитроумная дамочка сказала: «Вы не понимаете... Работайте один, но фамилий на титульном листе будет две».

«Нет, это вы не понимаете, — отвечал я ей. — Соавтора у меня не будет».

И сценарий мой лег на полку в архив, фильм не был поставлен. Никакие мои доводы и аргументы во внимание не были приняты: когда речь идет о дележе денег, люди становятся ужасно как принципиальны, просто на удивление.

Вот об этом, я, помнится, посетовал перед моими гостями. То было серьезно и сокрушало мое сердце, а что до новгородского «веча» — это все-таки суета, и его мы во время тех бесед не могли обсуждать. А если б зашла об этом речь, то могу представить себе, как воспринял бы ее мой гость — и нахмурился бы, и рукой отодвинул, и мог бы осудить нелицеприятно прежде всего меня, как непосредственного участника недостойных событий.

По-моему, мы говорили о более достойном и ни в коей мере нас не роняющем: не столько о текущем дне, сколько о Времени; не столько о своих завтрашних заботах, сколько о Судьбе Родной Земли. Да простятся мне высокие слова!

Да простятся они мне, ибо я пытаюсь дать понять, о чем мы тогда говорили. Как жаль, что я не записал в ту пору! Казалось, впереди времени много — лет двадцать, а то и тридцать; что беседа наша — только начало, а будет и продолжение, будет еще время и записать, и осмыслить, и уточнить. Вот и остались лишь общие впечатления да обрывочные воспоминания.

Помню, я рассказал моим гостям, как несколько лет назад, когда жил еще не в Новгороде, а в районном городке Калининской области Осташкове, был вызван на совещание молодых писателей при журнале «Октябрь». Там устроили собеседование на тему о том о сем, желая узнать, кто из молодых чем дышит и нет ли в нашей среде чуждых журналу «непатриотических» веяний. Первым на этом вольном собеседовании выступил начи-

нающий писатель с Кубани, комбайнер; он рассказал, как у них там все хорошо, в Краснодарском крае: и в колхозы-то принимают только с испытательным сроком, и дороги-то асфальтированы, и дома культуры с колоннами, и урожаи по пятьдесят центнеров с гектара, и надои по пять тысяч литров от коровы... Слушая его, сидели сотрудники «Октября», этакие размягченные, благостные, довольные. А потому довольные, что вроде бы как и по всей стране такая благодать: сельское хозяйство процветает, крестьяне-колхозники безмерно счастливы, так что перед писателями цель одна — восторженные гимны слагать.

Терпел я, терпел — такая меня злость взяла! Встал вслед за кубанцем, заявивши: позвольте, мол, провести некоторые параллели. У нас на тверской земле пастбища и сенокосные угодья зарастают кустарником, а наши тверские деревни обезлюдели настолько, что подчас на той или иной ферме некому не только покормить, а и подоить буренок — таковы драмы! Стоят коровы некормленые, недоеные, ревмя ревут, не потому ли средний надой от каждой буренки по моему Осташковскому району составляет около полутора тысяч литров, в три-четыре раза меньше, чем на благословенной Кубани, — таковы проблемы! А дороги у нас в такой степени гиблые, что в тракторную тележку с молочными бидонами «запрягают» сразу два трактора, а иначе не вывезти — таковы сюжеты. Ну, а с дворцами культуры у нас ни проблем, ни сюжетов нет, поскольку нет дворцов, а есть бревенчатые клубы-избы с протекающими крышами и похилившимися крылечками. В заключение своих параллелей я спросил, обращаясь к помрачневшим сотрудникам «Октября»: как это так получается, что мы, писатели одной страны, в столь неравном положении? Отразит комбайнер с Кубани жизненную правду в своем художественном произведении — он будет в их глазах слыть настоящим патриотом, идеологически зрелым человеком и желанным автором; а отражу эту правду я — обрету репутацию очернителя, и меня на порог редакции не пустят.

В общем, бестактную речь произнес, чего говорить! Испортил обедню. Главным редактором «Октября» был тогда Всеволод Кочетов...

Когда я начал свое выступление, мой сосед (он был из Днепропетровска) наступил мне на ногу: не возникай! Но я не унимался. Он снова наступил, я еще боль-

ше разозлился. Днепропетровец вскочил вслед за мной и заявил, что недавно был он в Тюмени, где тоже рабочих рук остро не хватает, и вот секретарь тамошнего обкома партии просил писателей создать о нефтяниках такое произведение, чтоб люди хлынули на нефтепромыслы и проблема была бы решена. Вот, мол, наша задача в том и состоит, чтоб, к примеру, писатель из Осташкова создал книгу, которая позовет людей в село...

Парень этот, побывавший в Тюмени и так хорошо понявший призыв секретаря обкома, объяснил мне потом: «Я тебя спас! Ты забыл, где находишься? Не выступи после тебя я — собеседование наше дало бы такой крен, что тебе этого никогда не простили бы».

— Далеко пойдет,— заметил Чистяков негромко, выслушав мой рассказ.

— Никуда он не пойдет, — возразил Абрамов. — Вечно ты, Антонин, не с той стороны смотришь. Литература — не сфера обслуживания.

И Антонин тотчас согласился: да, да, не сфера обслуживания, разумеется, да вот взгляд этот на литературу и литераторов, так сказать, весьма распространен.

— Каждый должен исполнять свой долг, — продолжал размышлять Абрамов, — в меру совестливости и сил своих. А уж потом рассудят, кто есть кто.

Рассказ мой в определенной степени заинтересовал его, и он порасспрашивал немного о том совещании молодых писателей, которое пришлось на пору великого противостояния «Октября» с «Новым миром». От меня, жившего тогда в глухом районном городке, литературный мир был отдален и отстранен, как от древних греков бытие богов-олимпийцев. Честно признаться, я не очень-то четко понимал суть и содержание борьбы между журналами, хоть и учился тогда заочно в Литературном институте. Помню, как, будучи на том совещании в «Октябре», удивился такой сценке: в перерыве все вышли в коридор покурить, и вот здесь (в кулуарах, так сказать) главный редактор запросто, вроде бы демократично, встал вместе с нами, начинающими, вроде рядом и вроде попросту, но... расстояние протянутой руки иногда подобно пропасти.

Это был человек энергичный в каждом своем движении, каждом слове, с цепким взыскательным взглядом, с твердой интонацией в голосе. Словно некий отсвет высоких сфер лежал на нем.

Я успел заметить тогда, что редакцию свою он держал в

трепете. Помню, как ждали его появления каждый день, как встречали — тут были и страх перед строгим, взыскательным начальником, и уважение. И вот хоть стоял он тогда рядом с нами, но это было как прихоть, как великодушный поступок большого человека, а не его душевная потребность. Вот тут, в кружке, и произошло то, что меня удивило: один из молодых авторов «Октября», кажется, рабочий издательства «Правда», обратился к Кочетову:

— Всеволод Анисимович, а знаете, на здании, что напротив входа в «Новый мир», есть барельеф и на нем написано... не помню дословно, но по мысли так: вся, мол, наша надежда только на тех, кто сам, своим собственным трудом добывает свой хлеб. Понимаете? Изображен рабочий, вращающий колесо машины, и сделана эта надпись. Я думаю, не случайно, что именно напротив «Нового мира», а? Как вы считаете?

— Неужели?! Так там написано? — оживился Кочетов. — Ну, что же, я с вами согласен: не случайно, не случайно именно там это, — и далее неожиданно и совсем по-детски признался: — А я, знаете, на той улице не бываю... я ее стороной обхожу.

Все засмеялись. А чему, собственно?

Я не выбирал в то время, где мне печататься, а предложил по рукописи и в тот журнал, и в этот: в «Октябрь» повесть «Хозяин», где ее опубликовали еще до того совещания молодых; а повесть «Пастух» — в «Новый мир», там пообещали напечатать, но... наступило смутное время: Твардовского сместили, команда сменилась, в новомировские паруса подули новые ветра.

После моей задорной речи в стенах «Октября» от меня этак слегка отшатнулись сотрудники журнала. Ну, «отшатнулись», пожалуй, слишком сильно сказано — просто посматривали на меня испытующе, настороженно: чего, мол, еще от него ждать? Вроде большого проступка не совершил, но... есть сомнения и подозрения.

Далее было так: повесть комбайнера появилась вскоре на страницах «Октября», а мне с тех пор рукописи оттуда неизменно заворачивали с объяснением, что они «не заинтересовали редакцию». Так было и после смерти Кочетова.

В день отъезда Абрамова и Чистякова мы пошли, помню, прогуляться в кремль. И говорили опять, говорили...

не о древностях новгородских, а о живом и мертвом — в пашне ли, в слове ли, в человеке ли. Собственно, говорил-то, в основном, Федор Александрович, а мы слушали. Шли, помнится, по площади, что перед Домом Советов; Абрамов, рассуждая, то и дело останавливался, разводил руками, на любопытствующих прохожих взглядывал грозно: мол, не мешайся.

Чистяков, тот, по-видимому, уже попривык к «думанию вслух»; он слушал, не переча, оглядывался с обычным своим унылым видом, иногда поддакивал. Именно это, по-видимому, и нужно было Абрамову. А я еще не приноровился, меня будто за язык тянули: хотелось врубиться в разговор, как в сечу, но... прервешь такой речевой поток! Когда еще выпадет послушать, как рассуждает вслух человек уровня Федора Абрамова?

Толковали мы в этот раз, между прочим, о «политике». О чем еще могут говорить три взрослых человека в любой точке нашего государства, желая построить умную беседу? В то время большую озабоченность повсеместно вызывало то, что на самом высоком уровне руководства нашей страны сплотились люди преклонного возраста. Череда похоронных церемоний еще не началась, она последовала потом, а тогда ее только ждали. А ожидаючи, гадали: кто придет на смену? На какие перемены можно рассчитывать? И какое, собственно говоря, желательно?

Хорошо помню, выражались мы хоть и достаточно откровенно, однако осторожничая друг перед другом.

— Вот идем мы и беседуем, три мужика, — не выдержал Абрамов, — и ведь боимся говорить открыто! Разве не так? Даже друг друга опасаемся... Что за страна у нас! Где еще так?..

Мы с Чистяковым переглянулись, пожали плечами: что ж, мол, дело привычное, с этим живем.

— И будет ли нашему безгласию конец, а? — продолжал вопрошать Федор Александрович и при этом посматривал на здание обкома партии, что было перед нами. — Будут ли перемены когда-нибудь? Как по-твоему, Юра, есть какие-то признаки, вот хоть бы у вас? Ведь перемены должны вызревать не только где-то в столице, но и здесь, в глубокой провинции.

Я предположил, что на партийные посты, по-видимому, уже приходят новые люди и довольно, кстати сказать, молодые. Вот, к примеру, у нас в Новгородском обкоме

партии секретарем по идеологии стал Скворцов, мой ровесник, ему нет и сорока. Конечно, судить о нем трудно, я его мало знаю, но... Вскоре после утверждения в должности пригласил меня к себе, мы довольно долго беседовали, и он в самом доверительном тоне попросил меня помогать ему советом в близкой мне литературной сфере, поскольку он хозяйственник, идеологией не занимался и у него могут возникнуть кое-какие вопросы. Разумеется, я обещал, что в меру сил... Не свидетельствует ли такой разговор о желании разобраться, услышать, понять? А ведь это же половина дела!

— Надо, надо, чтоб приходили к власти новые люди, — убежденно сказал Абрамов, выслушав меня несколько рассеянно: его собственный мыслительный процесс владел им всецело и не зависел от посторонних суждений. — А то что же это творится: земледелец отчужден от земли, хлебороб лишен возможности купить хлеба к обеденному столу... Мы зашли в сельский магазин — что там можно приобрести? Селедку-иваси в томате... Люди давятся в очереди за хлебом, как в голодные годы... Если у вас в Новгороде вот хоть бы этот... как его фамилия? Скворцов. Тридцать восемь лет — совсем молодой человек. Да если б повсюду в областях вытеснили молодые стариков, тогда наверняка можно бы ждать перемен.

Раньше мне тоже казалось: стоит заменить стариков молодыми, и жизнь повернется в лучшую сторону. Логика моя была проста: раз мы докатились до жизни такой при главенстве стариков, при молодых хуже не будет, а вот лучше — почти наверняка.

Наивность свойственна не только мне, грешному, но и людям высокого ума, они от нее несвободны. Кажется мне, и Федор Александрович разделял мою точку зрения. Но тогда в наивности я его не заподозрил. Молодость секретаря обкома казалась нам обоим залогом его добрых намерений, а следовательно, перемен, которых все ждали.

Мы так охотно верим тому, во что хочется верить!

Правда, кое-какие мелочи смущали меня в новом секретаре обкома, моем ровеснике. Одним из первых его деяний на этом посту было: он приказал немедленно снять со здания телеграфа (а телеграф напротив обкома партии) только что вывешенный там художником-оформителем лозунг «Советская Конституция обеспечивает права советского человека». Плакат был снят не из-за

эстетической неполноценности, а по причине его политической остроты: Скворцов усмотрел в нем некий коварный намек.

Или вот после нашего с ним доверительного разговора он сказал Кулепетову: «Передайте Красавину в тактичной форме, что к секретарю обкома с перстнем на пальце не ходят». Это меня, помнится, обескуражило: если Скворцову не нравится сочетание слов «права человека», то чем мой трехрублевый перстень-то не угодил?

Человек познается в мелочах, и те мелочи немало озадачивали меня.

— А что, Юра, я должен нанести прощальный визит в обком партии? — спросил Абрамов после прогулки в кремль. — Как тут у вас принято?

— Надо посоветоваться с ними, Федор Александрович, — отвечал я.

— Ну, ты звякни туда.

Я «звякнул»: Абрамов уезжает, будут ли к нему какие-либо вопросы?

— Думаю, что да, — бодро сказал Тэммо. — Сейчас решим, на каком уровне его примут.

И через несколько минут сообщил:

— Абрамов будет принят на уровне Скворцова. Приходите и вы с Чистяковым тоже.

Мы поднялись на третий этаж, где милиционер дежурил, и тут в коридоре Федор Александрович вдруг замедлил шаги и приостановился:

— А зачем, собственно, мы идем туда, Юра? Какой в этом смысл? Что-то мне не нравится наш визит. Давайте поразмыслим, не пора ли повернуть назад.

Признаться, и я усомнился: зачем отрывать драгоценное время у занятых людей и явно не ради дела, а ради соблюдения некоей формальности: приехал писатель Абрамов и был принят на уровне секретаря по идеологии. Будто для отчета.

— Вот что: не пойду я к ним, — решил Федор Александрович. — С машиной они мне не помогли, с гостиницей тоже, следовательно, я им ничего не должен.

— Расскажете, как спалось в комнате общежития, как возили вас по области, — подсказал я. — Познакомитесь с молодым партийным работником, поблагодарите его за радушный прием, оказанный вам в Новгороде.

Вот зачем я подталкивал Абрамова? Себе на беду, между прочим. А все от досады, от обиды. Словно не

понимал, что гости уедут в этот же день, а я-то останусь, мне-то потом ответ держать.

— Ладно,— уступил моим уговорам Абрамов.— Пойдем.

Скворцов был человеком невысокого роста, худощавый, смуглый, черноволосый, всегда внутренне собранный и словно бы напряженный. Он как будто контролировал каждое слово свое, каждый жест, все время помнил, что надо вести себя именно так, сдержанно и сухо, и никак иначе. Я никогда не видел его улыбающимся, никогда не слышал его шутки.

Он встретил нас, выйдя из-за письменного стола. По-видимому, все было им выверено: когда вставать, когда выйти, как подать руку. Любезно и заученно он усадил нас за другой, более длинный стол, со множеством стульев, сел с нами, сложив руки, как ученик-отличник на парту. В эти несколько минут двигался он неторопливо, я бы даже сказал рационально: ни одного лишнего слова, ни одного другого жеста — таким образом достигалось впечатление некоторой сановности, приличествующей на его посту.

Пожалуй, они с Абрамовым были, грубо говоря, одной весовой категории: и ростом одинаковы, и фигурами недородны. Что же касается других характеристик... насколько секретарь обкома был собран и подтянут, настолько автор трилогии о Пряслиных расслаблен и подчеркнуто свободен; насколько один устремлен четко соблюсти церемониал приема, настолько другой небрежен к внешнему этикету.

Абрамов не считал нужным скрывать свое недовольство; он уселся этак вполоборота к секретарю обкома, несколько развалясь, как у меня в квартире сиживал, так и в обкомовском кабинете расположился. Думаю, это задело щепетильного Скворцова, но он не подал вида. И я, признаться, испытал некоторую неловкость за поведение Федора Александровича, потому как обстановка располагала к большей строгости.

— Ну, как поездка? — вежливо спросил секретарь обкома. — Что удалось посмотреть?

Начиналась привычная для него церемония.

Я знал отрицательное отношение Скворцова к очерку о пашне живой и мертвой. Он считал, что авторы «сгустили краски», «не видят перспективы», «проявили близорукость».

А вот роман «Братья и сестры» секретарь обкома хвалил.

Руководящие товарищи редко бывают знатоками или хотя бы просто любителями художественной литературы. Я знал одного новгородского председателя колхоза, Героя Социалистического Труда, который однажды честно признался: «А я ведь литературу не читаю. Я за всю жизнь только одну книгу прочитал, называется «Гулящая», автора не помню...»

Вот, пожалуй, если сравнить Скворцова с тем председателем, то следует признать секретаря обкома гораздо более просвещенным человеком. Ну, естественно, тут я имею в виду только художественную литературу, о всем прочем судить не берусь.

Федор Александрович в обычной своей манере, неторопливо, растягивая слова, произнося их этак через оттопыренную нижнюю губу, заговорил:

— Как вам сказать... Я вот, без преувеличения, объездил всю страну, от Северного Ледовитого океана и до Средней Азии, от Охотского моря и до Балтики. И, знаете, нигде меня так плохо не встречали, как здесь, в Новгородской губернии. Речь идет, разумеется, не о каких-то почестях, а о самом скромном, самом необходимом: чтоб крыша над головой была, то есть временное пристанище, ну и возможность куда-то съездить, посмотреть. Только и всего.

Я видел, как тень легла на лицо Скворцова. «Прием» вдруг сошел с привычных рельсов и покатил этак неординарно, нервно. Скворцов недоумевал и, кажется, надеялся еще, что вышло какое-то недоразумение и оно сейчас разъяснится. А Абрамов продолжал:

— Вот я только что вернулся из поездки во Францию, где был, по сути дела, по приглашению французского правительства... это по межправительственному соглашению о культурных связях... объехал всю Францию — везде меня встречали вежливо, приветливо, радушно, показывали все, что бы я ни захотел, нигде я не испытывал нужды в чем-то: куда ни приеду — пожалуйста, гостиница; в дорогу собрался — машина к подъезду. На такой же прием в Новгороде я, естественно, не рассчитывал, но хотя бы необходимый минимум...

Лицо секретаря обкома было каменным.

— И вот у меня к вам вопрос в связи с этим, — продолжал Абрамов.— Если я, секретарь Правления Союза

писателей, лауреат Государственной премии, член Ленинградского обкома партии... вы извините, что я перечисляю тут свои регалии, не похвалы ради, поверьте мне... если вот я, человек, так сказать, с положением, встретил такой прием у вас в области, то как же вы относитесь к рядовому-то писателю, который не лауреат и поста не занимает? Совсем пренебрегаете?

Тут Абрамов сделал паузу, а паузы он делать любил и при этом прямо и твердо смотрел на Скворцова.

— Ведь что же, я тут не смог даже места в гостинице добыть... — Абрамов широко развел руками, — пришлось жить в общежитии. А уж я немолодой человек, мне роскоши не надо — хотя бы элементарные удобства, чтоб поспать спокойно, чтоб от сквозняка не простудиться...

Опять последовала пауза, которую никто не прервал, потому что всем своим видом и жестом рук Федор Александрович давал понять, что нет, он еще не кончил.

— А что касается транспорта... На стар采ньком «Запорожце» пришлось по области ездить. И тому был рад. Безногий инвалид нас возил! Благо добрым человеком оказался... Вы считаете это все нормальным?

Тут Скворцов обратил ко мне свое потемневшее лицо и жестко спросил:

— Юрий Васильевич, как такое могло получиться? В чем дело?

А я со своей стороны в тон Абрамову:

— У меня, Рудольф Александрович, создалось впечатление, что в нашей области совсем нет порядка. Вы представьте себе: первый секретарь в отпуске, вместо него второй — по сути он главное лицо в области! И вот это главное лицо дает распоряжение своему подчиненному Осипову выделить для писателя Федора Абрамова автомашину с тем, чтоб он смог поездить по колхозам, познакомиться с состоянием дел, которые его интересуют, — такова его профессия! А Осипов машины не дает, отказывается выполнить распоряжение, ему только что отданное. Это порядок?

— Такого не может быть, — жестко сказал Скворцов.

— Осипов потребовал, чтоб я платил за машину из собственного кармана. У меня такой возможности нет! А гости не на рыбалку приехали...

Моя речь, как я потом догадался, поразила Скворцова. Не тем, что я сообщил, нет: просто он считал меня

«своим» человеком, стоящим на страже наших, областных интересов, а раз так, то он имел право рассчитывать на мою поддержку. Ведь и то принять во внимание: мы с ним так хорошо, доверительно побеседовали в прошлый раз. И вот я... Как это понимать? Я его предал! Именно так следовало квалифицировать мое поведение: предательство по отношению к нему, Скворцову. Я не только не помог ему, секретарю обкома, но еще более усугубил то щекотливое положение, в которое он попал.

— Может быть, вы слышали, — продолжал Абрамов, — что скоро состоится съезд Союза писателей, где будут решаться важные, на мой взгляд, государственные вопросы... Ведь вы же, руководители области, заинтересованы в том, чтоб Новгородчина освещалась прессой достаточно широко и объективно... Объясните мне, в чем тут секрет: почему так неприветливы к писателям в области?

— У нас более чем достаточно всякого транспорта! — сказал Скворцов с негодованием. — И номер в гостинице нашелся бы. Мне странно слышать... Я обещаю вам разобраться.

Тут меня за язык опять потянуло:

— Я ведь тоже при регалиях, Рудольф Александрович, только на другом уровне, малость пониже, но все-таки: депутат областного Совета, руководитель областной писательской организации, в президиумах то и дело сижу... А вот поехал на прошлой неделе в Валдай, целый день болтался там в горкоме партии, в райисполкоме, в райсельхозуправлении — машину клянчил. И что? А ничего. Так и не дали. Происшедшее с нашими гостями — это не частный случай, а общий стиль, принятый у нас в области.

— Глубокая духовная провинция... — приступил Абрамов к следующей своей гневной филиппике.

Вот так мы и продолжали, будто заранее спевшись: он вел главную партию, я подхватывал.

Вступительная часть беседы закончилась, заговорили о более важном: о причинах и следствиях происходящего в культуре ли, в сельском ли производстве... о нравственных (а точнее, безнравственных) корнях того, что творится сегодня... о завтрашних общественных болезнях, основу которых мы закладываем ныне... Короче говоря, это было то, что прозвучало потом столь явственно и страстно в абрамовском романе «Дом».

— Тяжелый был разговор, — глухо сказал мне Скворцов, провожая нас из кабинета, сказал так, чтоб другие

не услышали, и тон его голоса насторожил меня.

— Вроде парень неплохой, — размышлял вслух Абрамов, когда мы вышли из здания обкома. — По крайней мере внимательно слушал. А ведь мог бы и не вытерпеть. Но выслушал: значит, небезнадежен. А? Как ты думаешь, Юра?

Я пожал плечами: посмотрим, мол.

Абрамов и Чистяков уехали.

А на другой день в писательской организации произошло чрезвычайное событие: в нашем офисе появился Скворцов. Он не подъехал на черной «Волге», а просто пришел, ведь обком партии рядом.

В нашем подвале, как на грех, в очередной раз прорвало трубу канализации; атмосфера отчаянно сгустилась, и я испытывал крайнюю неловкость из-за того перед гостем; но он то ли не заметил, то ли, вежливый человек, воздержался от замечаний. А может, просто считал это несущественным.

Тотчас вслед за ним явилась вся моя оппозиция в полном составе, то есть Прозаик, Поэт и Драматург, и, надо сказать, поглядывали они на меня торжествующе. Оказывается — неслыханное дело! — им предложили срочно собраться по поручению именно Скворцова, и даже кое-какая информация к ним просочилась: они поняли, что пробил мой судный час, наступил крах моей карьеры. Они жаждали репрессивных мер, и, разумеется, немедленно.

— Я слышал, у товарищей есть претензии к ответственному секретарю, — проговорил Скворцов, не глядя на меня. — Я хотел бы выслушать всех.

И у нас началось то, что мы сами именовали отнюдь не «вече», а «базаром»: высказывались все наперебой, в повышенных тонах, с употреблением сильных слов и крепких выражений.

Я молчал, ожидая, когда Скворцов, выслушав моих оппонентов, обратится ко мне за разъяснениями. Я ждал своей очереди, и ожидание это было томительным. Что сказать? Ведь мне придется говорить то, о чем не хотелось бы: о нашем, так сказать, внутрисемейном, что полагается держать при себе; предстояло выносить сор из писательской избы, показывать его человеку постороннему. Что хорошего?

Вот, скажем, о Прозаике... Обороняясь, я должен буду

сказать, что, вступив в очередной запойный период (а об его болезни Скворцов прекрасно осведомлен), он имеет обыкновение обзванивать своих знакомых по городам России со своего квартирного телефона; потом приносит мне фантастический счет: оплати, мол, из средств организации. Я на то не имел ни права, ни желания, ни возможности. Как умолчать об этом, если подобные счета — корень моих разногласий с Прозаиком!

Поэт то и дело приносил мне для оплаты сочиненные им рецензии, каждая из которых оценивала три-четыре стишка кого-нибудь из начинающих; рецензии эти были написаны каракулями без точек и запятых, без заглавных букв, в одном неповторимом экземпляре. Плату же Поэт требовал за сей безграмотный труд «аккордную», несусветную сумму. Почему так много? А потому, видите ли, что деньги на счету писательской организации имеются и их-де надо тратить, иначе пропадут. Я платил Поэту вдвое меньше, чем он требовал: не полсотни, а двадцать — тридцать рублей — тоже безбожно большая сумма, имея в виду объем и качество выполненной работы, и из-за этого ведь загорался сыр-бор! Сколько ярости выплескивал на меня мой коллега, обвиняя, что я его таким образом «граблю», что я «совсем обнаглел», «распоясался» и что меня «гнать надо».

И что, я это тоже должен объяснить секретарю обкома?

Драматург был выдержаннее, грамотнее, умнее. Он занимал пост ответственного секретаря до меня и ушел с него нехотя, сопротивляясь этому изо всех сил. Теперь выжидал, когда меня доедят коллеги, чтобы снова занять секретарское место.

Итак, мои коллеги дружно, как накануне сам я с Абрамовым на Скворцова, нападали на меня. Сменяя один другого, они говорили о том, что я начисляю деньги за работу «как левая нога хочет», что не отсиживаю в своей конторе положенное, что «КРУ еще разберется в финансовых нарушениях», что... В общем, много у меня обнаружилось грехов. Выслушав все это, Скворцов резко поднялся:

— Благодарю вас, товарищи, за информацию. Ответственного секретаря я вызову и выслушаю позднее... Думаю, мы примем меры.

И ушел, стремительный, весь налитый гневной силой.

«Базар» еще маленько пошумел, но скоро все разо-

шлись: от вони в офисе просто нечем было дышать.

В тот же день, как мне стало известно, Скворцов устроил разнос своим подчиненным: как они могли упустить из-под контроля писательскую организацию, где работа совершенно развалена! Как они могли допустить, что человек, которому «партия поручила ответственный пост», позволяет себе «развалить», «зажимать», «распоясываться»? Как это могло случиться? Кто за это ответит?

Инструктор сектора печати срочно отправился в больницу к Кулепетову за разъяснениями; встревоженный больной стал звонить Тэммо, а тот в свою очередь оправдывался перед Скворцовым так: «Вы пригласите Красавина и побеседуйте. Он вам все объяснит, и вы перемените свое мнение на противоположное». Но в том-то и дело, что Скворцов приглашать меня не хотел и продолжал гневаться. Литературная общественность города взволновалась, слухи и предположения обсуждались живо и заинтересованно.

Что касается меня, то состояние было такое, будто после воодушевленного парения в облаках в течение нескольких предшествующих дней меня вдруг властно и грубо потянули за ноги вниз да и погрузили на дно омута. Грустно было. Досадно. Досадно, между прочим, не столько за себя, сколько за своего ровесника: судьба вроде бы благоволила к нему, того и гляди, вознесет на самые верха, а он... Как понимать эту мелкую мстительность? Сказано же: учитесь властвовать собой. И что же, этот будущий государственный деятель, всегда так напряженно державший себя в узде, не может владеть своими чувствами и слушать голос разума?

Грустно это.

В обком не вызывали и на другой день, и на третий...

За это время я вполне «разогрелся», и когда меня пригласили-таки на беседу, начал с того, что заявил Скворцову о своей отставке: я не считал для себя возможным занимать этот пост после его угрозы «принять меры».

Мне были заданы самым суровым тоном вопросы, и объяснения мои выслушаны столь же сурово. Уходя, я опять напомнил о необходимости отстранить меня от должности. Но закончилось все так, как уже бывало не раз: мне потом позвонили из обкома, напомнили, что я член партии, поставлен на ответственный пост и обязан продолжать порученное мне дело, моя отставка не была принята...

Сейчас вот вспомнился мне тот прием «на уровне Скворцова» со странным чувством: боже мой, ведь тех, что сидели на этом приеме, уже нет в живых!

Федор Александрович умер в свои шестьдесят пять лет, рано умер, но, должно быть, исчерпал свой жизненный ресурс. Однако же вот они, его книги... следовательно, он вроде бы и жив, с ним можно побеседовать: таково чудо печатного слова, такова писательская судьба.

И нет Антонина Чистякова: утонул в озере, что возле его родной деревни. При каких обстоятельствах он погиб — бог ведает, ибо дело до крайности неясное.

И уж чего никак нельзя было предположить, учитывая возраст Скворцова: его тоже нет в живых. Поработав секретарем Новгородского обкома, он уехал учиться, окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС и был послан консулом в Польшу... а что там с ним произошло? Официальной информации никакой не было, известно только то, что привезли и похоронили его в Новгороде.

Я ловлю себя на мысли, что не могу ныне представить Скворцова в сегодняшнем дне. Как бы он поступал? Что говорил? Нет, не представляю... Для него перестройка была бы нелегким делом. По силам ли?

А вот Федору Абрамову перестраиваться не пришлось бы; он был рожден для сегодняшнего дня. Может быть, и для завтрашнего?

Я не оракул. Не мое дело предсказывать будущее.

«Каждый должен исполнять свой долг, — сказал тогда Абрамов, — в меру совестливости и сил своих. А уж потом рассудят, кто есть кто».

Наверное, под этим суждением мог бы в знак солидарности подписаться и Скворцов на уровне секретаря обкома партии, и Кочетов на уровне главного редактора столичного журнала, и я на уровне провинциального автора. Только у каждого из нас свое понятие о долге. А некий высший судия (народ, как нас учили в школе) подводит черту под каждой жизнью, состоявшейся и несостоявшейся, на любом уровне и под нею итожит, кто есть кто.

1988

СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание

КРАСАВИН Юрий Васильевич

ВЕЛИКИЙ МОСТ

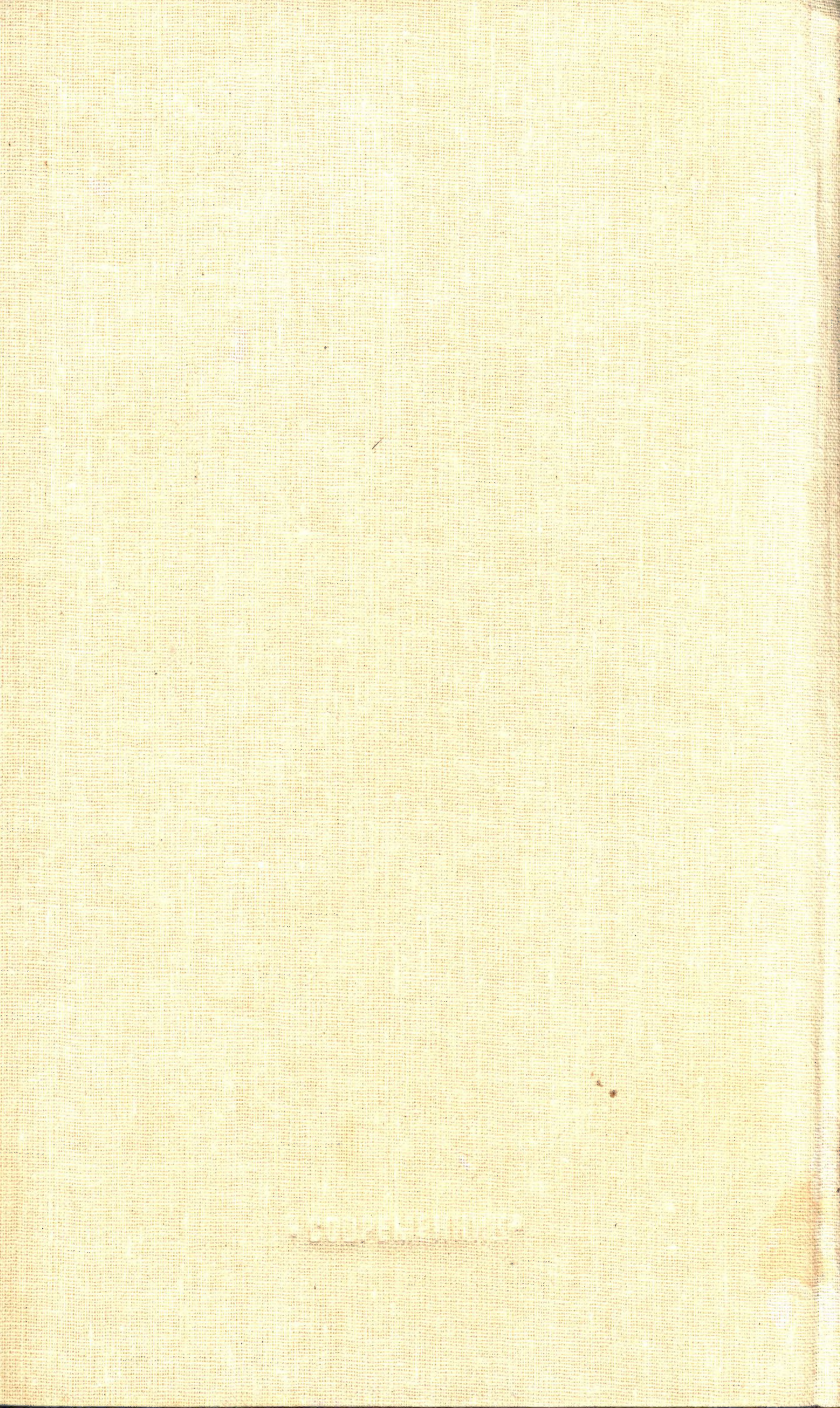
Повести

Редакторы **Г. С. Коледенкова, О. И. Уварова**
Художник **И. Л. Силаева**
Художественный редактор **А. В. Дианов**
Технический редактор **В. И. Тушева**
Корректоры **Г. П. Панова, Г. В. Селецкая**

ИБ № 5542
Сдано в набор 21.01.89. Подписано к печати 21.04.90 А 00844. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Гарнитура тип. Таймс. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 23,52. Усл. краск.-отт. 23,52. Уч.-изд. л. 25,06. Тираж 50 000 экз. Заказ 558. Цена 1 р. 90 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30




Юрий Красавин
ВЕЛИКИЙ МОСТ